

Ю.М. Осипов

ИНОЕ ДОСТОЯНИЕ

собрание прерванных текстов



в трёх томах / 2

Москва 2025

УДК 33
ББК 65
О-74

Осипов, Ю.М.

О-74 Иное достояние : собрание превентивных текстов от политэкономии к философии хозяйства, от софиологии к софиасофии : в 3 т. / Ю.М. Осипов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М.; Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2025.

ISBN 978-5-00078-962-9

Т. 2. – 2025. – 496 с.

ISBN 978-5-00078-963-6

Непонятное и неоцененное в момент явления на свет по прошествии времени становится ежели не понятым и оценённым, но все-таки все более привлекающим внимание из среды не погруженной в навязанную доктрину части ученої публики, даже и из неофитов, и возникает странный, внезапный эффект соответствия замеченного ранее сущего и о нем преподнесенной тогда же вести, чего ни заметить, ни оторвать друг от друга, ни опровергнуть уже нельзя, разве лишь, как повелось, вновь проигнорировать, да вот время делает свое коварное дело, возвышая истинное и снижая надуманное.

Случилось подобное и с философией хозяйства: не приняли её, хоть для понимания её всё потребное было сказано, да вот со временем не исчезла она, не без тщания изолированная, а взметнулась, ничем извне не толкаемая, вверх, что и дает основание кое-что переиздать, как оказалось, из нетленного. Зато всё вроде бы общепризнанное пустеет себе и пустеет, превращаясь в вертлявый скелет.

Что ж, повторение — мать учения, а уж с уколами прямо в глаз — отец!

Для самостоятельно думающих персоналий независимо от личного положения, ранга, возраста, пола и места пребывания. А ну-ка, не прими!

УДК 33
ББК 65

ISBN 978-5-00078-963-6 (т. 2)
ISBN 978-5-00078-962-9

© Осипов Ю.М., 2025
© Московский государственный
университет имени М.В. Ломоно-
сова, 2025



Ежели признаешь
философию хозяинства за беспорочно
выдающееся достояние
гуманистической мысли,
то следует при этом подчеркнуть,
что это ~~всё~~ — таки ИНОЕ
и параллельном плане
достояние.

ОТ АВТОРА

(от автоапологии до самозащиты)

«Философия хозяйства» — весьма ныне употребимый и достаточно устоявшийся в гуманитарном размыслительстве именной бренд, однако по внутренней смысловой начинке бренд сей весьма *иной*, чем обычно кажется неискушённому его употребителю, ибо уже само «хозяйство» здесь *ино*, которое хоть при случае и синонимично экономике, но это вовсе не только и не столько экономика, сколько, оставив в стороне организменную физиологию, всё(!) *жизнеотправление человека*, да мало что человека, но и природы, и планеты Земля с ближайшим к ней космосом, и всего Мироздания, и самого Господа Бога Творца, ну и «философия» здесь, конечно же, *ина*, ибо это не так «любовь к мудрости», как сама мудрость и есть, однако мало что метафизическая, так еще и софийная, она же и мудрость мудрости или *софиасофия*, когда софия человеческая следует за софией божественной, не более и не менее!

Что ж, коли философию хозяйства в вышеприведенной интерпретации можно-таки посчитать за выдающееся гуманитарное достояние (почему нет?), разумеется, за *иное*, чем любое другое (что очевидно!), то, учитывая бытующее в ученых гуманитарных кругах, в особенности причисляющих себя к экономическим (от политэкономических до эконометрических), неоднозначное, если не прямо негативное, отношение к философии хозяйства, мы считаем себя вправе «обозывать» публикуемые в двухтомнике философско-хозяйственные тексты... э-э... *превентивными*, опираясь на то толкование слова «превентивный» (от лат. *«preventus»*), которое помимо привычных «предупреждающий» или «предохранительный» означает еще и «опережающий» действия противной стороны» (не слабо, правда?!), что, знаете ли, никак не помешает двухтомному экспликативному представлению вполне себе самостоятельного внедогматического течения гуманитарной мысли эпохи разверзшейся в земно-космическом мире апокалиптики.

Из настоящего в настоящем

Ученые-гуманитарии зачем-то иногда пишут нестандартные по замыслу и исполнению книги и книжицы, немало их и выстрадывая, и книги и книжицы сии расходятся, вовсе не всегда внимательно прочитываемые, отчего их содержание редко когда заинтересованно кем-то усваивается, зато книги и книжицы сии залеживаются до некоторых макулатурных пор на полках, пылясь там и про себя недоумевая — почему и зачем же?, а потом напрочь забываются, ну и нередко куда-то исчезают. Вложенная в них смысловая начинка при этом частенько вовсе не устаревает и не пропадает втуне, наоборот, вдруг начинает внезапно биться в чьих-то, иной раз и в случайных неофитских мозгах новыми смысловыми откровениями.

Вот и философия хозяйства не избежала такого вот злоключения: все нужное вроде было ею сказано, доведено до самой что ни на есть ученоей общественности, даже до неохотного восприятия самых из самоуверенно капризных (всезнающих) читателей, казалось бы, уже и понято, ан-нет, не тут-то было, как будто ничего не было и нет!

Что ж в переизданиях есть своя сермяжка, как и нестойкая, наивная надежда на вдруг! — вдруг настало-таки время... э-э... не так даже понять ранее сказанное, а хотя бы обратить на него затасканное непосильными гуманитарными трудами ученое внимание, да и увидеть, что старательно незамечаемое всё равно есть, мало того, еще и вовсю работает, да-да, работает, пусть и посредством поверхностно воспринявшим его записных media-говорунов, вещающих, естественно, это как ими самими вымысленное свое, безо всяких ссылок на недостойных-де упоминания безымянных, вполне и окаянных, авторов.

Пребывать в науке вовсе не значит ею всерьез заниматься, а все-рьез заниматься наукой не значит приближаться хоть к какой-нибудь существенной истине, как раз гуманитарной науке-то и менее всего доступной. А подойти к истине вне науки совсем не значит быть понятым и признанным, причём со стороны самоуверенной науки прежде всего, что понятно, но и со стороны тех же давно задогматизированных философии и богословия, что тоже в общем-то понятно.

Каков же позитивный расчет в публикации вроде бы забытых или полузыбтых, а то и не забытых, но решительно отвергнутых, вовсе широко и не знаемых, текстов? Разумеется, никакой: не на остаточных же марксистов рассчитывать, не на примкнувших ненароком к пустому экономику новых пустомелей, не на adeptov же заумной, но невольно склонной к бессодержательной «игре в бисер», эконометрики. Да, здесь небезнаивный расчёт на тех, кто не потерял чувства реальности, кто вдруг возьмет, да и прочтет, а то и перечтёт нарочито переизданное, задумается глубоко и вдруг воскликнет в пушкинском экстазе: «А ведь верно, черт возьми, так оно и в самом деле есть!»

Каждая книга — памятник, правда, смотря чему — веру смыслов, пусть и невольно до времени скрытых за каскадом умных слов, или же безверной пустоте, типографическим литерным оттиском лишь неловко прикрытой, однако это всегда тот или иной памятник, живой или мертвый, а коли уж живой, то непременно подлежащий быть освобожденным из полочного плена и вновь вылететь громогласным смысловым зарядом в потускневшее гуманитарное пространство, ядовито и смертоносно связанное не без умысла новоявленной технонейроцифровой сетью.

РЕНЕССАНС ФИЛОСОФИИ ХОЗЯЙСТВА РУССКАЯ СОФИЙНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Язык не поворачивается называть Сергея Николаевича Булгакова (о. Сергия) экономистом, философом, литератором, писателем, публицистом, богословом, ибо Булгаков — мыслитель, разумеется, универсальный и, конечно же, великий. И ежели универсальность Булгакова легко бросается в глаза, то величие... это как бы надо ещё доказать... вот Ломоносов — да, велик, ну, пожалуй, Менделеев, как и Циолковский, может, Вернадский, а чего ради к великим причислять Соловьева, Флоренского, Бердяева, С. и Е. Трубецких, Булгакова... Что они, где они, зачем они...?

Да, это *феномен* — действительный, странный и непонятный — феномен *русского непризнания русских!* Он есть, этот гнусный феномен, он невероятно живуч, самонадеян и деятелен. Вот зачислили в сонм великих два-три-четыре ученых, не говоря о ряде всемирно известных писателей, и двух-трех композиторов, и хватит, а тут какие-то замысловатые мыслители, философы-метафизики, еще и еретики-софиологи, в бездны людские и мировые заглянувшие, стройные умы смущающие и несмелые сердца тревожащие, какие-то концы мировые зачем-то предсказывающие.

В самом деле, зачем россиянам все эти беспокойные, многоликие, неуловимые и малопонятные, законспирированные подозрительным любомудрием, мыслители, почему-то вдруг узревшие незримую Софию Премудрость Божию, — именно на рубеже XIX и XX вв., как раз в разгар русско-имперского апокалипсиса, — вышедшие благодатной Софии навстречу, что-то сообразившие, оттого в откровенческом экстазе и пытавшиеся передать что-то важное невменяемым тогда и сегодня соотечественникам?

Интеллектуальная элита отгородилась от самобытных русских мыслителей западного происхождения наукой, не признающей никакой Софии Премудрости Божией, хоть и самозабвенно её познающей на уровне феноменогенной материи, страшась скрытого в ней и за ней начальствующего духа и бежа что есть мочи от трансцендентной мета-

физики; священство закрылось от софиологических умников в догматически трактуемом им писании, в церковной институции; народ... а народ ничего о своих великих сынах-мыслителях попросту не знает, даже имен не знает, не говоря уже о поясняющих сказаниях, слухах и мифах.

Русская философия, а это именно *софийная философия*, окормляемая божественной мудростью и конструируемая вовсю работающей трансценденцией, взлетела было над обеспокоенной и обезумленной от чужебесия предреволюционной (следственно, предкатастрофной) Россией, бывшей тогда Российской Империей, но была умело подбита на взлете разразившейся по итогам ненужной России мировой войны вполне уже чужеродной революцией, подвергнута дружному оскоплению, насильному изгнанию, нарочитому забвению и точечному умерщвлению, но выжила каким-то чудом, что вовне (за границей, в изгнании) что внутри (в подпольях неукротимых библиотек и уцелевших частных собраний), восстала через полвека из сероглазого пепла, негромко, но явственно обозначилась, достойно заявилась, но... не была адекватно и счастлива принята раздобревшим на секулярных харчах интеллектуализмом, не говоря уже о бесчисленных отечественных образованицах, ибо мешала, смущала, препятствовала... а место-то уже было занято — просвещенным сциентизмом, замкнутым в себя клерикализмом, метропольным западнизмом, как и общим колониальным невежеством.

Не в чести у нынешних россиян русская философия, которая как раз есть софийная философия, не в чести: что у тонких интеллектуалов, что у бойких властей предержащих, что у добротного священства, что у лучших влиятельных людей, обобравших реформно Россию и лоснявшихся от внезапно выпавшего на них экзистенциального успеха, что у полузыбтых и реально забитых простецов, ибо расставаться всем надо со старательно нажитым идейным багажом, вникать в неожиданное, находить иное, натыкаясь непременно на злую правду, выбивающую из колеи, смущающую разочаровывающую, разоблачающую, приникающую, возвышающую, меняющую.

Не в чести в нынешней России и Сергей Николаевич Булгаков, он же и о. Сергий — раздумщик, яркий бунтарь, неугомонный творец. Побыв некоторое молодое время дипломированным ученым и атеистом, специалистом по политической экономии, adeptом марксизма, он, как бы

вдруг опомнившись, выскочил за пределы науки и научной философии, устремился через проклятые тогда вполне надежно идеализм и метафизику к Богу, к Христу, к Софии, став одним из провозвестников и созиателей русской софийной философии, а затем и софийного, хотя и не бесспорного, богословия, названного им, наверное, по причине своего вынужденно-спасительного изгнанничества, да, видно, не без немалой досады, хотя и в порыве личного интимного откровения, «парижским».

Булгаков, как и его соотечественные аналоги-мудрецы, вырвались на отечественный размыслительный простор, открыв для себя софийное пространство, относительно окружающего мира и самого человека запредельное, уходящее в неизвестность, но, благодаря благоданой Софии, открывающееся и говорящее. София везде, во всём мире, ибо София — замысел Божий, его умственный проект, сердечное обоснование, но и их земное (и человеческое!) воплощение. София в Логосе, в Писании, в Библии, во всех Священных Текстах, в запечатленных словах и в незапечатанном межсловье, София полностью и до конца не прочитываема, как и вообще до дна непостигаема. Ее можно и должно читать и постигать, но не обольщаясь надеждой добrestи до предела. Мир и человек, все мицование — тоже текст, как и Библия, и он тоже софиен, и, как Библия — не подлежит полной дешифровке.

Есть наука, не лишенная стихийной софийности, есть философия, щедро сдабриваемая Софией, а есть *софиология*, выводящая на софийную философию и придающая открыто софийное звучание науке.

В вершивых человеком науке и философии хватает и несофийного. Еще больше его в идеологии, культуре, цивилизации, как и в текущей вокруг повседневности. Человек умен, самонадеян, дерзок и глуп. Он вырвался из-под власти Природы и опеки Господа Бога, заявил себя самостоятельным творцом-демиургом. И творит, и демиургирует, и вытворяет! Но вдруг наступил какой-то странный предел, вполне и метафизический, он же и момент истины, однако истины для человека — самовольного творца и самозабвенного демиурга — явно тяжелой, почти что и невыносимой: что же человече сотворяет, туда ли идет, зачем творит и с каким конечным результатом? Одно дело — освобождение от природы, ее быстрое покорение и порыв к легко воображаемой неприроде, совсем другое — торжество созданной человеком неприроды, обретённая ею

своевольная свобода и свалившееся на нее среди мироздания одиночество, как и подчас трудно объяснимое метафизическое отчаяние, захватывающее человека-демиурга, весьма уже и самого по себе неприродного.

Великий антропогенный конфликт — человека с Природой, с Богом, с Софией, но и... с самим собою; отрицание природы и сакрала ради доминирования человека обернулось вдруг... отрицанием самого человека, но вот ради чего или кого..?, уж не ради ли замаячившего на горизонте *постмира* и все более уверенно заявляющего о себе *постчеловека*, а может просто ради самоисчезновения сделавших какое-то важное трансцендентное дело человека и человеческого мира?

И вот из и из-за этого острейшего конфликта как раз и явилась на свет *философия хозяйства*, вполне и софийная: сначала булгаковская, потом уже и постбулгаковская — современная, хотя само обращение к философии хозяйства было на поверхности более всего обусловлено неудовлетворением размышляющего и совестливого человека от загосподствовавшихся науки и философии, не дававших достойных объяснений ни человеческой демиургии, ни построенной человеком реальности, не говоря о великой антропогенной коллизии, в возникновении которой наука и философия сыграли не только не последнюю, но, пожалуй что, и первостепенную роль.

Что означало в таком разе хозяйство человека вообще и его преобразовательное хозяйствование в частности? На что же в конце концов работали наука, философия, идеология, культура, цивилизация, раз не могли обеспечить достойного пребывания человека на Земле — самоуважительного, солидарного, счастливого?

Ведь ничего подобного самоуважению, солидарности и счастью у творящего человека совсем не выходило, да и не могло выйти, ибо человек сознательно или бессознательно следовал в общем и целом противоположно другому, — и никакие хозяйствственные достижения не заставили человека отвернуть раз и навсегда от этого другого. И все это несмотря на добытую в муках мораль, различие зла и добра, запреты, угрозы, совесть, мифы, религию, утопии, государственность, неизбежность, кары и, безжалостные наказания. Человек предпочитал не превращаться в совершенного человека, не создавать совершенных обществ,

не вести совершенное хозяйство.

Красота, конечно, местами и временами спасала и спасает мир человеческий, как и самого человека, а вот уродство разноликое мир этот, как и человека этого, с явной с их стороны попустительной признательностью упорно и обильно окормляло и окормляет.

Наделенный вообразительным сознанием, человек способен, в отличие от обычного животного, самостоятельно и по-своему проектировать свою жизнь, но, оставаясь при этом животным, человек не может расстаться с животным началом, а в исполнении человека и зверским, предпочитая для себя если не прямо зверские, то определенно порочные в сакральном измерении варианты жизнеотправления. Это во-первых. Во-вторых, человек, не будучи только животным, стремится к чему-то *иному*, как раз к тому, чего нет в земном мире, в природе, а потому созидает что-то неземное и неприродное, переходя от одного им искусственно созданного к другому. Если сопоставить вместе неприродное сознание и неприродную животность, порождающие особого рода метафизическую порочность человека, а также природность необходимых воспроизводственных потребностей и возможность проективных неприродных конструктивно-потребительных устремлений, то получается сложная, крайне противоречивая, раздорная и раздольная, с неизвестной заданностью и неразгадываемой конечностью базисная физико-метафизическая матрица человеческого хозяйства, как и любых встроенных в человеческое бытие людских деяний.

Неизвестно как, почему и зачем появившийся на Земле человек, воспроизводя себя по-природному, производит при этом вовсе не столь необходимую ему для воспроизведения неприроду — *искусственный мир*, делая это вроде бы для себя, по велению и потребности своего сознания, но не зная и не сознавая определённо с какой последней целью, зато успешно достигая ряда промежуточных целей — благополучия, ленорабства и угрозы самоуничтожения. Творя свой собственный мир, человек идёт по границе между сетом и тенью, миром и бездной, то ли стремясь навсегда уйти от тени и бездны в горные вершины (в сверхмир, куда, возможно, он и должен когда-нибудь придти), то ли, наоборот, навечно вогнать себя в тень и бездну (в предмир, откуда, возможно, он когда-то и вышел).

И надо отдать должное смелости, а может попросту отчаянности, человека, последовательно отрицающего данный ему мир ради мира ему совершенно неведомого. А был бы человек совершенным, как, к примеру, тот же муравейчик, то ничего событийно-исторического в его жизни не было бы. Вот поэтому-то и не муравей человек, хоть и негодяй он, и зверь, и убийца, но зато... строитель... и не муравейника вовсе, а *неизвестного мира*.

Сознание — знание, но сознание ведь и не незнание тоже, а что тут ценнее — знание или незнание, причем вполне осознаваемое незнание, кто знает?

А где вот такое осознаваемое незнание, там и... нет, не наука, как конечная истина, не философия как самоуверенное поучение, даже не религия как табельное вразумление, а... *мудрость*, можно даже сказать — *Мудрость*, которая ни наука, ни философия, ни религия, а... пустота, ничего, нуль, ибо молчалива она, удрученна, скужена, хоть и не испуганна, не угрюма, не зла. София — молчание, хоть и не загробная тишина, она сродни немотству, хоть иной раз и весьма красноречивому. София — не красота вовсе, хоть и тяготеет она к красоте, не совершенство, хоть и признает стремление к совершенству, не тупая благодать, хоть и не брезгует благорасположением. София не так истина, как правда, а потому она не так желанна, как вынуждenna, не так выразительна, как иносказательна, не так словесна, как попросту данна.

Вот и воспринимается София не всеми «людьми», далеко не всеми, да что говорить — единицами, по преимуществу юродивыми, теми, что не от мира сего, философами-чудаками, не слишком разумной, вполне и интимной, философией.

София вовсе не оторвана от реальности, хотя сама по себе она чистая ирреальность, данная и даваемая высшей неизвестностью миру, жизни, человеку. София сродни всему предшествующему, тому, чего еще нет, но что либо будет, либо возможно будет, о чем сказать до поры ничего или почти ничего определенного нельзя, хотя кое-что всё-таки можно пророчески нежданно-негаданно уловить и даже иносказательно ни с того ни с сего выказать. Однако София и в самой текущей реальности, а не в одном только ей предшествовании, что не значит, что вся реальность софийна, ибо она в то же время и антисофийна: реальность

ведь и от материи, от природности и животности, от жизни, от человека, которые, надо особо заметить, не состоялись бы вовсе, будь они только от Софии.

София не от антисофии, как и антисофия не от Софии, но никакой Софии не было бы, не будь антисофии, как и наоборот.

Полностью софийная реальность — уже не софийная реальность, а всего лишь бессофийная реальность. Так что София не открывает пути к совершенству, она лишь поддерживает стремление к совершенству, следственno, и к *иному*, без чего нет ни мира, ни жизни, ни человека, ни всего того, что называется индивидуальностью, социумом, государством, культурой,нацией, цивилизацией.

Одно дело «шарахать» наобум, как придется, совершая пробы и делая ошибки, чего-то вдруг неожиданно добиваясь; другое дело вершить что-то заранее обдумывая, воображая, проектируя, предвидя возможные ошибки и их, по возможности, не допуская, добиваясь в итоге всего или почти всего задуманного; совсем же другое дело идти по жизни, может, и «шараша», и верша, но с учетом неизбежной неизвестности, в немом и непрерывном с нею диалоге, в контакте с молчаливой Софией, которая открывается лишь упорно шагающему — осознанно и метафизически — к ней навстречу.

Руководствуясь Софией, стоически стоящей за меру среди громогласного безмерия, за тихую гармонию среди звонкого хаоса, за утешительный порядок среди разнузданной стихии (не абсолютные тут, конечно, меры, гармония, порядок, а относительные — реалистичные). Можно, к примеру, не допустить разорительной войны или той же бунтарской революции, провести эффективные реформы, как и приемлемо организовать человеческое общежитие. И проблема тут не столько в невозможности познания Софии, эффективного с ней духовно-умственного взаимодействия, сколько... в нежелании человека и человечества всерьез вдохновляться Софией и вступать на софийный путь. Проблема тут не в Софии, ее закрытости и недоступности, а в самом человеке, старательно избегающем спутывающего-де его софийного благорасположения.

Благо, польза, выгода, удовлетворение, довольство, накопление, обогащение, гедонизм, гламур, порок, упрощение, оправдание, ложь,

игра — все это куда как милее человеку экзистенциальному, чем софийное добро, мера, самоограничение, ответственность, аскеза, возвышение, мораль, правда.

Нельзя сказать, что человек, и весьма многий человек вообще не-софиен, но по преимуществу же своему — человек более всего антисофиен, что не значит, что он совсем, непременно и навсегда плох и подл, но что значит, что он все-таки не слишком хорош и не очень возвышен, а главное — не так уж он умен, рационален, ловок, в общем — он более всего какой-то получеловек, предчеловек, может и недочеловек. И ежели не избежать человеку деятельских несุразиц, как и не избавиться ему, видно, от порочности и несовершенства, но от самоистребительного падения-то можно же как-то отпрянуть... или все-таки нельзя?

Хозяйствовал человек многие века, искал, строил, лепил старательно свой искусственный мир, а вылепил в итоге... мир-самоубийцу, против самого создателя вдруг и восставшего. Как восстал когда-то христианизированный европеец против Господа Бога, Христа, Святого Духа и Софии Премудрости Божией, так теперь мир человеческий восстает против своего создателя, как и сам человек восстает против самого человека, причем не так в междуусобице, как по самой сути своей и по сути своего же мира. А это уже вопрос уровня Софии, а не человека как такого: «Быть или не быть?»

Лишь дивиться приходится тому, насколько прозорлива была в изначалье христианства София Премудрость Божия, поместившая в софийную книгу свою кое-какие горькие пророчества, среди которых самое достойное место, причем заключительное, занимает Иоанново «Откровение». Апокалиптические кони, может, и антисофийны по своему метаморфическому мотиву, но зато насколько они софийны по своему метафизическому смыслуизвержению. Это сама София в образе коней выступает перед ошарашенным от собственных деяний человеком. И не понимает ничего во всём этом человек, и путается, и страшится! И пытается закрыться рукою от ужасных видений, отвернуться, забыться и... не думать, не думать, не думать..!

Вот и от софийной философии старается улизнуть, и ту же философию хозяйства не заметить, и великих русских мыслителей подержать поболе за горизонтом — авось пронесет!

Однако жизнь продолжается и уже охваченный субстанциальным безумием мир (не путать субстанциальное безумие с простым сумасшествием!), кажется, уже созрел для большой общемировой, если не вселенской, коллизии в духе какого-нибудь Армагеддона.

И уже женщины пришли в большую мировую политику, и развязывают уверенно новые колониальные войны (одна американка покорила Сербию, другая вторглась в Иран, третья «лечит» Ливию, а их славная предшественница с туманного Альбиона прямо-таки разгромила в пух и прах обнаглевшую от национализма аргентинскую военщину). Женщина — не мужчина, она куда решительнее, радикальнее и последовательнее. Недаром мужики-прозорливицы заговорили в XX веке об инфернальной роли женщины... в судьбах великих мужей. А теперь вот и всего «мужского» мира. И женская литература тут как тут, и женская болтовня на телевидении и женская крикливая эстрада, не говоря о повальных женских изментах мужчине, семье, материинству. А ведь это признак, ох, какой показательный признак — торжество маскулизированной феминистки (феминогендера!) над феминизированной маскулиной (маскулогендером!) — как характернейший признак и ядовитый призрак уже последних времен.

Нет, София вовсе не женская ипостась Бога, даже и не какое-то женское начало в Боге; София — внеполовое качество Бога, это его личная внегендерная эманация; разумеется, Бог может наделить софитностью и женщину — да и разве мало было в истории человеческой и сегодня есть мудрых женщин, по-своему, конечно, мудрых, по-женски, но и по-общечеловечески тоже; разве Богоматерь не мудра, а мать (мать!) любого сына, любой дочери? Мудрость на то и мудрость, чтобы не быть ни мужской атрибуцией, ни женской, а быть присущей, ежели Господь позволяет, что мужчинам, что и женщинам.

София — прерогатива Бога, но она и принадлежность, по велению Божьему, человека — человека вообще!

Человек и мир человеческий, отгородив себя от Софии Премудрости Божией и положившись на свою собственную... э-э... всего лишь от-ума-разума-интеллекта самонадеянность, впали в конце концов в это самое субстанциальное безумие, отличающееся не сумасшествием как

таковыми, ибо все передовики земные вокруг умны, расчетливы, проективны, а неуклонным продуцированием... *антимира* в мире и *античеловека* в человека, казалось бы, никак человеком-демиургом не предусматриваемых.

Теряя связь с Небесной Софией, человек утрачивает и свою собственную мудрость, все более отдавая себя во власть... инфернального безумия: разве не безумны ныне города-мегаполисы, искусство, литература, телевидение, Интернет, аэропорты, АЭС, автобаны, одиночные кругосветки, торгово-развлекательные центры, шоу-позорища, спорт, наука, философия, политика, университеты, цветные революции, производство, предложение, спрос, потребление, гедонизм, гламур, изобилие, избыточность, деньги, финансы, доходы, цены, богатства, наркота, гей-парады, та же фемина, гендеризм, инфантилизм, в общем — не многовато ли вокруг этого субстанциального безумия, которое уже не отклонение, не исключение, не случайность, а... вполне нормальная норма?

Этот безумный, безумный мир! — и это при явном доминировании ума, знания, расчета, математики, информатики, кибернетики, синергетики! Безумие везде и всюду, оно в изобилии и в избытке, это уже не безумие в мире и в человеке, а не что иное, как *мир-безумие* и *человек-безумие!*

Так было всегда, заявят нам модернисты-прогрессисты и разные учёные доброхоты, ничего нового, но зато жизнь теперь в физическом отношении несравненно легче, а в метафизическом — куда как занимательнее. Да, согласимся мы, это так, но никогда ранее планетарный мир не был столь освоен человеком, как и никогда ранее человек не обладал столь масштабным и столь целостным миром собственного изготовления — тоже планетарным, даже и ближнекосмическим; никогда ранее человек-демиург не стоял над миром столь высоко (прямо-таки как Бог) и никогда ранее судьба мира не зависела столь прямо и сильно от воли, решений и ошибок человека; никогда ранее мир человеческий не был столь уязвимым и рисковым как сейчас, хотя и зависел от природы, её дерзких состояний и неожиданных капризов; никогда ранее под весь мир и само человечество не был подложен столь мощный заряд самоуничтожения; никогда ранее человек не чувствовал столь сильное ограничение

по будущему, которое всегда воспринималось как обширно беспредельное; никогда ранее человек не ощущал пределов и предельности всего мира и вообще человека; никогда ранее человек-демиург не был столь творчески самонадеян и делячески близорук.

Занятым своими повседневными заботами потребностями и действиями обычному человеку — что аграрию, что урбанисту, что простому трудяге, что высоколобому ученому, что успешному предпринимателю, что ловкому политику, что доходному спортсмену, что скучающему милиарию, что поникшему мужиченке, что крутой бабенке — не до высоких, еще и не слишком радостных и оптимистических, материй, что вполне понятно, объяснимо и, разумеется, правильно. Тут, как говорится, не до Софии с софиологией, даже и не до давно уже обкусанной и облизанной официально-институциональной философии. Так что, если иставить вдруг на глубокомыслие, то лишь единиц, а коли так, то что тогда на них и их глубокомыслие вообще обращать внимание? В век всеобщего просвещения и тотальной информатики никто в их сторону даже не посмотрит, не то что услышит. Вот, к примеру, финансы, юриспруденция, электроника, генетика, логистика, психологика, робототехника — это да-а!, а философия, да еще метафизическая, софийная, за-умная, к тому же еще и... русская... это-то зачем? Есть в конце концов церковь, где все ясно и без всякой мистики, а ежели и есть там что-то непонятное, то без никакой особой рефлексии на это тему, тем более, тревоги. Так что не быть ныне ни глубокой философии, ни напряженного философствования, за исключением разве отдельных эпизодов, общей картины никак не меняющих.

Софиология — это не столько учение о Софии, которая может быть воспринята и без всякого учения, сколько возможность размышлять, а потом и действовать, в соответствии, а то и вместе, с Софией, под её присмотром и опекой, но с условием взаимного доверия. София не так эталон, как маяк, ориентир, критерий, ключ. Не столько читать надо Софию, сколько думать вместе с нею, вовсе не будучи ее иждивенцем, а скорее, со-участником, со-разумником, со-мыслителем. И всегда помнить, зарубив себе на носу, что София не прощает легкомыслия, самоуверенности, дурости, не говоря о лжи, обмане, фальсификации. Шутки с Софией плохи!

Софийный философ признает не безоговорочный авторитет Софии, а ее несомненное смысло-понятийное величие — величие неведомой, хоть и являющейся и обозначающейся, истины; он сознает, что есть что-то, чего он не знает и знать не может, но с чем он должен считаться в своих раздумьях и действиях; человечность — это очень много, но это не все, а потому есть что-то, что выше человечности, что не относительно, а абсолютно; София абсолютна, но она является в относительном мире, в нем присутствует, окормляя и относительное существо, называемое человеком; взаимодействуя с Софией, человек размышающий не только обогащает себя, взыскав возможность быть м-удр-ее, у-мер-енне и у-вер-енне, а потому правд-ивее и прав-ильнее.

Софиология — возможность быть ближе к истине, к мере, к божественной, а не чисто человеческой реальности.

Софийная философия не окажется на стороне капитализма, хотя и не отвергнет вовсе частной собственности, частной инициативы, товарообмена, денег, как не станет и безоговорочной сторонницей социализма и его преклонением перед общественностью в ущерб личному и частному; не станет софийная философия ни ярким адептом гуманизма с либерализмом, ни шальной провозвестницей тоталитаризма с диктатурой; не стоит ожидать от софийной философии одобрения глобализма, как и восхищения тем же оголтелым национализмом.

София не любит крайностей, на не приветствует ни тот же крайний гедонизм, ни тот же крайний аскетизм, не одобряет она ни религиозный фанатизм, ни безрелигиозный фатализм, ни самонадеянный атеизм. София на стороне целостности, разнообразия, цветущей сложности, упорядоченности, меры, но никак не мертвящей системности. Приветствуя жизнь, София стоит за перемены, но за органичные жизни перемены, способные её усовершенствовать и возвысить.

София не только высший, трансцендентный, чистый источник истины, текущий откуда-то извне, но и, будучи свидетельствующей судией человеческой реальности, она служит и источником критериальной, оценочной и функциональной справедливости. И это заставляет Софию не только твердить о сакральном благе, различая абстрактные добро и зло, но и иметь конкретные суждения о вокруг в земном мире происходящем, о реальных намерениях, действиях и устремлениях человека —

этого отнюдь не такого уж софийного, во многом и антисофийного, существа.

Русская софийная философия, частью которой является и философия хозяйства, имеет свое мнение о человеке, человеческом мире, человеческих свершениях. Мнение это не самое одобрительное, хотя и весьма «понимательное». О восторженном восхищении тут говорить не приходится, ибо слаб человек, зловреден и порочен, но нет здесь и высокомерного осуждения. Здесь более всего сожаления, но никак не неприязни. Да, критична, строга, разоблачительна, но при этом и страдательна; она вовсе не отвергает заблудшего человека, а пытается обосновать возможность иной экзистенции, которая уже указана Софией и весьма известна человеку, но которой человек, не совершив всего им самим произвольно задуманного, следовать никак не желает. Русская софийная философия, существенной частью которой является философия хозяйства — *философия иного*, — как иных обо всем мирском представлений, иных человеческих ожиданий и интенций, так и иного пути в будущее.

Русская софийная философия не была устремлена в русскую революцию, хоть и не стояла за сохранение самодержавия, отходившего в прошлое; она не только не одобрила социализм, но и, исходя из его цепостно-стратегической невозможности, предсказала ему скорую гибель; не выступила она и на стороне большевизма, за что была наказана изгнанием, забвением и умерщвлением; не обрадовалась эта философия, уже более всего в лице новой философии хозяйства, как крушению СССР и советского социализма в ходе и по итогам элитарной и массовой измен, так и воцарению ельцинизма с его отвратительным имморализмом, гнуснейшей приватизацией и резким падением России в вязкую инфернальную жижу, не способна признать эта философия ни возникшего в итоге необуржуазной реформации 1900—2000 гг. строя произвольной — финансовой, административной, корпоративной, сетевой, информационной, пиарной — деспотии, ни попыток нынешней власти стабилизировать и даже модернизировать, а не коренным образом перестроить, этот уникальный по своей имманентной сути строй, вовсе по человеческим меркам и не легитимный.

Не глобализированный неокапитализм с лукавым неолиберализмом и конспиративным неоколониализмом нужен России и всему миру,

а самый что ни на есть естественный, гуманистический, социальный и экологический *солидаризм*, когда солидарное в разнообразии и разновариации человечество находит эффективную возможность взаимоприемлемого для всех людей, народов и рас существования, сопровождаемого совершенствованием и развитием.

Нам непременно возразят, что это, мол, не более, чем очередная утопия в духе того же раннего социализма, еще не освободившегося от христианской идеологии. Но мы не будем спорить, а лишь укажем на то, что иного выхода у человечества попросту нет, даже если оно овладеет нескончаемыми источниками энергии и научится выращивать массы человекоподобных работников и менеджеров. Мало того, мы укажем и на то, что человечество, не устроив высокорисковой, если не окончательной, катастрофы — откровенного Апокалипсиса с не менее откровенным Армагеддоном, вовсе ничего из выказанного софиологией не поймет и не унаследует.

Софийная философия не только не отличается самоуверенностью и легковерием, а исходит из горькой в общем-то реальности, не позволяющей ни идеализировать человека, ни надеяться на его какой-либо благородный и эффективный переустroительный проект.

Судьба человека, может, и не полностью в его руках, но нельзя сказать, что человек к сотворению своей судьбы не имеет никакого отношения.

Софийная философия, составной частью которой является философия хозяйства, как, собственно, и наоборот (!) — не откровение Божие, а откровение человеческое, однако совершенное на траперсе и в направлении Божием, как и, надо полагать, по Господней интенции, при непосредственном участии Софии, а потому участь такой не совсем человеческой философии хозяйства известна — быть широко не признанной и в общем-то отвергнутой самодостаточным человеком, а ежели вдруг и счастливо просиять, то уже в самом конце последних времен!

ОБРЕТЕНИЕ

Он долго искал нужную ему книгу и, не найдя, написал свою.

Современник

Его можно было бы назвать учёным, философом, мыслителем, даже и мудрецом, но только не интеллектуалом, — завезённый из-за рубежа новомодный интеллектуализм, оснащённый вездесущей эрудицией, безошибочной памятью и скорострельной сообразительностью, не был ему свойствен, мало того, был ему в общем-то противен, как бывает противен правильный, но почему-то мертвящий душу постмодернистский евроремонт совсем не по-дизайнерски подновляемому, но отчего-то животворно благодатному традиционному жилью.

Всё начиналось для него, как и для всех сынов новейшего времени, с науки, той самой науки — для него по большей части гуманитарной, которая уже не одно столетие безраздельно господствует во всём просвещённом всё той же наукой мире, не оставляя без своего внимания и его родное отчество.

И вот это-то родное отчество, не единожды подвергнутое сциентическим подновлениям, остановилось вдруг — после удачно сделанного антируссского переворота — на крайне научном, вполне и маргинальном, мировоззрении — марксистском, ухитрившемся подчинить себе не одну гуманитарную науку, но и философию тоже, причём с полнейшим отвержением религии, — и пришло молодому пытливцу сначала осваивать глубоко и всесторонне претенциозный марксизм, а затем долго и мучительно его преодолевать, перестав заодно испытывать пытет и к самой по себе науке, завороженной возможностью обнаружения конечных истин и ловко выверенных соотношений.

После ряда вполне незаурядных попыток скорректировать и усовершенствовать разнуданный сциентизм, ставший к тому моменту уже вполне ритуальной принадлежностью, отягощённой материализмом, механицизмом, рационализмом и физикализмом ноосферы, повзрослевшему умнику ничего не оставалось, как устремиться в иные веси,

отвергнутые и не обработанные, к счастью, научной каббалистикой, однако не для вытаскивания оттуда на Свет Божий изрядно уже потрёпанных временем незыблемых истин, а ради нахождения новых мировоззренческих разрешений, не чуждых и упорно раскручивающейся вокруг гуманитарной апокалиптике — вольных и откровенных!

*И много плакал о том,
что не нашлось достойного
раскрыть и читать сию
книгу, и даже посмотреть
в ней.*

Откр., гл. 5, 4

Раздел I

ОТКРОВЕНИЕ

Выход за пределы гуманитарной физики, которой по сути и является вся гуманитарная наука, пусть и филиально особенная — страннофизическая, с неизбежностью сопряжён со вступлением в сферу гуманитарной метафизики, а поскольку метафизика близка более всего не науке, а философии, — как раз той самой — собственно философской философии, а не мертвячки онаученной, — то на передний план здесь выходит как раз философия — гуманитарная философия, однако уже новая философия.

1

Философия — вовсе не только кем-то и для чего-то обобщённое и обобщаемое знание, тем более не наука наук; философия — это прежде всего знание-размышление о надёжно, хотя и не нагло, сокрытом, куда человек может проникать только посредством воображения, однако подготовленного, нацеленного и ответственного, причем, как правило, внезапно проявленного — иной раз и как самое откровенное откровение!

Недаром ведь философия связана с *софией*, с *мудростью*, а не с одним лишь исследовательски, экспериментально и логически добываемым знанием.

Будучи знанием знания, или знанием о знании, философия есть всё-таки по преимуществу особого рода самостоятельное знание — знание незнания и знание о незнании, которое даётся, если не даруется, совсем немногим.

Знатоков философии великое множество, творцов же — единицы!

Единой философии нет, хотя есть, разумеется, некая совокупная философия — как свод философских знаний, но зато есть разные философии — от каждого философа-творца хотя бы по одной!

И ежели наука, в том числе и гуманитарная, требует железной логики, общих и вполне признаваемых истин, чего, правда, отнюдь не всегда и не во всём достигает, в особенности гуманитарная, немало путаясь в точках зрения, определениях и заключениях, то философия довольствуется более всего набором... мнений, совсем не обязательно и строго взаимообусловленных.

Не логика господствует в философии, а *металогика*, или скрытая логика, нелогичная логика, пожалуй, что и *сверхлогика*.

И всё это потому, что философия имеет дело с *трансцендентным* — сокрытым, неявным, неберущимся, лишь металогически как-то улавливаемым.

Философия в ядре своём — весть о неизвестном, а потому в ней бытуют не столько конечные истины — как в науке, тщательно подтверждённые опытом или ловко доказанные, сколько похожие на истину... образы, вдруг выплыvшие из глубин сознания, иной раз и из очень тёмных, как бы поднятые наверх, на свет, уже осознанно воспринятые.

Читать науку — что-то попросту узнавать, включая в основном ум и память, читать же философию — что-то непременно воображать, напрягая не так уже организм свой, как бытующий в организме трансцендентный дух!

Философские истины (эти «софийки»!) даются-даруются немногим, как правило, обладающим обширными познаниями, но при этом и немалым житейским опытом — по-особенному сформировавшимся сознанием, когда истины эти не берутся откуда-то и не формулируются в ходе наблюдений и правильных рассуждений, а как-то сами высекаются из темнот человеческого нутра, сопряжённого каким-то таинственным образом с нутром всей мировой реальности.

Философское знание — не внешнее, взятое, выведенное, а внутреннее, извергнутое, словленное.

Наука всё более о непознанном, но так или иначе познаваемом, философия же — о непознаваемом, но всё-таки узнанном!

Вот почему научное открытие — открытие запертого, философское же откровение — проникновение в запертое.

Явления факты, отношения и системы — по преимуществу науке, — а вот сущности, смыслы, мотивы и идеи — философии!

Для науки важно отрицание философии — как неопределенности и ненужности, для философии же важно лишь преодоление науки — как ограниченной и поверхностной нужности!

Наука более всего от противопоставления сознания окружающей реальности, философия же, наоборот, от единения сознания с рас прострётым вокруг реальностью.

Реальность ведь исходно и в целом не научна, ибо исходно и в целом она трансцендентна.

Наука берёт реальность, её осваивает и переделывает, при этом информируя, насыщая и... упрощая сознание, философия же вглядывается в реальность, в ней проникает, образуя и обогащая сознание, его изменения.

Наука не замещает собою философии и не превращает философию в науку, а философия, не преклоняясь перед наукой, её дополняет, даже не пытаясь превратить науку в философию, не преминув при этом поставить науку на подобающее место.

И ежели гуманитарная наука, эта гуманитарная физика, обозначила в один прекрасный момент свою ограниченность и оторванность от гуманитарной же реальности, то творческий выход из столь щекотливого положения был только один — обратиться к философии, как к более подходящему этой гуманитарной реальности способу познания и отражения, ибо реальность эта попросту переполнена идеальностью и трансцендентностью, но обратиться непременно уже к философии *постнаучной и метафизической*.

Наука не схватывает трансцендентного, она его отвергает, философия же призвана к пониманию трансцендентного, его учёту и с ним взаимодействию.

Философическая — идеально-трансцендентно-мета-физическая — реальность потребовала и более для неё приемлемого знания-размышления, чем могла бы дать физическая, или физикалистская, наука, а именно — знания-размышления философического.

Реальность никак не могла уже представать перед познающим сознанием лишь в широко принятой, но уже в общем-то изрядно обанкротившейся, учёной трактовке, точнее, в сонме по сути неопределённых, фрагментарных и путанных трактовок, а более всего и без всякого удобоваримого трактирования — попросту неким вполне охотно признаваемым научным сообществом концептуальным призраком.

Если производство каких-нибудь сапог или того же мыла объявлялось согласно учёному глубокомыслию экономикой, то чем же тогда являлось производство человека или того же знания, как и самой науки?.. Выходило, что реальность, обычно рассматривавшаяся как экономика, гораздо уже и условнее того, что представляет собой разнообразная производительная реальность. Получалось, что либо не всё имевшееся в реальности производство было экономикой, либо производство вообще и экономика вообще... не одно и то же, что производство может быть, а экономики при этом может и не быть, что, возможно, экономика и есть, а вот в привычном понимании производства благ нет, к примеру, при совершении разных денежно-финансовых операций.

Производство вообще есть производство самого разного: предметов, энергии, услуг, идей, информации, политики, учреждений, сознания, человека, мира, реальности, в общем — *всего*, в том числе и денег, и цен, и ценных бумаг, и товаров, и обмена, и бюджетов, да мало ли ещё чего, ибо оно есть производство жизни и как раз в ходе непосредственного жизнеотправления человека и общества, реализации самого окружающего мира.

Человек, жизнь, мир, их взаимообусловленное отправление — не экономика вовсе, но... но... что-то другое, вбирающее в себя экономику, — при этом независимо от её прихотливых трактовок, — но к экономике как таковой не только не сводящееся, но далеко за её пределы выходящее. Что же это такое, ежели не собственно человек, жизнь, мир, их взаимообусловленное отправление?

И вот тут-то... — о-о, озарение!.. — в сознании вдруг вспыхивает

вполне известное, скромное и невероятно ёмкое словечко — *хозяйство*, да-да, именно так — *хозяйство!* в поле-смысловые рамки которого всё сразу и укладывается: всё направление и всё производство, все блага, как и все антиблага, все предметы, энергии, услуги, идеи и прочее, прочее, что есть и действует в человеке и в связи с ним, в жизни, в мире, что имеет отношение к реализации человеческого бытия, его всестороннему осуществлению, причём непременно инициационному и действенному, исходящему из какого-нибудь инициативного, да еще и субъектно выраженного центра. Хозяйство не отделимо от *хозяина* и *хозяйствования*, оно всегда не только самопроисходящий процесс, но и производимое действие, у которого всегда есть цель, намерение, мотив, а главное — *субъект!*

Вот и выходило в конечном итоге, приняв во внимание большой — обширный и целостный — предмет — *хозяйство* и большое — обширное и целостное — познание — *философию*, не что иное, как *философия хозяйства*, которая есть не философия жизни вовсе и не та же философия деятельности, а *философия жизни как деятельности*, мало того — как *действия*, а потому и *философия творения, творящего и творимого*, но и *созданного* тоже.

Да-а, воистину большая это философия — *философия хозяйства*, ибо в Творении участвуют и Господь Бог, и Природа, и Человек, а само Творение есть творение мира, а мир есть мир сотворённый: со всеми своими атрибутами — материальными и идеальными, физическими и метафизическими, всеми реалиями и ирреалиями, возможностями и действительностями, доступностями и сокровенностями, со всем своим прошлым, настоящим и будущим!

2

В философии хозяйства всё восходит к *человеку* — живущему, действующему, творящему. Не к благу как таковому, не к товару, не к потребности, не к труду, не к затратам чего-либо на что-либо, не к эффективности, не к творчеству, не к отношениям, не к системам, не к информации, не к законам, не к той же нравственности, даже и не к Природе и не к Господу Богу, а именно к *Человеку*, без которого ничего, собственно, и нет, а всё что есть — это как раз не что иное, как

сам человек, да-да, именно так — *Человек*, включая все сразу — вплоть до Природы и Господа Бога.

Уберём хотя бы мысленно человека и что остаётся? Вот именно — ничего!

И какое нам — человекам — дело, что помимо нас есть космос, планеты, звезды, космическая пыль, ангелы, демоны и даже сам Господь Бог? Правильно: никакого!

Пока есть человек, пока и есть всё: жизнь, мир, природа, Бог, языки, хозяйство, философия, наука, цивилизация, смерть, в общем — *всё*, даже и философия хозяйства есть, которая как раз всё это и учитывает, но, не умоляя важности и нужности всего физического, она, правда, тяготеет более всего к метафизическому — уже по той простой причине, что человека к физике никак не свести, не говоря уже о всех людях, об обществе, о социуме, о человечестве в целом, как и о природе в целом, о мироздании в целом, наконец, о Господе Боге, но уже не в целом, а прямо по частной сути своей — Бог совершенно метафизичен, неприроден, иномирен, трансцендентен, хотя и способен ко всякого рода физическим воплощениям, к природности, сеюмирности, имманентности, но тут уже не суть впереди выходит, а всего лишь форма.

Человек физичен, что и бросается сразу в глаза, но... он и метафизичен — со всеми своими сознаниями, языками, знаниями, общениями, отношениями, законами, институтами, со всей своей ноосферой, которая как раз и есть сфера сознания, присущего человеку и людям, ими реализуемого.

Человек природен, что тоже весьма бросается в глаза, но он в то же время и... неприроден, ибо... *знает* (обладает знанием), причём знает, что есть природа, а в ней он — человек, и не в равновесии он с природой, и не довольствуется ею, а переделывает, создавая из природы что-то уже не-совсем-природное, и имеет свой воображаемый мир, которым живёт, ставя его ещё и впереди природы, предусматривая, проектируя, устремляясь в просматриваемое внутренним зрением будущее, а главное, знает человек, что есть ещё и другие миры, что Господь Бог есть, а сам он — человек — продукт Божий, ещё и прямо по подобию Его, а потому и божественен в чём-то, что без всего этого он — человек — и не человек вовсе!

Так что метафизика человека — вещь принципиального порядка: нет этой самой метафизики и человека нет, вовсе нет, а есть... э-э... знаете ли, животное, зверь, какое-то существо живое, но уж никак не человек. Вот почему не оторвать человека от метафизики, а метафизику из человека не изгнать, даже и посредством строгой и бескомпромиссной науки. Не научное только это существо — человек, а более всего метааналитичное, философическое, а потому более всего не экономическое в путаном научном понимании, а *философско-хозяйственное*.

Философия хозяйства человеку вдвойне органична: как порождение сознания и как принадлежность самого феномена человека, что делает философию хозяйства не просто продуктом сознания человеческого, но и её — этого сознания — непосредственным атрибутом. Отсюда не просто выдумывание человеком философии хозяйства, а её прямое из человека истечение. Отсюда абсолютная адекватность философии хозяйства феномену человека, убедительное подтверждение её целостности и полное оправдание необходимости.

Человек для философии хозяйства — *хозяйствующий субъект*. Не действующий только ради потребления организм, как и любое в природе животное, а именно *субъект*, наделённый неприродным (сверхприродным) сознанием и способный действовать в неприродной (сверхприродной) среде — ноосфере, и к тому же субъект именно *хозяйствующий*, обладающий возможностью делать то, что не предположено природой, создавать неприроду (сверхприроду), творя неприродный (сверхприродный) мир, хотя от природы в силу своей физичности насовсем и не отрываясь.

Субъект — организм, но организм *знатоющий*, а хозяйствующий субъект — организм, *знанием обладающий, его обретающий и применяющий*. Животные не хозяйствуют, а лишь действуют по виду хозяйственно, согласно природной предопределенности, возникшей, возможно, и не по природной причине, но за природные пределы всё-таки не выходящей; человек же может действовать вне природной предопределенности, имея свою собственную и во многом произвольную предопределенность, а потому он не просто действует по виду хозяйственно, как любое животное, но и по самой сути *хозяйствует*.

В действиях человека, разумеется, немало схожего с действиями

животных, как и наоборот, но человек *знает*, что он это *он*, что он *делает*, как и то, что он делает, реализуя при этом не столько инстинкт свой, сколько своё *знание*, а вот животное, увы, ничего такого не знает, а потому и не обладает никакой относительно своей природы деловой свободой — *творчеством*, а без творческой свободы никакого в полном смысле слова хозяйствования нет, точнее, нет его в полной, адекватной самой себе достаточности.

Феномен хозяйствования — сначала феномен свободы делания, а потом уже феномен сопутствующей этой свободе, часто и производной от неё, несвободы.

Хозяйствование — феномен проективный, всегда сопровождаемый виртуальным (в сознании, в уме, в воображении) проектом, опережающим любое фактическое делание, хотя многое в практической жизни человека делается как бы автоматически, почти что неосознанно, но здесь имеет место не отсутствие сознания или его отключение, а всего лишь перевод виртуальности в сферу подсознания, где ранее осознанное попросту смыкается с инстинктивным, которое, конечно же, тоже свойственно человеку — этому тоже ведь природному живому существу.

Хозяйствование — явление в чём-то непременно внеприродное, каким по существу является любой замысел человеческий, всегда как бы опережающий природу, её дополняющий, а во многом и отрицающий. Без такого многоуровневого замещения природы неприродой нет и не может быть собственно хозяйствования — этого осознанного, неприродного в природе, действия.

Как сознание по сути вне природы, так и хозяйствование по сути вне природы, но то и другое сцеплено с природой и природным по исполнению организмом, а потому и осознанное хозяйство обречено на взаимодействие с природой и необходимопотребную природность.

И все-таки определяющими в хозяйствовании являются сознание, виртуальность, творчество, т. е. то, что не от природы, а от сверхприроды, от внеприроды, от иного, следственно, от того, что принято называть Богом, как раз и создавшим человека по своему неприродному подобию, а вот для чего? — это уже, как принято говорить, одному Богу известно!

Вот и хозяйствует человек по своему усмотрению, взаимодействуя

с природой, с ней согласуясь, но ей же и противодействуя, — и в хозяйствовании своим человек достиг очень многого, создав уже свой собственный, совершенно человеческий, округлённо целостный, вполне уже противостоящий всей земной природе, мало того, выходящий настойчиво и безгранично за её пределы, устремлённый во внеземное космическое пространство, в бесконечность и неизвестность.

Хозяйствование всегда было и остаётся феноменом трансцендентным, ибо, несмотря на все свои знания и опыт, человек в итоге всегда не знает до конца, что и для чего он творит, — и это *знание незнания* тоже есть особое достояние человека, отличающее его от любого другого живого существа.

От реальности, однако, никуда не уйти — человек натворил *столько* всего и *такого* всего, что уже поставил под вопрос... собственное существование. Силён, могуч, креативен, а вот способен вдруг распытаться, раствориться, исчезнуть, если и не по своей осознанной воле, то по своей же своевольной инициативе, причём не только исчезнуть с лица Земли, но и из космического безграничья тоже!

Вот тут-то и появляется философия хозяйства, как раз и призванная осмыслить неожиданно возникшую великую *хозяйственную коллизию* (не социальную, не политическую, не экономическую, не демографическую, даже не как таковую экологическую, а именно и прежде всего *хозяйственную*, делательскую, творческую) и осмыслить под углом и под знаком не просто жизни, а самого что ни на есть реального, хоть и весьма уже проблематичного, *спасения* — не более и не менее!

Нет, большой учёный мир философией хозяйства не захвачен, да и как, собственно, это могло случиться, ежели всё сотворённое и творимое человеком у философии хозяйства под сомнением, на подозрении или же в прямом отрицании? И вполне закономерно, как и законно, философия хозяйства сама оказалась под сомнением, на подозрении и в отрицании, ибо только таким мог быть ответ большой науки на то *великое экзистенциально-интеллектуальное смущение*, которое несёт с собою и в себе философия хозяйства.

Да-а, философия хозяйства, конечно, когда-нибудь победит, но победу эту ей никто из правильных и уверовавших в человека творящего

без боя не отдаст — не отдавать же под остро критический обстрел с такими трудами нажитое!

3

Выходит, что философия хозяйства, соприкасаясь с наукой и философией, сама по себе менее всего наука и не очень-то философия, а по сути своей что-то третье, во всяком случае, особенное — не отрасль науки (физики) и не отрасль философии (ни философии как философии, ни философии как науки наук, ни философии науки, ни той же философии физики).

Это никак не наука о хозяйстве и даже не философия о хозяйстве, это что-то другое — не знание от знания ради нового знания, а знание непосредственно от реальности ради восприятия-понимания самой этой реальности.

Если это даже наука, то наука более *от* хозяйства, чем *на* хозяйство, если же это философия, то философия более *от* хозяйства, чем *на* хозяйство. Здесь не так систематическое познание, как внезапное откровение, не так тягучее разбирательство, как проникновенное постижение, не так изъявление мысли, как ухватывание смыслов. Отсюда, может, и наука, да не такая, как любая вообще наука; отсюда и философия, да не такая, как любая вообще философия.

Вот почему это более всего самостоящее специфическое знание, причём не так собственно знание, как знание-размышление, не пренебрегающее вовсе ни наукой, ни обычной философией, но выходящее за пределы как науки, так и собственно философии, и уже там, за этими пределами, на гносеологической воле и расцветающее.

Вот она — *метанаука*, вот она — *метафизика*, а в известной мере и *метафилософия*!

Долгое время человек жил и творил в природе и преимущественно по-природному, реализуя в основе и в главном *натуральное хозяйство*. Либо природа сама давала человеку необходимые ему потребительные блага, либо человек добывал потребные ему блага сам при пособительном участии природы, либо же человек понуждал природу доставлять ему необходимые блага через посредство его же собственного труда. Так или иначе, но хозяйство человека было явно оприроденным, натуральным, таким же был образ жизни человека; таким же казался и сам

человек — природным, оприроденным, натуральным.

Однако человек никогда не был в полном смысле существом натуральным (животным), а потому, будучи хоть и заметно оприроденным, человек всё-таки, неся в себе отличительную неприродную составляющую — сознание, всегда оставался и существом неприродным, а потому хозяйствование его всегда было в чём-то непременно неприродным, ненатуральным, искусственным, а потому и, оставаясь долгое время в основном и в главном натуральным, естественным, оно было при этом и не-совсем-натуральным, не-совсем-естественным.

И исторически вышло так, что эта-та ненатуральная (сознаниевая) составляющая и стала всё более преобладать в человеческом хозяйстве, делая его всё-более-ненатуральным, всё-более-неестественным, соответственно и всё-более-искусственным. Настал момент, когда хозяйство человека стало в основе своей и в главном *искусственным*, что стало весьма заметной и вполне уже необратимой явью на рубеже XIX—XX вв., когда, заметим, и вышла всей своей сигнальной значимостью и смысловой заданностью, хотя вовсе и не с содержательной законченностью, *философия хозяйства*.

И если ранее можно было говорить о философском осмыслении хозяйства, экономики, домоводства, хроматистики, производства, деяний, творчества, что, собственно, и проделывали философия с наукой, то с момента выхода на размыслительную арену собственно философии хозяйства (в сочетании, если не в неразрывном слиянии, именно этих двух слов), уже речь могла идти о философии, порождаемой как бы самим человеческим хозяйством, становящейся его прямой эманацией, из него непосредственно проис текающей.

Не сознание тут на хозяйство, что понятно, а хозяйство на сознание, но не в целях самого по себе ведения хозяйства, что тоже понятно, а в целях выведения на суд божий самого этого ведения хозяйства, осмысления и соответствующей квалификации этого последнего в контексте всего человеческого жизнеотправления, реализуемого, надо особо заметить, даже и не в контексте просто природы, а в контексте уже всего мироздания, включающего отныне и неприродный, неестественный, искусственный мир, созданный и созидаемый человеком, а также всего его — человека — неприродные, чисто уже сознаниевые и ноосферные

устремления.

Кто ты, человек хозяйствующий, что ты творишь на Земле и в Космосе, чего же ты в итоге хочешь, куда и зачем устремлён?

Вот они, трудные сакрментальные вопросы, возникающие в голове человеческой от обозрения нынешнего — как раз сплошь искусственного — хозяйства, реализуемого уже тоже по большей части искусственным человеком, те самые вопросы, которые ставятся более всего уже не наукой и не философией как таковыми, а именно *философией хозяйства*, способной всмотреться в самый очаг человеческого функционализма, в его деловую и смысловую завязь, не пренебрегая ничем в феномене человека и в феномене самого мира, обозревая их в единстве и в целостности, попадая при этом в саму сердцевину бытия, в его трансцендентное ничто.

Вот почему здесь не так много науки и обычной философии — в отличие от науки тут ничего не отвергается и не умаляется, ибо господствует гносеологическая целостность, а в отличие от обычной философии здесь более жёсткая и более плодотворная увязка с практической реальностью, разумеется, онтологически целостной.

Да, науке удаётся не только познавать материю и механику материального мира, но и по своему усмотрению переделывать материальный мир — с помощью и в пределах добытого о мире материально-механического знания.

Однако науке не удаётся уловить *идею* мира, как и *идею* человека, причём человека творящего, а без идеи ведь нет ни мира, ни человека — материя-то устроена не как-нибудь, а согласно *идее*, как и человек тоже, — и материя всего лишь материал, а механика — средство... для конструирующей идеи, ни от материи, ни от механики никак не проходящей.

Вот и останавливается наука перед *идеей*, точнее, перед *идеальностю* мира и того же человека, хотя вовсю и пользуется этой идеальностью, будучи и сама сплошной идеальностью.

Разве феномен того же сознания, следственно, и субъектности, следственно, знания и проективности, можно объяснить материально-механически? Да, камень материален и внутри себя механичен, но... что есть и откуда взялась *идея* камня? То же самое можно сказать о самой

примитивной физической частице, о любом животном и о самом человеке, не говоря уже о мире в целом. А что есть вообще идея, она-то вообще откуда?

Философия, в отличие о науки, способна признать идеальность мироздания и задуматься над самим феноменом идеи. Однако обычная философия не особенно задумывается над идеальным жизнеотправлением сознания, вполне внутренне целостным и внешне сообразованным со столь же идеальным контекстом, тем самым жизнеотправлением, которое не просто суть человеческого существования, а и его практический носитель и реализатор, его делатель.

Вне повседневного жизнеотправления, вовсе не только материального, физического, биологического, а и вовсю идеального, духовного, осознанного, творческого, проективного, еще и трансцендентного, нет ни человека, ни сознания, ни ноосфера, ни окружающего мира.

Жизнь и мир не просто есть, они не только реализуются, но и делаются, а у человека, как и Господа Бога тоже, они ещё и воображаются — постоянно, непрерывно, всемоментно.

Жизнеотправление человека — нескончаемая созидательная (и разрушительная тоже) импровизация, если под последней понимать не столько вольность бытия, сколько постоянное его «обначалование» — бытие всегда и везде как бы с начала.

Здесь имеет место и реализуется идеальная жизнеотправительная субъектность, когда всё в субъекте и из субъекта, следственно, из центра, из ядра, из точки.

Философия хозяйства отсюда и потому двойственна — это, с одной стороны, абстрагированное от текущей хозяйственной практики оценочное знание-размыщление об этой самой практике, а с другой — заложенная в самой практике действенная смыслология, ежемоментно и панпространственно осуществляемая сознанием через посредство и в рамках ноосферы.

Упрощённо говоря, есть философия хозяйства, непосредственно вплетённая в практическое жизнеотправление — как течение реальных смыслов и образов, а есть философия хозяйства, витающая над практическим жизнеотправлением — специально осознанная, выделенная из ре-

альности, на себя замкнутая, предназначенная для независимых обобщений и неангажированных разрешений.

Обе эти философии хозяйства вовсе не в отрыве друг от друга, они взаимодействуют, частично даже перетекая друг в друга, хотя одна к другой не сводимы. Активно и всесторонне ныне развивающееся концептуально-стратегическое управление, к примеру, будучи по сути своей вполне практической философией хозяйства, не может не тяготеть и к абстрактной философии хозяйства, опираться на важные для управленческой практики редкие концептуальные суждения и неординарные стратегические выводы. Такая двуединость философии хозяйства не только не мешает ей быть целостным и эффективным истечением сознания, как и органичной принадлежностью ноосферы, но и способствует более адекватной окружающей действительности и более функционально продуктивной её реализации.

4

Философия хозяйства отличается той особенностью, что её нельзя ни преподнести приятнейшим образом, как ту же грамматику, ни с удовлетворением усвоить, как ту же математику, что запросто понять её вообще нельзя, ибо в философию хозяйства надо... *войти*, причём войти непременно самостоятельно, хотя и не без возможного содействия каких-то предшественников и наставников, а вход в философию хозяйства очень и очень узок, да и само это вхождение обусловлено нетривиальным преодолением закосневшей науки и непременным выходом за пределы весьма уже зарапортованной институцинированной философии.

Предмет философии хозяйства не просто обширен и сложен, он ещё и трудно уловим, ибо по большей части своей идеален и метафизичен, трансцендентен, он чужд точности, механичности и системности, не любит порядка, законов, схем, строгих доказательств, не дружит с логикой, математикой, бесспорной алгоритмикой.

В философии хозяйства слишком много воистину неопределённого, размашистого, клубящегося — в предмете, в познании, в самом уже добытом знании, чтобы стиснуть всё это философско-хозяйственное в узкую, лимитирующую и выпрямляющую определённость, которая

по-своему и необходима, но как лишь вынужденное дополнение к неопределённости, эту последнюю никак не замещающее.

Наука, да и большая часть философии, любят всё словесно определять, категорировать, дефинировать, закреплять, в особенности при производстве учебников и энциклопедий, не сильно задумываясь над тем, что о-предел-ить обозначает и... о-предéл-ить, т. е. поставить предел — не только вынужденно определяемому, но и самому самозабвенно определяющему.

Когда определение довольно совпадает по смыслу и сложности с определяемым, то беды тут никакой нет: предел на предел, и только! А вот ежели определение заметно, если не коллизионно, уже определяемого, то в интересное положение попадает не только определяемое, но и сам определяющий — витающего где-то в ментальной вышине фантазёра, даже и не мифотворца, ибо тут уже не предел на предел, а предел на... беспределье, причём вполне реальное, действенное, живое, а потому выставленный в определении предел оборачивается вдруг незаконнорожденным беспределом — диктатурой предела, беспощадно приканчивающей не только определяемое, но и самого определяющего.

Однако расцветший повсюду, хоть и заметно уже подувядший, академизм требует определений, а потому невозможно избежать этих последних и совсем не академической по натуре и происхождению философии хозяйства.

Отсюда кое-какие определительные, они же и опорные, сентенции, которые суть и завлекательные ловушки, рождённые в пространстве философии хозяйства в угоду учёного благолепия и преподавательской изощрённости.

Вот они, эти с трудом перевариваемые натуральной культурой определения.

Объект познания и осмысления. Мир в целом. Человек (человечество) в мире. Человек (человечество) как субъект мира. Взаимодействие человека (человечества) и мира. Мир человека и человеческий мир.

Мир в целом. Человек (человечество) в мире. Человек (человечество) как субъект мира. Взаимодействие человека (человечества) и мира. Мир человека и человеческий мир.

Познаваемая, понимаемая и мыслимая реальность. Сложность, включающая в себя материальное и вещественное, духовное и идеальное, а также трансцендентное, противостоящее имманентному, экзотерическое (внешнее) и эзотерическое (внутреннее), феноменальное и ноуменальное, явленческое и сущностное, открытое и закрытое. Физис, но вместе с тем и метафизис. Литосфера, биосфера, ноосфера и спиритосфера вместе и во взаимодействии. Реальность вместе с ирреальностью.

Предмет познания, понимания и размышления. Субъективное, обусловленное и определяемое сознанием, творческое жизнеотправление человека (человечества) во взаимодействии со средой обитания (природой), человека с человеком и человека (человечества) со сверхприродным началом.

Способ освоения, воссоздания и созидания реальности. Фиксация реальности, её словесно-категориальное описание, обнаружение смыслов, в ней заложенных, познание принципов и законов её организации и реализации, установление закономерностей, для неё характерных; целостное, онтологического порядка осмысление реальности, её соответствующее словесно-категориальное отображение; выведение собственных (человеческих, из человека) представлений и смыслов, их собственная целостная организация, позволяющая создать собственную вообразительную словесно-категориальную конструкцию, не имеющую прямого адеквата в окружающей реальности, но способную предложить собственную (человеческую, из человека) ирреальность как иную реальность.

Методология познания и осмысления. Метафизические познание и осмысление метафизики бытия, не пренебрегающие свойственными бытию трансцендентностью и ирреальностью, их признающие и всячески учитывающие. Отсюда не одно лишь усвоение поверхностной явленности и моделирование взаимодействий материальных элементов и структур, т. е. физическое познание физики бытия, но и ноуменологическое (созерцательное и вообразительное) проникновение в суть реальных вещей и ирреальных невещественностей, обнаружение потаённых смыслов и логик, их ментальная организация через посредство полилектического (обратной перспективы, в системном разнообразии и единстве, расчленённости и целостности) видения сложной реальности, включающего

диалектическое видение единства взаимоисключающих положенностей (это есть не это, а то, которое не есть это, но не есть и то, а потому это есть это и то вместе, не будучи при этом ни тем, ни другим, а становясь третьим, разумеется, не этим и не тем).

Философия. Не только пронизанные трансцендентностью и метафизичностью, следовательно, и метанаучностью, а сегодня и постнаучностью, способ познания реальности и способ словесно-категориального выражения выработанного знания, как и сам образ ментального бытия, познающего и осмысливающего реальность человека, но при этом ещё и особого рода субъект и объект познания, осмысления и знания, ибо нет человека без философии, становящейся в человеке и через него собственно философским субъектом, а реальности нет без философского её наполнения, выступающего в ней и через неё философским объектом.

Исходные определения. 1. *Хозяйство вообще* — реализация всего самостоятельно существующего или любого из возможных авторитаристических существований, взятая по преимуществу со смысло-организационной стороны. 2. *Хозяйство человеческое* — субъектное, обусловленное и определяемое сознанием, творческое жизнеотправление человека (человечества), осуществляющееся во взаимодействии со средой обитания (природой), человека с человеком и человека со сверхприродным началом, взятое по преимуществу со смысло-организационной стороны. 3. *Хозяйствование человеческое* — субъектная, обусловленная и определяемая сознанием, творческая деятельность человека (человечества), обеспечивающая реализацию его жизнеотправления во взаимодействии со средой обитания (природой), человека с человеком и человека со сверхприродным началом.

Философия хозяйства. Метафизическое — метанаучное, а на сегодня и постнаучное — восприятие жизнеотправления человека (человечества), осуществляющегося во взаимодействии со средой обитания человека и человека со сверхприродным началом, человека с человеком, служащее для целостного понимания — обращаемого в знание и переводимого в размышление — исходных смыслов, целей и механизмов жизнеотправления, его организации, возможностей и результатов, а также для поиска и созидания приемлемых для человека (человечества) способов жизнеотправления, их усовершенствования и изменения, достижения

в итоге не бывшего ранее бытия — инобытия.

Что ж, вполне не стандартные и, как кажется, весьма содержательные определительные сентенции: ёмкие, строгие, неплохо сколоченные! но... но... что-то уж больно они тупы и тяжеловесны, да и не разговорчивы, в общем, не очень-то и понятны, так что вряд ли могут быть помещены в отборный арсенал учёного мироведения.

На это, собственно, нет и никакой претензии, ибо философия хозяйства имеет склонность в силу своей предметной и познавательной предвзятости довольствоваться малым — *своим*, тем самым, что рождается лишь в муках металогических переживаний, не очень-то свойственных собственно науке и научной философии.

Такое *своё* не выучивать надо, не запоминать, не повторять, а метаразмерно воспринимать, чтобы, воспринимая что-то, начать понимать, а уже потом, в ходе и по итогам обильных познаний, напряжённых размышлений и возвышающих постижений, вдруг пережить... *откровение*, согласно которому почему-то станет вдруг сразу ясно, что мир вокруг... совсем *другой*, и человек *другой*, и хозяйство, и история, и слово, и мысль... ох-хо-хо!.. всё вокруг совсем *другое*, вовсе не такое, как это представляется отлично, охотно и насищенно образованному современному — смотрящему вокруг себя и ничего не видящему, слушающему и не слышащему, много говорящему и мало что чувствующему, вроде бы думающему, но почему-то никак не мыслящему!

Вера в науку — и в самом деле действенную — не даёт немотивированного выхода к реальности, которая в приоритете своём вовсе не научна, никогда не была таковой и, смеем надеяться, не будет, включая и реальность, созидаемую человеком, вполне и научно, и проективно, и системно, ему вроде бы вполне подотчётную, но дьявольски от человека, как выясняется, независимую.

5

Ситуация была и впрямь непростой. Философия хозяйства демонстрировала особое, хоть и делала это во многом поневоле, мыслеотправление — какое-то уже *пост*-мыслеотправление, когда многое, если не всё, уже было давно или не очень давно сказано (клерикальное, философское, научное), а многое из возможного уже сделано (неприродное,

искусственное, воображенное, сотворенное), когда триумф человека хозяйствующего в целом состоялся и речь зашла уже о *пост*-природе, *пост*-мире, *пост*-человеке!

Это было явно итожащее мыслеотправление, по-судейски оценочное, приговорное, но в то же время и ищущее выхода, демифологизирующее, очищающее, стирающее не одну вредную коросту, но и саму защитную кожу, обнажающее, лечащее и перерождающее.

Уникальная то была ситуация, возникшая по итогам возрожденческого (ренессансного) и просвещенческого переустройства сознания, жизни и мира, когда обильно оснащённый всякими знаниями человек вдруг узнал, что всё, или почти всё, что он знает, по преимуществу и в главном уже... против человека и против него... *именно как человека!*

Никакой агрессии со стороны философии хозяйства, как это случилось, к примеру, с той же наукой относительно религии и философии, не было, нет и быть не могло: философия хозяйства не настроена ни против Бога, ни против Природы, ни против Человека, она вполне терпима к науке и обычной философии, лишь призывая ими не ограничиваться и осваивать иные просторы. И ежели философия хозяйства чего-то не приемлет, то не из-за своей имманентной-де агрессивности, а по причине всего лишь доступной ей возможности бесстрастного раскрытия и диагностирования любой материальной или идеальной вещи (вестий), человеком обнаруженной, осмысленной или сотворённой.

Недаром же на свет Божий явилось вдруг такое определение:

«Философия хозяйства — возможность целостного видения, отражения и отображения трансцендентно обусловленного мира, его динамики и судьбы, с учётом, на основе и через призму действующего в нём творческого сознания».

Любопытно, что даже это во всех отношениях ловкое, гибкое и толковое определение не производит никакого конструктивного впечатления на большие головы из высокой научно-философской среды, ибо головы эти не просто закрыты от металогичной реальности завесой официозного логического знания, но и очень не хотят подвергаться опасному для себя риску усомниться в достоверности привычного, легко перевариваемого и надёжно презентируемого общечеловеческого интеллектуального материала.

Страшно всё-таки задуматься, признать, расстаться с благоприобретённым, обрести новое, в общем — узреть вдруг что-то *иное*, к нему приблизиться, прикоснуться, не раз об него и обжечься, а уж потом, глядишь, с ним нежданно-негаданно... и сойтись.

А «делов»-то тут: взглянуть всего лишь на человека и мир *целостно*, ничего не упуская и не отбрасывая — во времени и пространстве, в явлениях и сущностях, в имманентности и трансцендентности, так, как это делается, к примеру, через посредство тех же православных икон — в *обратной перспективе*, когда всё сразу охватывается и схватывается, «очучаясь» как бы в одной точке, соответственно во вневременной и вне-пространственной завязи смыслов (*метасмыслов*), — вот, собственно, и всё!

Знать, конечно, надо при этом всего немало, очень даже немало, но... более всего надо уметь по-особому смотреть и видеть, правда... не внешним, а более всего внутренним зрением, как бы в себя взглядываясь, отыскивая в себе — да не в личности своей, а в своём бесконечном микромире — то самое *иное*, ради которого всё там у них, философов хозяйства, и затеяно, причём и вовсе не субъективное иное, а непосредственно ми́ровое, ко всей реальности окружающей относящееся.

Внешнее, оно же научное или научно-философское, зрение никакого Бога не видит и никогда не увидит, потому и отрицает Его, а в природе оно видит лишь материальное да механическое, то же, по сути, и в Человеке, и в Обществе, а вот внутреннее зрение... о-о!.. оно-то видит как раз... невидимое, то самое — неизвестное, трансцендентное, сакральное, оно же и идеальное, духовное, эфирное, соответственно и Бога видит (да, да, именно видит, а не просто чувствует!), ещё и Идею Природы видит, и Идею Человека, и Идею Общества, и Идею Государства, а вот сказать что-нибудь определённо внешнее обо всём увиденном не может, ибо внутреннее внешним не определяется, не отображается и не описывается, а если и делается иногда что-то подобное, то с великой долей условности, *ино*-сказательно, непосредственно и позитивно мифически.

Внутреннее зрение, скорее, даже не видит, а *про*-видит, смыкаясь с каким-то неизвестным ему *Про*-Видением, восходящим к Идее Мира — зародышу, зерну, семечку, в котором всё сразу и *пред*-есть, и из которого всё потом сразу и *есть*, ибо нет у этого зародыша ни пространства,

ни времени, ни истории, а есть лишь идея — *Идея Мира*.

Никто из смертных не знает, откуда эта Идея Мира, превращающаяся в Мир-Идею, а потому она не откуда-то, а от Создателя, от Креатора, от Бога, что уже есть неплохое знание, признающее и идеальность мира, и его сотворённость из идеального, наконец, и идеальность самого Творения.

Выходит, что есть всё-таки замысел мира — Замысел, и замысел человека в нём, а отсюда есть и действует какой-то *Великий Промысел*, в мир внедрённый и в нём работающий, всё внешнее материально-механическое себе подчиняющий, а для себя что-то внутреннее, сокрытое и неизвестное, бережно оставляющий и заботливо стерегущий.

Мир — загадка!

Всё в мире тайна!

И та же математика тайна, ещё и чудо, а ведь математика вроде бы главное орудие истины у научников: однако хитрят тут учёные знатоки, ибо, пользуясь вовсю математикой, не знают вовсе, что же это такое — математика, да не «ихняя» математика, а реальная, которая в мир, природу и самого человека заложена, наверное, не такая уж и сложная, как вымучиваемая человеком знающим, но зато... непознаваемая: «Как же это получается, если всё вокруг в соответствии, в системе, в исчислении — кто знает?»

Вот математика вполне уверенно утверждает, что дважды два, decirать, четыре, и правильно в общем-то утверждает, хотя та же математика может сообщить и кое-что иное, что дважды два вовсе не четыре, а, к примеру, три или пять, а может, и три и пять сразу, хотя подобное утверждение, скорее уже не математическое, а какое-то антиматематическое, что не противоречит вовсе самой по себе математике — есть математика, так сказать, прямая, а есть, видно, обратная, а может — математика и *метаматематика*, уже вроде метафизической математики, когда дважды два сразу и три, и четыре, и пять. Именно такая метаматематика, или метафизическая математика, и свойственна социально-человеческой, или духовно-психологической, или идеально-смысловой реальности, если, конечно, ей — этой реальности — вообще бывает потребна какая-нибудь явленная математика.

Особенность метаматематики в том, что она есть, — где-то там,

в глубине, внутри, но она не моделируема силами человеческой, а лучше сказать — интеллектуальной, математики. Вот почему гуманитарный мир хоть и обсчитываем иной раз — на феноменальном уровне, по поверхности, внешне, но никогда полностью не просчитываем, во всяком случае на уровне ноумenalном, глубинном, внутреннем, который ведь тоже есть, мало того, который в конечном счете и оказывается решающим.

Невозможность моделировать и просчитывать ноумenalную сферу заставляет науку... попросту игнорировать эту сферу, обвиняя метафизику в магии, но не стесняясь вовсю применять магию математическую, когда моделируется не реальность как таковая, а лишь удобная для математики и науки её — этой реальности — особая интерпретация, вполне иной раз и вычурная.

Что ж, настал момент кое в чём разобраться и практически, на конкретном примере, так сказать, объективно, — не довольствоваться же одними абстрактными рассуждениям, терзая ни в чём не повинную математику!

И полигон для этого подходящий есть, совершенно «прикольный», прямо-таки магический, имеющий прямое отношение к хозяйству, к человеку, к обществу, к науке и даже к той же математике, как, разумеется, и к философии хозяйства.

И полигоном этим является не что иное, как *экономика*.

6

Все знают, что такое экономика, ибо это... что-то из явно наличного, тутового, повседневного, рядом происходящего, повсюду случающегося, а главное — совершенно понятного, ибо — чего тут не понять?! — экономика это... а что, собственно, это?.. ну... наверное... это производство и потребление благ, необходимых человеку для жизни, для его воспроизводства, совершенствования и развития (и для болезней тоже, надо полагать, и смерти!), как, несомненно, это и организация производства и потребления благ, но в то же время, чего нельзя не помянуть, это и опосредование производства и потребления благ, как и отмеченного выше процесса организации, бесконечно возобновляющимися купле-продажными сделками, совершаемыми с участием денег и денежных

оценок — цен.

Что ж, с таким определением, почти что и бытовым, можно было бы даже согласиться и в учёном трактате, если... если не задаться вопросом о том, а что же есть собственно *экономическое* в экономике, коли экономика именуется *экономикой*? — и отвечая на этот вопрос, последовать не в этимологическом направлении, прибегая к переводу с того же греческого, а в фактологическом, ориентируясь не на семантику самого слова «экономика» (домоводство), а на окружающую действительность, этим словом ныне старательно и безоговорочно обозначаемую.

В самом деле, что означает «экономическое» в таких словосочетаниях, как экономический расчёт, экономическое отношение, экономическая эффективность, экономическое обоснование, если не денежно-финансовый расчёт, денежно-ценовое отношение, денежно-финансовая эффективность, денежно-ценово-финансовое обоснование, не говоря уже о том, что «экономия» для экономиста означает прежде всего и в конечном итоге денежно-финансовую, а не какую-нибудь ещё экономию.

Чем вообще занимается любой экономист? Никакой ошибкой не будет заявить, что экономист занимается по преимуществу деньгами и ценами, принимая по ним соответствующие решения. Всё остальное в том же производстве благ исполняется не экономистами, а разного рода технологами и менеджерами, хотя, один и тот же человек может быть одновременно и экономистом, и технологом, и менеджером, что совсем не мешает всё-таки экономиста почтить за экономиста, технолога — за технолога, а менеджера — за менеджера. Любопытно, что и в чисто экономических (денежно-ценовых) делах находят себе применение те же технологии и менеджеры — уже экономические, а экономисты такого рода в комплексных делах занимаются лишь решениями по поводу денег и цен. Экономиста, короче, не оторвать от денег и цен, от денежно-ценовых решений, от манипуляций с деньгами и ценами. Продавцы и покупатели, оперирующие деньгами и ценами — экономисты, а вот производители как производители и потребители как потребители... (Sic!)... никакие не экономисты. Отсюда выходит, что само по себе производство и само по себе потребление... (Sic!)... не экономика, а экономикой производство и потребление благ становятся только при опосредовании себя день-

гами и ценами, в ходе реализации денежно-ценовых решений, при манипулировании деньгами и ценами.

Возвращаясь к приведённому вначале определению экономики, можно признать, что экономика есть производство и потребление благ, как и организация производства и потребления благ, но с тем непременным условием, что это есть опосредованное деньгами и ценами, их движением, операциями с ними производство и потребление благ, равным образом и организация производства и потребления благ.

Выходит, что экономика не охватывает всего производства и потребления благ, а объемлет лишь какую-то его часть, сопрягающуюся с деньгами и ценами, их движением, операциями с ними, а несколько по-иному — к экономике относятся только *оденеженные и оцененные* производство и потребление благ, соответственно и оденеженная и оцененная организация производства и потребления благ.

Тут всё становится на место, все реальные феномены и их категориальные отражения, что позволяет вполне реалистично, непротиворечиво и целостно представить то действительное, чем является экономика, что называется экономикой и что фактически реализуется именно как экономика.

Если от производства и потребления благ обратиться к вообще хозяйству, для которого производство и потребление благ всего лишь один из частных моментов, ибо жизнеотправление человека включает в себя и производство жизни вообще, и производство самого человека, включая его воспитание, и производство образа бытия, среды обитания, всего искусственного мира, то экономика предстанет уже как, с одной стороны, специфическое *хозяйство денег и цен*, а с другой — как *оденеженное и обцененное вообще хозяйство*, что позволяет сделать вывод, что экономика есть не более чем особого рода хозяйство, частный случай хозяйства, характерная сфера вообще хозяйства.

Что же такое деньги и цены?

Сначала о деньгах: это такая вещь (от вести!), она же и благо, способная выразиться во всех остальных — вполне и неденежных — вещах (или вестях), будучи для них всех единообразным и единообразно оцененным эквивалентом, и обеспечить возможность всем неденежным

вещам, вступающим в деловые отношения с деньгами, быть произведёнными (призванными деньгами к производству), перемещающимися в пространстве и во времени (через обмен на деньги и в обмен между собой с помощью тех же денег), распределенными по пространству (через посредство все тех же денег) для производительного и потребительского потребления, наконец — потреблёнными.

Деньги — средство, но такое средство, которое, будучи вроде бы лишь по-сред-ником, оказывается и *во главе* хозяйственного процесса, становясь незаменимым средством его начала и его хода, всей его текущей реализации — вплоть до временного или полного завершения.

С денег всё в экономике начинается, с деньгами всё совершается и всё в экономике деньгами же завершается:

Д—Т—Д или Д—Т—Д',

где Д — деньги, Т — товар (благо), а Д'>Д на d (прибыль).

Деньги — действительный и достойнейший управитель хозяйственным процессом, прямо или косвенно попадающим под юрисдикцию денег.

Деньги — величайшее изобретение человека, по преимуществу уже цивилизованного, неприродного, хотя первые денежные инициативы имели место ещё в доцивилизационные времена, среди ещё природного жизнеотправления.

Деньги — вещь, но не та, которая имеет какую-либо упругую плоть (металл, бумагу), а которая лишь даёт всему и вся оценку и называет этому всему и вся цену, причём делает это по праву своей собственности, уже субъективно названной и объективно подтверждённой, к тому же и всеохватно признанной.

Деньги — особого рода оценивающая, но при этом уже по особому оценённая, цена.

Не предмет здесь вещь, а сама оценка — вещь, как раз то самое, что вещает, лишь для удобства своего бытия, сопрягаясь с тем или иным предметом, который служит не более чем средством оценки и её — этой оценки — вещания.

Деньги — идеальность, они совершенно идеальны, как идеальны и все оценки, выступающие как цены экономических благ — товаров. Товар — оденежданное и оцененное в экономическом движении благо

(земля, лес на корню или уютный домик при купле-продаже сами никуда не движутся, а вот экономическое движение из рук продавца в руки покупателя непременно осуществляется — уже как движение денег, зачастую как идеальное движение совершенно уже идеальных денег). Вообще, вне экономического движения нет ни денег, ни товаров, ни оценок, ни цен. Всё здесь реализуется только в движении, которое осуществляется не где-нибудь, а в основе и прежде всего в головах людей, мало того, деньги и цены только в этих головах реально и существуют, а вовсе не в благах, не в товарах, не в любых иных объектах экономического внимания.

Оденеживание и оценивание — дело субъектно-сознаниевое, а не какое-нибудь ещё: деньги и цены — не только продукт, но и принадлежность сознания, конечно же, экономического.

Экономический человек — реальность, никакая это не выдумка!

Это тот самый человек, который ведёт экономический расчёт (расчёт в деньгах) и реализует экономическое движение (движение тех же денег), входя при этом в неденежные (природные, производительные, технологические, интеллектуальные, духовные, потребительские) среды, которые и объемлют всё то, что называется хозяйством, — и там, ведя экономический расчёт и реализуя экономическое движение, этот экономический человек организует экономическим образом хозяйство и им тем же образом управляет, достигая при этом своих экономических целей.

Деньги — вменяемая ирреальность, становящаяся в ходе и в итоге влияния вполне реальной реальностью.

И тут важно отметить, что деньги при всей своей вроде бы фиксированности и упорядоченности отличаются имманентной неопределённостью — некой существенной подвижностью (в своей цене, в своём количестве, в обращении, в оценочной роли, в структурной и пространственной динамике). И деньги при этом не просто качественно неопределённы и количественно подвижны, а фундаментально *трансцендентны*, и только будучи таковыми, они и могут выполнить сложнейшую функцию денег, быть реальными деньгами.

В деньгах есть своя механика, но это менее всего механическая ме-

ханика, — тут иного рода механика — метамеханика, или трансцендентная механика, которая есть, но которую никакому сознанию полностью не смоделировать.

Всё сказанное о деньгах относится и к ценам, которые существуют, которые действуют, которые реализуются, но что есть цены, кроме того, что это... цены, причём выраженные опять же в... ценах — денежных ценах, которые суть не что иное как... цены цен?

Цена — завершённая оценка, совершаемая через посредство цены-эквивалента, а размер цены — размер оценивающего и оцененного эквивалента, его количество, определённое так или иначе его ценностью.

Ох, очень непросты эти экономические головы, которые и деньги правильно оценивают, и все товары тоже, но с тем фундаментальным условием, что деньги и товарные цены и сами себя оценивают, разумеется, через посредство всё тех же умных экономических голов.

Тут действует коллективный экономический разум, состоящий из великого множества взаимодействующих между собой голов, но действует как-то очень уж имманентно, незаметно, тайно, одним словом — *трансцендентно*, делая все оценки и цены не менее, а, может быть, и ещё более трансцендентными, чем сами по себе деньги.

7

Деньги и цены — экономическое ядро экономики, самое экономическое в экономике, самая что ни на есть экономика в экономике.

Нетрудно заметить, что деньги и цены, будучи не одним и тем же, неразрывны и составляют единое целое, которое принято в России называть *стоимостью*. Стоимость — экономическая субстанция экономики, её первооснова. Это оцененные деньги и оденеженные цены вместе, хотя, повторяем, деньги и цены — не одно и то же. Деньги — знак стоимости, её эталонная величина и средство счёта, но при этом и сумма («масса») стоимости, её функциональная (инвестиционная) величина; цены — стоимостные значения, её принадлежностные (товару) величины, а если и суммы, то лишь сигнальные (информационные). И всё тут великолепно получается, всё совершается, всё работает: деньги и цены, цены и деньги, но непременно вместе, в неразрывье, во взаимообусловленности, в единстве.

Стоимость — «кварк», в котором вместо двух частиц, как в физическом кварке, лишь две сущности, из которых ни одну, как и ту же частицу в кварке, саму по себе отдельно от другой сущности не вычленить, а потому стоимость есть не что иное, как двоесущностная сущность, способная к полноценной и эффективной самореализации через посредство лишь экономического сознания и в среде экономической ноосферы.

Стоимость — сама себе субстанция, которая и сама себе причина, и сама себе следствие — и ни в какой иной субстанции, кроме себя самой, не нуждающаяся.

Это идеальная, духовная, эфирная субстанция, совершенно невидимая, скрытая, прозрачная, — и никакой другой она просто быть не может, ибо она из... мысли... да, да... из *мысли*, той самой человеческой мысли, которая как раз и реализует экономический расчёт со всеми его деньгами и ценами, капиталами и инвестициями, кредитами и ссудными процентами, валютными курсами и таможенными тарифами, а с участием всего этого и всего этому подобного реализует и весь экономический процесс, возбуждаемый и ведущийся сознательным экономическим действием, а воспринимаемый более всего как объективный ход независимых экономических вещей.

Стоимость — мысль, а деньги и цены — лишь мысль запечатлённая.

Стоимость — мысль, однако мысль, способная к самовоплощению, самоутверждению и самосуществованию, что и доказывается самовольной практикой денег и цен, но при этом не порывающая совсем и навсегда плодотворной связи со своим источником — людской головой, а правильнее — *экономическим субъектом*, охотно и упорно исполняющим функцию *центра (очага) экономических решений*.

Экономика со своей сердцевинной и всё и вся объемлющей субстанцией — стоимостью — особого рода *механизм*, конечно же, немеханический и даже не органический, вообще не физический, не химический, не технологический, а социальный, людской, сознаниевый, ноосферный, равным образом, идеальный, мыслетворный, психотропный.

Некоторым аналогом такого механизма может служить...

компьютер, но при условии, если этот компьютер, точнее было бы сказать — мегакомпьютер, а ещё лучше — метакомпьютер, наделить жизнью (а не живую жизнь обустроить механическим компьютером). Этот живой метакомпьютер, он же и экономика, всё сам и решает, хотя решающими ячейками в таком удивительном мегасооружении — *экономическом космосе*, являются не кто-нибудь и не что-нибудь, а люди, их ассоциации, ими созданные институции, людские массы, как, собственно, и толпы.

Экономика — гигантское счётно-решающее устройство, внедрённое в социум, из него вылезающее, его преобразующее, через него действующее. И важнейшим элементом этого устройства является... цифра — *экономическая цифра*, способная образовывать числа — *экономические числа*, отражающие те или иные *экономические величины* — оценочные, ценностные, стоимостные. Экономика оцифrena, обчислена, обценена — и никакого другого легального (видимого, слышимого, презентируемого) материала в экономике нет и быть не может, ибо экономика не просто пользуется имманентным себе счётно-решающим устройством, а сама по себе этим устройством напрямую и является.

Материал экономики — цифра, плоть — число, однако особенная цифра и особенное число — не абстрактно-математические, а оснащённые конкретным житейским содержанием (ценностным) и столь же конкретной житейской функцией (определительной, измерительной), которые они обретают и исполняют в экономическом социуме в ходе его жизнедеятельности — как итог всеобщего со стороны экономических агентов одобрения и символ единственного общественного согласия. Это, безусловно, денежные цифры и оденеженные числа и величины, которые, становясь экономическими, способны выполнить особого рода великую, в то же время и весьма загадочную, социальную миссию — экономическую — разумеется, благодаря сознанию и ноосфере

К денежной цифре и оденеженным числам и величинам всюду в социуме выказывается необходимое для реализации (оборота) экономики доверие, естественно, не безоговорочное, ибо экономический мир не обладает ни *абсолютными параметрами*, ни *постоянными величинами* (*Sic!*), — в экономическом мире всё относительно и временно, даже эталонные денежные величины и те относительны и временны, а что

говорить о разного рода ценах и финансовых суммах и потоках, — а потому, оставляя возможность игры с экономической относительностью и временностью, экономический социум не пренебрегает ни властным потенциалом (как собственно экономическим, так и юридическим, политическим, государственным), ни возможностью кое-какого насилия для утверждения в социуме подобия экономического абсолюта — денежного и исходящей от него оценочной и финансовой ценностной стабильности.

Экономика — ловко, добротно и надёжно организованный мир, мир всеобщей, осознанной игры, сочетающий правила с их отсутствием, а порядок с произволом, а потому и мир, обладающий возможностью частных и всеобщей самоорганизаций, что делает экономику одновременно управляемой и своевольной, мало того, своевольно управляемой и полной управляемого и управляющего своеволия, что позволяет с учётом онтологической, а не только гносеологической, таинственности стоимости и всего механизма её реализации вполне обоснованно заключить, что экономический мир — *мир трансцендентный*, и что все его решения и показательные выкладки в той или иной степени задеты работающей трансценденцией.

Даже математика, свойственная экономике, ей непосредственно имманентная, не лишена трансцендентности, что даёт основание говорить об особой *экономической математике*, не просто не сводящейся к обычной человеческой математике, разрабатываемой в академиях и преподаваемой в университетах, но и несмотря на всеобщее в экономике её деловое применение (все в экономике считают, всё в экономике обсчитывается), содержащей в себе какую-то неопределённую, можно сказать, и конспиративную часть, реализующуюся самостоятельно, стихийно, своевольно, а главное, никакой человеческой математикой не осознаваемую и не моделируемую.

Экономика — математика, но в чём-то фундаментальном и принципиальном это *сама-себе-математика*, вполне чудесным образом действующая, да не где-нибудь, а в бездонных глубинах сознания и в непроприативных слоях ноосферы.

С такой математикой можно иметь дело, с ней эффективно взаим-

модействовать, в ней творчески участвовать, даже артистично ей подражать, но... но заменить её никакой человеческой математикой, способной-де решать счётно-модельные задачи за трансцендентную экономическую математику, нельзя!

Имманентная экономике математика есть некая *сверхматематика*, которой свойственно действовать, никак не уподобляясь доступной человеку, даже и очень сложной, математике. Для столь трансцендентной, металогической, произвольной математики ничего не стоит из дважды два получить не четыре, а, допустим, три или пять, причём общий математический процесс, вершащийся внутри экономики, никак при этом не страдает. Игра, она и есть игра, а произвол всегда произвол, что не значит, что произвол можно совершенно и навсегда преодолеть, а вольную игру начисто упразднить.

Выходит тогда: или вокруг нас экономика со своими странными онтологическими свойствами вроде идеальности, металогичности и трансцендентности, или на месте экономики должна быть другая, вполне механическая, проектная и полностью подвластная человеку система хозяйства, что-то вроде казарменной, которая в человеческом социуме, к счастью или к несчастью, пока ещё не восторжествовала.

Поразительная особенность экономики состоит в том, что всякий её элемент, всякий в ней процесс, всякий её параметр *может быть любым, но не каким угодно*, ибо все части и локалии в экономики свободны и от себя своевольны, но в то же время все они взаимообусловленны и взаимно во что-то общее увязаны, а потому повсеместный произвол удивительнейшим образом сочетается в экономике с произвольно возникающим и столь же повсеместным порядком системно построяющим экономику, но никак, не мешающим ей оставаться живой принадлежностью живого хозяйственного бытия.

8

Хозяйство, принимаемое как осознанное и оноосференное — неотъемлемый атрибут человеческого бытия. И ежели хозяйство есть везде и всегда, где и когда есть человек, то экономика есть вовсе не везде и вовсе не всегда. Тогда, где же она и когда?

Первое, оно же и самое верное, что приходит на ум: экономика там

и тогда, где и когда появляются деньги с однаждыными ценами, а это происходит там и тогда, где и когда благо одного рода (типа) с необходимостью обменивается на благо другого рода (типа), причём не случайно и одноразово обменивается, а намеренно и систематически, мало того, где и когда становится возможным либо заниматься только обменом благ-товаров, что то же самое — торговлей, либо производить для обмена некое определённое количество какого-либо конкретного блага, чтобы итогом реализации этого количества данного блага была возможность обретения через обмен всех остальных необходимых для потребления благ. В первом случае речь идет о торговой специализации, во втором — о производительной. Так или иначе, но появление денег с однаждыными оценками, а соответственно — экономики, обусловлено социальным разделением хозяйства, когда возникают специализированные и самостоятельные относительно друг друга части (элементы) хозяйства, нуждающиеся в постоянном товарообмене или же им специально занимающиеся, что позволяет разрозненным хозяйственным локалиям достигать потребного им общественного единения.

Ничего лучше, эффективнее и изящнее, чем абстрактные деньги, или деньги как деньги, или деньги как цифра, а цифра как деньги, для исполнения товарообменной и социо-хозяйственно-связующей функции придумать невозможно: деньги сами вершат непростое оценочно-обменное дело, свободно гуляя по хозяйственному пространству, возникая где и когда надо и столь же потребно пропадая, но никогда не переводясь и не оставляя без дела экономических субъектов, а главное, объединяя их в общественное целое — не совсем единое, быть может, но достаточно сообразованное.

Деньги возникают и функционируют перво-наперво в роли товарообменного посредника, но сразу же обретают и функцию незаменимого вершителя экономически организуемого хозяйственного процесса, немедленно оказываясь в его начале (денежные инвестиции, авансирование денег), осуществлении (денежные затраты на приобретение средств производства, включая и труд) и в его завершении (возврат авансированых денег с приростом, накопление денег), а следом уже появляется самая, пожалуй, выдающаяся функция денег — быть воплощением абстрактного богатства, что то же самое — ценности как ценности,

свободной от конкретного предметно-вещественного бремени, а потому совершенно идеальной, знаковой, всего лишь по-особому оцифренной.

С рождением денег и завоеванием ими вместе с укреплением экономики достойного для себя положения рождается и феномен собственности на абстрактную ценность, или ценность как ценность, когда владение деньгами оказывается самым главным, гибким и эффективным владением, приносящим владельцу денег всё остальное... неденежное, когда собственнику денег лишь остаётся ими правильно в среде экономики и контролируемого ею хозяйства распоряжаться.

Да, землёй владеть совсем даже не плохо, как и заводами с пароходами, и лесами, и недрами, и домами, и информацией, и знаниями, и людьми, и самой властью владеть не зазорно, но вот... деньгами владеть, этой абстрактной и практически безукоризненной ценностью, — совсем другое дело, ибо деньги мало того, что способны конвертироваться в любое из неденежных богатств, причём в любое время и в любом месте, они способны непринуждённо и щедро даровать сверх всего этого ещё и полную, почти что абсолютную, власть над всем миром людским — во всех его частных проявлениях и при всех его оригинальных построениях!

Сначала было с незапамятных времён частное и государственное накопление денег ради сотворения соответствующих богатств и в целях разного рода расходов, затем пошёл рост денег за счёт самих денег, их использования в дело — производительное ли, трудовое или капитальное, торговое ли, финансовое ли — ростовщическое, банковское или попросту спекулятивное, но так или иначе — накопление денег, сотворение денежных богатств, реализация денежной власти посредством власти над деньгами и властью денег надо всем денежным и неденежным.

И это не просто обязанный деньгам замечательный момент экономического, а соответственно хозяйственного и всего остального человеческого бытия, как и не просто бытие с деньгами, через них и для них, даже не оденеженное бытие, очарованное, окормляемое и опутанное деньгами, а прямо-таки обязанное деньгам бытие, перед фактом которого признательно склоняется ныне всё наличное на планете Земля цивилизованное человечество.

Раскрытие в деньгах непосредственной абстрактной ценности, возможной к овладению и целенаправленно выгодному применению,

вызывало в человеке хозяйствующем неугасимое стремление к деньгам и возбудило к жизни феномен работающих, или хозяйствующих, денег, способных созидать любые хозяйствственные процессы и никогда не забывать о присвоении их стоимостных и материальных результатов.

Деньги, превращаемые в *капитал*, — лучший *эксплуататор* хозяйства, труда, творчества, причём совершенно невзрачный, тихий, вкрадчивый, даже и невидимый, лишь иногда — поневоле и вынужденно — дающий о себе знать, да и то лишь при пристальном к нему критическом внимании.

Итак:

сначала деньги (D) как простой посредник в товарообмене: $T-D-T$, где T — товар; затем деньги как главное условие и непременный фактор хозяйственного процесса, его зчинатель, посредник и завершитель: $D-T-D$, но, конечно же, с желательным превышением конечной величины (сумы) денег над начальной: $D-T-D'$, где $D' > D$; потом уже деньги как целеположенно возрастающие деньги, что то же самое — капитал: $D-T-D'$, когда D' становится главной целью хозяйствования; далее уже развитие феномена возрастающих денег-капитала: $D-D'$, когда деньги возрастают посредством движения от собственника денег к их реальному хозяйственному пользователю и обратно, что соответствует как примитивному ростовщичеству, так и вполне развитому банковскому кредитованию; наконец, деньги как непосредственно возрастающие (уже буквально *самовозрастающие*) деньги: $D', D'' \dots D'''$, когда возрастание денег происходит в ходе и вследствие прямых купле-продажных акций в финансовой сфере, а лучше сказать — в ходе и вследствие финансовых спекуляций (биржевых сделок на разных рынках, чистых перепродаж, смен собственников, валютных операций и т. п.).

Феномен капитала, а соответственно и капитализма, заслуживает особого внимания.

Капитал реализует себя обыкновенно как производительный — либо непосредственно производственный, либо торговый, оборачиваясь по формуле $D-T-D'$, и как финансовый — либо кредитный ($D-D'$), либо спекулятивный ($D', D'' \dots D'''$). Капитал всегда есть денежный (чисто стоимостной) капитал, способный превращаться в неденежные активы (средства производства, включая рабочую силу) с последующим

превращением снова в активы денежные (капитальные). По мере своей финансизации (и спекуляции), капитал всё более отходит в своей реализации от реальных денег, обращающихся в реальном (производительном) секторе хозяйства, всё более сближаясь с деньгами ирреальными, или фиктивными (эмиссионными, кредитными, инвестиционными, суррогатными), характерными более всего для финансового сектора экономики. Обычно фиктивные деньги превращаются, пройдя через горнило реального сектора, в реальные деньги, но они могут, оставаясь фиктивными, управлять движением и стоимостными значениями реальных денег. Возможность существования и действия фиктивных денег, причём в растущих объёмах, является ярким свидетельством в пользу абстрактно-идеальной, цифро-числовой, счётно-расчётной (можно сказать, математической) природы денег, стоящей за ними стоимости. Иное дело, что за ценностью денег, их покупательной способностью, их количеством в обращении, за общим ценовым раскладом и общей динамикой цен должна стоять некая денежно-ценностная мера, но... во-первых, эта мера может быть всё-таки... *любой, хоть и никакой угодно*, что делает её весьма гибкой, неопределенной и в то же время потребной, а во-вторых, средством поиска приемлемой меры являются вполне обязательные при капитализме *денежно-финансовые кризисы*, под влиянием которых обнаруживается допустимая для того или иного времени реальная мера и находится какое-то её соответствие в денежно-финансовой сфере.

Экономика — стоимостное хозяйство, которое есть одновременно хозяйство стоимости и хозяйство от стоимости. Капитал — возрастающая стоимость, или самовозрастающая в процессе самодвижения стоимость. Такое самовозрастание является возможным вследствие реальной способности человека производящего производить потребительного продукта в разы более, чем ему необходимо для своего собственного жизнеотправления. Грубо говоря, продуктовая производительность любого работника объёмнее его трудовой производительности. И дело тут в сложной, природно-неприродной, животно-сознаниевой, трудо-творческой специфике человека, способного брать от мироздания больше, чем ему необходимо для поддержания своего натурально-физического существования. Воспроизведение человека — воспроизведение в общем-то

чрезмерное с позиции окружающей среды обитания, к тому же и увеличивающееся, самовозрастающее. Стоимость улавливает эту самовозрастающую чрезмерность, что и отражается в эффекте самовозрастания уже самой стоимости в ходе реального хозяйственного процесса. Отсюда и возможность существования капитала — этой воистину в координатах экономики самовозрастающей и как бы самонакапливающейся стоимости.

Капитал, будучи самовозрастающей стоимостью, и сам самовозрастает, оказываясь самовозрастающим капиталом, что требует от капитала, во-первых, непременного возобновления себя авансирования по возвращении себя же с приростом — капитальной прибылью; во-вторых, экономного себя авансирования ради увеличения доли приращенной стоимости; в-третьих, изыскания возможностей для роста производительности самого себя посредством технических усовершенствований и более эффективной эксплуатации занятого капиталом труда; в-четвёртых, перехода в новые сферы производства и занятости, предоставляющие новые возможности для эффективного (прибыльного) себя применения.

Отсюда капитал — стоимость созидательная, творческая, инновационная, неуёмная, непоседливая, экспансационная, ну и, конечно же — агрессивная.

Самовозрастание капитала, как и в целом капитализма, — не только расширение, но и развитие, причём не только сам по себе расширенный рост, а рост экспансационный, освоенческий, даже и захватнический, империальный, а развитие — развитие не одного лишь самого по себе капитала — от простого к сложному, но и всего производственно-хозяйственного контекста, объемлемого («крышуемого») капиталом — техники, науки, рабсилы, инфраструктуры, социума, цивилизации, всего вообще искусственного мира.

Из недр хозяйства — как хозяйства вообще и собственно хозяйственного хозяйства, бывшего когда-то в основе своей натуральным, вышла экономика, что то же самое — *экономическое хозяйство*, в то же время вышло и хозяйство, по преимуществу ненатуральное, искусственное, оцивилизованное. Экономика, исторически развиваясь и становясь

всё более экономической, превратилась однажды в итоге западноевропейской экономической революции середины II тысячелетия от Р. Х. в экономику капитальную (или как принято обычно говорить в России, капиталистическую), породившую в свою очередь самую настоящую экономическую цивилизацию, когда экономика целостно оцивилизована и цивилизация не менее целостно экономизирована (экономически обустроена), что позволило капитализму, развившему финансизм, корпоративизм и этатизм, а затем и глобализм, перейти к высокоорганизованному глобальному экономизму, гибко сочетающему тотальную организацию со всеобщей тотальной самоорганизацией, а стоимостное господство и управление со столь же стоимостным поведением всех по планетарному миру экономических субъектов.

Если принять во внимание эволюцию экономики, обусловленную изменениями в самой онтологической сердцевине — в стоимости, то следует заметить, что стоимость со временем становилась всё более абстрактной, идеальной и виртуальной по своей онтологической выраженности и всё более самостоятельной и своевольной по функциональной заданности, она всё менее увязывалась со своими вещественными носителями, всё менее зависела от непосредственно производительной сферы хозяйства и всё менее представлялась в экономике реальными, вертящимися в реальном секторе хозяйства, деньгами и формирующими в том же секторе ценами. Получалось так, что стоимость всё менее зависела не только от реального хозяйства, но и от... самой целостной экономики, ибо, становясь всё более свободной от хозяйственных реалий, она оказывалась и более субъективно управляемой — из властных стоимостных центров (частных, корпоративных, государственных, международных, а также собственно глобального центра), что позволяло стоимости всё более исходить... из самой себя, ориентируясь всё более на свои собственные потребности и интересы.

Произошёл внутриэкономический переворот: освободившись от тенет хозяйственных реалий и целостной экономики, а с крахом золотого стандарта (обязательного золотого обеспечения денег и обязательного обмена бумажных денег на золото) и от собственных материально-вещественных вериг, стоимость захватила лидирующие управленческие

позиции в экономике, что позволило в корне изменить внутриэкономическую ситуацию — на передний план вышел принцип «экономика для стоимости», оттеснивший на задний план принцип «стоимость для экономики».

В результате экономика превратилась в *финансомику* (финансовую экономику, финансономику), когда управляемое сверху и из центров финансовое (стоимостное) начало доминирует над всей экономикой, не говоря уже об охваченном экономикой хозяйстве. Из обслуживающего начала, игравшего не более чем служебную, посредническую, вспомогательную роль, финансизм превратился в начало доминирующее, способное выполнять при этом управленческую, перераспределительную и эксплуататорскую функции, чему способствует выпестованная финансомикой иерархическая система финансового *кредитования* сверху вниз всей экономико-хозяйственной сферы, давно уже запутавшейся в сетях непрерывной и неотрывной финансовой кабалы.

Кредит в финансомике — это вовсе не только хорошо известный банковский кредит или тот же ссудный капитал, это ещё многое другое, а точнее — всё денежно-инвестиционное, денежно-выплатное, денежно-оплатное. Само оденеживание хозяйственной сферы есть по сути её тотальное кредитование, — не стоит забывать, что у самой хозяйственной сферы, даже по форме и организации экономической, никаких своих денег нет: все деньги извне, сверху и из центра (центров), что позволяет заключить, что хозяйство-экономика пользуется в общем-то как бы не своими деньгами, а чуть ли не чужими, за что ей и приходится платить, замещая полученные ирреальные, или фиктивные, деньги на деньги реальные, прошедшие реальную обкатку в реальной сфере хозяйства, а произведя реальный продукт, который можно приобретать как на реальные деньги, так и на фиктивные, а главное, на полученный от хозяйственных должников вполне ростовщический для тотального кредитора доход — *финансовую ренту*. Путей и способов подобного (ростовщического) кредитования, как и извлечения финансовой ренты, великое множество (кредиты с процентами, аренды, налоги, платы, бонусы, да и вообще любые расходы экономических агентов), чему служит, с одной стороны, всякая собственность, требующая финансового удовлетворения, а с другой — необходимость в экономической цивилизации обретать

для жизни деньги и их упорно тратить, тратить и тратить.

Тут не может ни возникнуть вопрос о ценности денежной единицы и количестве денег в обращении. Нет, ничем предварительно точным ценность денежной единицы не определяется, а количество денег в обращении никакому окончательно точному предварительному расчёту не подлежит: всё в развитой экономике рассчитывается весьма приблизительно, если не наобум.

Ценность денежной единицы, как и количество денег в обращении, не столько правильно рассчитываются, сколько оптимистически *вменяются*, но с последующими, вполне и неизбежными, корректировками, чemu служат всякие подходящие показатели и характерные тенденции вроде роста цен, изменения покупательной способности денежной единицы, движения валютного курса, динамики ссудного процента.

Так что деньги — сами себе произвол, творец и судья, как и сами себе инспектор, корректор и типограф.

Только пробы и ошибки, только реальный воспроизводственный процесс, только интенции и реакции, только реальная экономическая жизнь!

9

Что есть физическое в экономике, кроме организмов экономических субъектов и присущей им физической энергии? Какова, собственно говоря, физика экономики?

В тех же деньгах, к примеру, вся физика сводится не более как к их вещественным носителям — металлу, бумаге или к тому же компьютеру, которые имеют отношение к физической, иногда ещё и в красках, фиксации символьических денежных цифр, оплодотворяемых вожделенной денежной ценностью — и всё это при том, что деньги со всеми своими цифрами могут успешно реализовываться без всяких материальных носителей. Можно, конечно, вспомнить о многообразной материальной и людской инфраструктуре, обслуживающей деньги в рамках их собственного хозяйства — монетные дворы, денежные фабрики, печатные станки, секретные хранилища, неуязвимые сейфы, бронированный транспорт, как и, разумеется, всякого рода труженики, занятые изготовлением, счётом и перемещением денег, присовокупив к ним ещё и столы,

стулья, шкафы, маркеры, да мало ли ещё чего из требуемого для обеспечения производства, существования и функционирования реальных денег — те же кошельки, карманы, зажатые в кулак руки... даже и пальцы, умело вытаскивающие чужие портмоне и не без удовольствия перебирающие попавшие в их распоряжение незамусоленные купюры, но также и быстро бегающие по компьютерным клавишам, пособляя в офисах всякому денежному учёту и расчёту.

Ещё менее физического мы обнаружим в ценах, ибо всё открытие тут сведётся не более чем к материальным носителям цен — к бумаге или тому же световому табло, да ещё к материальному выразителю ценовых чисел — к краске или электронике, как и, разумеется, к речевым аппаратам продавцов и покупателей, цены выразительно провозглашающим и оживлённо обсуждающим.

Никакой другой физики в экономике нет и быть не может — зато в экономике хватает всякой метафизики, как раз того, что относится к сознанию и ноосфере, что выражается в мыслях, мнениях, суждениях, решениях, маниях, но также и в правилах, законах, институциях, мало того, и в действиях, акциях, отношениях, сетях, организациях, процессах. Указание на связь всего этого с человеческими организмами и некоторыми их чисто физическими проявлениями тут особенно не поможет, ибо собственно экономическое здесь не на физической поверхности, а в метафизической глубине, граничащей и взаимодействующей с трансценденцией.

Разумеется, можно и мысли с отношениями объявить физическими феноменами, даже и материальными, как это, собственно, и делает с необыкновенным усердием институционная гуманитарная наука, но... что в самом деле материального и как такового физического в самих по себе мыслях и людских отношениях, которые совершенно ведь идеальны и... да, да... метафизичны, уже хотя бы потому, что не только не имеют никакой материальной субстанции, но и никак не сводимы к чисто физическому происхождению? Мотивы мыслей и отношений могут быть, конечно, и материальными, и вполне физическими, но самим то мысли и отношения восходят непосредственно к идеально-эфирной, ещё и трансцендентной, сфере человеческого бытия, к сознанию, к ноосфере, таинственной «механикой» которых они в итоге и определяются.

Экономике свойствен порядок, однако не только не материально-механический, не физический, что более или менее понятно, но даже и не попросту социальный, хотя он и обладает всеми атрибутами социопорядка — свободой, насилием, ответственностью, сетью, иерархией, — это всё-таки особенный социопорядок, в котором началом и основанием служит не порядок как таковой, а *произвол* — то самое про-из-вол-ение, которое прямо из субъекта, ради субъекта, между субъектами, в сообществе субъектов, которое не имеет кругового набора жёстких, тем более априорных, ограничений, но зато имеет возможность повсеместных и поэтапных выборов, манёвров, импровизаций, одним словом — разбросанного по социопространству и социопроцессу организационно-хозяйственного творчества.

Такой «произволовый» или «произволенческий» порядок есть постоянно становящийся, вновь и вновь возникающий, всё время зарождающийся порядок, а потому и изменчивый, подвижный, многоликий, но при этом и — уже в качестве платы за возможность всеобщего произвола и необходимой корректировки столь удивительного порядка — колебательный (вверх — вниз), кризисный (приостановочный, разбродный, перестроечный), циклический (от подъема к спаду, от кризиса к кризису, от начала к завершению).

Здесь *произвольные отношения* сочетаются с *произволом отношений*, а *произвол бытия* с *произволом управления бытием*: и хотя экономика вовсе не полный беспорядок, не сплошная стихия, не абсолютная анархия, но всего этого она совсем не лишена, а иной раз и бывает всем этим весьма охвачена, ибо экономический порядок — порядок не просто «произвольный» и «произволенческий», но и произволовый, а лучше бы сказать — *самопроизводовый*.

Возникающий из произвола и произволу всем обязанный, к нему накрепко привязанный и от него вовсю зависимый, экономический порядок не может не иметь внутри себя и по своему пространству нужных и ненужных локальных произвольностей и не подвергаться вспышкам уже общего для себя системного произвола.

Экономический произвол — не просто произвол, а произвол на произвол, когда как бы один произвол держит (и бывает, что прямо-таки за горло) другой произвол, отчего один произвол гасит и отрицает

другой произвол, в результате чего устанавливается в общем-то почти что и непроизвольный порядок, конечно же, временный и, как правило, локальный, но всё это лишь для того, чтобы произволу вновь непременно воспроизвестись, часто в другом месте и по иному поводу.

Отсюда любые экономические феномены, параметры и величины сначала (исходно) произвольны, а затем уже порядковы (закономерны). Вот откуда вещая сентенция о *любом* в экономике, но... *не каком угодно!*

Спрашивается, экономика субстанциальна или нет?

Очень непростой вопрос, если принять во внимание идеальность, эфемерность, трансцендентность экономики, всех её параметров, цифр и чисел, всех её величин, если учесть всю метафизичность экономики.

Сведение всего экономического к единому образу или же единобразному представлению в денежных цифрах, числах, величинах, как и возможность всё это одинаково выраженное по-всякому оценивать, сопоставлять, приравнивать, отождествлять, разделять, соединять, учитьвать, рассчитывать и т. д., говорит о наличии в экономике какой-то общей, вполне и экономической... *субстанции*, разумеется, не материальной, не кашевидной, не сплошной, как бы и (!)... не *субстанциальной*.

Субстанция тут, кажется, есть, но её вроде бы и нет; субстанции явно нет, но она всё-таки есть!

Метафизический мир, однако, способен иметь в своей среде такие вот несубстанциальные субстанции — и в экономике такая субстанция тоже есть, она довольно уже признана, получив широко известное определение *стоимости*: явилось что-то общее в экономике, и там как бы стоит, непременно при этом чего-то стоя, потому и стала называться стоящей стоимостью, при этом и стоящей. Находясь не где-нибудь, а всего лишь в головах людских, в пределах человеческих сознаний, в пространстве ноосферы, стоимость находится сразу повсюду, выражаясь в деньгах и ценах, в суммах денег и цен, воплощаясь в деньгах и товарных ценностях, в денежных, а также в оденеженных и оценочных товарных акциях и потоках.

Почему всё-таки субстанция, а не просто счёт? Ведь здесь явно видим и осознаем только счёт — никакой особой субстанции, измеряемой и исчисляемой через этот счёт вовсе не ощущается, её вроде бы совсем нет. Да, отдельной от счёта субстанции нет и быть не может, и ежели она

всё-таки есть, то лишь как сопроводительница этого счёта, находящаяся с ним в неразрывном единстве. Что же это в таком разе за субстанция? Коли её природа идеальна, то «материалом» такой субстанции может быть лишь одно, а именно... *иdea* — в случае со стоимостью только идея особой ценностной (особо значимой) цифры, которая хоть и в головах людских, но с особым качественным наполнением (образом), обретающим в головах этих вполне самостоятельное, если не независимое, значение — как бы высшее, пришедшее извне, объективное, что означает, что цифра эта, т. е. денежная цифра, будучи сознанием произведённая, оказывается в поле этого же сознания чуть ли не *сверхсознанием* (метропольным, иномирным, трансцендентным) элементом, с которым всякое работающее в экономическом ключе и плане сознание (уже колониальное, зависимое, подчинённое) просто вынуждено считаться уже как с чем-то не только внешним, экзогенным, потусторонним, но и внутренним, доминирующим, решающим.

Денежные цифры, они же и деньги, их массы обретают в связи с этим вполне субстанциальное бытие, что говорит и о субстанциальности того, что как раз и делает деньги деньгами, а денежные цифры денежными цифрами, и этим тем является, конечно же, *стоимость*.

Важна ведь не сама по себе цифра, выполняющая денежную функцию, а заложенная в ней экономическая реальность, как раз то, чего эта цифра стóит, а потому важна не просто денежная цифра, а выраженная этой цифрой стоимость... как раз стоимость самой этой цифры.

Стоимость — субстанция, но такая субстанция, качество которой выражено её количеством, а её количество и есть её качество. Качество и количество здесь как бы одно и то же: *экономическая значимость*. Мало того, что стоимость здесь сразу и качество, и количество, но и качество и количество здесь одновременно есть одно и то же — стоимость.

Нет никакой нестоимостной субстанции, образующей стоимость, её составляющей, в ней присутствующей, в неё входящей. Стоимость — *сама-себе-субстанция*, и возникает такая субстанция в момент явления в хозяйственной жизни не столько собственно товарообмена, сколько уже оденеженного товарообмена. Простой, он же безденежный товарообмен — лишь предтеча стоимости, а вот оденеженный товарообмен — уже присутствие в хозяйственной реальности полноценной стоимости.

Всякий экономический субъект ведёт экономический счёт, и ведёт он этот экономический счёт не просто с помощью экономической цифры, но и среди разлитой по экономическому миру экономической субстанции — стоимости, которую он рассматривает не без основания как самостоятельную (само-стоимость) и как над ним довлеющую (господство стоимости, стоимостной фетишизм). Без субъектов, ведущих экономический процесс — нет стоимости, но и самих этих субъектов нет без стоимости, причём непременно обретающей возможность универсального *самостояния* (само-стоимости).

И что же из всего этого?..

10

О-о, очень многое, очень!

Особенно если принять во внимание, что стоимость не просто субстанция, но... *работающая субстанция*, включённая в очень сложный физико-метафизический социальный организм, он же и механизм, называемой экономикой, вместе с которым и в рамках которого она тоже ведёт хозяйство, причём делает это совершенно по-экономически, воспринимая от экономических субъектов *их* информацию и наделяя этих последних *своей* информацией, будучи не только следствием аутогенных субъектных и субъективных решений, но и вполне самостоятельным генеративным полем своих собственных (объективных) решений — некой большой (мегаразмерной) счётно-решающей машиной, не подлежащей никакому субъективному (человеческому) моделированию, а тем более какой-либо субъектной замене.

Стоимость — сама себе феномен, механизм и субстанция, хотя и является и реализуется через взаимодействия людей (и институтов), возникая в головах человеческих, в них вселяясь и в них же бытую, но таким образом, что оказывается и независимой от людей (экономических агентов) силой, способной к самостоятельной реализации и к доминированию над сознанием, а через него и к весьма плотному определению экономических и хозяйственных процессов.

Стоимость объемлет всё и вся в экономике, в экономическом хозяйстве, она везде и всюду — во всех экономических параметрах, в каж-

дой ячейке, в каждой акции, во всех отношениях, сетях, структурах и процессах, во всех началах и концах, во всем экономическом мироздании, включая любые его центры, периферии и иерархии.

Без и вне стоимости нет никакой экономики, причём именно такой стоимости — идеальной, субстанциальной, людской, социальной, сознаниевой, ноосферной, познаваемой, операциональной, функциональной, феноменальной, но при этом и самостоятельной, независимой, несхватываемой, непознаваемой, трансцендентной. Стоимость всегда делается, но она и сама себя делает, мало того, она ещё и сама очень многое делает. Ничего без стоимости и её тотального во всё проникновение, но непременно стоимости активной, инициативной, хозяйствующей.

Стоимость не только опосредует, способствует, соединяет, она и *хозяйствует!*

Почему всё-таки неосознанная стоимость, а не видимые и вполне осознаваемые деньги с ценами.

Всё дело в том, что стоимость, будучи выраженной деньгами и ценами, без них вообще не существующей, относительно самостоятельна от этих последних. Да, деньги и цены — стоимость, но зато стоимость вовсе не только деньги и цены, ибо деньги и цены могут по номиналу (цифре, числу) не меняться, а стоимость, ими вроде бы представленная, способна измениться и быть по стоимости уже другой, что и фиксируется в реальных товарообменных, купле-продажных, оценочных акциях. Та же инфляция денег есть вернейшее доказательство того, что деньги и стоимость, даже и по количественной мере — не одно и то же. Есть денежные цифры, есть ценовые числа, а есть невидимые и никем явственно не фиксируемые, то бишь вполне трансцендентные, величины стоимости, выраженные в её собственных и совершенно уже метафизических цифрах и числах, принадлежащих самой стоимости и только ей известных.

Это у человека деньги и цены, их цифры, а у стоимости какие-то совсем другие по природе цифры — некие «шифры», которые не на деньгах и не в ценах, но которые всегда где-то как бы рядом.

У экономики, выходит, двойной счёт: один на поверхности — это денежно-ценовой счёт, а другой где-то в глубине — это собственно стоимостной счёт, и определяющим в конечном итоге всегда является

этот другой счёт, как раз стоимостной — глубинный, скрытый, трансцендентный, тот самый счёт, который ничем и никем в экономике заменить нельзя.

Отсюда и неизбежность всяких коллизий в экономике, и с кризисами приходится экономике считаться, более того, приходится на все эти коллизии и кризисы непременно полагаться.

И что из всего этого?

А просто не надо ни пытаться считать за стоимость, ни стараться стоимость отменить, ни тешить себя иллюзией, что можно стоимость полностью смоделировать, ни тем более её как-то и чем-то заменить.

Участвовать в стоимостном счёте можно и нужно, что, собственно, и делают все экономические агенты, без счётыных действий которых и стоимости-то никакой нет; можно даже контролировать кое-какой собственный стоимостной счёт, им управлять, а вот ни всеохватно подчинить его, ни всецело смоделировать, ни наверняка спроектировать, ни всепротранственно угадать, ни заменить чем-нибудь нестоимостным никак нельзя!

Стоимость — вещь трансцендентная, а потому и... *либеральная*!

Экономический либерализм, нашедший образное выражение в известных формулах-афоризмах «*laissez-faire*» и «*laissez-passez*», восходит именно к стоимости, которая не может состояться и быть эффективной без необходимой доли свободы — своего для себя *самоуправления*, как раз того самого: спрятанного, криптогенного, таинственного.

Иное дело, что экономику можно контролировать, регулировать, организовывать, ею даже можно до известной степени управлять, мало того, она сама, в том числе и её стоимость, которая и есть, собственно, по сути своей экономика, её сердцевина, её системообразующая субстанция, её кровоток, нуждается в таком управлении, причём ладно бы из разных, разбросанных по экономическому пространству, центров-локалий, но и из единого, так сказать, самого что ни на есть центрального центра, ещё и вполне властного, социально и политически признанного, иерархически выстроенного и организационно выдержанного.

Экономический либерализм вовсе не исключает *экономического дирализма*, наоборот, либерализм только и оказывается возможным в условиях и даже в тенетах дирализма, однако не тотального по охвату

и не totally директивного, а достаточно ограниченного — *самоограниченного!* — более всего ориентационно-побудительного, чем командно-ограничительного, хотя и не лишённого весьма выраженной институционально-правовой рельефности.

Экономику по большому счёту родила цивилизация, хотя и сама цивилизация, возможно, возникла по не меньшему счёту по инициативе экономики — и вот, будучи феноменом цивилизационным, экономика не может избежать цивилизационного себя обустройства: социального, идеологического, институционального, правового, государственного, даже и политического.

Никакой чистой экономики нет и быть не может!

Отсюда и экономический дирижизм: от государственных денег и финансов до арбитражных судов и долговых тюрем через прямое и косвенное вмешательство разнообразных властных сил в исторический ход экономико-хозяйственных вещей.

Экономика всегда была, есть и будет не только внутренне — от себя и по преимуществу экономически, но и внешне — извне и по преимуществу неэкономически, организованной системой.

Экономика нуждается в неэкономике, она эту последнюю непременно принимает, с ней дружит, хотя нередко и вынужденно, не без протестов и сопротивления.

Экономическая реальность — это реальность постоянной борьбы между либерализмом и дирижизмом, между принципом «*laissez-faire*» («позвольте делать») и принципом, который можно было бы по аналогии назвать «*fais-comme-il-faut*» («делай как надо»).

Ясно, что либерализм и дирижизм непременно сочетаются с *произволом*, от которого им, как и вообще экономике, никуда не уйти: либерализм в союзе с произволом разогревает экономику, гонит её вперёд, раздувает, ввергает в разнос, а дирижизм, находясь в контакте с тем же произволом, сдерживает экономику, охлаждает, консервирует, втаскивает в застой. Однако бывает и наоборот: либерализм держит экономику в застое, а дирижизм — развивает. Тут всё зависит от качества и состояния той или иной конкретной экономики, а также социума в целом, государства, цивилизации, культуры, людской психологии, всего того, что рядом и вместе с экономикой, что её так или иначе определяет.

Качественные скачки в экономико-хозяйственном развитии сильно зависят от конкретной стартовой ситуации: то либерализм вызывает и стимулирует долговременный инновационный подъём, то дирижизм обуславливает резкий рывок вперёд, но иногда экономико-хозяйственное развитие определяется благоприятным сочетанием либерализма и дирижизма — тогда-то и даёт о себе знать внутрисистемная сообразность хозяйствующего цивилизационного социума, оказывающегося способным унять и подчинить общей созидательной целесообразности как либеральный, так и дирижистский произволы, привести обе энергийные силы к конструктивному согласию.

Экономика это стоимость!

Вполне допустимое суждение.

Есть хозяйство без стоимости, без её скрепляющей и организующей роли, а есть хозяйство со стоимостью, когда стоимость не только опосредует хозяйственную жизнь, но и прямо её ведёт.

Не воспроизводство хозяйства тут оказывается в приоритете, а воспроизводство стоимости, способное придать воспроизводству хозяйства свою особую мотивацию и сообщить ему особенное движение. Здесь стоимость не просто опосредует хозяйство, а навязывает себя хозяйству, нередко ему просто извне и сверху сознательно и произвольно вменяясь.

Да, всё это происходит через посредство денег, их эмиссии, кредитования, инвестирования, накопления, но важно иметь в виду, что вместе с деньгами в хозяйстве является и действует не что иное, как стоимость, эта сущностная, трансцендентная и фактически сакральная сила-механизм, способная самостоятельно «думать» и «решать», то ли всего лишь дополняя и расширяя человеческое сознание, то ли его собою подменяя, но так или иначе в сознание внедрённой, как и из него выросшей, его фантастически усиливающей.

Без сознания нет стоимости, а вот стоимость способна отчуждаться от сознания, реализуясь как бы вне сознания, во всяком случае, не под его непосредственным контролем. Сознание как будто определяет стоимость, учреждая и применяя деньги, устанавливая цены, но зато стоимость, действуя уже помимо или даже вопреки сознанию, тоже способна определять сознание — и если сознание определяет стоимость

более по форме — как собственно вещь, то стоимость определяет сознание уже более по существу — как собственно весть.

Находясь во власти человека, деньги и цены действуют как орудия хозяйствующего человека, но стоимость, этими орудиями вроде бы реально оживляемая, действует при этом сообразно самой себя, превращая не только деньги и цены уже в свои орудия, но и самого самостоятельно и рационально-де действующего человека: так из подвластных человеку *вещей* выходит на свет божий уже неподвластная человеку *весь*, на которую человек хозяйствующий вынужден реагировать и за которой охотно или вынужденно следовать.

Стоимость, будучи вроде бы произведением человека, обладает в то же время способностью отделять себя от человека, становясь уже внечеловеческой и надчеловеческой силой-механизмом, навязывающей себя человеку.

Не воспроизведение человека тут во главе и впереди, а воспроизведение по сути уже сверхчеловеческой стоимости, с которой человек вынужден считаться, полностью ей, однако, никогда не доверяя.

Ничего человеку хозяйствующему не остаётся, как вступать в творческий контакт со стоимостью — не с деньгами лишь, что само собой разумеется, а на этой невидимой и неуловимой, но, увы, старательно действующей, весьма и по-своему, ещё и в своих интересах, метафизической криптосубстанцией.

Стоимость вовсе не чужда произвола — что либерального, что дирижистского, а главное — трансцендентного, отчего лишь одно беспокоющее человеческие ум и душу заключение: стоимость — феномен *мистический*, своеование которого лишь к случайности и вероятности не свести, — решает себе по-своему и всё тут!

11

Однако при всём своем мистическом своеование стоимость не уходит совсем из-под власти человека хозяйствующего, более того, она под властью человека по преимуществу и пребывает, лишь на время и местами из-под неё вырываясь, уходя во всегда ожидающее ею приволье, разумеется, в относительное и срочное.

Экономика — постоянная стоимостная игра человека хозяйствующего, становящегося экономическим человеком, со стоимостью, игра, в которой на одной стороне сознание, а на другой... нет, не стихия всё же, как и не просто бессознание, хотя того и другого тут хватает, а, скорее... как уже было выше отмечено... сверхчеловеческая сила-механизм, рождаемая ноосферой — *экономизированной ноосферой*.

Владение деньгами, капиталами, ценами, курсами валют, инвестициями, кредитами, ссудным процентом, фондовым рынком и т. д. — владение стоимостью, возможность и ею управления.

Главная экономическая собственность, или собственно экономическая собственность — *собственность на стоимость*. Это со стороны экономических субъектов. Но и со стороны стоимости имеет место собственнический эффект, обозначенный зависимостью субъектов и всех хозяйственных процессов от жизнеотправления стоимости. Стоимость тоже владеет и тоже управляет, она тоже *собственник*, пусть и очень своеобразный.

Финансовые потери и крахи, банкротства, девальвации, инфляции, кризисы — яркие свидетельства как власти стоимости, так и факта управления экономикой и самими экономическими агентами со стороны стоимости. Впрочем, о том же свидетельствуют, хотя и не столь ярко, такие процессы, как внезапный рост доходности, высокая кредитная активность, инвестиционный бум, динамичная капитализация и многое другое, что случается среди живого, а потому и своевольного, и разнообразного, экономического контекста.

Стоимость — некая упругая, активная, реактивная, во многом и свободно определяющаяся субстанция-сила, жизнедеятельность и воспроизводство которой, будучи производными от человеческих действий, определяют жизнедеятельность и воспроизводство экономики и всего сообщества экономических агентов, так или иначе господствуя над всем экономико-хозяйственным миром.

Ничего без стоимости, её посредничества, её воли! Именно стоимость запускает экономику, ведёт её движение, добивается экономических и неэкономических результатов, хотя делает она это не сама по себе, конечно, а через соответствующую деловую активность человека хозяйствующего. Любой экономический агент есть стоимостной субъект, или

субъект-стоимость, но с той существенной оговоркой, что он есть при этом и стоимость-субъект, который не только использует стоимость, будучи субъектом-стоимостью, но и сам используется стоимостью, уже в роли стоимости-субъекта.

И выходит так, что обе стороны: субъект и стоимость, не просто слиты друг с другом в единое целое, не только продуктивно взаимодействуют друг с другом, но ведут между собою непрерывную игру, полную, как хорошо известно из экономической практики, вольноопределяющегося риска.

Субъектный риск определяется тут риском стоимостным — и ежели субъект всегда при этом действительно рискует, то стоимость, определяя субъектный риск, сама не рискует никогда: она просто делает своё процессуальное дело.

Отсюда желание субъекта владеть стоимостью, ею управлять, чтобы выживать, расти и процветать в союзной и одновременно враждебной ему стоимостной среде, но отсюда для субъекта и полнота стоимостного риска, ибо стоимость, выходящая за пределы власти и компетентности любого экономического субъекта, всегда и без особых усилий ускользает от любого субъектного контроля, она всегда ведёт свою собственную игру, не подлежащую всестороннему и совершенно эффективному для субъекта моделированию.

Стремление субъектов овладевать ими же порождаемой стоимостью, уменьшая для себя стоимостные риски и увеличивая стоимостные же возможности, приводит к различного рода консолидациям субъектной власти над стоимостью, в чём преуспевают обычно крупные агенты-корпорации и, конечно же, государственные и межгосударственные институты.

В любой развитой экономике всегда возникают разветвлённые властные иерархические структуры, в задачу которых входит не просто пользование стоимостью, как это характерно для любого экономического агента, но и управление стоимостью, причём не просто находящейся в руках конкретного экономического субъекта или же сообщества субъектов, а разлитой по всему экономическому пространству — локальному, национальному, международному, мировому, что означает наличие потребности в *топологической организации стоимости*.

Историческое развитие феномена стоимости, всего стоимостного общественного организма как раз и увенчалось формированием сложной и разнообразной системы субъектного управления стоимостью — от статуарного институциального до подвижного функционального. В структуре данной системы и в поле её продуктивной работы оказываются так или иначе все экономические агенты — вплоть до конечных потребителей-покупателей, что означает воцарение *развитой и весьма совершенной системы организации-самоорганизации стоимости*, а соответственно и экономики в целом, такой системы, в которой определяющую роль давно играет вовсе не рынок, а его, этого самого рынка, сознательная и вполне осмысленная организация.

Рыночная организация давно уже уступила место сознательной организации самого рынка, а потому не сам по себе рынок, или стихийная организация сообщества экономических субъектов, всё главное или почти всё главное в современной экономике решает, а некая надрыночная, хотя и не жёсткая, достаточно мобильная, по-своему и самоорганизационная система управления экономикой, не отвергающая вовсе рынка, а с ним как бы сверху взаимодействующая, в него при этом и входящая, его ограничивающая, направляющая, даже по-своему и тревожающая — вплоть до разрушительных эксцессов.

Экономика — не только рынок, а сейчас уже как раз рынок организуемый, как бы связанный рынок, совсем и не свободный, — и хотя без самоорганизации — как рыночной, так и внeryночной (или надрыночной), никакой экономики быть не может, важно иметь в виду, что и без сознательной, волевой, целеположенной организации-несамоорганизации тоже никакой экономики нет и быть не может.

Рынок — совокупность самоорганизующихся экономических агентов (продавцов и покупателей), но при этом и непременно *организуемых* — как из-за пределов рынка и даже всей экономики, так и в пределах того, что можно ещё считать рынком, как и собственно экономикой.

Когда речь заходит об *организации*, то при этом имеется в виду, что вполне справедливо, не что иное, как реализация сознательных, целеположенных действий агентов, а если речь идёт о *самоорганизации*, то подразумеваются либо какие-то независимые от чьей-либо сознательной

организации действия агентов (их самодействия), либо самовольно происходящие в сообществе экономических агентов процессы, возникающие как результат совместных, даже и друг другу противостоящих, действий всё тех же агентов.

В первую очередь обычно принимается во внимание функциональная сторона любой организации, в том числе и самоорганизации, что можно всегда увидеть или вообразительно представить как вполне реальные действия, как их действительный результат. Но при этом, как правило, забывается, что в экономике есть *стоимость*, которая, будучи сама организуемой, тоже кое-что организует, выступая как самоорганизационная и самоорганизующая сила. И выступает здесь стоимость уже не как видимый функциональный механизм-процесс, а как что-то невидимое, скрытое, конспиративное, чуть ли не потустороннее, что принято относить к сущностному, ноумenalльному, эзотерическому плану бытия, что реализуется не по технологическим принципам и системным-де законам, а по неведомым человеку интенциям, с которыми человеку экономическому приходится попросту считаться.

Да, хорошо бы, овладев полностью стоимостью, обеспечить эффективную коопération и координацию между стоимостным либерализмом и стоимостным дирижизмом, когда управление стоимостью не подавляет её своеволия, а сама стоимость не горит желанием вдруг воодушевиться анархически и восстать разрушительно против с великим трудом поддерживаемого экономического благоденствия.

И дело здесь не в эгоизме, алчности или некомпетентности экономических агентов — в особенности крупных, хотя, всё это, конечно же, есть, а в невозможности овладеть чем-то принципиально неовладевааемым, ибо стоимость, хоть и от этого мира, но одновременно и от мира иного, с которым нет и не может быть полноцельного и вполне эффективного функционального единения.

Кажется, что в экономике всёrationально, рассчитано, полезно, функционально, но это только так кажется, ибо в экономике хватает и всего противоположного, но не в облике и в функции лишь случайностей, ошибок, погрешностей, как и отклонений от правил и всяких правильностей, а в виде органически необходимого действия, без которого никакой

экономики вообще не бывает. Насколько экономика рациональна, технологична и проективна, настолько она иррациональна, стихийна и неопределенна. И тут важно иметь в виду, что все эти «отрицательности» вовсе не пороки экономики, а её неотъемлемое, вполне и ценное, достояние.

Работающие деньги — *финансы*. И ежели финансы просто обслуживают экономику, то имеет место всего лишь феномен внутренней финансизации экономики, совершенно для экономики необходимый. Но финансы способны занимать и ведущее место в экономике, в ней не просто участвуя, а и ведя её, превращая экономику с финансами в *финансовую экономику*, что в конце концов и произошло в реальности. Нынешняя развитая экономика — *финансовая экономика*!

С превращением экономики с финансами в финансовую экономику, или финансомику, произошло и превращение стоимости в *суперстоимость*, отличающуюся не просто своей надхозяйственностью (выведением за пределы собственно производственного процесса и укоренением в надстроечной позиции), но и возможностью быть и реализоваться уже непосредственно из себя, разумеется, через посредство соответствующих финансовых агентов.

И уже казалось, что явилась возможность чуть ли не totally контролировать стоимость, а вместе с нею и всю экономику, избегая рыночных неурядиц и кризисных потрясений, ожидаемых банкротств и неожиданных крахов. Однако возымело место кое-что обратное: к обычному внутрихозяйственному своеvolutionю стоимости (более всего апостериорному) добавилось своеование, так сказать, необычное, уже надхозяйственное (непосредственно априорное), закладываемое прямо с момента выхода стоимости, занявшей позицию сверхстоимости, в экономический мир.

К проблемам внизу и снизу добавились проблемы вверху и сверху. Возможность «делать» виртуальную стоимость наверху, вменяя её в экономику сверху вниз, открыла и возможность «делать» и стоимостной произвол, тоже вменяя его сверху вниз, а в итоге получился *суперстоимостной суперпроизвол*.

К естественному, скажем так, стоимостному произволу добавился произвол искусственный, а проектирование экономики сверху и из центра обернулось не менее проектируемым дополнительным произволом.

Яркий пример всего этого — доллар, произвольная его победа по итогам Второй мировой войны и всё дальнейшее произвольное доллароотправление: от хорошо продуманной Бреттон-Вудской авантюры до плохо продуманных авантюр сегодняшних дней, беременных каким-то совершенно уже выдающимся, прямо-таки апокалиптическим, долларо-финансовым катализмом.

В идеино-концептуальном плане стоимость нейтральна, но она совсем не нейтральна в функциональном отношении, ибо она, будучи сотворённой человеком, творится и сама, следственно, и сама творит, а потому имеет свои практические интенции и решения, именно *свои*, а не чьи-либо ёщё, ибо стремится к *своему собственному* выживанию-воспроизведству, хотя она, будучи субстанцией, не есть какая-то плотная масса, нуждающаяся в своём массовидном сохранении и утверждении во времени. Это никакая не «плотская» масса, а что-то вроде... творящего вакуума, выживание-воспроизведение которого как раз и означает сохранение и удержание своих необыкновенных информационных, организационных и управлеченческих способностей.

Произвол субъектов стоимости, который не только неизбежен, но и необходим, смыкается с произволом самой стоимости, который тоже неизбежен и тоже необходим, а потому экономику надо прежде всего рассматривать как в основе своей *производовый* или же *производленческий* феномен-механизм, ограничивающий и затрудняющий обычную рациональность и проективность, умело для себя маневрирующий и легко разбивающий всякие умные и фундированные экспертные оценки и прогнозы.

Предвидение той же погоды сегодня гораздо точнее и эффективнее любого глобального экономического предсмотра, ибо погода, по большей части всё-таки физика, а экономика, увы — метафизика, которая, кстати, вовсе не только где-то там — в экономических (стоимостных) глубинах, а и прямо здесь, на поверхности — в деньгах, ценах, кредитах, инвестициях, ценных бумагах, во всём наполняющем экономику конкретном экономическом.

12

Рождённая человеком по мотивам хозяйственной пользы, экономика, казавшаяся долгое время лишь нейтральной благотворительницей,

заняла в конце концов доминирующее положение в хозяйственном бытии человека, а главное — в реализации эксплуатационного момента, особенно свойственного цивилизованному человечеству, выйдя ничтоже сумняшеся, на ведущую роль во всём человеческом жизнеотправлении.

Произошло это, конечно, не сразу, а лишь по свершении западно-европейской ренессансной революции, составной частью которой, наряду с религиозной, идеологической, научной и политической, стала *экономическая революция*, давшая ход развитию адекватной ей *экономической цивилизации*.

Экономическая революция, окончательно и бесповоротно победив цеховой строй городского ремесленного хозяйства и феодально-крестьянский уклад сельской жизни, использовавших экономику, но её ограничивавших и сдерживавших, дала простор развитию экономики в капитальной форме, ибо религиозно-идеологическая революция сняла всякие идейно-этические ограничения с денег, торговли и ростовщичества, а следственно — с капитала как такового, стремившегося к хозяйственной свободе, деловой инициативе и неограниченному расширению. Овладение капиталом сферой труда и творчества, подкреплённое накоплением баснословных богатств и безграничным расширением рынков в ходе и в результате великой колониальной экспансии (по итогам Великих географических открытий), позволило экономике, уже в капитальном образе, захватить приоритет в хозяйственном бытии человека, а вместе с наукой и техникой и в развитии человечества — от природы к неприроде — называемом обычно *прогрессом*.

Не будет большим преувеличением сказать, что ничего существенного в человечестве со времён экономической революции уже без экономики, без денег, без капитала, без экономического расчёта, без экономической эксплуатации не происходило — и это несмотря на то, что в подавляющей мере человеческое жизнеотправление никогда не являлось и сегодня тоже не является экономической, мало того, экономике значительно, если не коренным образом, противоречит и противостоит.

Отсюда постоянная, провоцируемая прежде всего экономикой, борьба — борьба экономики с неэкономическим контекстом, которая есть проявление конкурентной, экспансационной и в общем-то агрессивной природы экономики, — и борьба эта по сию пору сопровождается,

вполне и коварно, победами экономики, хотя экономике постоянно оказывается сдерживающее и корректирующее сопротивление.

Экономика экономизирует хозяйство, под себя подминает, рулит хозяйством, а хозяйство сопротивляется экономике, выдвигает ей свои условия, заставляет учитывать неэкономические интересы и обстоятельства, пытается ослабить чересчур назойливую и плотную опеку экономики, а при необходимости и случае идёт на её тотальное удержание в подчинённом положении, возрождая доренессансную хозяйственную практику, сдерживая и даже отменяя капитал.

Так было, в частности, в СССР, где хозяйство не было в полном смысле слова экономическим, где экономика, занимая явно подчинённое положение, лишь обслуживала хозяйство, бывшее в основе своей натуральным, когда деньги поставлены на службу неэкономическому началу, а стоимость находится в явно связанным состоянии. Хорошо это было или не очень, но диктатура хозяйства над экономикой имела тогда пусть временные и неполные, но воистину фантастические результаты — из аграрно-индустриального хозяйства раннего СССР в научно-индустриальное, ещё и аэрокосмическое, хозяйство зрелого СССР — и всё это за какую-нибудь полусотню лет, включая разорительную и по-своему созидающую мировую войну!

Ограничение экономики в принципе возможно, оно даже необходимо — и не только в экстремальных обстоятельствах — но... всегда до некоторых пределов: рано или поздно слишком зажатая сверху и из центра экономика берёт своё, освобождаясь от сдерживающих её искусственных уз, ибо нет никакого иного более успешного способа достигать в среде цивилизованного человечества постоянного и максимального производительного эффекта, как и целостного хозяйственного процветания, кроме как на путях достаточно свободной, энергийной и инициативной экономики, правда, ежели творческое хозяйственное начало присутствует и себя эффективно реализует и в среде самой по себе экономики.

Нельзя, разумеется, ни поклоняться истово экономике, как это делает обычно её финансовая «служба», ни пренебрегать экономикой, как это бывает свойственно хозяйственному авторитаризму. Без денег

нельзя, но и с деньгами весьма рискованно! Отсюда всё-таки гибкий контроль надо всем стоимостным, следственно, и надо всей экономикой — со стороны не так даже экономического, как хозяйственного и хозяйствующего *центра*, и контроль *властный* (экстраординарный), а потому и *государственный* (с правами, обязанностью и ответственностью), а потому и национальный (целевой и содержательный), — а если вдруг *глобальный* (общепланетарный), то не из единого властного мирового центра, который, судя по опыту США, для всех не очень приемлем, не так уж эффективен, весьма рискован и вряд ли вообще возможен, а из центра *межнационального*, всему сонму наций подотчетного и по своей основной функции не более чем координационного.

Экономика, однако, разрослась, расцвела, разохотилась! Она не просто везде и всюду, не просто в головах и душах людей, не просто господствует надо всем хозяйством, она в полном смысле слова царствует, не только управляя и командуя, но и обращая сам *мир человеческий* в *мир экономический*, причём не по признакам и мотивам только, а прямо по самой сути — в мир стоимостной, счётно-расчёты, оцифренный и обчисленный, соответственно и обцененный, в мир-стоимость, в мир-цену, в мир-«деньгу», в котором стоимость не элемент вовсе, не часть и даже не подсистема, а объемлющая всё и вся, вполне и сакрализованная, субстанция — свободная, независимая, своевольная, даже и не субстанция как таковая, а машина, организм, зверь!

Экономика — не совсем хозяйство как таковое, хотя это и хозяйство, разумеется, очень особенное: экономика, скорее, какая-то сверхъестественная сила-система, возбуждаемая, организуемая и пользуемая вроде бы человеком, но уже и сила-система нечеловеческая, как и надхозяйственная, причём настолько, что власть человека над этой силой-системой с неизбежностью уступает власти этой силы-системы над человеком, что заставляет человека хозяйствующего не просто считаться с экономикой, но и подчиняться ей, причём не только её операциональным решениям и функциональным интенциям, но и самому её историческому потоку, находящему выражение в феномене безграничного *экономического накопления*. Отсюда и самый настоящий *экономический гон* — за деньгами, за богатством, но и за... *избыточностью*!

Давно уже став сверхъестественной, экономика гонит человека

по пути *сверхъественной сверхизбыточности* — благ, вещей, услуг, богатства, доходов, потребностей, произвола, потребления, производительности, нововведений, скоростей, перемещений, сооружений, городов, цивилизации, права, политики, информации, науки знания, литературы, искусства, массмедиа, спорта, гламура, моды, как и, разумеется... пустоты, симуляций, наконец — и самих умело опустошённых людей-симуляков.

Это избыточность исторического порядка — по отношению уже ко всей планете, ко всей жизнетворной природе, ко всему витальному пространству-времени, к отдельному человеку и человечеству в целом.

Это уже явно *эсхатологическая избыточность*, за которой не может не проглядывать что-то вроде давно ожидаемого Страшного Суда или пресловутого Конца Света.

13

Однако никакая катастрофа, кроме явно космической, экономическому, ставшему уже избыточно потребительским, человеку, не страшна, ибо он уже попал в то особое состояние, которое можно было бы назвать *экономико-потребительской амнезией*, спровоцированной и закреплённой не чем иным, как самым настоящим *глобальным экономическим чудом*.

Да, экономика и в самом деле чудесная вещь (от вести), это не какое-нибудь натуральное хозяйство, ограниченное и консервативное, ещё и сопровождаемое вынужденным аскетизмом; экономика — хозяйство великого беспредела, ни в чём не знающее и не испытывающее границ, в том числе и по азимуту потребительского гедонизма.

Экономика сама давно уже *избыточна*, даже для *себя самой*: в деньгах, капиталах, затратах, доходах, инвестициях, кредитах, ценных бумагах, но так же и в разного рода оценках, в ценообразовании, в банках, а также в предприятиях, фирмах, институтах, в рынках, сделках, покупках и продажах, равным образом, в менеджерах, бухгалтерах, аудиторах, посредниках, экспертах, консультантах, контролёрах, инспекторах, надзирателях, прокурорах, судьях, адвокатах, как и в счетах, договорах, обязательствах, лицензиях, соглашениях, регистрациях, не говоря уже

о контрабандистах, ворах, бандитах, пиратах, мошенниках, фальшивомонетчиках и прочем сброде, охотно прилипающем к благоточивому экономическому древу.

Уже всё в людском мироздании, или почти всё, однажды, обзено, продано или подлежит продаже, как и закуплено или подлежит закупке: земля, леса, недра, влагоисточники, острова, жилища, водоёмы, берега, достопримечательности, даже и места святые, не говоря уже обо всём текущем индивидуальном, семейном или коллективном жизне-отправлении.

За всё надо платить и платить деньгами, а деньги... что деньги?.. вовсе уже не какие-то реальные вещи, вроде золота, а совершенно ирреальные фикции, заявляющие о себе посредством назначаемых сакрализованных цифр, но зато... субъектно и субъективно контролируемых и управляемых, пусть и не абсолютно, пусть и не полностью, но всё-таки какому-то волевому центру-кластеру достаточно подвластных, для чего и культивируются вокруг денег такие «штучки», как лживые идеино-информационные атаки, властный деспотизм, изощрённый обман, фальшивая заданность.

Деньги давно уже *крипто деньги*, о которых обширному экономическому свету ничего достоверно не известно, и цены тоже в основном уже *крипто цены*, образование которых покрыто непроницаемой тайной, да, собственно, и всё остальное в экономике существенно задето конспирацией, вполне, знаете ли, оправданной.

Экономика — тайна, а уж нынешняя — сверххозяйственная, виртуальная, фиктивная, симуляционная, глобальная и особенно конспиративная — тем более!

Нет, экономика вовсе не так свободна и открыта, как кажется, хотя и весьма своевольна, во многом непредсказуема, по-своему и капризна, но главное — она достаточно закрыта и законспирирована, — и никто, ни один экономический субъект, проворачивающий дорогой его уму и сердцу бизнес, не говоря уже о могущественных магнатах и олигархах, не заинтересован в свободной, открытой и воистину явленной экономике, — *никто!*

Экономика — тёмное дело, вовсе не такое уж ясное и доверитель-

ное, — тут ведь сплошная *конспирология*, которая сама по себе ни хороша, ни плоха, но которая просто есть и, что самое важное, не может не быть!

Быть экономическим субъектом — быть удачливым конспиратором, — в противном случае ни тебе бизнеса, ни тебе успеха, ни тебе дохода!

Экономическая конспирология — необходимая, потребная, вынужденная; сознательная и бессознательная, иной раз и вполне объективная; деловая, управленческая, организационная; и при всём при этом совершенно онтологическая, в немалой степени и метафизическая, и трансцендентная.

Экономика в связи с этим — не просто сложный объект для изучения и исследования, несмотря на вроде бы сплошной фактологический (статистический) мониторинг, а объект ловко, упрямо и непрерывно ускользающий от заинтересованно постигающего его сознания, даже и сознания исключительного по осведомлённости, информированности и властной оперативности, не говоря уже о сознаниях вольноопределяющихся экспертов, заносчивых консультантов и благопристойных профессоров.

Недаром же по одному и тому же предмету или вопросу высказываются совершенно разные экспертно-профессиональные мнения; недаром же все значительные события в экономике, как правило, «случайны», «внезапны» и «коварны»; недаром же об экономике как не было так и нет адекватного научно-теоретического представления; недаром же математика споткнулась об экономику, создавая модели никак не ложащиеся на предмет, от него почтительно удалённые; недаром же вся экономическая политика есть не более чем игра в пробы и ошибки; недаром же переходные процессы в постсоциалистическом мире 1990-х побили все рекорды по отвержению любых научно-экспертных истин (и деньги, как оказалось, могут быть любыми, и валютные курсы, и цены, и ссудные проценты, и доходы, и расходы тоже, как и экономика в целом может быть любой); недаром же американские модели экономики и экономической политики конца XX и начала XXI в. есть не что иное, как хорошо организованный *экономический абсурд*, держащийся на «финансовом авторитете» и пресловутой экономической, а на самом-то деле всего лишь

войской, политической и технологической мощи США.

Быть удачливым экономическим субъектом — быть особого рода метафизическим стратегом, имеющим дело с какой-то играющей с ним, ему полностью неподвластной и весьма непокорной, но зато свою равной и своевольной... *неизвестностью*, мало того — с тайной, наверное, с тем самым невидимым *Левиафаном*, обладающим изощрённым «интеллектом», но не имеющим обнаруживаемой и ухватываемой формы.

Вот она — *метафизика экономики*, которая, никак не отрицая феноменологии и фактологии экономики, заявляет, что всё самое главное и решающее в экономике восходит к её внутреннему трансцендентному *ничто* — невидимому, неосознанному и никак, кроме метафизического чувствования, не моделируемому.

Хозяйственный опыт СССР, его тотального планирования и директивного управления производительными агентами, включая планомерную организацию и её экономическую оформленность, показал, что хозяйствовать планово-административно можно, даже на некоторое время активно развиваясь, но в глубоком стратегическом аспекте это всё-таки неприемлемо: вытеснить метафизику из экономики, заменив её тщательно организованной физикой, возможно, но на краткий мобилизационный срок, достигая при этом и весьма крупных результатов, но удержать данную ситуацию надолго и с необходимой хозяйственной эффективностью всё-таки нельзя — и это тем более убедительно, что всякое чрезмерное вытеснение экономической метафизики оборачивается нарастанием отрицательной хозяйственной метафизики, что находит выражение в таких непреодолимых без содействия свободного экономического начала феноменах, как падение заинтересованности в труде и творчестве, снижение производительности, замедление и даже остановка развития, консервация отсталости.

Вот и выходит, что экономика — вещь необходимая, без неё в сфере цивилизованного человечества никак нельзя, но совсем ужвольной экономики быть в цивилизованном мире не должно, ибо у неё самой никакой гуманитарной стратегии нет и быть не может, а собственное стремление человека вперёд и вширь полно опасной неопределённости и громадного риска, как не должно быть и эгоистически управляемой экономики, нацеленной на интересы малой части населения в ущерб

большой его части, что то же самое — эксплуататорской экономики, что, правда, не мешает экономике быть на практике как чрезмерно самоуправной, так и устойчиво паразитарной.

14

Экономика — постоянно запускаемый и непрерывно работающий социомеханизм. Запускаемый экономическим человеком вкупе со стоимостью и работающий при посредстве и под управляющим воздействием денег (капитала) и вездесущих, меняющихся, переливающихся друг в друга оценок (цен). Деньги работают как стоимостные массы (оцененные потоки) и как средство товарных оценок, возникновения оценочных сигналов, образования цен.

Ничего без оцененных денег и ничего без оценочных цен!

В итоге денежные потоки приводят в движение весь хозяйственный процесс, а цены регулируют как эти денежные потоки, так и весь этот хозяйственный процесс.

В экономике нет постоянной «золотой» величины, а есть только величины текущие, переменчивые, неустойчивые, причём заложенные в них стоимостные значения не привязаны строго к действующим (легальным) номинальным величинам.

Всё подвижно в экономике, всё относительно, всё моментно!

И всё при этом с роковой неизбежностью избыточно. Избыточность столь же органична экономике, как и её стоимостная подвижность. Именно избыточность и как раз стоимостная, делает экономику... достаточно устойчивой, следственно, и в принципе возможной. Избыточность — сила, пресс, мощь, удерживающие экономику в воспроизводственном состоянии, мало того, дающие ей возможность структурно и качественно изменяться, расти и развиваться.

Избыточность — не девиация, не нарушение, не болезнь, а норма, она же и резерв, столь же необходимые, насколько необходимой в экономике является та же стоимость.

Экономика — это произвол, умериваемый тем же произволом, как и, разумеется, обстоятельствами, среди которых ведущую роль играет не что иное, как раскатываемое экономикой *хозяйство*, само реальное жизнеотправление человека.

Именно хозяйство делает экономику сообразной хозяйству и даже самой себе, конечно же, в постоянной взаимной тяжбе и в ходе непрерывных взаимных коррекций.

Хозяйство — бесконечное разнообразие качеств, экономика — бесконечное качественное однообразие. Однообразие стоимости, денег, цен, капиталов. И именно хозяйство задаёт экономическому однообразию бесконечное количественное разнообразие. Разность цен в основе своей от хозяйства, а не от экономики, а вот конкретная величина цены немало уже зависит от экономики.

Хозяйство не любит произвола, оно навязывает экономике жизненную целесообразность, а экономика, наоборот, полна произвола, а потому способна действовать вопреки жизненной целесообразности.

Экономика призвана удовлетворять потребность хозяйства, что она в основном и делает, но экономика навязывает хозяйству и свои условия, всегда образуя зону вне- или надхозяйственного экономического произвола, в рамках которой велико значение чистой экономики, на себя саму замкнутой экономики, можно сказать — *сверхэкономики*.

Хозяйство тянет к жизни, её воспроизводству, экономика же, участвуя в этом законном стремлении хозяйства к жизни, способна вызывать и обратное движение — к нежизни, если не прямо к смерти, когда экономика смущает и спутывает хозяйство, подчиняет его нежизненным задачам.

В экономике заложена великая потенция к *самовозрастанию*, получившему отражение в таком понятии, как *накопление* — денег, капитала, а вместе с ними и любого неденежного, некапитального богатства. Нет ничего проще и привлекательнее накопления абстрактного богатства, выраженного лишь деньгами (цифрами, числами, величинами), как раз того самого богатства, легко превращаемого в любое натуральное. Сложнее и менее привлекательно пускать деньги, капитал в хозяйственный оборот, опять же увеличивая денежное, а за ним и любое иное неденежное богатство.

Экономика — мощнейший мотор хозяйства, влекущая вперёд сила.

И не имеет принципиального значения, во что конкретно вкладывать деньги, в какое конкретное хозяйство, лишь бы это вложение было

успешным, доставляющим новые деньги. И вкладывать можно в принципе любые суммы, лишь бы они были приняты реальным хозяйственным оборотом и опять же принесли бы реальный доход.

Умело обворачиваясь, капитал способен расти и расти, обогащая своего владельца-манипулятора, обычно величаемого предпринимателем (бизнесменом), а при возможности и менять образ бытия, да не только отдельного капиталиста, а и общества в целом. Экономика — вернейший стимулятор социо-хозяйственных перемен, перехода от одного типа жизни к другому, построения и освоения нового и ранее небывалого.

Экономическая цивилизация — цивилизация непрерывного и всеобщего обновления!

Разумеется, при условии, ежели обладатели денег, капитала, финансов, заинтересованы в их постоянном хозяйственном обороте, сопровождаемом эффектом самовозрастания, то же самое — в предпринимательском использовании денег, капитала, сопровождаемом и любым приемлемым *новаторством*.

И тут важно заметить, что предпринимательство несёт в себе не одну жажду накопления, но и удивительное стремление к переменам, выходящее за рамки экономического накопления и восходящее к природе не экономики как таковой, а самого хозяйствующего с помощью и в лучах экономики человеческого сознания.

Человеку в природе почему-то очень неймётся!

Наверное, вследствие какой-то всё-таки неприродности человека, его сознания, а потому заложенного как-то и почему-то стремления человека за пределы природы — к неприроде, ему совершенно неведомой, но почему-то страстно желаемой!

Неприродность человека и неприродность его хозяйствования — от природы к неприроде!

Природа — тенеты, неприрода — простор! Экономика, между прочим, тоже ведь неприродна — деньги, цены, капитал, инвестиции, кредиты... причём тут природа, когда всё это экономическое совершенно неприродно, внеприродно, сверхприродно, а с позиций природы и попросту нелепо? Разве вся экономическая игра, весь экономический счёт, все экономические алгоритмы природны? Отнюдь! Они все абсолютно

неприродны. Столь же неприродно и творчество человека, рождающееся не природой вовсе, а сознанием, рефлексией, воображением, галлюцинацией, в общем — какой-то заведомо неведомой и суперстранный неприродой!

Не природа вовсе, а как раз неприрода господствует в человеческом хозяйстве — что через экономику, что через технику, что через науку с искусством — и результат человеческого хозяйства по большей части неприродный, как и всякого рода необыкновенные блага, и чудесные сооружения, и даже сам парадоксальный образ жизни цивилизованного человека.

От материала природного и разных природных обстоятельств, конечно, человеку никуда не уйти, но продукты человеческие всё-таки во многом уже неприродные — что природного в каком-нибудь топоре, в автомобиле или в той же книге?

Да, человек способен вообразить то, чего нет в природе, он способен так преобразовать материал природы, что создаёт то, чего нет в природе, а в итоге человек способен создавать, если не нагромождать рядом с природой, при её вольном или невольном попустительстве, а по преимуществу, видно, ей вопреки, вполне целостную неприроду, огромный искусственный мир, да и сам при этом становиться всё менее природным и всё более искусственным.

А экономика тащит всю эту искусственность вперёд, в даль, в неизвестность, не прекращая одних людей делать богатыми, властными и в себе уверенными, а других... бедными, зависимыми и даже себе не нужными, и всё это при непрерывной эксплуатации одних людей другими.

Экономика — величайшее по простоте, сложности и затейливости изобретение хитроумного человечества и не самого, заметим, добропорядочного!

Что же означает вообще стремление человека хозяйствующего *от природы к неприроде*, причём стремление на удивление сильное, прорывающее любые преграды и препоны, в том числе и идеально-ограничительные, даже идеально-запретительные, не без услужливой, надо особо подчеркнуть, помощи экономики, исходно враждебной всяким ограничениям и запретам, хотя и считающейся на практике с вынужденной

для себя несвободой?

О-о, это стремление означает очень многое и, заметим, самое главное, ибо сочетается оно прямо со всей историей человеческой, со всем несравненным (не с чем тут сравнивать!) бытием человека, со всеми его непревзойдёнными достижениями, потерями и невзгодами, со всем огромным экзистенциальным риском, со всей неотступной эсхатологической угрозой.

Человек — этот, по-видимому, не совсем законный сын природы, как и, наверное, не самый оправданный сын трансцендентной неприроды (иномирья), — стремится, живя и хозяйствствуя, к чему-то... *иному*, во всяком случае, к чему-то *иноприродному*, возможно, и к какой-то вполне трансцендентной неприроде — то ли прародительской, то ли всего лишь предстоятельной, во всяком случае, к какой-то *неведомой неприроде*, а это, согласимся, и заманчиво, и рискованно, и героизменно, и величественно, как, собственно, и небезопрометчиво.

Ведь ставкой тут служит уже не более не менее как... сам человек, не говоря уже об окружающих человека мире, жизни, природе!

А экономике, которая в реальности уже не только *сверхэкономика* (финансо-финансовая экономика, финансомика, финансомика), но и *гиперэкономика* — изобильная, избыточная, чрезмерная, которая уже в изначалье своёми в своей сердцевине совершенно *виртуально-информационная*, мало того — выдуманная, фантазийная, фiktивная.

Экономика теперь — большая виртуально-информационная игра, не слишком заботящаяся о реальности, которую она сама уже по преимуществу и создаёт, но зато полная счёто-расчётной магии, как и преданной давно уже доминирующей над производительной реальностью финансовой ирреальности.

Гиперэкономика, будучи и сверхэкономикой, производит в изобилии фiktивные деньги, цены, капиталы, кредиты, доходы, те самые, которые не *от* реальности, а *помимо* реальности, как и *на* реальность, не столько адекватные реальности, сколько ей навязываемые (не так от неё взятые, как ей вменённые), те самые фикции, которые и саму реальность делают... фикцией — затейливой, прельстительной, беспрепредельной, как и игровой, инновационной, калейдоскопической.

В отрыве стоимости от реального хозяйственного процесса нет

ничего необычного, но одно дело, когда стоимость всё же обращена к реальности, ища реалистичного себя применения, совсем другое, когда стоимость «заточена» исключительно на саму себя, полагая реальность уже вполне производной от самой себя.

И если когда-то речь шла по преимуществу о количествах денег, капиталов и кредитов, соответствующих потребностям реального хозяйственного процесса, а наличие стоимостных излишков рассматривалось как что-то недоброкачественное и в общем-то недопустимое, то в гипер-экономике всё выглядит совершенно иначе: количество стоимостных элементов может быть практически любым, а если оно и как-то ограничивается, то не хозяйственной реальностью, а лишь самой стоимостной (финансовой) ирреальностью.

Деньги эмитируются сегодня более всего под потребности финансовой ирреальности, относящейся к трансакциям, посредничеству, перераспределению, а не под потребность реального производства и необходимого товарообмена. Отсюда возможность обращения совершенно фантастических денежных масс, никак не обусловленных производительной реальностью, но зато обслуживающих вторичные, третичные и т. д. финансовые операции, осуществляемые ради... самих этих финансовых операций. Финансы производят финансы, а стоимость сама, уже в пределах стоимости, оказывается не более чем умножающейся фикцией.

С классической точки зрения здесь уже царит самый настоящий абсурд! Однако с постмодернистской точки зрения здесь... вовсе не абсурд, точнее, это тот самый абсурд, который и есть сама потребная ныне реальность. Последняя уже не может быть иной, кроме... как абсурдной!

Экономический абсурд — величайшее достояние современности!

И вот этот-то абсурд обязана проглатывать хозяйственная реальность, сама активно и неуклонно превращающаяся во что-то с классической гуманитарной точки зрения абсурдное. Абсурд теперь — сама онтология и есть, ибо экономическая рациональность, которой всё ещё обучают в университетах, давно уже поглощена откуда-то снизу и сбоку явившейся иррациональностью, отчего экономический расчёт есть всего лишь самого себя удовлетворяющий расчёт (вместе, разумеется, с бух-

галтерами и проектантами, его ведущими), а производительная реальность вынуждена довольствоваться своим собственным экономическим расчётом, кое-как пробивающим дорогу сквозь лабиринты экономического абсурдизма.

Современная экономика — глобальная экономика. Все это ныне знают, на не все это достаточно понимают. Что значит глобальная? Нет, нет, вовсе не то, о чём думает сегодня всякий университетский грамотей, а нечто совсем другое: это экономика... э-э... как бы тут поприличнее выразиться... да, пожалуй, так... это... *экономика бездны!*

Что значит в данном случае «бездны»? А то и значит, что без... «дна» — без остова без границ, без сдерживающей целостности. Гигантская, расплывшаяся на весь земной шар, амёба, внутри которой кишмя кишат экономические акторы, они же и актёры, каждый из которых взыскивает свой чудо-гешефт, — это уж кому какой достанется: от мириад скучных выплат до исключительных олигархических хапков.

Тут всё вроде бы неплохо организуется, продумывается, рассчитывается, что-то и самоорганизуется, самовозникает и самопропадает, а потому бездна здесь — вовсе не господство полной стихии, не всеобщий беспорядок, не крутая анархия, а что-то совсем другое... это... какое-то особого рода *состояние-движение*, дающее, с одной стороны, возможность невероятных возможностей, а с другой — возможность неизбежных необходимостей, причём то и другое как следствие вольноопределяющейся, вполне и метафизической, неопределенности.

Можно сказать, что это состояние-движение в неустанный разнос, как и состояние-движение тотального безумия, наконец, это апокалиптическое состояние-движение, когда в недрах экономики, её глубинах, усиленно реализует себя какая-то монструозная *энергия своеволия*, неподвластная ни человеку-субъекту, ни любой социальной системе.

В итоге экономика обретает образ чуть ли не чудотворной силы, ни перед чем не останавливающейся и во все стороны удачливо летящей, даже по азимуту самой невероятной невероятности: достаточно лишь внимательнее посмотреть на массы денег, кредита, долгов, инвестиций, на размеры цен, доходов, бонусов, на объёмы и динамику товарных рынков или рынков ценных бумаг и т. д. — всё здесь гипертрофировано,

всё бьёт по воображению, всё поражает и ничто не подлежит общечеловеческому пониманию и объяснению, разве лишь бесконечному и бессильному осмиянию!

Да, это экономика ради экономики, когда экономическое начало служит самому себе, развёрнуто по вектору собственных интересов.

Высокотехнологический характер современного хозяйства, его высокая реальная производительность, как и великолепная деловая организация, позволяют экономике не только умело обслуживать хозяйство, не только его успешно эксплуатировать, но и, пребывая как бы в надхозяйственной сфере, заниматься собою и только собою, эйфорически разыгрывая потрясающие любую людскую зловредность грандиозные экономические спектакли.

Однако есть ведь то, что принято называть ходом вещей, что происходит само собой, что ничему сознательному неподвластно, что не «заточено» ни на закономерность, ни на случайность, что даже и к чуду не имеет отношения, — и вот этот-то «самоход» и тащит куда-то упорно всемирную экономику — в ту же избыточность, в тот же паразитизм с гедонизмом, в ту же убаюкивающую неизвестность, наверное, и в подкрадывающуюся безысходность, откуда лишь один, надо полагать, выход — в *постэкономику*, но вовсе не «планомерный» выход, а заразительно коллизионный — с потерями, крахами, паниками, бегствами, драками и сражениями, в общем, выход разномерный, болезненный, тягостный, пожалуй, что и агрессивный, и авторитарный, и тоталитарный, одним словом — армагеддонный.

Нынешняя экономическая эйфория — опаснейшая вещь, и опасна она даже не столько надвигающимися катастрофическими последствиями, сколько неудержимо раскручивающейся в виде упругого водоворота экзистенциальной (и антихозяйственной!) бездной, в которую так ловко и быстро втягивается уже всё планетарное человечество, а не одна лишь его хай-тековская прогрессивная часть.

15

«И что же тогда делать с экономикой?» — будто бы спросили как-то студенты уважаемого профессора. — «Казнить нельзя помиловать?»

«Да-а — ответил профессор, — что-то вроде того. Управлять, конечно, надо и в интересах вполне определённого, для самого себя консолидированного, общества, — и такое общество даёт то, что мы называем *нацией* — ничего более приемлемого, потребного и неизбежного, как и в случае с экономикой, человечество ничего пока не придумало. Правда, это может быть и *сверхнация*, вроде США, России, Китая или Европейского Союза, но непременно что-то органически, а лучше сказать — организменно, единое. Нация ведь — вовсе не этнический, а социальный (социально-политический) феномен, в рамках которого вмещается сразу всё — государственность, цивилизация, культура, идеология, язык, предание, традиция, соответственно и хозяйство, в пределах которого и может статься своя экономика — национальная экономика. Последняя вовсе не какая-то нейтральная статистическая данность, а живой организм, обслуживающий столь же живое национальное хозяйство, национальный социум, нацию. Заметим, не государство тут обслуживается экономикой, даже не население, а именно нация. Государство вне нации — всего лишь голая власть, пустышка, лишённая исторической идеи и сакрального смысла, а население вне нации — всего лишь рассыпанная, дезинтегрированная, вполне и энтропийная, никак по-особому не выраженная, безликая, не субъективированная масса каких-то вроде человеков. Любопытно, что сам отдельный человек вне нации... э-э... попросту никто. Так что экономику надо непременно совмещать не только с государством, что более или менее понятно, но и с нацией, что не столь осознанно и признано».

«Выходит, что экономика должна быть национализированной, не так ли?»

«Совершенно верно — твёрдо ответил профессор, — именно так: национализированной, как и те же государство, социум, цивилизация. Обратите внимания, что только нация субъектна и одновременно разнообразно и интегрально содержательна. Нация — не механизм, а прежде всего идея, смысл, качество. Нация — лицо, личность, фигура. Она же и душа, ум, интеллект. Без нации — никуда! Можно поменять гражданство, страну, государство, язык, культуру, а нацию сменить практически невозможно, ибо она в подсознании, в сердце, в крови. Нация — это натура, естество, сакрал!»

«А есть ли примеры вполне успешной национализации экономики?»

«Все сколько-нибудь самостоятельные и воистину развитые экономики национализированы, разумеется, в аспекте взаимопроникновения, взаимосоответствия и взаимодействия нации и экономики: от империалистических наций до трудо-социальных, не исключая и предпринимательские. И если сегодня наблюдается вроде бы денационализация экономики, то это не более чем структурное перераспределение энергий и сил, как и фигурное перевоплощение того, что мы называем национализацией экономики, возможно, смена исторического образа, способа бытия, текущей субъектности, как это имеет место, к примеру, в ЕС — от национальной феноменологии к сверхнациональной».

«Тогда в чём же тут главная проблема?»

«В том, что экономика ныне никак не может быть полностью и однозначно национализированной, — и управлять сегодня экономикой — великое искусство, ибо своеолие экономики получает постоянное подтверждение и поддержку со стороны того, что принято сейчас называть глобализацией. Действительно, экономику теперь легче сравнить с океаном, чем с морем. Но это не значит, что национализация не нужна и невозможна, просто должна уже иметь место другая национализация, которую можно было бы определить как *пространственно-центровую* или же, что по сути то же самое — *того-центристскую*. Тут речь идёт о наличии и работе национального, как и сверхнационального, экономического (хозяйственного) центра, способного контролировать национальное экономическое (хозяйственное) пространство, не отделяя его искусственными границами, не превращая в закрытое и не препятствуя трансграничному течению экономических (хозяйственных) процессов, однако контролировать настолько, чтобы соблюдать национальные интересы, поддерживаемые национальной идентичностью. Речь идёт о контроле над открытой экономикой, а потому не над отдельной частью мировой экономики, а всего лишь над локальным пространством общемировой экономики, что является возможным в режиме *центрового социального предпринимательства*, подкрепляемого политической властью и государственной мощью. Время тотальных и статуарных систем

контроля ушло в прошлое, теперь очередь более всего за контролем избирательным, подвижным, точечным, изменчивым. Ловкий десспособный центр в открытом изменчивом пространстве — таков ныне самый привлекательный императив!»

«И вы допускаете, профессор, реальную возможность такого локального регулирования глобальной экономики?»

«Это не регулирование в прежнем понимании, это, скорее, инициативное влияние из центра на динамику, поведение, структуры хозяйства в каких-либо заданных направлениях, но влияние не столько регулярное, сколько, я бы сказал, инициационное, для которого важнее задавать режим, порядок и векторы функционирования экономики, чем пытаться как-то управлять экономикой, хотя определённое управление определёнными локалиями, как и субъектами, конечно же, вовсе не исключается. Я бы назвал такую практику *неодириджизмом*».

«Выходит, что потребно какое-то существенное перестроение в среде экономики?»

«Разумеется, но более всего в среде самой *экономической цивилизации*, в способе или способах её реализации. Это перестроение не только стучится в дверь, оно уже идёт, хотя, быть может, не слишком споро и заметно. Мировой кризис делает своё дело: той экономики, что была на рубеже XX и XXI вв., уже не будет, на очереди другой вариант экономики, с другой системой управления. Империалистическое пан-управление пан-экономикой показало свою узость, эгоистичность, иррациональность и для всего мира неэффективность, а главное — опасность, чуть ли не смертельную, а потому планетарный мир уже ищет иные решения, не забывая про нации и всё более опираясь на крупные (большие) кластерно-сетевые с региональным уклоном образования. Кризис подталкивает к широким, субъектным, институциональным и целостно системным преобразованиям. Через четверть века мир уже будет иным, тем более что ресурсная проблема нарастает, грядут большие природно-климатические пертурбации и социальные перемены, вероятность судьбоносных катаклизмов усиливается».

«Апокалипсис?»

«Пожалуй!..»

«И его никак не избежать?»

«Нет не избежать, но пережить можно и пережить по-разному. Вот почему нужны реальные нации и действенные государства, но не локализованные, не зацикленные на самих себя, как это было совсем недавно, а воспринимающие мировой контекст и открытые для взаимодействия. Нужны и новые, более гибкие и эффективные, международные объединения, как и потребна новая мировая организация наций, более адекватная нарастающей идеи *планетарного солидаризма*».

«Экономика, кажется, мощное орудие разгоняющегося апокалипсиса, не так ли?»

«Да, именно так! Человечеству придётся утихомирить экономику, взять её под неусыпный контроль, избавив мир от разгула стоимости, денег, финансов. Но сделать это возможно, лишь пройдя через апокалипсис, а лучше сказать — *апокалиптический кризис*, если не самую настоящую катастрофу. Так уж устроен этот странный человеческий мир: катастрофы не просто в нём случаются, они ему, кажется, органически необходимы, причём не только как мощнейший очищающий фактор, но и как момент управления. Таков один из невесёлых выводов философии хозяйства, не склонной ничего камуфлировать, ни замалчивать. Обратите внимание, что апокалиптичность экономики особенно легко обнаруживается как раз при разделении понятий «хозяйство» и «экономика», которое как раз и делает философия хозяйства. Человечество больше не может доверяться экономике, оно должно обратиться к *постэкономическому хозяйству*, в основе которого уже не деньги, не капитал, не денежные доходы, не погоня за богатством, не безудержное потребление, не гедонизм, не растрата ресурсов, труда и творчества, а само существование человека, его жизнь, его выживание, как и вполне контролируемое человеком, но уже аскетическое, будущее.

«И что же, без катастрофы никак нельзя перейти к этой самой постэкономике?»

«Увы, это ведь не решение конструктивистской задачи, а само движение истории. Крушение золотого стандарта сопровождалось в 1930-е гг. тяжелейшим долговременным кризисом, а возникновение новой международной денежной системы на основе всего лишь золото-девизного стандарта, так называемой Бреттон-Вудской системы, смогло состояться лишь по итогам величайшей мировой бойни, приведшей

к экономической и политической гегемонии США и ослабившей всю мировую по отношению к США периферию. А тут переход к постэкономике! Без ряда серьезных миромасштабных коллизий вряд ли удастся обойтись: это же рождение нового мира, уже и совсем иного, разумеется, рождение в муках».

«И как, профессор, вы представляете себе эту самую постэкономику, которая уже без денег, капитала, финансов, банков?..»

«Видите ли, хозяйство можно представить и без всего этого, ежели полностью воплотить с помощью современных информационных и иных технологий давнюю мечту социалистов-утопистов, как и тех же марксистов, о безденежном хозяйстве, фактически уже натуральном, когда стоимости как социального криптофеномена нет, а есть лишь прямой натуральный хозяйственный расчёт, свойственный уже не экономике, а чему-то такому, что можно было бы назвать *техномикой* — техногенным, техницизованным, технологотропным хозяйством. Но, думаю, фактическая реальность будет всё-таки другой: нарастание техномики не отменит вообще экономики, а, подчинив её себе, преобразует, поставив под свой контроль деньги и стоимость, которые превратятся из доминирующих властных факторов во вспомогательные служебные. Стоимость и деньги заметно утратят свою социальную, а следовательно, и метафизическую, природу, став в большей мере технологическими и физическими».

«Значит, всё дело в развитии науки и техники, в росте их значения в жизнеотправлении человека, в хозяйстве, в той же экономике?»

«Можно сказать и так, но при этом нужно принять во внимание, что экономика может стать реальностью только при условии приоритета всеобщей лимитации, или глобальной меры, над всеобщей безграничностью, или глобальным безмерием, как раз над тем, что позволяет себе развитое экономическое хозяйство. Иными словами, речь идёт о переходе от потребительского гедонизма к экологическому аскетизму, не позволяющему никакой избыточности, кроме духовной. А это уже не реформа даже, а... *революция*, причём, скорее всего, насилиственная, возможная как раз по итогам какой-нибудь большой катастрофы. Это революция в сознании, в человеке, знаменующая появление совершенно иных, чем

нынешние, сознания и человека. И хотя шанс сознательного рационального перехода к новому миру всегда надо иметь в виду, но наиболее вероятен всё-таки переход коллизионный, турбулентный, возмущательный. Что же касается науки и техники, то они, конечно, во многом, обусловят этот переход, но, скорее всего, не столько участием в его совершенении, хотя это вовсе не исключено, сколько участием в приближении *великой новомировской мутации* — через ту же глобальную катастрофу».

Раздел II

СОТВОРЕНИЕ

16

Мир загадочен!

И чем больше наука-физика в него проникает, вроде бы разгадывая его секреты, тем загадочнее мир предстаёт перед любопытствующим человеком-исследователем.

И человек со своим сознанием — загадка!

Мир-загадка, человек-загадка, сознание-загадка.

И никаким другим, кроме загадочного, мир для человека познающего быть не может. Отсюда сказки, мифы, истории. Отсюда и философия. Но и наука тоже, и физика, и даже математика.

Всё — условность, всё — недосказанность, всё — проблема!

Мир, как и сознание в нём, не могут не быть загадочными, потаёнными, трансцендентными — в противном случае не было бы никакого мира, никакого человека, никакого сознания.

Сознание — это знание, но вовсе не абсолютное знание, и не знание всего и вся, а знание относительное, неполное, о себе и для себя знание, правда, с одним, пожалуй, внутри себя абсолютом — оно знает, что оно — *знание!*

Обезьяна умна, изобретательна, обучаема, но не знает вовсе, что она что-то знает, как и не знает, что она обезьяна. А человек знает, что он человек, хотя, возможно, он и не человек, а что-то другое — та же суперобезьяна, которой учёному человеку захотелось почему-то отдать генетическое предпочтение — как раз от знания.

И мир, окружающий человека, может быть чем-то совсем другим, вовсе не тем, что о нём знает человек.

Отсюда всё знание человека — знание, но вот... о чём же и что же оно, это знание, — кто знает?

В самом низу, в предфундаменте, в глубине и тиши — незнание; выше — знание, оказывающееся в силу гносеологической говорильни одновременно знанием и незнанием; ещё выше — истина, но сама в себе и сама для себя истина, не что иное, как внешний и закрытый для человека *мир*, который лишь потому истинен, что другой — истинной истины — в распоряжении человека просто нет.

Но дело не в одном лишь знании-мифе, как и не в мифе-знании, а в том, что для человека и сам человек всего лишь миф, и мир, человека окружающий — тоже миф, и истинен так или иначе только миф, причём всякий, даже полнейшая чепуха по-своему истинна, если другой истины, эту чепуху опровергающей, на горизонте знания-незнания не просматривается.

Правда, может быть, и не ложь, но зато ложь вполне может быть правдой.

И ничего человеку не остаётся, как жить разными мифами и жить среди большого необъятного мифа, называемого миром, представленным, удачно или нет, великим сном обычных и необычных мифов.

И выживать!

Сознание — знание, но и незнание тоже, понимание как знания, так и незнания, причём незнания не только за пределами знания, но и в самом... знании. Сознание — это сознание, но и бессознание тоже, — и это всё надо развитому сознанию учитывать, как и учитывать, что мир, человеку данный, вовсе не тот мир, которым он является и не является одновременно, а другой, разумеется, совершенно человеку неизвестный.

Хорошо, ежели Человек и Создатель говорят на одном и том же языке, а ведь всё может быть и по-другому: подобие подобием, а языки-то врозь!

Но выживать надо, а потому человеку ничего не остаётся, как жить, мифотворствуя, а мифотворствуя — жить. И каждой локалии, как и каждому времени, — своя *мифология*, как восходящая к прошлому

мифотворчеству, так и не брезгующая текущим *мифотворением*. И удачлив бывает тот человечище, который использует по возможности адекватные месту и времени и возникающим экзистенциальным задачам мифы, по необходимости их сортируя, отбрасывая и забывая многие из них, но и присовокупляя к устоявшимся мифам новые, вовсе не такие уж исключительные.

Вот и философия хозяйства явилась в мир-миф как потребный этому миру-мифу мировоззренческий и экзистенциальный миф, однако не как миф мифов, а как миф над мифами и им вопреки, как не просто очередной новый миф, а как миф обновляющий, пересматривающий и выручающий.

Согласно философии хозяйства, к примеру, экономика вовсе не тот — общепринятый, всеми изучаемый и широко пропагандируемый — миф, а... нет, нет... не другой вовсе миф, а что-то исходно иное, требующее о себе совсем иного основополагающего мифа, который мы вполне мифотворчески определили бы как *миф метафизический*.

Да — миф, новый своеобразный миф, но зато насколько же *по-иному* сквозь него представляется экономика, которая оказывается не столько вспомогательной системой, сколько самостоящим, умным, загадочным, властолюбивым, своевольным, непокорным, но таким при этом притягательным, прилипчивым, как вполне при этом и коварным... *монстром*, вдоволь жизнеобильным, страдательным, рисковым, вовсю опасным, наконец — и смертоносным, но... совершенно при этом и неизбежным!

Человек, конечно, делает экономику, но делает её так, что сам делается самоделающейся экономикой, — и нет у человека внутри экономики иной свободы, кроме той, что задаётся самой экономикой, — и среди этой самовольной свободы есть та, которая позволяет одним владеть, господствовать и управлять, а другим быть покорными, управляемыми и эксплуатируемыми. Лучшего механизма эксплуатации всего и вся, чем экономика, трудно себе представить, да и представлять не надо: экономика демонстрирует здесь не просто чудеса, а самые что ни на есть чудесные чудеса — ловкие, гибкие, смелые, в глаза никак не бросающиеся!

Деньги, деньги, деньги!

Главное, грамотно запустить их в дело, в предпринимательство, в бизнес, в собственность, в эксплуатацию.

И выходит как-то само собой, что у одних по преимуществу деньги, а у других по преимуществу труд, служба, тяжба, вся выставленная на продажу экзистенция.

И очень тут важно это «само собой», чему экономика сама по себе только споспешествует, а делает всё экономически обустроенный социум, с маниакальной последовательностью выходя на всё одно и то же — на *эксплуатацию* одних человеков другими, как, впрочем, и на эксплуатацию всего остального в мире — природы, сознания, слова... в общем — *всего!*

Эксплуатация — принадлежность человека, в особенности, цивилизованного, а не экономики как таковой, зато экономика даёт возможность свободной, оправданной, выверенной, изощрённой и даже изящной эксплуатации, что восходит прямо к товарообмену, который должен быть эквивалентным, или равноценным, но... практически таким может и не быть и вряд ли когда бывает (нет тут никакой точной априорной эквивалентности, нет!), а потому кто-то из обменщиков всегда хотя бы чуть-чуть в проигрыше, а кто-то равным образом в выигрыше. Так что каждый обменщик в чём-то и как-то вольный или невольный обманщик! Отсюда и возможность через экономический механизм обеспечить кое-какую эксплуатацию, а уж когда в дело входят авансированные для заведомого обмана деньги, то и труд можно купить, и творчество, и сознание, и слово и вообще всего человека с его умом, руками, знаниями и потрохами, а купив, хорошенько человека со всем его конструктивным оснащением поэксплуатировать, получив от него больше, чем было в связи с ним затрачено, ибо на авансированные деньги присваивается произведённый в экономическом обществе прибавочный продукт, который в силу роста в экономической и научно-технической среде общей производительности становится всё большим по объёму и по относительной доле во всём возникающем в мире продукте.

Одни работают и работают, другие работают и управляют, третьи управляют и работают, четвёртые же... только потребляют. И это не просто разделение социума, не просто его стратификация. Это — *иерархизация социума*. И вот тут важно учесть одно важнейшее обстоятельство:

неиерархизированных человеческих сообществ просто не бывает! Само сознание человеческое иерархизированно, сама человеческая ноосфера, ну и, разумеется, весь человеческий социум, который как раз и есть социум, поскольку он иерархизирован. Вне иерархизации ведь не социум, а всего лишь население, масса, толпа.

Цивилизация — непременно иерархия; государство, армия — тем более, но и культура тоже, а что говорить о хозяйстве, о жизнеотправлении вообще, которые требуют хотя бы управления, ещё и сверху и из центров.

Можно ли с иерархией, но без эксплуатации? Нет, нельзя! Одни должны эксплуатировать других, причем более всего управляющие верхи эксплуатировать управляемые низы. И ничего тут не поделать! Иное дело, как, в какой степени, с какими результатами? Ничто не мешает предположить, что высокоразвитое, самоограничивающееся и социально солидарное сознание вполне может создать приемлемую для всех членов социума систему эксплуатации, когда эксплуатирующие вполне для всех полезны, а эксплуатируемые не имеют потребности протестовать против эксплуатирующих. Тогда имеет место, скажем так, приемлемая для всех иерархия — не напряжённая, не насилиственная, ни для кого не обременительная и не унизительная, что-то вроде нынешней скандинавской.

Вообще же, всегда и везде вся проблема в *человеке*, а не в иерархии или в эксплуатации, — и это распространяется на всё: хозяйство, цивилизацию, государственность, экономику, культуру, на любую часть или сторону бытия.

Человек — мера не только всех вещей, но и себя самого!

Разумеется, есть обстоятельства, ситуации, контекст, но устрашающий жизнь силовой центр не где-нибудь, а в самом человеке, его сознании, в культивируемой человеком ноосфере.

Люди разные (принципиально разные!) и никогда одинаковыми не были, как и не будут, пока остаются собственно людьми и не окажутся какими-нибудь однообразными киборгами. Различаются люди по организмам, по способностям, по потребностям, по духу, по сознанию — и настолько различаются, что среди людей есть *люди* и *люди*, причём не только друг к другу не сводимые, но и друг от друга качественно

отличающиеся — вплоть до явления в среде человеческой особого, как бы и не людского, типа людей, а именно — *нелюдей*. Последние, увы, тоже есть! Отсюда любой социум — разнообразие, но обязательно тем или иным образом иерархически упорядоченное. И если добровольного согласия на эффективную упорядоченность нет, то является принудительная расстановка по иерархической матрице, что, собственно, более всего и характерно для человеческого бытия, как и всей человеческой истории, где более всего упорядочивающегося насилия, чем дозволительной свободы.

В чём же тут дело? А в исходной неприродности человека, в наличии того же сознания, которое есть не только неотъемлемое достояние человека, но и тяжёлое, страдательное, смертоносное бремя, отчего человек всегда и везде не совсем... нет, нет не не в себе, хотя это тоже есть, а не совсем по себе, ибо сознание делает человека неопределенным, разным, многоликим, способным на любые мысли, намерения и поступки — вплоть до непременно губительных, убийственных и самоубийственных.

Не стоит забывать, что сознание есть постоянное образование образов, а потому в исходе и в течении своём это *галлюцинация*, следственно — *свобода*, предполагающая аномалии и выверты, завихрения и заносы, разного рода крайности и невозможности. Само по себе сознание, возможно, и свободно, но зато не свободна реализация сознания, в себе самом не свободна, не говоря уже о контексте, откуда несвобода по большей части и проистекает.

Сознание вроде бы самоуправляется, но это далеко не так, ибо сознание непременно и управляет — извне, из ноосферы, из «оттуда» тоже. Социум — управляемое сознание. Но социум и управляющее сознание. Без управления сознанием нет и не может быть никакого социума, но при этом нет и не может быть никакого организованного, упорядоченного, нормативного сознания, а возможны лишь одни калейдоскопические галлюцинации.

Человек со своим сознанием — вовсе не достаточная для самоподобования и любви к другим osobам организменная ценность. Чтобы стать и быть таковой, сознанию необходимо быть соответствующим, или соответственно сообразованным, а именно — *социальным* образом упорядо-

ченным, а сделать это можно лишь через внедрение в сознание соответствующей знаниевой, или же идеиной, или же культурной, матрицы, полной установок, ориентировок и директив, не говоря уже о прямых или категорических запретах.

Но на всё это способно не всякое сознание, а особенное, оно же и высшее, оно же и сакральное, то самое сознание, которое в отличие от массы сознаний, или же сознаниевой массы, идёт на организацию сознания и ноосферы, их упорядочение, осуществляет *социальное хозяйство*, формирует социум, задаёт цивилизацию, реализует иерархическое — сверху вниз и из центра во все стороны — управление, делает человека в человеке, подавляя постоянно воспроизводящегося в нём противочеловека-зверя, удерживает человека в человеке, как и... социум в социуме.

Вот она, великая потребность в упорядочивающей, ориентирующей, удерживающей *идеологии*, способной привнести и утвердить необходимое человеку знание, слово, образ, закон, причём в идеологии именно сверхчеловеческой, почти что и сверхъестественной, авторитетной и даже авторитарной, императивной, безапелляционной, абсолютной, как раз в той идеологии, которая способна внедрить человеческое в человека и это человеческое в человеке стойчески удерживать.

И вот такой несомненной и бесспорной идеологией является *религия*, которая хоть и миф, но миф руководящий, обучающий, охранительный, спасающий.

Вот оно, самое нужное из нужных, самое важное из важных, самое значимое из значимых... *хозяйственное начало*, к тому же ещё и самое хозяйственное из хозяйственных деяний-свершений!

Выходит, что не физика тут первенствует, как у всех животных, а метафизика, что и говорит за то, что хозяйство человека метафизично не только по онтологии и способу реализации, когда тайна вытекает из тайны и тайна тайной управляет, а и по своему особому назначению, по своей главной миссии, по своей исходной правде.

Производство потребительных благ, тем более физических, вторично, а первично производство самого человека, опять же не физическое производство, а метафизическое, отчего хозяйство прежде всего и в основе своей есть производство и воспроизводство сознания, ноосферы,

знания, социума, цивилизации, государства, культуры, всего того, что ни к какой физике при всём желании не отнести и не свести.

Сознание, как конкретная смысло-знаковая (информационная) насыщенность — *миф*, и миф, конечно, динамичный, подвижный, переменчивый, превращенческий, главное — не слишком устойчивый, и его надо поддерживать, охранять, защищать, культивировать, что происходит в ходе работы самого сознания, но не только внутреннего, своего, имманентного, субъектного, эндогенного, но и сознания внешнего, рядом находящегося, экзогенного, причём не только субъектного (индивидуального, группового, общинного), но и сверхсубъектного, межсубъектного, социумного, ноосферного, сакрального.

Работа сознания, как с самим собою, так и одного сознания с другим, включая ноосферное сознание — самая важная хозяйственная работа, включающая наряду с простой информационной — физико-феноменологической и сложную информационную — существенно-метафизическую, а в итоге — разнообразную мифологическую.

Миф мифу — рознь, хотя есть и взаимосоответствие мифов, из которого проистекает целостная мифическая матрица, организующая и определяющая сознание, хотя бы на срок. Сознаниевая матрица не удерживается бессрочно, она непременно меняется, причём не без участия разрушающих любую мифическую матрицу мифов-агрессоров.

Миф наезжает на миф, миф конкурирует с мифом, миф борется с мифом.

И либо что-то мифическое (мифологическое) уцелевает и остаётся, превращаясь в действующую традицию, а то и в фетиш, либо исчезает, иной раз и вместе не только с прежним сознанием, но и с его субъектным носителем. Сознаниевые перевороты — действия страдательные, мучительные, частенько и кровавые, хотя, разумеется, не везде и не всегда. Тут тоже важна роль сознания — гибкого, уверенного, плодотворного.

Постепенные, но целеположенные изменения предпочтительнее самых убедительных реформ, а самые притязательные реформы предпочтительнее самых утверждательных революций. Однако и реформы настоящие имеют место, и революции безапелляционные случаются!

И всё это в сознании, в его сфере, через его посредство, как и через

посредство мифов, их удержания и сотворения, их соответствий и столкновений, а нередко и беспощадной между ними борьбы.

Хозяйство — реализация сознания — и не только через преобразование физики внешнего мира, но и через преобразование самого сознания, работу с ним. Хозяйствовать — работать с сознанием, а следственно — с человеком, включая социум, мысль, слово, язык, культуру, цивилизацию.

Хозяйство — производство сознания, а вместе с этим и производство человека.

И чтобы уловить всё это, соединить и осмыслить, понять и представить, да ещё и с учётом неопределённости, криптогенности и трансцендентности, нужна философия, да не обычная размыслительная, даже не просто метафизическая, а идущая непосредственно от хозяйства — этого реального процесса реализации сознания, а вместе с этим и всей жизни человека, полной не только материи, но и духа — этого великого хозяйственного практиканта.

17

Учёные-физики утверждают сегодня, что так или иначе видимая человеком материя составляет не более пяти, ну, десяти процентов от всей... э-э... «материальной»... начинки мироздания. Остальная часть мироздания состоит-де из невидимой, непознанной, а потому и неведомой «материи» — так называемой «тёмной материи». Что ж, возможно! Но нечто подобное можно сказать и о сознании, ноосфере, о самом человеке и о том же социуме. Есть, так сказать, видимая часть, а есть часть невидимая, где, собственно, всё в принципе и решается, правда, не без участия человека, социума, сознания.

Сознание. Что это, почему, зачем? Ответы есть, но... не окончательные, не точные, не единственные. Здесь царит *трансцендентность*, то самое неизвестное, скрытое, тёмное, из-за которого в бытии человека, в его сознании и знании и вся эта онтологическая смута и гносеологическая кутерьма. Знаем, что что-то есть, что-то случилось, что-то произошло, а что, почему, зачем? — тут уж всегда больше вопросов, чем ответов. Ax, как хотелось бы заглянуть в эту «инкогниту», в эту тень, в это

потусторонье, да и увидеть, узнать, понять! Но не тут-то было: невозможно, непозволительно, нельзя!

Остается трансцендентность, которая вовсе не одно лишь свойство мироздания, а и нечто в нем действующее, решающее, т. е. некая сила, а именно — *трансценденция*, которая не стоит, не сидит, не спит, а шевелится, ворочается, одушевляется, движется, одним словом — *работает*.

Работающая трансценденция!

В чём-то и что-то вроде бы воспринимаемое, понимаемое, но при этом и непостижимое, сразу *ничто и нечто*, в общем — какая-то вненаучная небывальщина и профилософическая быль.

Причём не где-то там вдали, за мирозданием, а прямо здесь — в мироздании, окрест человека, в различаемых окаёмах, в окружающей среде, и не просто рядом с фактами, событиями и процессами, а прямо в них — в этих самых фактах, событиях и процессах.

Легко сказать: «слово», «число», «смысл», «качество», «количества», «знак» — а что это всё... э-э... по существу? А мысль, а язык, а сознание? Разве всё это не *сверх-еество*? Ещё и передача и накопление информации, обсуждение, расчёт, проект, а потом и действие, и созидание, и возникновение, причём всего того, чего в природе нет и быть вроде бы не может... однако не может без человека, сознания, мысли, воображения... стоп!... воображения, образа, галлюцинации... и разве всё это материально, механично, так уж и природно?..

Но это ещё не всё: человек разумеет одно, а делает... другое, делает вроде бы одно, а выходит... совсем другое, но не так по причине сложности процесса и среды, непредвиденных обстоятельств, случайных влияний, хотя всё это и имеет место, как по причине того, что всё это происходит не в пассивной, а в активной среде, ещё и в вертящейся, клубящейся, турбулентной, а главное — сокрытой, невидимой, тайной.

Если на вопрос «что это?» ещё можно ответить, пусть и условно, то на вопрос «почему?» ответить куда как сложнее, тем более что каждый такой ответ лишь рождает необходимость в новом «почему?» — и вовсе не только по причине всеобщей взаимосвязи в рамках и внутри мироздания, но и вследствие неизбежного погружения ответов и вопросов в сферу неопределённости, неизвестности и незнания.

Великое Неизвестное!

Да, оно есть, частично даже раскрывается, допуская к себе и в себя, но ... никогда полностью, никогда до конца, — и не потому, что противится, а потому, что ... из иномирья, вполне промыслительно закрытого для сознания, которое, будучи духовным и идеальным, эфирным и эфемерным, имеет и материального носителя, от которого ему не избавиться и которое удерживает его в приличествующих физическому человеку рамках.

Человек — существо природно-неприродное, и как раз неприрода даёт ему сознание, мысль, воображение, но... вкупе с природой, которая даёт человеку необходимое для бытия в природе тело, а сознанию — телесного носителя-проявителя. Организм — природно-неприродное целое, в котором есть место и сему миру, и миру тому — иному.

Как это вдруг из семени... дерево, да ещё и поначалу в почвенной темени, а потом уже на свету, под солнцем, но непременно с живительной влагой? Разве это не загадка!? А из клеточки вдруг... организм, существо, животное? И сознание в человеке ... из сознания, которое вообще-то... ниоткуда, ибо его нет в природе, даже материала для него нет, и, однако же, оно есть — сознание, еще и работает, трудится, творит, — и разве всё это не чудо?

Сознание. Считается, что оно у каждого индивида, у каждой особи как бы и само по себе, а ведь это не так, далеко не так, ибо никакого индивидуального сознания самого по себе нет и быть не может, а есть какое-то сверхиндивидуальное сознание, от которого и все индивидуальные сознания, и это сверхиндивидуальное сознание, вроде бы как ноосферное, неизвестно где и есть, если оно вообще есть, хотя будто бы в людях оно, да вот где же и как же?

Когда от одного сознания к другому, то вроде бы понятно, а где же то самое-самое, самое первое, изначальное, от которого всё и идёт, причём идёт себе и идёт?

Ладно, сознание, а почему же камень-то... именно камень, или вода почему же именно вода, или воздух почему воздух? Вообще, откуда все качества, все особенности, откуда разнообразие, откуда столь любимые наукой системы? А откуда в природе математика, да и в созидающей человеком неприроде тоже? Может быть, всё-таки есть первопричины,

первотолчки, первопрограммы, а ежели так, то они-то откуда? От неприроды, от внеприроды, от сверхсущества?

Вот и выходит, что от *иномирья*!

Природным, материальным, механическим тут ничего не объяснить, как не объяснить никакого проектирования, творчества, изобретательства, вообще переделки человеком природы, как и самого себя, в общем — *неприродного в природе хозяйствования*.

Вроде бы всё по законам природы (откуда они, кстати, эти законы?), но в итоге сколько всего неприродного, во всяком случае, природой не данного, ею не предвосхищённого. Ясно — от человеческих потребностей! Но откуда же тогда эти удивительные потребности, ещё и выходящие за природные рамки и, как уже стало совершенно понятно — за рамки самой природы! Что, разве та же космическая связь, как и обсервация Земли из космоса, это что-то природное или всё-таки уже по сути своей что-то неприродное, точнее — сверхприродное? Получается что-то вроде ока и гласа всевышних!

Да, как будто бы всё тут по физическим законам, но... но само по себе качество всех этих космических феноменов (вещей, предметов, фактов, деяний, процессов), оно что, от физики мира, от природы или же... от сознания, его воображения, его чуть ли не... галлюцинаций? Всё тут строго по науке и инженерной математике, но ведь и от... *мифа* тоже, рождённого как раз сознанием, чуть ли не свихнутым предварительно — для надёжности и чтобы процесс начать.

И что же, удовольствуемся тем, что никакого сознания или же сверсознания, или же ещё чего-то подобного, в иномирье нет, как нет и самого этого иномирья?

Никакой работающей трансценденции?!

Современный онаученный человек, атеист и материалист, ответит однозначно: «Нет!», ничего этого нет, а есть лишь стихийная и самоупорядочивающаяся материя, сама превратившаяся — вопреки, кстати, второму закону термодинамики, закону энтропии — в природу, в человека, в сознание, т. е. в нечто антиэнтропийное, ещё и соответственно... э-эх!... по какому-то вдруг среди материи возникшему замыслу, в соответствии с какой-то нежданно-негаданно образовавшейся программой —

прямо-де через перебор вариантов, бессознательно, случайно, синергетически и уж никак-де не сознательно.

Сознание... прямо из бессознания, не простого, а... «матерчатого», чуть ли не из песочно-каменного, как бы и... но... но ведь, как известно, ничего живого из неживого, а сознательного... из бессознательного... э-эх!.. разве нет того же закона сохранения живого, как и сохранения неживого тоже соответственно и закона сохранения сознательного, как и бессознательного: ежели сохраняется повсюду материальное, то и духовное, надо полагать, сохраняется, а потому выходит, что материальное только из материального, а духовное... только из духовного!

Идея — не свойство и не продукт материи, хотя без материи ничего идеального для человека — существа материального — нет и быть не может. Но идеальное, которое в человеке — не от материи, а от идеального, однако внеприродного идеального, вполне и сверхъестественного.

Вот и человек хозяйствует *сверхъестественно*, хотя и естественно тоже, но, заметим, в истоке, в основе и всё более и более *сверхъестественно*!

Важнейший вывод! И виной тут всему как раз сознание, восходящее к духу, к трансцендентному, к иномирью.

Что в воображении, в словах и числах, в мысли, языке и той же математике естественного? Во всех проектах человеческих, в самой возможности действовать в виртуальном, т. е. всего лишь возможном (и невозможном тоже), мире? Да ничего! Природа как таковая много чего умеет и совершает, но она всё-таки не умеет думать, мыслить, воображать, тем более уж что-то несусветное. А человек всё это умеет, и делает он это, включая своё воображение, как бы входя в виртуальный транс, погружаясь в другой — неприродный! — мир, оперируя вовсю чем-то явно уж сверхъестественным.

И самое поразительное, человек это совершает непрерывно, отключаясь от этого занятия разве лишь в самом глубоком сне. Вся жизнь человека — творчество, разумеется, разное для разных людей, хотя и непременно коррелятивное, как-то с социальной средой сообразованное.

Хозяйствовать для человека — сначала выдумывать, а потом действовать, хотя опережение действия над думанием вовсе не исключается.

Виртуальное всегда впереди реального; сначала намерение, а потом действие; план, проект, программа, а затем уже деятельность, работа, свершение.

И вот теперь самое главное: *хозяйствуя, человек ведёт всё-таки не так физическую, как метафизическую игру — с самим собою, с себе подобными, с социумом, с ноосферой, со всем сверхъестественным.*

Отсюда и разнообразие, и полнота, и целостность хозяйственного процесса, ибо человеку надо не только и не столько воспроизвести себя физически, в природе и по-природному, сколько метафизически, вне природы и по-неприродному, обращаясь к слову, информации и знанию, к тому же сознанию, занимаясь мифотворчеством, наукой, философией, религией, копаясь в себе, в окружающем мире, в своих представлениях, работая более всего с собой, культивируя в себе всё доступное ему сверхъестественное, обогащая себя, развивая и совершенствуя, становясь всё более неприродным, как и способным к реализации всё более неприродных замыслов и проектов.

Хозяйство — не так физика, как метафизика; это удовлетворение вовсе не столько физических, сколько метафизических потребностей; это вообще не столько удовлетворение потребностей, сколько реализация какого-то трансцендентного устремления, превышающего любые потребности и человеком едва осознаваемого.

Трансценденция повсюду: в природе, на планете, в мироздании; в фактах, событиях, процессах; в проектах, действиях, поведении. И никуда человеку от неё не деться, да и не стоит: *весь смысл и величие человеческого хозяйства как раз и состоит в его соприкосновении и взаимодействии с вездесущей трансценденцией, без которой, надо особо заметить, ничего вообще не было бы — ни человека, ни его хозяйства, ни, жирно подчеркнём, глубокомысленных о чём бы то ни было размышлений.*

Сознаёт это наука или нет, но, игнорируя трансцендентное в человеке и в мироздании, она волей-неволей сводит хозяйство человека к какому-то физикалистскому неандертальству, когда на первое место выходит удовлетворение потребностей, а не загадочное стяжение *иного*.

Потребности, конечно, всегда есть, и их надо более или менее удовлетворять, но одно дело необходимые потребности, как физические, так

и идеально-духовные (позитивные, жизнеутверждающие), и совсем другое дело потребности излишние, надуманные, паразитарные, болезнетворные, смертоносные.

Да и разве сложное и полное тайн жизнеотправление человека, этого трансцендентного конспиративного существа, можно свести к удовлетворению каких-то вполне осознаваемых им потребностей, когда в значительной мере житие человеческое сводится к удовлетворению не столько потребностей, сколько явных необходимостей, а также откуда-то набегающих нелепостей и зачем-то напридуманных несуразностей. Лучше уж говорить о необходимостях и надуманностях, чем потребностях, особенно ежели обратить внимание на тяжкий труд, опасности, болезни и смертельные исходы, сопровождающие удовлетворение многих, — и, увы, совсем не периферийных и маргинальных, — «потребностей». Нельзя не замечать и принудительного характера удовлетворения всех этих необходимостей, нелепостей, несуразностей, что выражается не только в самопринуждении человека, но и в широко практикуемом принуждении человека человеком, включая и идеологию, и политику, и пропаганду, и пиар, и пенициарность.

Жизнеотправление — тяжкое занятие, таким же является и хозяйство. Разумеется, человек стремится облегчить сию трансцендентную ношу, в особенности за счёт другого человека, — и уже поэтому эффективное жизнеотправление социума предполагает иерархическое его устройство и наличие эксплуатации человека человеком. Получается, что во всём этом есть потребность, мало того, есть даже потребность (?) со стороны масс населения быть управляемыми, манипулируемыми и эксплуатируемыми (?). Ясно, что тут более всего необходимости, на крайний случай неизбежности, и менее всего вольноопределяющейся потребности.

Хозяйство — реализация жизни, это само жизнеотправление человека как субъекта, и в этом жизнеотправлении первенствующую роль играет производство самого человека как человека — как субъекта, как действующего сознания, как разнообразно и основательно насыщенного метафизикой микромира.

И не благо вовсе оценивает в ходе товарообмена другое благо, а одно сознание оценивает другое сознание, в результате чего даётся

оценка и вступившим в обмен благам. Рынок, столь любимый экономической теорией, вовсе не совокупность обменных благ, а сообщество товарообменных, оденеженных, экономических сознаний, составляющих и общественное (ноосферное) сознание, что позволяет быть оценкам и возникать ценам, разумеется, при наличии и действии денег, тоже оцененных и имеющих цену. Не сам по себе товар имеет цену, а лишь погруженное в экономическое сознание благо обретает цену, связанную, конечно же, со свойствами блага, но обусловленную массой обстоятельств, к благу никакого отношения не имеющих, но зато ловко, умело и весьма надёжно учитываемых экономическим сознанием.

И вот тут-то самое важное: экономическое сознание умеет считать и рассчитывать, в особенности денежные затраты и доходы, балансы и всякие там сальдо, но... но... оценочные величины... это всё-таки более оценочные, чем собственно расчётные величины, подверженные не одному физическому, но и метафизическому счёту, с которым более дружна бывает нерасчётивая фантазия, чем расчётивая реальность.

Не в каждой экономической оценке сидит метафизическая фантазия, но в каждой оценке её присутствие вполне возможно, а в действующих так называемых рыночных ценах... о-о!.. её даже очень большой избыток. Производство избыточно, предложение избыточно, но и спрос избыточен, и потребление, ещё и производительность гигантская, — и тогда вдруг получается, что цены, в величине которых затратная часть составляет обычно не более половины, не столько рассчитываются физически, сколько метафизически назначаются, а если реально признаются, то и оказываются... *рыночными*, следственно, обоснованными, оправданными, чуть ли не справедливыми, в особенности на землю на недвижимость, на жильё, на нефть, на газ, на медикаменты, на адвокатские услуги, на цветы, на алкоголь, на табак, да мало ли ещё на что, ибо ежели на всё это цены неумеренно высоки, то почему же остальным-то ценам вдруг быть услужливо низкими, разве лишь на хлеб, соль, сахар, спички?

Экономическое сознание, эта умная социосистема, она же и работающая трансценденция, хорошо знает, каким быть в итоге ценам, ибо перед нею стоит прежде всего задача не воспроизведения благ-товаров, а воспроизведения иерархически обустроенного и эксплуататорски орга-

низованного общества, — цены никогда не диктовались благами-товарами, как, собственно, и воспроизведением самих по себе товаровладельцев, не говоря уже о товаропроизводителях, но зато цены всегда соответствовали потребностям воспроизведения капитала, стоимости, запущенных в лукаво-коварное экономическое дело вездесущих денег!

В избыточном хозяйстве с избыточной экономикой, когда товары, деньги и капиталы избыточны, цены тоже избыточны, настолько, что их внезапное сокращение вдвое и втрой, ведущее даже к сокращению доходов и накапливаемых капиталов, не означает для агентов этих цен ни поражения, ни краха, ибо цены ныне зависят не от издержек, а их, этих цен, вольного полёта, разумеется, подконтрольного и вполне, знаете ли, принудительного.

Если бы спрос формировался сам по себе (из ничего!), то тогда его избыточность, а затем и избыточность предложения, как и избыточность цен, капиталов, инвестиций и всего остального, т. е. та самая тотальная избыточность, которая ярко проявляется в моменты экономических кризисов, можно было как-то объяснить рыночной самоорганизацией всего экономического процесса, однако спрос лишь частично формируется сам по себе — по преимуществу же он инициируется производством, финансами, инвестициями, кредитом, фондовыми рынками и т. д., а потому появление чрезмерного предложения оказывается не столько делом самоорганизующегося рынка (спроса), сколько следствием хорошо организованного экономического накопления, подстёгиваемого гонкой за доходами и капиталами.

Спрос не возникает из ничего, он возникает из предложения, но граница спроса априорно никем и ничем не устанавливается, а потому реальная величина спроса, а за ним и предложения, всегда остаётся в той или иной мере своевольной. Предложение в общем-то всегда превышает спрос (о чём, если надо, заботится и ценообразование) и накопление капитала обычно выше реальных потребностей, что не означает отсутствия ни возможности роста спроса, ни возможности ускоренного накопления капитала. Всё дело тут в мере — *перепроизводства и перенакопления*, и ежели мера бывает слишком превзойдена, то непременно случается кризис, знаменующий конец одного цикла накопления и производства и начало другого.

Человек! — кто ты и что ты, почему, зачем, куда?

Ясно, что когда-то случилась какая-то космическая масштабная аномалия — это при всём величии и всём непотребстве таких феноменов, как сознание и ноосфера!

Что-то вдруг возникло, прижилось, расширилось, развилось... и на тебе — человек, что звучит вроде бы гордо, да почему-то и не очень, а в кое-каких обстоятельствах и некоторых ракурсах вполне и омерзительно.

Человек!

Создание Божие, плод Природы, продукт инопланетного Разума? Кто знает? Остаётся вера — в Бога Создателя, в возможность Природы, в инопланетного Конструктора.

Да, человек ныне много знает о себе, образуя и воспринимая разные генеалогические версии: и примитивно-природные (фауно-флористические, вещественные, процессные), и возвышенно-божественные, и высокоприродные (научно-физические), и фантазийно-инопланетарные.

И всюду лишь мифы: приблизительные, вероятно-невероятные, ограниченные, а главное — ничего человеку по сути не открывающие, нагло закрытые, забетонированные.

Ничего!

И бытует знающий о себе очень и очень многое человек в поле (кругу, квадрате, кубе, шаре, сфере) *незнания*, которое в общем-то не менее, а даже более значимо для человека, чем всё доступное ему знание!

И это хорошо, что человек знает о своём исходном, принципиальном, фундаментальном незнании, хоть это и огорчает, конечно, человека, никак не делая его счастливым — от счастливого неведения, но зато оставляет несчастного человека в выносимом недоумении

Сказано ведь: знание умножает скорбь! Так оно и есть! И это в пределах вымученного человеком знания, а что говорить о знании человеку вообще неведомом?

Войди и... сгори, несчастный, захлебнись, распадись, исчезни!

Ежели человек от матушки природы, то тут явный от природы сбой, ибо неприроден человек со своим сознанием и своей ноосферой, мало того, он ещё и антиприроден; ежели от Бога, то и тут что-то не так,

ибо почему он — человек — тоже не бог, да и ведёт себя совсем не по-сакральному, и Бога Сына казнил на кресте и, всё ещё Емуrudиментарно поклоняясь, живёт совсем не так, как того хотел распятый им Бог — не по любви вовсе; ежели же человече от инопланетян, то, наверное, либо от не самых хороших инопланетян, либо это заведомо недоброкачественный продукт инопланетян, а может, как раз тот самый не самый хороший продукт, который инопланетянам и нужен, но вот для чего — разве лишь ту же природу на планете Земля уничтожить?

Нет тут никакой логики, хотя инопланетная генеология кажется всего логичней: иная планета, разумные существа, умная лаборатория, колония Земля, какой-то империальный эксперимент... И почему, кстати, не выступить тут инопланетянам в значении той же Матери Природы или того же Бога Отца?

Вопросы. И их не просто множество — главное, что на них нет никакого воистину удовлетворительного ответа. Никакого!

Возможно, что пока нет, временно нет, до срока нет. А вот возможен ли он в принципе, этот ответ? Наверное, да — но с прекращением, надо полагать, самих феноменов Человек, Земля, Природа...

Ну да ладно с человеком, этим затерянным в Космосе несчастным существом, а сами-то инопланеты откуда — от Природы, от Бога, от самих себя, да и мир весь откуда, весь этот Космос, сама материя, не говоря уже о духе, идее, мысли, сознании, ноосфере?..

Э-эх, нечего тут сказать, нечего, остаётся лишь бесподобно и безрезультатно фантазировать, заботясь лишь об одном — о преодолении самого этого странного феномена, всё ещё называемого в просточеловечье *Человеком*.

От обезьяны он, через обезьяну или вкупе с обезьяной — какая разница! ибо никакая обезьяна сама по себе в человека превратиться не могла, как и не могла, обретя вдруг откуда-то со стороны и ни с того, ни с сего сознание, стать человеком, как не могла и поучаствовать в возникновении человека через посредство своего невинного организма. Стоп! А почему же не могла, ежели... творец так того захотел? Взял, да и превратил обезьяну в человека, изменив соответствующим образом её организм, но не сам обезьяний организм, а, скажем так, предобезьяний — на уровне того же генома. И ежели это так, то обезьяна как обезьяна здесь

не причём. Так что не в обезьяне тут дело, хотя... хотя... очень уж много подозрительного сходства у неё с человеком, впрочем, и у человека с ней, не правда ли?..

Отложим в сторону ни в чём не повинную, кроме своей зерцальной похожести на злополучного человека, обезьяну и вернёмся к собственно человеку: возник, понимаешь ли, и всё тут!

Да, возник, обретя каким-то чудесным образом сознание, знание, идеальность, в общем — цветущую духовность, но как-то очень своеобразно, точнее, совсем и не своеобразно, а наоборот, гнетуще прозаично: нет, не в обезьяне тут дело, а в сидящем в человеке, в его организме, в его физике, увы, и в его сознании, не говоря уже о бессознании... *звере*, — да, да, именно так — *звере!* что говорит о том, что генетически человек всё-таки связан со зверем (не так уж и важно — каким?), но не одной животностью своей, вполне и плотоядной, но и... душой своей, совсем и не божественной, даже и не природной, ибо зловредной очень, патогенной и абсурдной, — откуда вполне закономерные вопросы: сам ли он к зверю скатился, зверь ли в него вселился, от зверя ли он не избавился, зверем ли должен непременно оставаться?

Человек — зверь, и что тут, в общем-то, плохого?

Зверь — животное, но человек-зверь вовсе не только и не просто животное, это ещё и зверь-дух, зверь-идея, зверь-мысль, пожалуй что, и зверь-субстанция!

Но человек вовсе и не только зверь, а что-то и совсем иное, не зверское и не звериное, как раз то, что можно назвать и человеческим, во всяком случае, незвериным и незверским, чему, как ни странно, и наименования-то нет, кроме, разве... *сакрального*, т. е. чего-то нездешнего, неприродного, иного, а точнее, наверное — *иномирного*.

В самом деле, что тут есть что, что в человеке от зверя и не от зверя, что выше зверя, что иное, иномирное, сакральное, что то ли дополняет зверя в человеке, то ли вытесняет зверя в человеке, а то, может, и безрезультатно изгоняет? Да, дух, душа, сознание, идея, мысль, знание — всё это так, но что всё-таки в единстве всего этого, в общем, в целом? И тут мы приходим к единственному возможному ответу-заключению: *Бог!*

Нравится это кому-то или нет, но всё это антизвериное и антизверское в человеке есть не что иное, как Бог, то самое иное, сакральное, экзогенное, иномирное, откуда-то пришедшее и почему-то вдруг взявшееся, что рассчитано на сознание и в нём гнездится, что как раз и делает человека человеком, мало того, заставляет человека быть человеком, а не зверем, хотя, разумеется, с переменным и никак не окончательным успехом.

Верить или не верить в Бога? Глупый и пустой вопрос: признавая человека в человеке, ничего попросту не остаётся, как признать Бога, да что признать, просто констатировать, что Бог есть и что Он, будучи иномирным... э-э... феноменом, прямо в человеке и присутствует, даже если человек этот атеист и безбожник (стоп, безбожник всё-таки более зверь, чем человек, не так ли?! ... но и в безбожнике может теплиться божеская субстанция-потенциация — из грешников, разбойников, насильников... в святые, почему нет? хотя, конечно... редко, редко!).

И Бог в человеке вовсе не как желание, не как личная человеческая воля, не как согласие или даже компромисс, а как необходимое, вполне и императивное, *требование* (не потребность даже, как кажется, а именно *требование* — то ли прямо от создателя, то ли косвенно от самого человечища, но как неизбежное и неукоснительное *требование*, и уж никак не добровольная похоть!)

Либо Бог в человеке, либо никакого человека нет вообще, а есть лишь зверь — то ли чей-то коварный умысел, то ли какая-то нелепая ошибка, то ли недоброкачественный выкидыш!

И не так уж и важно, кто или что тут стоит за человеком: Природа, Бог, планета Сириус, сам ли человек, или же какое-то ещё иномирье и иноприродье, а заключение тут самое безоговорочное, настолько, что на кону здесь не что-нибудь, а сама... *смерть*: смерть или человек! — соответственно — зверь или человек! что означает, что единственным безоговорочным воспитателем человека-зверя была и есть смерть, а с нею и отбор, и приятие закона, и очеловечивание зверя, и сама более или менее пристойная жизнь.

Животное не знает смерти, хоть умеет умирать вполне достойно, а человек, это оснащённое сознанием и знанием нелепое и несчастное

существо, знает: и как тогда жить, ежели ты знаешь, что тебя ждёт неми-
нуемая смерть, а вместе с нею — гниение, распад, исчезновение, — как?
Выходит, жизнь ради смерти, а не наоборот, — тогда ради чего же:
твёрди, темени, пустоты или же невидимого и не осязаемого духа?

О-о, какая требовалась работа сознания, а может, и работа с созна-
нием, работа по безжалостной выделке человека в человеке, конечно же,
с учётом или же прямым участием... чего-то *иного*, того, чего нет вокруг
в природе, в этом мире, что даёт о себе знать всего лишь как каким-то
образом возникающая в сознании *идея-закон* — однако настолько силь-
ная, чтобы унять зверя, подчинить его, наконец, и вовсе изгнать из чело-
века!

Эта идея-закон должна была обладать великой властью над созна-
нием, его покорить, завладеть им, что означает, что идея-закон, очелове-
чивающая человека, должна быть захватывающей и непрекаемой, мало
того — абсолютной, т. е. никак и никем не оспариваемой.

Так рождается или приходит извне идея *абсолютного Бога*, кото-
рый, будучи вне человека — в Абсолюте! в то же время присутствует
в человеке, точнее, должен присутствовать в человеке — как необходи-
мая человеку неоспоримая идея, удерживающая человека в человеке.

Абсолют! Великая идея, изысканная и изящная, утверждающая ав-
торитет Бога, Его независимость и непогрешимость. Можно, конечно,
оспаривать идею Абсолюта, но... но свергнуть её с идеального пьедес-
тала невозможно: если не Абсолют, то что?

Бог — несомненный идеал, бесспорный критерий, безусловный
ориентир — и хотя присутствие Бога в человеке вовсе не абсолютно, но
оно в принципе возможно только в абсолютном значении — как внешняя,
но непременно *высшая сила*.

И главное в жизнеотправлении человека, его хозяйства, вовсе
не пропитание, не одежда и не убежище, хотя это и важно, а работа
с идеальностью, с духом, с сознанием, с тем, что делает человека челове-
ком, что выпестывает его из зверя — и работа эта не просто значима и
велика, но и непрерывна: сознание — вещь более летучая, чем стойкая,
оно ведь не из материи, а из духа (эфира), идей, информации, мыслей,
т. е. всего того, что способно к внезапному и лёгкому исчезновению.

Любопытно, что человек не приходит в свет (мир, жизнь) осознанным (осознаниенным), хотя под влиянием действующего рядом сознания зародыш человеческий, взрослея, вполне осознаниевается. Выходит, что сознание всё-таки не врождённый атрибут человека, что человек не рождается человеком, а приходит в свет в лучшем случае предчеловеком — и требуется воздействие уже действующего (работающего) внешнего сознания, причём весьма длительное, чтобы наделить человека сознанием (либо пробудить в человеке сознание), да и то, прямо скажем, с разным и переменным успехом.

Сознание не отделимо от слова, которое есть не просто элемент сознания, а его, скажем так, условие, материал, кирпичик. Грубо говоря, сознание состоит из слов, а слово есть не что иное, как орудие словленного смысла. Причём в самом слове важен не знак, а именно смысл, который, может, и до слова, но которого всё-таки без слова нет.

Вот почему в начале было Слово и Слово было Бог!

Никакого сознания, соответственно и человека, без слова нет. А что такое слово? Кто ж знает? Вот она великая тайна человека, его сознания, которую не вскрыть никакой физикой, а можно лишь принять за данность метафизически.

Тайна! Это как раз то самое иное, которое в человеке, то самое неприродное, нематериальное, немеханическое, хотя и требует физических организменных манипуляций, но... но разве смысл слова в опененном от усердия рту, в длинном вываливающемся языке, в дурманящем голосе?

Нет, конечно, смысл слова — в слове, мало того, он и около слова, и за словом, и между словами, и даже в бессловесье (в тех же глазах, к примеру), но тем не менее всегда в связи со словом.

Если есть слова, то есть и смыслы — всякие, в том числе и не имеющие своего слова, а вот ежели слов нет, то нет и никаких вообще смыслов — что словесно обозначенных, что не очень. Смыслы и слова находятся не в прямой, как и не в определённой, связи, здесь всё сложнее: ряд слов и ряд смыслов, где слова и смыслы то тесно сопрягаются, то расходятся, то вообще не имеют друг к другу никакого отношения.

Трансцендентно тут всё, метафизично и малопонятно, ибо всё это от *иного* — не туюшнего.

Сознание — вещь (от вести) явно трансцендентная, где стихийность и упорядоченность соседствуют друг с другом, ловко перемешиваясь, полагая и отрицая друг друга, никогда не находя полного между собой согласия. Слово — вовсе не обязательно словное звучание, это ведь и беззвучное, чуть ли не бессловесное, понятие, а потому слова не так средство общения, как средство понимания.

Не вылетающее изо рта, не произносимое, ни для кого не предназначеннное, даже и не формируемое внутри сознания слово — тоже слово, и это слово есть не что-нибудь, а понятие. Сознание и состоит из слов-понятий, а потому и реализуется как *речь*.

Что значит думать? Ясно, что пользоваться словами, понятиями, смыслами, причём безо всякой умопомрачительной упорядоченности, а вполне гибко,вольно и непременно эффективно. А мыслить? То же самое, хотя, наверное, уже с некоторой возвышающей сознание потаённой организацией. Само по себе сознание — «чёрный ящик», набитый словами, понятиями и смыслами, обращаемыми в речь. Это великий идеальный мир, данный человеку, им как-то воспринятый, усердно разрабатываемый, пополняемый, но никак уж изначально не сотворённый. Можно сказать, что сознание и есть Бог, который и в начале, и в процессе — в самом феномене и бытии человеческом. И ноосфера, которая есть сфера сознания — тоже Бог.

Так что верь-не-верь, а Бог прямо в человеке и человечестве и сидит — и нет без Бога никакого человека и никакого человечества!

Сознание — «вещь» деятельная, работающая творческая. И смыслы новые может ухватить, а то и попросту выдумать, и понятия ввести и слова. Вроде бы склад, запас, сусека, но и источник, очаг, фабрика. Производство сознания, его обогащение и обновление, развитие. Сознание вообще можно понять лишь как что-то непрерывно становящееся, образующееся, строящееся. Постоянным, неизменным, замершим оно просто быть не может: как же тогда думать, мыслить, воображать — ведь всякий раз с начала, с нуля, из ничего.

Сознание — непрерывное превращение ничто в нечто, пустоты в наполненность, тьмы в свет.

Сказано же уже нами, что сознание и есть Бог!

Сознание, как и ноосфера, — Бог, точнее, присутствие Бога в человеке и в мире человеческом, и сознание, становящееся, образующееся, непостоянное, изменчивое, творческое, а потому оно есть так или иначе и *самосознание*, имеющее как бы *вольную* от Создателя — невольного сознания вообще быть не может: сознание — оно непременно *самосознание*, а потому и воля, и произвол, и чудо.

Наделив зверя сознанием, обожив его, очеловечив, Господь не мог не дать свободы этому сознанию, соответственно и человеку. И последний не мог не стать сотворцом Господу, участником творения собственного сознания: между зверем и Богом, а потому как от зверя к Богу (человеческая координата), так и... от Бога к зверю (координата античеловеческая). Творчество, воля, сотворчество. Созидание сознания как самосозидание самосознания. И ориентиром тут — *Абсолют Божий!*

Соответственно и абсолютный миф, служащий для образующегося непрерывного сознания абсолютным сознанием критерием. *Религия!* Подтверждающая сакральность сознания, его творческую свободу, но при этом и зависимость его от Абсолюта, необходимость с ним жизнеутверждающей сообразности.

Мало того, и сообразности всех сознаний между собой, их общей целокупности, членства в общественном сознании, присутствия в сообразной ему и внутри себя ноосфере. Религия даёт потребное для формирования сознания идейное основание — внешнее (экзогенное), авторитетное, руководящее, а главное — несомненное. Под сознанием — зверь (отсюда и *подсознание*), а над сознанием — религия (отсюда и *сверхсознание*), которая хоть и миф, но миф вполне истинный, ибо делает человека в человеке, выводит зверя из зверосферы, держит человека в человеке, подтверждает его — человека — богоподобие, во всяком случае — иноподобие.

Практика, опыт, исследование обогащают сознание, в чём-то и изменяют, совершенствуют, но удерживает сознание в рамках сознания, как и в его соответствии (связи, синергии) с Абсолютом, только религия, которая тоже есть сознание, но не просто связанное с Абсолютом, а Его в текучем относительном мире непосредственно представляющее.

Религия — посланница Божия в мире человеческом!

По форме подачи религия есть сказка, сказание, предание, текст,

слово. По способу реализации — свод норм, правил, ориентиров, запретов, дозволений, законов, а по способу внутренней реализации — убеждение, переживание, откровение, а в итоге — личное и общественное достояние.

Религия строит и поддерживает сознание, соответственно и характер человека, его манеру поведения, норов, то бишь определяет самое главное в человеке — его конкретную, уже поименованную, сознательную суть, то самое, что более всего востребуется от человека и им по жизни, так или иначе реализуется, что в самой сердцевине сознания и что способно это сознание не только по-особому окрасить, но и качественно определить, — и называется это всё по-русски *нравственностью*.

Нравственность, конечно, всегда относительна, она разнообразна, тягучая, изменчива, но неоспоримый критерий нравственности всегда *tam* — в ином, в вышине, на небесах, в Абсолюте, а потому он определяется и поддерживается религиозно — как непререкаемое требование сверху при неукоснительном исполнении снизу. Авторитарно, на веру, без доказательств, догматически! А иного выхода здесь нет, ибо внутри сознания, склонного к творчеству, воле и изменчивости, никакого конечного критерия нравственности быть не может, как не может быть и никакого критерия истинности, не считая разве факта смертности любого живого существа, включая и одарённого божественным сознанием человека.

Получается, что без религии нет и не может быть человека — человека в человеке, что вовсе не значит, что человека как такового нет и не может быть *вне и вопреки* религии: сознание — «вещь» творческая, вольная и изменчивая, как и разная, а потому способная не только воспринимать диктат и ему подчиняться, но и вступать с этим самым диктатором в сложнейшую и весьма затейливую игру, свидетельством чему является сложная, противоречивая и путаная история человека, его сознания и его ноосферы.

19

Сознание — вещь (от вести) активная, мало того — *своевольная*!

Да, сознание так или иначе выпестыvается, но, обретая необходимые для жизни нормы, вроде бы им даже покоряясь, сознание всегда

находит возможность ответить на эти нормы таким образом, чтобы либо обойти их, либо изменить, либо настолько самому обновиться, что на арену жизни вдруг выходит совсем новое сознание, утверждающее уже совсем иные нормы.

Сознание учитывает направленное на него корректировочно-запретительное давление (внутреннее или внешнее), реагирует на него, изменяется, но при этом ведёт и свой собственный выбор, вполне инициативный.

Сознание всегда ищет свою формулу счастья, не пренебрегая и уже испытанными достижениями и нормами, но не преклоняясь перед ними безоговорочно и навсегда.

Всё тут сложно, игрово, маневренно: религия диктует — сознание признаёт, но и отходит почему-то в сторону, отчего-то освобождаясь, зачем-то ищет иные решения. Ясно тут, что от религии вообще, её неукоснительных догматов, никуда не уйти, но... можно ведь приспособиться, выдвинуть что-нибудь встречное, занять более гибкую, ловкую и выгодную позицию.

История сознания — история его постоянного *образования* — как под давлением изнутри, так и под влиянием извне. Это и история религиозного оформления и переоформления сознания, причём вовсе не посредством мирных и благолепных диалогов, а по большей части в жёсткой, совсем не редко и кровавой, борьбе: сознания с религией и религии с сознанием, между религиями и их адептами, между целыми человеческими мирами.

Человека нет без Бога, нет его и без религии — этой вполне сорганизованной мистики метафизического толка, покровительствующей, направляющей и объединяющей, как, собственно, с учётом религионного разнообразия, и разделяющей.

Расы разные ведь есть, этносы, народы, сообщества, цивилизации и религии тоже есть разные, — и хотя во всех так или иначе присутствует абсолютный сакрал, но... по-разному понимаемый и представляемый, по-разному и действенный.

Откуда, вообще говоря, это разнообразие рас, этносов, народов, сообществ, цивилизаций, религий, а соответственно сознаний, самих человеков? Из процесса становления и развития? От обстоятельств?

От чьих-то экспериментаций? От перебора вариантов? От какого-то стратегического сверхчеловеческого замысла?..

Так или иначе, но творчество есть творчество, а где творчество, там и разнообразие, ибо люди неодинаковы, сознания неодинаковы, соответственно и представления разные, и понимания, и тексты.

Человек — религийное существо, ибо осознанное, а поскольку осознанное, то, будучи разным и творческим, не только *по-разному* религийное, но, что в общем-то неизбежно, и... антирелигийное: во-первых — зверь, во-вторых — человек, а что значит человек для человека, как не вольная творческая потенция, она же и сила, что может иметь результатом и перевод религиозного акцента с внешнего, или трансцендентного, Абсолюта на внутренний, он же и имманентный, абсолют, что то же самое — абсолютизацию человека, его сакрализацию, но уже не как Божиего или хотя бы природного творения, а как уже вполне самостоятельного, откуда-то вдруг взявшегося *творца*.

Человек как творец, мало того, как *из себя* творец, более того — *самого себя* творец!

Вот она — великая антропологическая революция, которая похлеще, пожалуй, той же неолитической!

Сначала сознание осознаёт себя в природе, от природы и под природой, полагая себя природным, хотя и особенным природным, сакрализуя природу, делая её главным объектом религиозного внимания и культа, осознавая её, осознавая субъективируя. Природа как сверхсила, как что-то непременно иное, как строгое, хотя и милосердное божество. Духи, боги, бесы, как и иные невидимые, но как-то воображаемые и изображаемые существа, объекты внимания, поклонения и зависти.

Всё более осознавая самого себя, усложняясь, сознание затем отходит от простой сакрализации природы и вводит в окружающий мир наряду с природой уже очеловеченных, а может, очеловекообразленных, богов, принимая тем самым сакральный статус природы и поднимая сакральный статус самого человека. Сознание как бы переводится наверх, на гора, в небеса, получает божественные санкции, «ликовость» и квалификацию.

Нет, боги — не люди, они выше людей, но они ... *как люди*, хоть и

обладают сверхчеловеческими способностями, вершат сверхчеловеческие дела. Но и человек при таких богах — больше, чем просто природный человек, он — самостоятельный деятель, эрудит, герой. Он сам трактует себя и мир, сам пишет сценарий своей судьбы, хотя и не прекращает советоваться с богами, им даже подчиняться, но... всё менее и менее. В итоге человеческое сознание всё более вытесняет божественное, человек всё более полагается на самого себя, хотя и не отрицает совсем свое-нравной и ему неподсудной мистики бытия.

Но в один прекрасный момент человек — правитель, конечно же — объявляет себя равным богу, а потом и попросту называет себя богом. Боги теперь не где-то там, вдали, в вышине, на горе, а здесь, среди людей, в бытовой реальности, хоть и в недоступном замке — и они, эти боги-правители, могут творить уже полностью от себя, полагаясь на себя, мало того, по своему божественному-де произволению, а следственно, и по своему столь же божественному произволу.

Порядок, пусть и полностью никогда не соблюдавшийся, нарушающийся, но всё-таки долгое время имевший место, ставший традицией, замещается вдруг на *произвол*, который не то что обожествляется, а чуть ли не становится равным самому богу. Сознание замещается бессознанием — *бес-сознанием*, — и человек с удивлением обнаруживает вдруг в правителе-боге... законченного *беса*.

Смещение сакрального центра от богов-людей на людей-богов оборачивается утверждением в сознании человека не кого-нибудь, а самого уже *антибога*. Так происходит сакрализованное обесовление человека, его превращение в освещённого античеловека, что означает прежде всего замещение сакрализованной нравственности десакрализованной без-(*бес*)-нравственностью.

Бес — окультуренный, отшлифованный, закамуфлированный зверь, — и этот зверь, уже во вполне человечьем (цивилизованном) обличье, непременно выходит на передний план при отходе от воспринятых человеком божественно-религийных установлений.

Хотя здесь не всё так уж просто: сакральное сакральным, боги богами, а человек-то человеком, — и даже в случае признания человеком высших приоритетов и им следования, за человеком всегда остается как

посюсторонняя интерпретация сакрального, так и использование сакрального начала в своих интересах, что находит практическое выражение в таких замечательных феноменах, как покорение и эксплуатация человека человеком, грабёж, насилие, произвол, наконец, и само смертобойство.

То ли духи и боги всё это признавали, находя зверя в человеке не устранимым, то ли сам человек, храня в себе зверя, настраивал духов и богов на выгодное для себя соглашательство. Получалось, что не только человек многое себе позволял, но и боги с духами тоже — причём всё ими позволенное вовсе не воспринималось как что-то бесовское и античеловеческое: насиливали, покоряли, грабили, били, эксплуатировали, убивали! И всё в порядке вещей, прямо в лоне осознанного мира, под сводом сакральных установлений!

Творческий человек на то и творческий, чтобы находить в пределах сознания своего необходимые себе решения: и ежели сакрал признан, полезен и необходим, то почему бы не воспользоваться им, не получить от него приемлемые для человека высшие санкции, для чего очеловечить сакрал, а если этого было мало, то почему бы не превратить самого сакрала в зверя (беса), а тогда и не поклоняться всему тому, чему сакрал вроде бы должен решительно противостоять.

Сознание — активный игрок не только на бытовом и имманентном, но и на сакральном и трансцендентном, поле, ибо сознание оттуда, извне, из потусторонья, — и поскольку человек оказался некой химерой, составленной из природного зверя и неприродного сакрала, то и практическая реализация человека не могла не стать местом одновременно зверского и сакрального, человеческого и божественного взаимодействия, не гнувшавшегося самой ожесточённой борьбой, если не битвой, — и история сознания стала по преимуществу как раз историей борьбы зверя и сакрала в самом человеческом сознании, а следственно, и историей борьбы человека за самого себя — это, с одной стороны, и борьбы человека с самим собою — это уже, с другой стороны.

Наделённый сознанием, человек несёт в себе возможность не просто быть разным, но противоположно разным, когда в одном и том же синтетическом феномене обнаруживается движение то к сакралу и пози-

тивной нравственности, то, наоборот, к зверю и негативной нравственности, и всегда присутствует гремучая смесь всего из того, что со временем всё более понималось как человеческое и как нечеловеческое, что различалось между собой пытливым сознанием, но что мало отделялось друг от друга в практической деятельности.

Вроде бы человек, не без, конечно, звериных прибамбасов, но в то же время и... совсем и не человек, а... *антропоид*, мало того, совершенный, знаете ли, зверь, бес, дьявол!

Сознание постаралось найти выход из тупиковой ситуации, разделив человечество на *своих* и *чужих*. О-о, это было великим идеино-обобщительным и в то же время идеино-разобщительным изобретением: со *своими* поступать более или менее позитивно, стремясь к выживанию и продолжению человеческого рода, а потому и, хоть и строго, но с поддержкой, защитой и даже пощадой, а вот с *чужими*, ещё и чужими по расе, этносу, сообществу или той же вере, поступать негативно, беспощадно и без всяких церемоний.

Свой — для полноценного и нацеленного на будущее жизнеотправление, а чужой — для грабежа, покорения, эксплуатации, битья, убийства. Свой — в законе, чужой же — вне закона!

Родилось ещё и разделение на *высших* (лучших) людей и *низших* (простых), или же на элиту и массу, — это уже прямо в среде своих: свои-то свои, да вот только разные: *господа* (сильные) и *быдло* (слабые), а между ними не слабый, но и не сильный *средний класс*, вроде как служивый, профессиональный, менеджерский, частью и умственный.

Иерархия сознаний и людских в обществе положений. И это не чья-то досужая выдумка, а железная необходимость, ибо таковыми только и могут быть организация и строение человеческих сообществ, система ими управлений, а вот организация иерархий зависела от качества всего людского материала, от особенностей, присущих людям и их сознаниям. И опять же всё то же самое: человек, зверь, бес, ну и сакрал тоже, и нравственность с безнравственностью, в общем, всё человеческое вкупе с нечеловеческим!

Что говорить, вот человек-герой, а вот человек-трудяга, а вот человек-корыто, а вот и... человек-дрянь. Но вот и человек, который сразу и герой, и трудяга, и корыто, и дрянь. Сложен человек, разнообразен и

многолик, неопределёнен и лицедеен, — и всё это вместе, всё сразу, во взаимодействии, в клубке, — пойди-ка, разберись!

История — история борьбы зверя и сакрала, бытия в человеке и за человека, разумеется, с переменным успехом. То сакрал одолевает, то зверь. И сознание металось, мучилось, корчилось, снедалось. Щадя себя, создавая законы, блюди их, судя всех и вся, наказывая, отбирая виновных и выхватывая невинных.

Выработка человека!

Долгая песня, нудная и противная. И не слишком эффективная. Выходили откуда-то вдруг праведники, высекали отовсюду звери — и звери окультуренные, оцивилизованные, обаристократенные. И всё как-то уживалось в сознании, в душах, в эгрегорах: тяжек был путь обретения человеком миром земным и неземным!

И повсюду на земле сакральный пресс, кругом безоговорочные законы, повсеместно жёсткий порядок — и всё это не без грубого изощрённого насилия, не без отчаянного уродства, не без праведного зверства.

Возникали общества, культуры, цивилизации, воспринимался сакрал, являлись учения, учреждались законы, устанавливались порядки — и всё это жило, расцветало, буйствовало, а по прошествии времени дряхлело, подгнивало, разлагалось, гибло — то само по себе, то под ударами извне, то захваченное более молодым и сильным человеком-зверем.

Долгое время сознание не исключало зверя — ни как онтологического факта, ни как познавательного заключения. Зверь не просто сидел в человеке и вовсю действовал, он признавался ментально, идеино, культурно, даже сакрально. Сказания, сказки, саги, мифы, религиозные и светские тексты из древности полны зверя, да не только внечеловеческого и внебожеского, но и внутричеловеческого и внутрибожеского. Зверь был вполне признан, оговорён и описан, принят культурой, сакрализован, оцивилизован.

Однако явилась одна любопытная хоть и грустная закономерность: стоило человеку (человеку-зверю) отойти от сакральной традиции, пренебречь сакралом, себя возвеличив, а то и прямо обожив, пусть и в лице верховного правителя, как падали общества, культуры, цивилизации, даже сильнейшие империи, ибо падали и исчезали их небесные

покровители, а взамен ослабленным и отвергнутым богам являлись отовсюду в человечьем обличье лишь окаянные бесы, охотно привлекавшие мощные энергии разложения, разрушения и погибели.

И не могло праведное сознание этого не заметить, и не могло на это не ответить, и не могло не попытаться совершить сакрально-нравственного переворота — посредством явления в людском сознании, особенно значимого непререкаемого божественного авторитета со столь же значимым и непререкаемым потусторонним словом!

И был у человека праведного один шанс, один резерв, один выход — идея *единого* Бога — Создателя и Покровителя, причём всего сразу — мироздания, природы, всего в ней живого, наконец, и самого человека — как существа в природе высшего, наделённого сознанием и знанием, мало того — даже и *подобием Божиим*!

Принадлежа потусторонью, будучи не земным, не природным, не почвенным, новый Бог оставался в единении с человеком, будучи субъектно выраженным и даже при всём своём трансцендентном величии по образу своему человекоподобным — это был нечеловечески человечий Бог, не избегавший при надобности и прямых воплощений в человеке, но лишь по своему и только своему желанию, а вовсе не по какой-либо прихоти человеческой, а потому это был Бог не просто сверхчеловеческий, а и вполне человеческий.

Такой единый, абстрактный и сложный Бог, совершенно уже трансцендентный, не земной и не природный, но близкий тем не менее сознанию человеческому, пришёл на место сонма как прямо подобных человеку богов, так и любых обоженных человеков (тех же императоров), не говоря уже о бесчисленных земно-природных духах и звероподобных сакрализованных фантомах, прихотливо избранных человеком для поклонения и себя оправдания, — и приход такого Бога ознаменовался для человека возможностью увидеть перед собой и принять для себя не только свободного от человеческих слабостей и пороков Бога — причём Бога Отца! — но и возвышенный образ-идеал уже самого человека, тоже свободный от слабостей и пороков обычного человека, а потому человек, уверовавший в нового Бога, получал возможность осудить и преодолеть в себе зверя, подонка и гордеца, очиститься от всяких мерзких напастей и обрести спасительное в духе богоподобие, а вместе с этим и

обеспечить достойное нового человека праведное жизнеотправление.

Бог — высшая идея, но и сакральный субъект, не человек, но человеку адекватный и его возвышающий дух, опять же и всевидящее око — всеприсутствующим и всепроникающим выходил новый Бог, всеправедным и всемогущим.

Это был великий переворот — человек вдруг познал истинного Бога, а не его, утративших силу, заместителей. Перед весьма разуверившимся и опустившимся человеком предстал не просто новый Бог, а авторитетный, для человека уже и абсолютный, Бог, выше, одиночнее и центральнее которого уже нельзя было представить, — и почувствовал человек свою несмываемую божественность — сын Божий! и прочувствовал своё ничтожество перед Богом Отцом — Вседержителем!

И увидел человек в лице пророков своих и праведников, что новый шанс у него появился на пути очеловечивания своего, и возрадовался он, и попытался возвыситься над собой, и немало достиг под мудрым водительством Господа Бога, и усовершенствовался, и отодвинул себя и своё сознание от разошедшегося было в человеке зверя — подлеца и гордеца.

Но, но... даже сам Господь Бог не удержался от разочарования и гнева, насколько человек, хоть массовый, хоть элитарный, не желал... очеловечиваться, а предпочитал грешить, пакостить, уродствовать, сохраняя и лелея в себе всё того же зверя — подлеца и гордеца.

И посыпал Господь всякие испытания человеку и наказывал его, и уничтожал во гневе, но, но... не мог никак очеловечить человека, добиться от него смиренной полноты и нравственной чистоты. Свободен был всё-таки человек по воле Божией в своём бытийственном выборе, — и на Божие насилие над собой отвечал дерзким и наглым насилием (непослушанием, отвержением) перед и над самим Господом. Вера в единого Бога Вседержителя обернулась в сознании человека, этого вроде бы сына Божиего, в потребность постоять за себя — сына и Природы тоже, то бишь... зверя — подлеца и гордеца, перед Богом Создателем, побороться с Ним, себя проверить, подняться до уровня Всеобщего, в общем — без Бога потустороннего попытаться обойтись, да и богом тоже себя массово почувствовать! А для этого своевольничать надо было, с Богом конфликтовать, безобразничать и бесноваться, грешить, ибо что

ещё могла человеческая относительность противопоставить божественному Абсолюту?

Одно дело — духи, как и духи-боги и боги-духи, а также боги-человеки и человеки-боги, звероподобные фантомы которых легко было не заметить, не услышать, не послушаться, попытаться ускользнуть от них, вильнуть в сторону, даже и обмануть всех этих горемык, наконец, попросту и сменить при случае, но совсем другое дело — единый тоталитарный Бог, который один и который везде, который явный Абсолют, всемогущий и непрекаемый, — тут уже ничего не оставалось, как... бунтовать, протестуя и настаивая на своём, пусть и относительном, пусть и безобразном, пусть и погибельном.

Бунт человека, этого сына Божиего, против Бога — Бога Отца!

И такой бунт имел место, и он имел свои последствия — что для человека, что для истории, что для самого Господа Бога.

20

Должна была возникнуть уникальная ситуация, даже не ситуация вовсе, а *Ситуация*, да не где-нибудь, а в сознании человеческом, в носфере — и не как необычная историческая, а как необыкновенная внеисторическая, ибо определяла она возможность *Нового Божественного Откровения*, что могло случиться лишь как сакрального происхождения искра, а может, и пламя, а скорее всего — луч света, — чтобы разрешить запутанную ситуацию, обозначить выход, найти дорогу.

А ситуация эта отличалась прямо-таки круговой безысходностью: ни одно умственно-духовное движение и ни в одном из возможных направлений не выручало погрязшего в тупой гордыне и безнравственном угаре, успевшего огульно разувериться и самоуверенно на себя положиться звероусловленного человека.

Ни духи, ни боги-человеки, ни человеки-боги, ни даже единый абсолютный Бог не могли разрешить скверную ситуацию — ситуацию всеобщей погибели, что было уже хорошо заметно для святых пророков-праведников, хотя совсем не замечалось жаждавшими немедленных и полных физикалистских удовлетворений «людишками-зверушками» — что пошлыми простолюдинами, что развратными аристократами, что глубокомысленными философами, как и недальновидным правителям

всех мастей, а также погрязшими в боли, грабежах и крови грубыми вояками, не говоря уже о пустопорожних служителях бесполезных и умиривших культов.

На древнее Средиземноморье и судьбоносную Малую Азию надвигалась тотальная античеловеческая катастрофа, обусловленная кризисом сознания, ноосферы, души, духа, слова, морали, сакрала — всего в первую очередь метафизического, как раз того, что лежит в основании человека и его производит, что составляет суть человека, его организует и им управляет, что увязывает в единый процесс прошлое, настоящее и будущее, что выявляет и творит историю, что задаёт смысл и цель человеческого бытия, определяет его заманчивую телеологию, не забывая ни на секунду о раздражающей его эсхатологии.

Дело тут было не за давно уже куда-то отлетевшими под давлением ума и цивилизации духами, не за уснувшими вдруг, став бесполезными и ненужными, богами-человеками, не за дискредитировавшими себя напрочь человеками-богами (теми же императорами), — дело было за ещё не исчерпавшим себя единым потусторонним Богом, у которого, как прозорливо видели отцы-пустынники (быть пустынником не значило быть в пустыне как таковой; речь идёт не о физических, а метафизических пустынниках-отречёнцах), ещё оставались резервы для конструктивной синергии человека и Бога, для их совместного сближения — ради спасения человека, а может, и спасения самого Господа Бога (разрыв между человеком и Богом худ не для одного только человека, а и для Бога тоже, этого сотворителя и покровителя человека, ибо человек, беснуясь эсхатологически, не замечал и не знал конца своего, а Бог знал всё это, страдал, вовсе не желая человеку погибели).

И Бог Вседержитель совершил величайшую необыкновенность, послав на Землю не слово, не скрижали, не новый устав, а самого Сына Божиего, да не просто сына своего, а Бога Сына, и не в виде стихии какой-нибудь, а в виде... прямо человека, причём не просто в образе человека, а непосредственно одним из человеков, в который заблаговременно был вселён Дух Божий, он же и Бог Дух Святой.

Тогда-то и стало окончательно ясно уверовавшим в единого Бога Вседержителя, что Бог их троесущностен, что он сразу есть и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой.

Произошло что-то и в самом деле необыкновенное: Бог снизошёл до человека... и снизошёл... *как человек*, приняв даже не сам по себе облик человеческий, а став субстанциалью и даже телесно человеком, не так даже войдя в человека, как в нём воплотившись, чем не просто проявил солидарность с человеком, а принял на себя и саму *ношу человеческую*, совсем и не простую и не лёгкую, наоборот, тяжёлую, неясную и страдательную, почти что и невыносимую, родившись от матери человеческой, выросши среди людей, поработав и поразмышляв вместе с людьми, набравшись ума-разума человеческого, насмотревшись и настрадавшись по-человечески, уловив потребное человеку, нужное, необходимое, хоть и против желаний человеческих, наконец, прозорливо и обнадёживающе высказавшись.

Так вдруг состоялось явление, да что явление — состоялось *Явление!* — явление Бога-человека, прозванного *Христом*, а называвшегося среди людей *Иисусом* — явление Иисуса Христа, то ли посланного исполнить миссию *Мессии*, то ли каким-то чудом предназначенного для оной миссии, то ли по какому-то трансцендентному наитию взявшего на себя эту непосильную для человека миссию — божественного просвещения человека, вполне уже и заблудшего.

И не властителем — умным, могучим и беспощадным — явился Христос, не умудрённым знатоком-философом, не праведным служителем сакрального культа, даже не проницательным пророком, коих и так было довольно среди людей, а человеком, как бы лучше сказать... обычновенным, что ли, нестатусным, простым, хоть при этом и знающим, и мудрым, и проницательным, но всё-таки таким, каких было великое большинство, а точнее, явился он просто человеком, без какой-либо социальной печати, не затронутый цивилизационной иерархией, вне какого-либо особого личного положения, кроме разве положения бродяги, точнее, бродячего мыслителя, проповедника, учителя, пожалуй, что и врачевателя, правда, экстрасенсорного, не травника и не хирурга, ну ещё, конечно же, и чудотворца, но никак уж не фокусника.

Озабоченный нравственным разложением и гибельным падением человека, Бог Создатель, даровавший человеку свободу выбора — нравственного, социального, хозяйственного, был вынужден явиться сам человеком среди людей, чтобы побудить человека выбрать иной

путь — не соперничества, вражды и ненависти, а единения, мира и любви, что, как и понимал хорошо сам Господь, человек просто так сделать не мог.

Однако нужен был новый сакральный ориентир, потребна была истина, — и всё это Господь в лице Христа мог продемонстрировать своей необыкновенной личностью, уверенным поведением, мудрым, в чём-то и назидательным, словом.

Но всё пошло у Христа, видно, не так, как ему думалось: человек уловил исключительность Христа, даже признал в нём своего рода мессию, но вовсе не собирался идти за ним и уж тем более становиться иным, как того желал, по-видимому, исключительный человек, именовавший себя Иисусом и уверенно от имени Бога Отца проповедовавший. Даже ближайшие ученики не во всём принимали и понимали Христа, не очень-то признавали его божественность. Что же касается властей предержащих, что светских, что духовных, то они не могли не заметить великой переворотно-бунташной опасности от Иисуса и его импровизированной проповеди, хотя Иисус ни к какому уличному бунту и ни к какому политическому перевороту не призывал, а ежели и влёк куда, то лишь к перевороту нравственному — самому как раз непосильному.

И дошло вдруг до Христа, что нужна, видно, отчаянная жертва, но не агнца какого-нибудь невинного, а... *самого себя!* — и исполниться такая жертва должна была по-человечески и с человеческого же повеления и согласия.

Вот тут-то и свершился действительный момент истины! Христос пришёл с истиной, как быстро выяснилось, никому, в общем-то, ненужной, а узрел совсем другую истину: сопротивления человека божественной истине и необходимости сакральной жертвы, на этот раз не Богу со стороны человека, а человеку... со стороны Бога!

Прозорливый человек не склонился перед самозванным проповедником, не стал каяться и рвать на себе волосы, а... призвал самого Бога, потребовав от Иисуса... жертвы, однако вовсе не для того, чтобы уверовать, раскаяться и измениться, а всего лишь для того, чтобы... убедиться: коли Христос, то изволь пройти, то ли перейти, через смерть, которая для Бога вовсе и не должна быть таковою!

И ничего не оставалось Христу, как пойти на эту жертву самого

себя, на жуткие унижения и страдания, на мучительную смерть на кресте — Ему могла быть предложена именно такая участь — самая что ни на есть поганая, — уж не в отместку ли?!

И казнь показательная свершилась, конечно же, по суду человеческому, злу его и бессилию. То была отвратительная казнь — на кресте, а на крестах казнили через распятие лишь разбойников и убийц, а тут вознамерились казнить столь гнусным образом не совершившего ничего преступного... стоп!.. а разве слово правдивое и произнесённое... не было... как раз самым страшным преступлением перед цивилизованным человечеством, гораздо более ужасным, чем те же разбой и убийства, а-а?..

И всё было бы ничего, и казнь опасного праведника увенчалась бы полным успехом для самоуверенной цивилизации, если бы... нет, нет... никакого великого гнева Божиего не последовало, ибо Господь принял на себя жертву Сына Божиего, принявшего человеческое воплощение, ибо, наверное, испытывал и свою вину перед человеком, себя довольно корил и страдал от всего этого, да вот не оставил ещё человека, надеясь на лучшее для него и себя будущее, — нет, нет, никакой карательной катастрофы по воле Божией не случилось, хотя и были, конечно, всякие человеческого происхождения катаклизмы, спровоцированные неправедной казнью, но зато произошло вслед за казнью никем не предвиденное событие, а точнее — *Событие!* а именно... *Воскрешение Христово*, да ещё с явлением воскресшего Христа человекам, оказавшихся того проридчески достойными.

Второй раз явился Христос людям — сначала как *свой*, как *один из*, как *просто человек*, вполне и человеческий, хоть и очень и очень особенный — по нраву, по уму и мысли, по поведению, по действиям, а затем и как воскресший, но уже... не совсем человек, точнее, совсем уже не человек, а... сам Господь Бог, лишь в образе человека, человека-Иисуса, уже и достоверного Христа, чтоб понятнее и убедительнее людям стало.

Что же тогда произошло? А произошло кое-что действительно из ряда вон выходящее: проворные людишки приговорили, распяли и умертвили самого Бога, и Бог на это скорбное унижение людское пошёл вполне сознательно и добровольно, чем, во-первых, человека поставил

в «интересное положение» — зверя, злодея и преступника; во-вторых, выявил грань, на которой уже стоял гордый человек со всем своим сознанием и ноосферой и за которой лишь осталось человеку падение в бездну; в-третьих, доказал свою любовь к человеку, этой твари заблудшей, не скрывая, надо полагать, и своей собственной вины, в сакральном «деле человека»; в-четвёртых, простили человека за все его прегрешения, мало того, пригласил к новой жизни, указав на любовь как главный критерий жизни, сознания, ноосфера; в-пятых, вызвал возможность новой веры в Бога, как и новой религии — животворящей, спасительной, воскрешающей.

Бог предложил человеку умереть символически на невидимом человеку кресте и воскреснуть затем, но духовно и нравственно обновлённым!

Проповедник, учитель, пророк Иисус из Назарета, наверное, и в действительности был, а вот был ли в реальности собственно Христос — это вопрос, но вопрос не требующий никакого реалистичного ответа, ибо главное здесь не в человеке (или будто бы человеке!), именуемом Христом, а... в легенде по имени Христос, которая основательнее, действеннее и вообще важнее любого реального человека, бывшего когда-то в Палестине, там безуспешно проповедовавшего и там же успешно в Иерусалиме распятого.

В основу новой религии лёг не конкретный человек Иисус, а легла легенда по имени *Христос*, где и житие, и деяния, и чудеса — ведь действие на человека, уверовавшего во Христа, оказывает не то, что на самом деле было, — а то, что связывает человека с Богом, а именно — Слово Божие, данное Богом человеку и человеком страждущим уловленное.

Это было слово, обращённое не к императору, не к пророку, не к служителю культа, а к любому из людей, даже и к самому простому и грешному, — и это было необыкновенно, вдохновляющее, обнадёживающее!

И не в одном только самом по себе слове тут было дело, а и в том, что это слово было произнесено не просто Богом, а именно Богом-человеком, причём не просто явившимся человеку в образе человека, а бывшим уже человеком, и не статусным вовсе, а самым простым, а потому

и сказавшим самое простое, самое нужное, самое проникновенное слово — доступное, правдивое, понятное, — а ещё было важно, что слово это было высказано в самый что ни на есть нужный момент — момент крайнего раздражия и великой растерянности, торжествующего в сознании хаоса, нараставшей потребности выхода из безвыходного положения, когда человек, достаточно уже разложенный, озверенный и опустошённый, затосковал вдруг о... *человеке*, которого не было уже почти вокруг, но без которого не было и собственно человеческого существования.

Слово Божие, а также факт его привнесения в людской мир Богом-человеком, как и факт непосредственного общения Бога с простыми людьми — тоже ведь простого человека, не говоря уже о скорбном происшествии с пришедшим к людям Богом-человеком, ими — людями! — принесённом в жертву, — да ещё какую! — как и согласие господа пойти на эту жертву — ради спасения людей, в том числе и его же палачей, не могло не вызвать соответствующего отклика в душах и умах людей, пусть лишь поначалу некоторых, пусть совсем малого круга, но... согласившихся, признавших, уверовавших, — и как было этого не сделать прежде всего утесняемым, подавляемым, эксплуатируемым, которых сам Бог возвысил до прямо-таки божественного статуса, но и тем, кто утеснял, подавлял, эксплуатировал, которым досталось справедливое и жёсткое осуждение от Бога, его пламенный, вполне и гневный, укор, побуждавший их к входению в лоно божественного сознания.

Слово Божие возвышало и умеривало человека, оно уравнивало каждого человека перед Богом, подавляя гордыню одних и излечивая от уныния других, указывало на возможность достойного человеческого обще�ития, не отрицая при этом ни личных особенностей, ни социальных различий, ни управленческих иерархий.

И слово это — *Слово!* — было в итоге широко воспринято, признано, утверждено, и легло оно со временем в основанное большой мировой религии — *Христианства*, а религия эта дала повод для создания соответствующего ей социального института — *Христианской Церкви*, сначала тайной, катакомбной, а затем и явной, процветающей, — и когда распространилось слово Христа по многим странам и весям, когда задело своим светом властные иерархии, когда было официально

признано верховными правительствами, то легко и в основание большой, мирового значения цивилизации — христианской. Так локальная история Иисуса Христа положила начало и обусловила на века бытие целого мира человеческого — христианского!

Нет, царства всеобщей любви и безмятежного счастья в христианском мире не возникло, да и не могло возникнуть, что понимал, видно, хорошо и сам Иисус Христос, указав на возможность Царства Божиего не на земле, а на небесах — в мире Отца, да и то лишь для праведников христовых.

Не питал Иисус Христос больших иллюзий насчёт человека, хотя на возможность праведной жизни указал, как и на возможность построения сносных человеческих отношений и цивилизованных сообществ. И повлиял! Ибо доказал и укрепил в сознании человека великий руководящий критерий, пусть и идеальный, пусть и трудно исполнимый, но которому можно было следовать, по крайней мере, на который можно было опереться.

Не замедлил явиться и соответствующий Христову критерию Устав — Церковью Христовой сотворённый, утверждённый и неустанно освящаемый.

Мир стал по-новому осознанным, осмысленным, более перспективным, а главное — выносимым!

Жизнь вовсе не стала ни лёгкой, ни счастливой, но она стала всё-таки более возможной, обретя идеально-духовную стройность, цельность, даже и логичность, получив сакральное оправдание, возымев необходимую божественную санкцию.

В жизнь человеческую вошёл смысл: как предшествование, как сопровождение, как цель и даже как завершение.

Возник, можно сказать, некий смысло-функциональный баланс между природными и неприродными началами, физическим и метафизическими, имманентным и трансцендентным, давший возможность если и не массово-праведного, то хотя бы массово-достойного бытия, а в исключительных случаях и бытия вполне позитивного и содержательного, творческого, а главное — богоугодного!

Христианство было не частным делом какого-нибудь сектантского

кружка, а всеобщей спасительной идеологией, не только различавшей довольно добро и зло, божественное и контрбожественное (сатанинское), человеческое и зверское, но и указывавшее путь ухода от злого, нечеловеческого, дьявольского, ибо содержало в себе понятие *греха*, получившего весьма определённую квалификацию, более того, указывая на *грехопадение*, оно указывало и на возможность преодоления греха, на необходимость такого преодоления, даже и на возможность пусть и не всеобщего, но достаточно воспринятого праведного существования.

Вместе с Христом — сыном Божиим и в то же время сыном человеческим — в людское сознание вселилось убеждение в наличии и реальном действии могучей сакральной силы — *любви*, а также *правды и спасения*, но при этом и возможности бескомпромиссного отрицания лжи, ненависти, уныния, что придавало огромные, иной раз и сверхчеловеческие, силы всем уверовавшим во Христа, провоцируя невиданную жизнестойкость и не меньшую стойкость перед лицом смерти.

Да, то была *вера*, но вовсе не в саму Христову историю, хотя она тоже была, а в присутствие Бога на Земле, в мире человеческом, в человеке, его сознании и свехсознании, — как некой доверяющей, но в то же время и контролирующей, и направляющей, и испытывающей, и даже карающей силы, без постоянного внимания которой и без постоянного обращения к которой жизнь человеческая превращалась в пошлое, нелепое и гибельное прозябанье.

Постоянное осознавание наличия Господа Бога, как и присутствия и участия Его в мире человеческом, того самого Бога, пошедшего на смертельную жертву Сына Божиего в лице сына человеческого ради человека по приговору самого человека — величайшее из идейно-духовных обретений развивавшегося под опекой Божией человеческого сознания, превратившегося в итоге в иное, чем было прежде, сознание, с иным внутренним идейно-духовным наполнением, соответствовавшим новому религиозному *концепту*, представленному Христовой истиной или же тем, что стало всё более называться *Софиею Премудростью Божией*.

Можно сказать, что человеку явился, а человек обрёл новый сакральный жизнеоправительный регламент, отврашивший человека от любого греха, как и представлявший возможность преодоления греха,

от него избавления. Бог был везде, Он всё видел, от Него ничего не ускользало! Взыавшая к безгрешной жизни и всеобщей любви, христианская религия, обращённая к человеку вообще без каких-либо социальных, местнических, этнических различий, была религией строгой, аскетической, требовательной, как и истинно тоталитарной, а потому и в момент своего утверждения необычайно волевой и эффективной.

Утверждение христианства в сознании людей не было ни лёгким, ни скорым, ни триумfalным. Здесь было всё, весь Христов набор: подвижники, спасительное слово, adeptы, преследования, мучения, казни, жертвы, подвиги, кровь, смерти, разве лишь воскрешений Христовых, не было, хоть и были память, святость, почитание — люди всё-таки не Боги, а потому не могли совершать посильных только Богу деяний, правда, они признавали теперь загробное бессмертие, а потому и признавали посмертное воскрешение, но не здесь, не в этом мире, а там — в иномирье, в царстве не материи, предметов и тел, а духа, идеалий и душ.

И, однако, христианство утвердилось, сформировалось концептуально, оснастившись священным писанием, образовалось институционально, обретя Церковь, наконец одержало и победу, овладев Государством и само став империальной социальной системой — поверх государств, народов, племён, вполне и глобализировавшись.

Религия как концепт, религия как институт, религия как действие — всё это стало и всё стало сразу, ибо без чего-либо одного из этого нет и никакой религии, а поскольку всё это не одно и то же, то хорошо, когда есть между всем этим единение, гармония, симфония, и очень плохо, ежели диссонанс, разнобой, декомпозиция.

Религия — дело хоть в основе своей трансцендентное, но в целом мирское, хоть и обусловлена религия Божиим вдохновением, да и совсем не просто удерживать сакрал в мире сем, через людей и среди людей, а потому реальная история религии, или же фактическая реализация религии, полна не просто противоречий, противодействий и провалов, что более или менее понятно, а и того, что обычно называется *Хаосом*, того самого Хаоса, против которого как раз направлена и строится всякая Небом санкционированная религия.

Уже с самого начала великой сакральной истории, явления Христа народу, его первых слов и действий, новая религия, ставшая позднее *Христианством*, встретила мощное неизбежное и в общем-то вполне понятное сопротивление, этакую *антихристианскую резистенцию*, и, что особенно знаменательно, то ярко горевшую, то медленно тлевшую, то никогда совсем не утихавшую, тем более не исчезавшую.

Явление Христа вызвало вполне с неизбежностью, обоснованно и даже оправданно и явление *антихриста*: намеренного, поведенческого, концептуального. Дохристианский люд в массе своей вовсе не торопился расставаться со своей столь сладостной зверо-человеческой свободой, продолжая лгать, прелюбодействовать, бесовствовать, в общем — наслаждаться жизнью, насилиничать, витийствовать, короче жить по своим легковесным понятиям, а не по тягостным заветам Божиим, уж тем более не по стеснительным Христовым; традиционные верования тоже не спешили сдаваться перед какой-то там палестинской легендой, настаивая на своей не менее сакральной истинности и исторической значимости, а также вовлекая в борьбу с христианством властей предержащих, которых охотно продолжали причислять к лицу богов; не унимались и «альтернативщики», которые, оказывается, тоже были и которым, как вскоре стало ясно, тоже было что сказать вместо Христа, а то и ему вопреки, у которых было своё суждение о Боге, о людях, о религии, а главное — обо всём религионном «арсенале», включая постулаты, доктрины, нормы, символы, обряды и многое другое.

Резистенция Христу включала в себя как простое игнорирование Христа и его учения, христианской религии, так и преследование сторонников Христа, их жестокое подавление, аресты и пытки, показательные экзекуции, публичные казни, но также и критику Христа и его учения, назойливые разоблачения, исправления, дополнения, но и привнесение альтернативных трактовок, концептов, практик.

И всего опаснее было, конечно, третье, ибо за ним скрывались попытки либо исказить Христа и христианство, либо вовсе отринуть их, либо прямо уничтожить — как был распят когда-то сам Христос, так подлежало и распятию его учение, а вместе с ним и восходившая к Христу новая религия!

Угроза второго распятия Христа — уже идейно-духовного, концептуального, доктринального, но и просмыслительного тоже, возникла сразу и никогда не отступала.

Как оказалось, легче всего было справиться христианству и Христовой Церкви с предшествовавшими культурами, ибо те в общем-то уже довольно истощились и сами по преимуществу поумирали, а если и не совсем сами, то под практически беспрогрызным давлением новой сакральности.

Очень нелегко было одолеть всякую умственно-духовную альтернативщину, но объединёнными усилиями адептов Христа и апостольской церкви удалось в ней проникательно разобраться, осудить её и отбросить на периферию сакрального процесса, уже в антихристовы катакомбы.

Но всего труднее было преобразовать человека — этого великого консервативца, никак не желавшего расставаться со своими зверо-человеческими приоритетами, а то и привилегиями: беспутничать, насиливать и убивать, грабить, угнетать более слабых и эксплуатировать зависимых, упиваться гордыней и дурной славой, лицедействовать, паясничать, а то и попросту грубо безумствовать да изощрённо бесноваться.

Сознание человеческое было давно и надёжно повреждено, оно было по большей части и по сути своей глубоко антихристианским, так что одного присутствия человека в лоне христианства и той же Церкви Христовой было явно недостаточно: тут-то всего более и сказывался хаос — хаос души, ума, сознания, ноосферы, преодолеть который было всего труднее, а уж о полном избавлении от него не приходилось и мечтать!

Так вот и выходило, что в мире был Христос, а перед ним, рядом с ним, за ним... *антихрист*; было Христианство, а супротив уже стояло... *антихристианство* — масштабное, разнообразное, умное, ловкое, и что самое важное — небезосновательное и небезрезультатное: хорошо сказать «Будь!», а как? — ежели отречься решительно надо, да не от чего-нибудь, а от самой сути своей, вывернуться, да не гадкой своей стороной наружу и вперёд, а той самой — практически недостижимой!

Критерий-то Божий был указан Христом и весьма им определён, а как следовать этому бескомпромиссному и беспощадному критерию,

если вокруг естество, животность, звериность, как и физикализм, материализм, монетаризм, консьюмеризм, да мало ли ещё чего из влекущего, вязкого и неодолимого, в особенности если ты физически силён, умён, ловок, победоносен, если ты сама власть и собственность, управление и хозяйство, если ты желанен и сам желаешь, если ты богат или не хочешь быть бедным, если ты жизнелюбив и динамичен, сребролюбив и порочен... о-о!.. как всё тут не просто, с этой противогреховной, строгой, аскетической, правдолюбивой, как бы и не сеюмирной, религией?

Да, христианство дало *жизнеотправительный регламент*, установило и порядок всего жизнеотправления (не без насилия, кстати!), и это означало историческую победу христианского порядка над антихристианским хаосом, но... но, как со временем выяснилось, не до конца — хаос никогда не был окончательно преодолён в мире и сознании человеческих, и, что особенно важно, жизнелюбивый, гибкий и сладкий зверо-человеческий хаос ухитрился угнездиться и в христианском поле, мало того, залезть даже в Церковь, неплохо и в ней благоденствуя.

Христос и антихрист — великое историческое противостояние, непрестанная борьба, непрерывное взаимоотрицание!

Однако и взаимопредположение, ибо что Христос без антихриста, если не пустая фраза и ненужный жест — Христос имеет смысл только в борьбе с антихристом — с этим с позиций Христа врагом рода человеческого, что вовсе никогда не мешало человеку свободно культивировать этого врага в своём сознании и в своих действиях, что и заставляло несогласных обращаться, чая своего и общего спасения, к самому Христу.

Антихрист многолик и многофункционален: он и прямой идейно-духовный противник Христа вроде Синедриона, Каифы, Понтия Пилата и того же Иуды Искариата; он и зверо-человеческая поведенческая тенденция; он и концептуальный «альтернативщик» вроде гностиков, разных иных ересиархов, всяких религиозных, церковных и светских реформаторов; он и нарочитый образ Христа, его как бы зеркальное отражение, плагиатор и лжец, ловкий лицедей; наконец, он и сам по себе, как уже полный заместитель Христа, точнее, даже и не Христа, а лишь воспоминания о Христе, как совершенно свободный от всякой христианской мотивации *князь мира сего*, его — этого мира — владелец, им управитель

и ему же главный благодетель.

И всё это есть, всегда и повсюду было, и есть, как и, видно, всегда и всюду будет — ежели не до срока, выверенного Господом Богом, не питавшим никаких иллюзий насчёт человека-зверя, хоть и предложившим человеку путь к спасению, однако показавшегося человеку тяжким и невозможным, а потому в чистом виде и неприемлемым.

Христианство вроде бы сходу победило, а зверь-антихрист со своим хаосом в человеке и мире не только остался, а и выжил. Обратившись в «христианина», нашёл возможность не только не прозябать на задворках цивилизаций, но и весьма активно в своих интересах действовать, не пренебрегая возможностью и пышного себя цветения.

Христианская личина антихристу очень в этом споспешествовала: человек-зверь, он же и антихрист, оказался гибче и искуснее, чем, наверное, полагал даже Христос, а потому зверо-человеческое антихристовское начало, приспособившись к антихристианскому пространству-времени, смогло найти для себя возможность собственного продолжения — не без, надо особо заметить, и мощных духовно-интеллектуальных пассионарных прорывов.

И христианству пришлось с этим считаться, не только признавая что-то из нехристианского и даже антихристианского, но и вбирая в себя кое-что из всего номинально христианством отрицаемого, а при значительном ослаблении веры и укорота Церкви, при дехристианизации человека, попросту со всем этим для себя неприличествующим так или иначе солидаризоваться.

Более или менее чистое — праведное! — христианство имело место всё-таки как исключение, как частный случай, как локальность — по большей части личного, иногда семейного, менее всего коллективного, — но в целом по пространству-времени распространилось некое компромиссное христианство, реализуясь, конечно же, в разных формах: от блаженно-игровых (терпимых, слабеньких, фальшивеньких) до инспекционно-воинственных (нетерпимых, сильных, яростных).

Да, христианский мир стал непреложным историческим фактом, но это был факт сложный, затейливый, многострунный, а в чём-то попросту лукавый, ибо оттеснённый, но вовсе не уничтоженный антихрист, приспособившись к формально доминировавшему христианству, а в чём-

то и как-то с ним... породнившись, делал своё... э-э... подрывное дело, не только бытуя в христианском мире, но его под себя незаметно приспособливая.

Как же хотелось человеку-зверю владетельствовать, всё и всех подчиняя, покоряя и всеми повелевая, как хотелось господствовать, отменно понуждая и эксплуатируя; завоёвывать, бесцеремонно насилия, грабя и умерщвляя; беситься, ни с кем не считаясь, всех презирая и унижая; безобразничать, нагло веселясь, гримасичная и прелюбодействия!

Нравственность — вещь хорошая и нужная, но чем же хуже безнравственность или, на худой конец, свободная нравственность — безответственная и самоопределяющаяся?

Был ли золотой век у Христианства? Наверное, был — где-то в середине I тысячелетия от Р. Х., и был он, конечно же, кратковременным, а главное — вовсе не сплошь «золотым», да и не столько по реальному владению умами и душами людскими, сколько по властному доминированию в людской атмосфере да по высшему и, наверное, весьма эффективному вследствие своей неукоснительности регламенту.

Любопытно, что не очень-то обозначен в памяти людской этот «золотой век», хоть и было христианство когда-то в явном приоритете, хоть и главенствовала в идеально-духовной и нравственной жизни Церковь Христова, что и заставляет задаться вопросом, а был ли он вообще, этот самый «золотой век» христианства и Церкви Христовой?

И тут важно обратить внимание на одну часть священного христианского писания, относящуюся не к Ветхому, а к Новому Завету, а именно — на «Откровение» Иоанново, записанное им будто бы со слов самого Христа.

Не вдаваясь в подробности, отметим самое важное: 1) никаких иллюзий относительно антихристианской природы человека, как и безоговорочного и сильного желания со стороны человека от неё избавиться, коренным образом преобразившись; 2) убеждённость в тщетности Христовых усилий по преображению человека, в неизбежности отхода человека от истин Христовых и победе антихриста; 3) указание на временность победы антихриста и непременность наступления Страшного Суда над человеком, исполняемого самим Христом; 4) спасение немногих.

Выходит, что всё было ясно Христу с самого начала: человек, это вроде бы создание Божие, не пойдёт в полной мере и до конца за Господом, а предпочтёт всё-таки новый отход от Бога, сопровождаемый сначала антихристовым богооборчеством, а затем и полным антихристовым игнорированием Господа.

И что же тогда удивляться тому, что не произошло полной и окончательной христианизации человека, что христианский мир не стал по сути миром Христовым, а был лишь не более чем миром со Христом, что антихрист не только выжил, но и пустился овладевать христианским миром, постепенно и неуклонно его дехристианизируя?

Именно таковой оказалась на практике христианская историческая реальность: лабиринтной, хоть и обладала она великим сакральным достоянием — *Мифом Христовым* (именно так: не мифом о Христе, что не так важно, а именно Мифом Христовым!), ставшим для человека главным пособием по человеческому бытию и выживанию, но и руководством к уже внечеловеческому спасению, но... увы!.. не нашедшим потребного с позиций Христа массового применения — христианским человеком выглядел более всего по форме, образу и процедуре, а по сути... по сути же, оставался хоть и облагороженным истиной Христовой, но ею всё-таки не слишком глубоко задетым.

Наступил и момент великого реванша человека перед Богом, Христом, Христианством, Церковью, причём человека так или иначе христианизированного (этакого христианизированного антихриста, склонного поддерживать некий компромиссный паритет между Христом и антихристом, находя для этого необходимое оправдание и подходящие лазейчные уловки), и никакие усилия Церкви и адептов Христа этот реванш предотвратить не смогли: человек должен был рано или поздно обратить внимание на себя, на своё подчинённое положение относительно Господа Бога Христа и могущественной христианской Церкви, на невозможность реализации многих своих экзистенциальных потребностей, как и созревших творческих потенций, короче, человек не мог не запросить, да что запросить — потребовать... *свободы*, которой в рамках христианства и под опекой Церкви он получить никак уже не мог, и не просто свободы, как таковой, а свободы *действовать* — во всех направлениях: духовном, культурном, социальном, экономическом, техническом, как и в любом

ином из возможных, для чего надо было непременно изменить нравственный христианский устав, человека сильно стеснявший, ограничивавший, даже державший в кое-каком оцепенении.

То было не что иное, как восстание антихриста против Христа, сначала антихриста христианизированного, а затем и антихриста, всё более расстававшегося со своей христианской оболочкой — вплоть до полного отрицания Христа, его учения, мало того, и Господа Бога тоже, всего вообще божественного, не говоря уже о метафизическом и вообще трансцендентном.

Произошло всё это не в одно мгновение, а имело место на протяжении длительного времени, осуществляясь поэтапно и последовательно, происходит это, надо заметить, и сейчас, однако уже в период воистину апокалиптического бытия, а может, и какого-то прямо-таки невозможного реванша всё ещё уцелевшей Церкви Христовой и всё ещё бытующего, уже и остаточного, христианства, как раз в соответствии с пророческими откровениями св. Иоанна.

Первый этап антихристова наступления был обнаружен первой церковно-догматической реформой, приведшей к отделению от Единой Апостольской Христианской Церкви части Церкви — Римской, Западной, Латинской и к итожащему разделению христианства на Западное — католическое и Восточное — ортодоксальное. И ежели Восточное христианство осталось верным первоосновам христианской религии, было, так сказать, архаическим, то Западное христианство, изменив кое-что в христианской доктрине, предстало обновлённым, модернизированным и, по убеждению раскольников-латинцев, прогрессивным.

Прогресс и в самом деле был — в очеловечивании божественного и обожествлении человеческого через фактическое приравнивание Иисуса Христа к Богу Отцу посредством утверждения об истечении Святого Духа и от Сына Божиего; через предпочтение образа и культа Девы Марии образу и культу Богоматери, что вело к возвышению женщины, лишь предназначенней к святой божественной миссии, по отношению к женщине, эту миссию уже исполнившей; через признание безгрешности Богоматери, её фактическом обожении; через признание возможности освобождения от человеческой греховности прямо при жизни человека, посредством покупки тех же индульгенций; через обожение Папы

Римского — прямого-де наместника Христа на земле, оттого и непогрешимого.

То была явная с точки зрения признанной соборно христианской традиции ересь, но она тем не менее состоялась, да не где-нибудь, а непосредственно в одном из великих центров христианской Церкви — в Риме. И всё это было совсем не случайно: человек западноевропейский вместе со своим западным миром и окормлявшей этот мир христианской Церковью уже созрел к тому моменту к дехристианизации, что и подтвердилось его выбором в пользу... самого себя и своего мира, соответственно и своего возвышения перед Господом Богом, а также нараставшего желания занять Его место ради свершения кое-каких земных деяний.

Это был значительный и значимый прорыв — человек сбрасывал с себя зависимость от уже слишком стеснявшего его сакрального регламента и, расширив рамки своей свободы, вознамерился взять на себя кое-какие судьбоносные с его точки зрения генеральные решения, среди которых были не только огосударствление (империализация) Церкви и оцерковление государственности (имперскости), но и нарочитое возвышение Церкви, волевой рост её влияния, насильственная католизация земных пространств, их фактически владетельный захват.

Явление самостоятельной, своевольной и агрессивной Римской (Папской) Церкви — явление и мощной *клерикальной империи*, в которой утончённый клерикализм едва прикрывал вполне мирские — материальные, территориальные, денежные, потребительские, чувственные, зверо-человеческие — мотивы и интенции.

За христоцерковной оболочкой скрывался, уже не особенно и скрываясь, разыгравшийся не на шутку, горделивый и своевольный антихрист: умный, деятельный, изощрённый!

И верным доказательством антихристовой сути и имперской амбициозности Римской Церкви, самого католичества, стали помимо разностороннего морального развращения папства, клира и немалых слоёв мирского населения, захватнические походы на Восток, якобы для отведения Гроба Господнего, а на самом-то деле для утверждения католической ереси в самом сердце христианства, там, где родился, вырос и проповедовал Христос, где он принял мученическую смерть на кресте, где и чудесным образом воскрес. Как же было соблазнительно для римских

владетелей перенести еретический папский престол в Иерусалим и оттуда самонадеянно управлять освоенным католичеством христианством, вновь покорённым Римом и возвращённым имперскому Риму безграничным миром.

Рим — мир, а мир — это Рим!

Однако было одно, какказалось, «плохое» препятствие, совсем и не сравнимое с иноверческим мусульманским, с которым было гораздо яснее и проще, а именно — архаическая Восточная Церковь с исповедуемой восточными христианами Истиной Христовой, принятой ещё единой христианской церковью и не затронутой никакими модернизационными инновациями.

Нельзя сказать, что на Востоке, в Византии, в Константинополе, всё было хорошо с христианской верой, там тоже имели место разъединяющие религиозно-церковный монолит явления и процессы, но доктрина христианская, как и сама Восточная, или Византийская, империя, ещё держалась, оказывая сопротивление наступавшему всё увереннее тотальному кризису христианства и общему упадку восточной империи.

Восточное ортодоксальное христианство, этот будто бы более уже вредный, чем полезный архаичный рудимент, сильно мешало якобы передовому Западному — и надо было снять это препятствие, что и побудило Римскую Церковь вести упорно и непрерывно как скрытую, так и более или менее явную подрывную работу на Востоке, натравливая на Византию кровожадных соседей и организуя совместно со светскими западноевропейскими властителями крестовые на Византию походы, один из которых увенчался захватом и разгромом духовной и светской столицы Восточной империи — Константинополя.

Руками западных европейцев-католиков папизм нанёс сокрушительный удар по византийской государственности, которая, резко ослабленная, окончательно пала под натиском набравших силу иноверцев-мусульман, но папизм не смог ни уничтожить христианскую ортодоксию, ни обратить всех восточных христиан в своих окатоличенных подданных.

Ортодоксальное христианство выжило и, пространственно урезанное и функционально ущемлённое, даже укрепилось духом, конечно,

с поправкой на господство иноверцев и без прежней государственной поддержки. Константинопольская София, этот поразительный храм — символ христианского благочестия и верности истине Христовой, хоть и униженная и оскорблённая, но всё-таки устояла и до сих пор стоит, служа живым укором горделивой и самонадеянной Римской Церкви, предательски и враждебно поступившей с ортодоксальным христианством и Константинопольской Церковью.

Центр ортодоксального христианства остался в Константинополе, хоть и перестал быть великим, а само ортодоксальное христианство обрело иные центры, среди которых и один великий — на Руси, в Московии, в России, а для многих европейцев — где-то в «Славянии», в «Тартарии», что увенчалось пусть и не бесспорным, но всё-таки вовсе не случайным и не прихотливым утверждением на востоке Европы не захваченного никакой модернизирующей ересью Нового Рима, оказавшегося теперь *Третьим!*

Истина Христова, искажаемая и теснимая Западом, нашла, если так можно выразиться, надёжное прибежище на просторах древней Гипербореи, где поднялась в небесной выси яркая звезда новой христианской империи — Российской, не только не отвергшей отринутую Западом ортодоксию, но и предавшей ей новое историческое дыхание уже под знаком *Православия* — правого, праведного, правдивого слова, заслужившего и правдой, праведной, правдивой славы!

22

Западная Европа породила не просто охранительное для просвещаемого христианской религией и укрощаемого Христовой Церковью человека антихристианство, позволившее европейцу подспудно культивировать в себе свои зверо-человеческие способности и интенции, а и вполне наступательное, инициативное и агрессивное, оказавшееся способным преобразовать в интересах человека-зверя уже само по себе христианство, изменить его догматы, а пожалуй, что и вовсе пустить по верному антихристианскому пути.

Западноевропейский человек-католик, объединённый и организованный Римской Церковью, получил возможность вполне уже человеческой — по усмотрению самого человека — экспансии как в идейно-

духовной сфере, так и в сфере своего физического существования.

Нет, христианизированный западноевропеец ещё не собирался совсем отказываться от идеи Христа и Христовой Церкви, но он старался всё это приспособить под себя, под свои чаяния и нужды, которые встутили в противоречие с последовательным христианством, ибо устроился западный европеец к Царству Божиему прямо здесь, на Земле, в Европе, в Риме, которое он понимал более всего, как воссозданную (воскресшую!) Римскую Империю, теперь уже христианизированную, мало того, воплощённую непосредственно и в Церкви Христовой.

Такой вот состоялся на Западе Европы синтез антихриста и Христа, знаменовавший собою первый, ещё во Христе, возврат к дохристианству и выход к нехристианству, когда не одна лишь форма оставалась христианской, но кое в чём и суть.

Католицизм — изменённое, искажённое, отступническое, но всё-таки ещё христианство, с действующими, вовсе не отринутыми Христом и Церковью, с наличествующим главой католической Церкви — Римским Папой.

Вышло так, что западное христианство как бы допустило внутри себя свою противоположность, согласилось на неё, смирилось с нею, смешилось, продолжая существовать в уже иной, обновлённой, неканонической форме, претендую при этом не на одну лишь внешнюю святость, но и на имманентную сакральную истину.

Почему же случилось именно так? Наверное, вследствие, во-первых, известной недосказанности и неопределённости христианства как религиозного учения, ибо сам Христос никакой религии не учреждал, никакой Церкви не строил — всё это было проделано последователями Христа, его первыми адептами, среди которых оказались и такие особенные, как тот же апостол Павел, бывший ранее Саулом — гонителем христиан, правда, призванный затем к служению Христу чуть ли не самим, уже воскресшим, Христом, а раз так, то почему же было чего-нибудь не доработать, не переделать, не перестроить, как и в меру не переосмыслить, не перетрактовать, не переформулировать — причём уже христианизированному человеку, тоже ведь последователю, адепту, а то и апостолу Христа; во-вторых, основной постулат Христа — постулат

о любви, мог быть выполнен всё-таки добровольно и свободным человеком (по принуждению ведь нет никакой любви!), а потому Христос, как затем и христианство, предполагали всё-таки не что иное, как свободный и добровольный выбор самого человека, а сама возможность такого выбора предоставляла человеку творческую инициативу и вольно или невольно обличавалась возможностью и иных выборов, более устраивавших шаг за шагом освобождавшегося от опеки Христа и Христовой Церкви западноевропейца!

Вот и выходило, что христианство, решительно выступая против антихриста, оказывалось нежданно-негаданно относительно антихриста весьма уязвимым, к нему по-своему терпимым, а кое в чём с ним и даже солидарным, точнее, не могло не допустить каких-то антихристианских тенденций, причём не где-нибудь вовне, в обществе, а и внутри самого себя.

При всей вроде бы требовательности и даже жёсткости бытового христианского регламента, великой, почти что и невозможной, трудности ему следовать, христианство исходило из свободы выбора человека — идти за Христом или не идти, поклоняться единому Богу или не поклоняться, жить по Божиим заветам или не жить — и, несмотря на воинствующие настроения и бесчисленные примеры весьма жестоких репрессивных действий отцов и адептов Церкви в угоду и защиту христианства, глубинная приверженность Христа любви и свободе выбора всегда давала о себе знать, свидетельствуя как о высоком человеколюбивом градусе христианства, так и высоком доверии, оказанном Господом своему себе же подобному творению.

Так или иначе, но христианская религия допускала человеческую волю, хоть и задавала ей весьма определённые, но не самые твёрдые рамки, а потому она создавала возможность и... *своеволия*, когда воля проявлялась человеком и в противоположном от Христа направлении, причём, увы, и в поле самого христианства.

И как только человек почувствовал себя на достаточной высоте положения, а лучше сказать, обрёл возможность сотворить что-нибудь *своё* и в *своих интересах*, то он сразу же этим воспользовался, в частности, превратив христианство из ортодоксального в католическое.

Почему же именно на Западе, а не на Востоке произошла первая

церковная реформа, она же и *анти*-реформа?

Наверное, из-за главным образом римского имперского наследия, ушедшего вроде бы глубоко во внутренние слои западно-европейской ноосферы и забившегося в самый дальний угол постимперского сознания, но... уцелевшего, выжившего, окрепшего и как бы вдруг воскресшего... уже в христианской среде, — как по поводу христианства и Христианской Церкви, так и по поводу евро-азийского геополитического бытия.

Именно в Западной Европе, политически и экономически тогда раздробленной, сложились условия для нагнетания пассионарного давления на весь уклад жизни, включая и идейно-духовную составляющую. Западноевропеец не находил себе места, заряжая себя агрессивной страстью и экспансиионистской мотивацией. Церковь алкала имперской организации и беспрекословной власти, а значительная часть свободного населения жаждала выхода из тупикового положения, возникшего вдруг в христианизированной, но уже искающей новых экзистенциальных разрешений Западной Европе.

Ни о какой христианской любви в реальном европространстве не могло быть и речи! Отсюда католическая реформа религии и Церкви, переложение на человека ответственности за своё собственное бытие, нарочитое отделение от остального христианского мира, вражды с христианским Востоком, более развитым во всех отношениях и духовно устойчивым, стремление к внешней экспансии и прямая агрессия на Восток, активное участие в ликвидации Византии.

В некотором роде то была попытка воссоздания Римской Империи с центром в вечном городе Риме.

Вот вам и Христос Вседержитель, знаменательно приближенный к человеку, конечно же — человеку-католику!

Интереснейший произошёл в христианском мире переворот, он же и изворот, а может, и попросту выворот: новая версия христианства не только была принята человеком, заместив старые верования, но и немедля приспособилась под нужды человека, заметно и не очень превратившись в нечто служебное для самого человека, в чём-то уже изменившегося под влиянием религиозных нововведений, а в чём-то и нет,

наконец, предъявившего и собственные требования к бытию, в результате чего в Европе стала формироваться новая цивилизация, вроде бы более подходившая обновлённому христианству с его модернизированными клерикальными и светскими институтами, но зато уже мало корреспондировавшая имманентному смыслу христианства.

Отсюда и тщета — великая историческая тщета, в чём-то меняющая человека, его идеально-духовный код и историо-культурный текст, всю начинку его сознания, а в чём-то и роковым образом воспроизводящая его первичные зверочеловеческие наития — в натуре, в страстях, во грехе!

Вот и католикам не удалось, а может, не очень-то и хотелось, удержать себя в лоне религии и Церкви, несмотря на разнообразные крутые церковные меры — вплоть до Святой Инквизиции и костровых жертвоприношений на площадях христианских городов прямо среди оцепеневавших от страха, а затем и всё более безразличных к показательным аутодафе людских толп, как не удалось и окончательно сформировать и удержать Римскую Священную Империю с Христовой Церковью в её сердцевине и Римским Папой во главе.

Не удалось, и всё тут!

И земли всякие глухо и громко сопротивлялись, и государи разные отставали свою независимость, и народ порою гневно бесчинствовал, и Церковь заметно разлагалась, и папа нередко безумствовал — не покорилась в общем-то Европа амбициозному папе и властолюбивой Церкви, не дала ни порядок жёсткий и непоколебимый окончательно утвердить, ни великую имперскую государственность создать, ни католическую идеологию эффективно и до конца внедрить.

Запротестовала Европа, восстала и взорвалась, рванула к иной Христовой Истине, пошла, борясь с папой и Римской Церковью, умирая в папских застенках и сожигаясь на инквизиторских кострах, на радикальное преобразование христианства, его новую реформу — уже антипапскую, антицерковную и антикатолическую, — выдвинула новое толкование священного писания, далеко уже отойдя от когда-то принятого ортодоксального, завоевала право на новое христианство, его особое исповедование и соответствующий вновь обновлённой религии образ жизни.

А перемены были воистину грандиозные: достаточно уже было прямого личного и коллективного (общинного) общения человека с Богом, с Христом, со священным писанием, с Библией, в общем со всем сакральным, божественным, что было в христианстве, а потому не надо было посредничества громоздкой Церкви, привилегированного клира, высокоавторитетного папы, как и не надо было сложных и путанных обрядов, затейливых театрализованных служб и многого другого, что было принято в оцирковлённом папском христианстве; появлялась возможность прямого и свободного толкования библейских текстов самими верующими во Христа и его сакральную миссию; любовь, к которой настойчиво призывал Христос, конечно же, не отменялась, но дополнялась такими благими компонентами мирского бытия, как личная и коллективная свобода, приоритет частного начала над общественным, публичное право и соответствующий суд, личные и коллективные обязанности, ответственность друг перед другом и перед обществом, полезность личных и коллективных действий.

Это была даже не реформа — *Реформация*, а самая настоящая революция — *Революция*, чуть ли не равная по идеино-духовному значению и влиянию на человеческое бытие самому от Христа перевороту. Да, это вроде бы не сопровождалось явлением перед человеком самого Бога и возникновением в связи с этим принципиально новой религии, но это был переворот, приведший к принципиально иной системе христианского вероисповедания, настолько иной, что это было вполне сравнимо с возникновением новой религии и фактически новой, пусть ещё и христианизированной, цивилизации.

Католицизм постарался частично очеловечить (обмирщить) сакральное, внедряя человеческое сознание в сакральную сферу, а новый реформизм, получивший наименование *протестантизма*, пошёл по пути уже сакрализации самого человека, его свободного и самостоятельного предстояния перед Богом.

Если, согласно церковной ортодоксии, человек — раб Божий, изначально зависимый от Бога, ему полностью доверяющий, беззаветно преданный Богу и ему себя целиком отдающий, то, согласно католичеству, человек — не более уже чем слуга Божий, способный при этом действовать и самостоятельно от имени Бога, а то и прямо как Бог, а вот,

согласно протестантству, человек — лишь партнёр Божий, действующий вполне самостоятельно и по своему усмотрению, хотя и не игнорирующий заповедей Божиих.

Западное христианство обретало в итоге всё более компромиссный относительно антихриста характер, усиливая низшее, собственно человеческое, начало и ославляя высшее, уже сакральное, что вело ко всё большему отдалению человека от Христова идеально-духовного естества и всё большему сближению с псевдохристовым суррогатом.

Если католическая реформа имела целью и результатом захват антихристом Христовой Церкви, не освобождаясь от в целом христианского обличья и возведения католической, уже и достаточно антихристовой по сути, Церкви во главе с папой на вершину христианского мира, не исключая ни политического, ни геополитического, ни даже милитарного доминирования Римской Церкви надо всем христианским миром (проект *антихристовой империализации* Христовой Церкви и христианского мира), то протестантская реформа, она же и революция, предполагала если и не ликвидацию католической церкви, что было, наверное, желательно, но явно не выполнимо, то совершенно житейское её отрицание посредством отпадения от неё значительной части, превращаемой вроде бы в антикатолическую, но в то же время и... антихристианскую, социокультурную и политическую среду (проект *антихристовой либерализации* Христовой Церкви и христианского мира с превращением последних в свободную совокупность духовных клубов).

И если движителем первой реформы был сам церковный клир с папой во главе, то второй — отщепенцы-диссиденты, явившиеся в католическом мире в роли чуть ли не... нового Христа, точнее, его лукавого повторения — снизу, от народа, от самого разуверившегося в папской церкви мира.

Если католическое реформаторство явно возвеличило Римскую Церковь, её главу — папу, хоть это и было сопряжено с большим антихристовым грехом — гордыней, властолюбием, господничеством, то второе реформаторство нанесло Римской Церкви чувствительнейшее поражение с непоправимым для неё ущербом, лишив её не только бывшего тогда имперского (феодально-абсолютистского по сути) доминирования — как клерикального, так и политического, но и всякой претензии

на подобное доминирование в будущем.

Когда христианская Церковь росла и крепла, антихристова бацилла, в ней всегда сидевшая, пыталась проявиться при случае по линии догматического, описательного (текстуального), обрядового, уставного и прочего институционального, организационного, материального и того же хозяйственного (и экономического тоже) строительства, и, проявляясь, то имела кое-какой успех, то терпела поражение, попадая в еретический отстой, но в целом была вынуждена долгое время мириться со своим конспиративно-латентным пребыванием в лоне Церкви и очагах христианства.

Но когда Христианская Церковь набрала силу и внутри Церкви стал ощущаться соблазн заинтересованного использования этой силы, для антихристовой бациллы наступило благоприятное для болезнестворного влияния время, что и не замедлило сказаться на выдвижении и реализации великой судьбоносной ереси — католической. Далее уже следовало освоение антихристовой инициативой всей религиозной и церковной практики, что не могло не привести к внутреннему разложению и антихристову перерождению католического мира, включая Церковь и папство, к острому кризису всего католического христианства, что и вызвало в клиральной и мирской среде острые протестные настроения.

Этими-то настроениями и воспользовалось новое антихристианство, поставившее вопрос о правомерности существования Церкви вообще, о правильности освещённого Церковью христианского учения, о богоугодности всей существовавшей тогда религиозной практики. Тогда-то и случилась вторая реформация, она же и революция, восставшая против Римской Церкви и папства, а фактически уже и против церкви вообще, как и любого церковного дирижизма.

Так что сильнейший удар был нанесён не по одному лишь Риму с его папой, но и по феномену церкви вообще, ибо церковь, построенная в соответствии с феодально-абсолютистской, равным образом, и ветхой имперской, традицией, была уже не нужна антихристу, взявшему к тому времени в угоду развивавшемуся капитализму курс на социально-экономический либерализм.

В итоге двух западноевропейских религиозных реформаций произошёл высокозначимый исторический реванш антихриста, поначалу вроде бы оттеснённого Христовой Церковью, хотя до конца вовсе не преодолённого и не изжитого, но сумевшего сохранить, приспособиться, кое-чего и добиться, постоянно присутствуя в сознании человека и в людской ноосфере, наконец, дождаться для себя и великолепных победных всполохов, принёсших ему долгожданный дар исторического триумфа.

А ведь антихрист — это не какой-нибудь страшный зверь или неподобающее уродливая химера, это вовсе не злой, вредный и порочный человек, борющийся с Христом, его прямая противоположность и первостепенный противник, это более всего некий дух, умная и прельстительная субстанция, порождающая антихристианизм в душах и умах людей, заставляющая их исполнять разные антихристианские шоу, частенько и страдательные, и гнусные, и кровавые, при этом вовсе не нападая напрямую на Христа и христианство, на ту же Церковь Христову, а лишь предлагаю варианты, альтернативы, инновации, и только когда возможно — разрушительные восстания, включая «цветные» и «интернетные» революции, всё и вся уже переворачивающие.

Поразительная особенность антихриста, вселяющегося в человека, в группу людей, в социальный институт в страну и даже цивилизацию — принимать любой образ, в том числе христианский, даже и Христов, не пренебрегая, когда становится возможным, и нехристианской образиной, даже и звериной, даже и маргинальной, даже и откровенно порочной, но в то же время, никогда не забывая о собственном достоинстве и величии, вовсе не гнушаться высоким кумирным пьедесталом и милостию принимать восторженное поклонение сонмищ уверовавших в его нравственную и деловую исключительность людышек.

Две реформы — две победы антихриста, в результате коих христианство на Западе Европы стало если не антихристианством как таковым, то... то ли явно уже химерическим антихристианским христианством, то ли христианским антихристианством — и разве это было не грандиозно?!

23

Не всё так было, разумеется, просто, ибо антихрист был сложнее

и разнообразнее, имел он и своё оправдание быть, и выдвигать свои проекты, и немалый резон чего-то своего добиваться, как и далеко не всё в кризисе христианства сводилось лишь к неблаговидной роли субъективированного антихриста — и само христианство имело немало уязвимостей, непонятностей и несуразностей, как и перегибов, и ошибок, и недоразумений, и человек, принявший всем сердцем Христа, не мог не задаваться вопросами, адресованными к Господу Богу: кто я? зачем я? куда я? ободряя себя и претензиями к Богу Творцу: стоило ли весь этот город городить, коли я такой слабый, порочный и смертный, а вся сила, совершенство и вечность вовсе не со мной и не для меня? зачем судить меня, ещё и казнить, бросая на какие-то вечные муки во аде, ежели я есть я — прямо из земли — и другим быть просто не могу? зачем этот лишённый смысла, выбора и поступков потусторонний рай?..

Задетый субъектным антихристом или нет, но человек не мог не быть по сути своей... тоже... антихристом, даже если принимал Христа, ему поклонялся и в целом следовал, жил Христом, правда если не уклонялся совсем от реалий жизни, от дел мирских, от хозяйства, от продолжения рода своего, от природы, от еды и питья, от веселья, от стихий и страстей, от той же неопределённости и той же неизвестности.

Да, человек сознавал, что без Бога нельзя, что без Бога он совсем потерян и одинок, что без Бога он не более, чем тварь дрожащая, но... не мог же человек не признавать, что и с Богом ему как-то не по себе, не очень уж уютно и понятно, хоть и, чего никогда не скрывал от себя человек, безумно интересно, ибо Бог это и сознание, и слово, и язык, и ноосфера, как раз всё то, что и было в человеке собственно человеческим.

Человек признавал Бога — Бога Отца, но и бунтовал против Него, стремясь и к чему-то такому, что было за рамками человека, к чему-то вне- и сверхчеловеческому, а следственно, и к божественному, хотя бы парабожественному, близкому к Богу.

Так что ничего нет особенного и необычного в противостоянии и противодействиях человека Богу, даже и человека в Бога уверовавшего, ибо тяжёлой, почти что и невыносимой, была земная миссия человека, а главное — непонятной, неизвестной, необъяснимой!

Отсюда и антихрист, этот прямой враг Христу, который имел отнюдь не только своё собственное обоснование быть, скажем, в функции постоянного недоброжелателя Христа, ему завистника и его бесцеремонного критика — хотя бы от Сатаны, но и общечеловеческую мотивацию, исходившую непосредственно от человека, причём не так отягощённого неукротимым и неугасающим звероподобием, как уже от вполне очеловеченного, даже и высшего в своём людском разряде, чуть ли не совершенного.

Так что, не умаляя великого значения и ведущей роли субъектно-выраженного антихриста-профессионала, следовало бы не забывать о значении и роли просто человека (не простого человека, а именно просто человека) в происшедшей вдруг, великой мистериальной трагедии, захватившей не одну только Церковь Христову, даже не христианство как таковое, а весь христианский мир, состоявший как раз из самых что ни на есть просто человеков.

Дело тут было, конечно, совсем не в противоречиях и не в несусрятностях священного текстуального наследия, не в ошибочной архитектонике Церкви, не в отсутствии жертвенных подвигов во славу Христа, в общем, не в чём-то из старательно выверенного и даже героически совершившего человеком на стороне когда-то вдруг зародившейся, а потом внезапно окрепшей и закономерно победившей христианской религии, хотя что-то такое, возможно, и было, — проблема была в другом... в *сознании*, данном человеку из потусторонья, а потому и в раздиравших человека собственных противоречиях, вполне неразрешимых и вполне ужасных: между животностью и духовностью, полнокровностью и тщедушностью, физикой и метафизикой, а потому и между осознанием важности, нужности и неоспоримости Христовых императивов и осознанием их невыносимости, неприемлемости и тщетности.

Сознание — источник перманентного страдания, того самого страдания, которое не от физики человека, а от его метафизики, которое прямо от знания, просветляющего как будто бы человека, на напрочь лишающего его экзистенциального покоя, показывающего человеку неприродный (духовный) свет, но не выводящего его из природной (вещественной) тьмы.

Человек — перво-напервый антихрист и есть, более, правда,

вынужденный, чем добровольный, а потому и податливый на всякие приманки уже своевольного антихриста, вполне и лукавого, и даровитого, и воинственного, всегда имеющего возможность воплотиться в людях и ими в своих интересах охотно воспользоваться.

Так что стоит различать антихриста, так сказать, рассредоточенного или распределённого по людскому пространству, в нём растворённого, и антихриста сосредоточенного, субъектно представленного и способного активно и целенаправленно действовать.

Религия — высшее знание о высшем, нисходящее к человеку сверху, извне, из потусторонья, от Абсолюта, а потому и через особого рода познание — через откровение; это знание оттуда, но могущее бытовать и здесь; это не добываемое исследовательски, а даруемое ни с того, ни с сего знание, не подлежащее ни простой и точной верификации, ни строгого логическому доказательству, хотя и проверки кое-какие имеют место, и доказательства тоже случаются; такое знание воспринимается, как принято говорить, на веру, а потому оно глубоко внедряется в сознание, где нагло и закрепляется, становясь частью самого сознания; вот почему это знание, которое есть во многом знание о незнаемом, оказывается не только самым прочным, но и самым значимым для человека, а потому религия есть не только что-то высшее, но и решающее для человека, его личного образа и собственного бытия; какова религия, а это ещё и содержательная связь с Богом, таков и человек; отсюда особое значение религии, формирующей сознание, ноосферу и весьма определяющей жизнеотправление человека, хотя и можно, как показывает людская практика, отрицать идеино-духовную онтологичность религии, как и плодотворность её экзистенциальной опеки над человеком.

Религия по самой онтологической сути своей — часть сознания человека, причём первенствующая, отчего и возникает стремление как утвердить религию, так и, наоборот, её ослабить и даже упразднить, соответственно и желание изменить что-то в религии, её обновить, преобразовать, реформировать, что порождает и противоположное стремление защитить религию, её сохранить, оставить в неприкосновенности.

Религиозная жизнь — не одно отправление религии, её культовой и ритуальной составляющих, но и постоянная борьба за религию, за каноническую чистоту религии, но при этом и за чаемые нововведения,

за перемены, а в крутовраждебном варианте — за дискредитацию религии, её отмену.

Смена религии, как и обновление действующей религии, — важнейшие социо-духовные акции, влекущие большие, нередко судбоносные, перемены в человеке, в обществе, в хозяйстве, в цивилизации, в государстве, в культуре, во всём человеческом жизнеотправлении. Отсюда важность владения религией и управления религиозными настроениями в элитах и массах, в особенности, в религиозных средах, не говоря уже о теократических социосистемах.

Вот откуда великое стратегическое значение религиозных инноваций во времена идейно-духовного, а то и социо-политического, доминирования религий — религиозные перемены тогда определяют все остальные перемены.

Вот почему западноевропейская христианская цивилизация, переживая то или иное кризисное состояние, подвергалась прежде всего именно религиозным переменам, за которыми шли уже достаточно свободно и последовательно и другие перемены: политические, социальные, культурные, хозяйствственные.

Западноевропейская цивилизация менялась вместе с крупными религиозными новшествами: сначала при католической трансформации, случившейся на рубеже I и II тысячелетий от Р.Х., а затем по ходу протестантской революции, осуществлённой аккурат через полтысицы лет — в середине II тысячелетия от Р.Х.

Из первого события западноевропейское христианство вышло обновлённым теологически и усилившимся теократически, а также обособившимся от остального христианского мира, обозначенного уже архаическим; из второго происшествия западноевропейское христианство вышло разделённым на две самостоятельные половины — католическую и протестантскую, из которых протестантская оказалась существенно теологически обновлённой, но уже в сторону от папы и Церкви, а католическая — не менее существенно ослабленной, прежде всего теократически.

И если первое переворотное событие имело результатом лишь перемены в рамках христианства и всё ещё христианской цивилизации, то второе переворотное происшествие, ставшее известным под именем

Реформации, не только выразилось в больших внутрирелигиозных переменах, замешанных на антихристианстве, но и вызвало гигантские вне-религиозные перемены, получившие уже иное обобщающее наименование — *Ренессанса*.

Ренессанс же (или по-русски Возрождение), обращённый формально в дохристианское прошлое — *античное*, имел следствием не столько возврат к этой самой античности, сколько созидание обновлённой античным духом и словом *новой христианской цивилизации*, не столь уже догматической, охранительной и оцерковлённой, как это было прежде — до Реформации, как и уже значительно допускавшей антихристианские мотивы и интенции.

Но историческое значение Ренессанса этим не ограничилось: дав дорогу антихристу, Ренессанс создал условия для нарастания и последующего (через три-четыре столетия) исторического триумфа не просто антихристианского, но уже и вообще антирелигиозного и вообще антибожеского начала — *атеистического*.

Реформация и Ренессанс оказались в итоге у истоков не просто нового этапа в христианской истории, а уже и новой, основательно заражённой отрицанием вообще религии и вообще Бога, исторической эпохи, более известной под названием *Нового Времени*, отличавшейся от прежних эпох последовательной десакрализацией бытия и идущей в ногу с нею его секуляризацией, а иными словами — обезбоживанием и обесцерковлением сознания и ноосферы, цивилизационного устройства, всего людского жизнеотправления!

24

Валить всё на антихриста, что субъектно выраженного, что растворённого в массах, конечно, можно, но, увы... было бы... весьма несправедливо, ибо... а что это вообще такое — *антихрист*, как и где он себя проявляет, кем и когда бывает представлен? Всё тут не очень-то просто, так как очень трудно считать христианским многое из того, что было связано с той же Римской Церковью, её положением, проявлениями и действиями. То же явно чрезмерное доминирование Церкви в христианском мире, жёсткое и вездесущее инквизиторство с публичным сжиганием вроде бы виновных, не очень виноватых и даже вовсе не виноватых людей, да мало ли ещё что — из властного, жестокого и сомнительного,

в чём убеждённо и убедительно преуспела Церковь Христова, а оттого и... Христова ли? Так что в отрицании папства и Римской Церкви виноваты были не одни восставшие против неё подданные Христа, но и сама Церковь, не нашедшая, да и особенно не искавшая, возможности как самоограничения и собственного перестроения, так и более гибкого и конструктивного взаимодействия с христианским миром, который всё менее подспудно и всё более явно вовсю менялся, набираясь ума, опыта, знаний, даже и совершенства, что особенно было характерно для элитарной части населения, для людей даровитых, ищущих самовыражения, исходно-творческих, как и, разумеется, экспансивных, энергичных, дерзостных.

Как-то не очень, может быть, заметно, но Церковь вдруг отстала, закоснела, замшела, а главное — превратилась в главное препятствие для обновлявшегося шаг за шагом христианского мира, уже и искавшего упорно новых судьбоносных решений и перспективных форм бытия, устремлявшегося в новое, никак Церковью не предусматривавшееся, будущее, конечно же, воображавшееся европейскими всё-ещё-христианами не без антихристовых соблазнов и стимуляций.

Реформация и Ренессанс — реакция на антихристианизм Римской Церкви, оправданная в немалой степени подлинным (изначальным) христианством и самим Христом, но в столь же немалой степени обоснованная и подталкиваемая... антихристом, а у антихриста всегда *свои* стремления и планы — вполне антихристианские, однако теперь предназначавшиеся уже не для имперского усиления Римской Церкви, как это было полтысячелетия назад, а для либерального её ослабления, если не полного погрома.

Все вступившие на путь протестантизма — возрождения Христа в христианстве, как и возрождения во внецерковной среде античности, что тогда означало не более не менее, как возвышение человека, человечности, обыденности, а по-своему и Христа тоже, все адепты Реформации и Ренессанса попадали в турбулентный очаг миропроизводства, в котором наряду с Христом присутствовал и антихрист, однако, увы, гораздо более активный, деятельный, чем Христос, ибо за Христом оставалась лишь правда, им когда-то высказанная, а за антихристом маячила реаль-

ная возможность чего-то нового, не говоря уже о возможности его собственного антихристианского реванша.

Вот почему время Реформации и Ренессанса стало временем напряжённой, энергичной, даже и боевой, но при этом и весьма запутанной диалектической схватки Христа и антихриста, вполне сравнимой с той, что происходила в период становления христианства в виде острой соборной борьбы за христианский канон, но зато гораздо более сложной, судьбоносной и плодотворной, чем это было в тот же момент окатоличивания западного христианства.

Новое время, отчёт которому положили Реформация с Ренессансом, — время воистину эпохальных, чуть ли не эрового достоинства, перемен — это было время *коренного и целостного обновления человеческого мира*, представленного тогда Западной Европой и функционально выраженного в ряде западноевропейских идеально-духовных, культурных и хозяйственных очагов.

Это было, безусловно, обновление христианского мира, но было оно как внутрихристианским (через протестантизм и перемены в католичестве), так и внехристианским, носившим как прохристианский, так и постхристианский и даже противохристианский характер. Состоялись даже попытки перейти вообще к новой религии — уже без Христа — к религии того же *Разума*, но свелось всё это к полному отрицанию Бога и религии — к тотальным секуляризму и атеизму, о чём, наверное, не мог ранее мечтать даже самый проницательный и деятельный антихрист.

Реформация освобождала человека вообще и человека хозяйствующего не столько даже от доктринальской трактовки христианства, сколько от весьма жёсткой ограничительной опеки со стороны христианской религии, а точнее было бы сказать — освободила от опеки социосакральной системы, сложившейся в христианском мире к моменту Реформации, а Ренессанс в этом освобождении человека пошёл ещё дальше, ибо вызволил его деловые, исследовательские и творческие силы, что увенчалось развитием экономического предпринимательства, капитала, науки и техники, искусств, а главное — поставило человека в положение хозяина всего посюстороннего мира, включая доставшуюся не просто ему в наследство, уже в его активное пользование природу, причём в положение не только владельца, познавателя и пользователя

мира и природы, но и, что было особенно важным и исключительным, в положение тотального и последовательного *преобразователя* мира и природы, мало того — *демиурга* нового, построимого уже по сугубо человеческим лекалам и проектам, мира — *неомира*, и новой, уже производимой самим человеком, природы — *неоприроды*.

То была *Великая хозяйственная революция*, в рамках которой произошли как *Великая экономическая революция*, так и *Великая научно-техническая революция*, а само бытие человека стало с этого момента бытием целостно обновленческим, проективным и конструктивным — воистину *демиургическим*, что дало повод обозревателям истории человечества из уже текущей современности по-особому обозначить эпоху Нового Времени — как *модернизационную*, и поименовать её эпохой *Модерна*.

Модернизация — это в общепринятом смысле осовременивание, предполагающее обновление, реконструкцию, перестроение. С этого всё и начиналось, но весьма быстро и уверенно перешло в созидание нового житейского контекста, всё более и более неприродного, а потому модернизацию, соответственно и Модерн, стало приемлемее толковать не столько как осовременивание, сколько как постоянное созидание нового, небывалого, неизвестного, и если уж обновление, то особого рода — не просто воспринимающее новое, а это новое постоянно вызывающее, что и позволяет Модерн почитать за эпоху не столько даже преобразования, хоть это и было, сколько строительства, что то же самое — демиургии, а ежели всё-таки осовременивания, то не подтягивания чего-либо под текущее время, а погони за временем, за будущим, ещё не бывшим, ещё не существующим, но уже реализабельно воображённым.

Из одного нечто в другое нечто через ничто!

Творчество — это вырыв из ничто к нечто, созидание того, чего нет, но что можно вообразить и... осовременить, сделав достоянием текущего времени.

Эпоха Модерна — эпоха *великого человеческого творчества* — и всего более в материальной, вещественной, физической сфере, хотя и идеально-духовная сфера не осталась без творческого внимания демиургирующего человека, добившегося и в ней великих результатов.

Эпоха Модерна — эпоха делового партнёрства человека с Богом (по желанию и решению, конечно, человека), противостояния человека

Богу и, наконец, борьбы человека с Богом, равным образом, и партнёрства человека с природой, противостояния человека Природе и борьбы человека с Природой.

В итоге вышло освобождённое от опеки Господа Бога и тенет Природы созидание уже совершенно человеческого мира, что означало отрицание сакрала и натуры, но отрицание позитивное, ибо имело результатом замену трансцендентного сакрала на имманентный сакрал, названный в силу своего отчеловеческого происхождения *гуманизмом*, а также дополнение природной составляющей бытия человеческого неприродной или искусственной, мотором чего стал *научно-технический прогресс*, — и всё это при *ещё сохраняющейся натуральности* самого человека, его организма.

Здесь уместно обратить внимание на тот факт, что как Реформация была по сути не реформой, а революцией, имевшей, в частности, такое воистину экстраординарное последствие, как атеизм, так и Ренессанс, тоже по характеру своему и последствиям вполне революционный, оказался всё-таки не столько *ре-нессансом*, или *воз-рождением*, сколько *нес-сансом*, или *рождением*, обозначившим явление воистину нового, ранее не бывшего мира, лишь в отдельных чертах обращённого к навсегда ушедшей античности, которая послужила не так прообразом, как более всего поводом-ориентиром для прямого обращения непосредственно к человеку, но как к человеку, свободному от ставшего назойливым и нетерпимым имперски оцерковлённого христианства — как бы к дохристианскому человеку, а также для известного воспроизведения дохристианских мыслей, текстов, образа жизни, манеры, поведения, образцов искусства.

Так что *Ренессанс* есть более всего *Нессанс*, что исключительно важно учитывать, направляя заинтересованный философско-хозяйственный взгляд на это важнейшее историческое событие.

25

Перемены наступили в итоге радикальные — *Новое время* стало и временем *Нового Мира*, созидавшегося непосредственно человеком уже под самого себя — сначала ре-христианизированным человеком, затем

дехристианизированным, а потом и вовсе секуляризованным (обезбоженным, атеистическим).

Вся ментальная и практическая философия хозяйства радикально тогда изменилась, превратившись из церковно-христианской философии хозяйства, упорно сдерживавшей хозяйственный темперамент и творческую активность человека, как и особенно экономику с её капиталами и банками, в свободно-христианскую, а затем и вообще секуляризованную философию хозяйства, куда более благосклонно относившуюся к экономической, научно-технической, предпринимательской, культурной и вообще любой дело-творческой устремлённости человека.

То была уже философия хозяйства Нового Времени и Нового Мира, выстраданная Ренессансом и выработанная последовавшим за ним Просвещением, отмеченного уже полным триумфом гуманизма, науки и техники, соответственно и новой общей философии, поначалу ещё связанной с Христом, с Господом Богом, вообще с сакралом и трансцендентностью, ещё платоновской, а потом всё более и более аристотелевской, всё менее идеалистической, но зато всё более материалистической, а главное — приторно онаученной.

Самое последовательное научно-философское выражение новомирровская философия хозяйства нашла в *политической экономии*, ставшей идейным катехизисом усиленно и по-деловому обновлявшегося европейского человечества.

Да, новая философия, как и усиленно развивавшаяся тогда же гуманистическая наука с той же политэкономией в сердцевине, а также литература с театром, заменили собою предания, священные тексты и христианские богослужения, стали для человека новыми, почти что и сакральными, писаниями и действиями, усердно служившими неуклонно формировавшемуся новому человеку, если и не порывавшему совсем с религией и церковью, но уже всё менее и менее религиозному и оцерковлённому, ставшему вскоре лишь формально христианскому, а затем и вполне уже по сути секулярному.

Иного и не могло быть, ибо человек, он же, заметим, и человек-антихрист, одержал верх над Христовой Церковью, отделив её, помимо всего прочего, от государства, политики, гражданской жизни, а глав-

ное — от образования, от школы, от юношества, в общем — формирующегося и действующего человека, чем и отделил человека от христианского духа, от христианской метафизики, включая и христианскую философию хозяйства.

Религия была объявлена почему-то — видимо, за неимением лучшего решения — делом совести каждого человека, сведена к простому личному вероисповеданию и заняла место всего лишь культурного увлечения, вроде того же театрального, что не замедлило оказаться на человеке, вдруг осознавшем, что вера служит не более чем средством психотерапевтической профилактики и способом морального наставничества, что вполне можно было заменить гуманистическим воспитанием и научной психотерапевтикой, а потому и провозгласившим устами одного из своих гениальных антихристовых богооборцов: «Бог умер!»

Но именно в этот кульминационный момент — момент, казалось бы, полного триумфа гуманitarной науки и научной философии, научного мировоззрения, научного атеизма, как и научной философии хозяйства в образе политической экономии... вдруг... разражается... кризис... всего этого идеально-научного продукта, а вместе с ним и кризис всего обезбоженного, но зато глубоко и полномасштабно очеловеченного, бытия людского, что то же самое — *кризис Модерна*.

Кризис Модерна оказался глубоким, глобальным и всесторонним, как сейчас принято говорить — *системным*.

Все сферы бытия были затронуты кризисом: *социум*, в котором назревала новая, уже антиновомировская, революция, направленная против изощрённой и безудержной экономической эксплуатации трудового населения, против капитала и буржуазии, против экономико-технологического империализма лидировавшей в новом мире протестантской Великобритании; *политика*, энергично отрицавшаяся широким гражданским населением за свой лживый плутократизм и всё более пропитывавшаяся милитарно-полицейским духом; *геополитика*, не стеснявшаяся вновь готовить крупномасштабные войны, сравнимые с александровыми, цезаревыми, чингизовыми и наполеоновскими, но, как вскоре выяснилось, их значительно, если не безмерно, превзошедшими; *экономика*, не находившая себе прибыльного применения и роста, впавшая в дли-

тельный застой, он же и долговременный кризис, оказавшаяся в зависимости от монополий и крупных финансовых воротил; *идеология*, пытавшаяся как-то оживить сильно подуставший гуманизм, а при случае от него и вообще отречься; *культура*, покончившая с наивным реализмом и замешкавшимся гуманизмом, впавшая в долгую иронию и глубокий пессимизм, предпочившая пустую форму содержательной полноте, нарочитый абсурд — стройной мысли, пошлое уродство — аристократической красоте, мертвящую деконструкцию — животворящей целостности, в общем, обращенная в антигуманистический апокалиптизм; *литература*, бросившаяся вдруг расчеловечивать человека, воспевая поднимавшегося в нём зверя, освящать реальную посюсторонность, лишённую Бога, но зато полную инфернальной мистики и лукавой магии, коверкать изdevательски языки, декомпозировать и обессмысливать тексты; *нравственность*, всё более отстранявшаяся от гуманизма с его зажившимся на белом свете предпочтением «любви», «свободы», «равенства», «братства» и всё более увлечённая полезностью, удобством, расчётом, выгодой, а на самом-то деле — разрушительным для индивида и общества эгоизмом.

В кризисе оказалась вся поренессансная цивилизация, ибо это был кризис самой *идей* Модерна, его *концепции*, его *парадигмы*, всей его *метафизики*, вследствие чего особое значение возымел кризис *научного мировоззрения* с его физикалистским взглядом на мир и человека в нём, что и было отражено в кризисе научной философии и гуманитарной науки, повлекшим за собой два разнонаправленных и взаимоисключающих следствия: с одной стороны, дальнейшее (якобы прогрессивное) онаучивание философии и гуманитарной науки с попыткой превращения последней в явную гуманитарную физику, а с другой — разворот критически мыслящего тогда сознания в сторону онтологической и гносеологической метафизики с соответствующей метафизацией общей философии и гуманитарной науки, что то же самое — *ренессанс метафизической философии*, а параллельно и определённая *метафизизация гуманитарной науки*, что нашло выражение, в частности, в возникновении *собственно философии хозяйства* — самостоятельного течения мысли, способного преодолеть как однобокость научной философии, так и ограниченность научной экономии, а соответственно, осуществить

более адекватное осмысление и отражение гуманитарной реальности, полной онтологической метафизики и очень заинтересованной в метафизической гносеологии.

В академических и университетских кругах приоритет остался, что и следовало ожидать, за наукой и онаучиванием — за гуманитарной физикой, хотя метафизике, а соответственно и философии хозяйства, удалось заиметь кое-какие позиции в сознании критически и уже метанаучно мыслявших людей, стремившихся выйти за пределы всё более попадавших в разряд предрассудков научных истин, уже довольно стеснявших познание и осмысление гуманитарной реальности, дававших о ней весьма поверхностное и достаточно ужеискажённое представление.

Факт кризиса поренессансной цивилизации, или Модерна, был особенно примечателен тем, что кризис имел уже явный эсхатологический характер, ибо был уже основательно заражён отрицанием самих основ модерновой цивилизации, достигшей какой-то поразительной самоубийственной зрелости, когда ещё молодая и полная сил цивилизация вдруг начинает источать внутри себя яд неукротимого самоотрицания.

Можно заметить и перечислить немало обстоятельств и причин внешнего, чисто физического, характера, обусловивших данный кризис, к примеру, таких, как чрезмерная эксплуатация трудящихся масс, борьба капитала за рынки сбыта или яростное соперничество империалистических государств за первенство в мире, но только набором подобного рода «вещей» природу столь судьбоносного кризиса никак не объяснить.

Факт кризиса поренессансной цивилизации, или Модерна, был особенно примечателен тем, что это был кризис, с одной стороны, ещё молодой и полной сил цивилизации, а с другой — явно апокалиптический кризис, не имевший простого самовыхода, чуть ли уже не свидетельствовавший о наступлении последних для модерновой цивилизации времён.

Цивилизация яростно отрицала саму себя, хотя и без всякого будущего для себя всеобщего проекта, что говорило о каком-то самоубийственном состоянии цивилизации — некой самоубийственной зрелости, что и было в конце концов подтверждено двумя гигантскими мировыми войнами, совершёнными европейской цивилизацией, прошедшими в её пространстве протестными революциями, рождением в её лоне альтерна-

тивных социо-хозяйственных проектов и режимов, ожесточённой и длительной с этими режимами борьбой.

Идея, концепция, парадигма цивилизации, как и любого подобного образования — страны, государства, нации — «весь» метафизическая, даже ежели науке этого и не хочется признавать. Вот и кризис цивилизации, имевший вполне апокалиптический характер, был кризисом совершено метафизическим, ибо он был кризисом идеи, концепции, парадигмы. Отсюда и понимание кризиса должно быть в основе метафизическим, соответственно без ясных слов, чётких определений и окончательных приговоров.

Кризис Модерна — не первый такого рода кризис в истории цивилизованного человечества: достаточно напомнить кризис того же античного (дохристианского) мира — мира Премодерна, как и кризис уже христианского мира, хотя бы времени всё того же пресловутого Ренессанса. Так что в типологическом плане кризис Модерна не представлял ничего неожиданного.

Отсюда естественная мысль о жизненных циклах цивилизаций (стран, государств, наций), периодах их исторического бытия (рождение, становление, расцвет, упадок, смерть), пассионарных подъёмах, пресыщенных застоях и болезненных угасаниях. Всё это, конечно, так, ибо историческое движение склонно к переменам, и, ежели они бывают потребны, то происходят сломы уже побывшего и складывание чего-то ещё не бывшего — в силу не столько полного устаревания уже бывшего, его ослабления, дряхления и смерти, а по причине более всего вызревания и прихода чего-то нового, вовсе человеком и его историей не оправданного, даже особенно и не желаемого, но, тем не менее, совершающегося. И вина уже бывшего тут только одна — неспособность ни самому достаточно обновиться (как правило, с восприятием противоположности), ни сдержать наступающее новое, оно же и зачастую как раз противоположное, во всяком случае, очень уж *иное*, при этом совсем не редко почему-то возвращающееся и даже реванширующее.

Обновление — свойство и способность истории, её вполне органический момент, хотя обновление может на долгое время задерживаться, почти что и не быть, как и подменяться частичным подновлением, не от-

вергающим традиции, или же пускаться по заколдованныму кругу перемен, когда обновление выражается в достаточно безобидном возврате когда-то уже бывшего, разумеется, в заметно изменённом облике.

Однако есть и поступательное обновление, на которое как раз и попался средиземноморский, он же и средиконтинентальный, он же и межкультурный, как и межцивилизационный, евро-азиатский регион — регион заметного и относительно быстрого, к тому же и лидерского, обновления — *регион исторического развития*.

И чему-либо задержаться здесь более чем на полтысячи лет, на крайний случай — на тысячу лет, было невозможно: история тут требовала радикальных и совсем не очень-то возвратных перемен, как раз тех самых перемен, которые несли не просто что-то новое, а уже воистину ещё неведомое новое.

И если христианскую цивилизацию обновлял в средневековье, оно же и средневремене, упорно её при этом отрицая, антихрист, навязавший ей сначала католицизм с расколом на две части — католическую и ортодоксальную (православную), а затем протестантизм, с расколом уже католичества на две части — католическую и протестантскую, то поренессансную цивилизацию, захватившую новое время, как и уже во многом новохристианскую и антихристианскую, потом ещё и вовсю безбожную, обновлял... тоже антихрист, но не столько уже как её оппозиционер, сколько как её хозяин.

И разразившийся на рубеже XIX и XX вв. кризис Модерна был кризисом... его, этого самого Модерна... хозяина, конечно же, *метафизического*.

26

А антихристовым хозяином Модерна был не кто-нибудь, а... Человек, разумеется, в *метафизической* трактовке — как человек-идея, человек-концепция, человек-парадигма, а может, как идея-человек, концепция-человек, парадигма-человек — и то и другое тут возможно!

Кризис Модерна — кризис *модернового человека*, да не населявших модерн человеков, а *Человека вообще*, того самого, который взял на себя метафизическую ответственность за своё бытие и бытие окружавшего его мира — назло Христу и в противовес Богу, не говоря уже о противостоянии Природе.

Что же произошло?

Как никак, а поле сражения человека с природностью и сакралом в момент острого кризиса христианского мира осталось... за *человеком*: последний, пропитавшись христианством, воспринял свободу выбора, предоставленную ему более всего непосредственно Христом, а не собственно Христовой Церковью, для освобождения себя от опеки Христовой, не говоря уже о церковной, и выклика решительного вызова самому Господу Богу — панкреатору и вседержителю в деле своего устройства в мире Божием, в природе, а также в деле собственного переустройства мира Божиего и природы — причём уже не в функции творения, а в функции... *пересотворения*.

Модерн — эпоха пересотворения *мира данного* в *мир взятый* и в *мир созданный*, что нашло выражение в появлении на планете Земля *мира искусственного*, вполне уже человеческого.

Построение мира искусственного имело свои ограничения материально-физического характера, но не имело пределов ментального порядка: человек оказался способным вообразить многое такое, чего не было в природе, и, переделывая природу, её материал, её конструкцию, эффективно достигать своевольно воображённого.

Творчество — движение из нового ничто в новое нечто с использованием уже существующего нечто, превращаемого для удобства и в воображаемое ничто!

А где границы этого *ничто*? Их попросту нет, ибо это не более чем пустота, вакuum, свобода. Отсюда и необыкновенные возможности творящего человека: не совсем, может быть, что хочу, но уж что хочу, то хочу, а потому и кое-чего из желаемого всё-таки достигаю!

Природа сотворена и ограничена, она в пределах, она консервативна; совсем не то неприрода, сотворяемая человеком — она безгранична, она либеральна, она экспансивна!

И вот оказалось, что сотворяемое неприродное способно... превзойти самого человека, его собственное бытие, хотя бы в своих размерах, разумеется, не в геометрических, а в содержательных, мало того, ещё и выставить человеку стратегическую претензию на свою собственную инициационную самостоятельность и независимое от человека существование.

Освобождаясь от тенет Природы и опеки Господа Бога, человек высвободил в себе не одного лишь человека, но и... *античеловека*, способного творить уже не один мир, а и... *антимир*, ловко переплетая его с сотворяемым человеком миром.

Важнейшее открытие — фундаментальнейшее!

Человек — это не просто человек, это ещё и античеловек, а мир, им сотворяемый, — не просто мир, а и антимир тоже!

Жутко, страшно, невероятно, но факт!

И это всё открылось для цивилизованного человека эпохи Модерна в момент глобального кризиса Модерна и... кризиса самого модернового человека.

Выяснилось вдруг, что каждый человек не только не цельное существо, а вполне раздробленное, состоящее из множества человеков — со своими сознаниями, подсознаниями и даже сверхсознаниями, мало того, выяснилось ещё, что на любое сознание, подсознание и сверхсознание обязательно находится их двойник — контрафеномен, несущий в себе чуть ли не обязательную и непременно стойкую им противоположность.

Отсюда все эти сомнения, метания, неуверенность, столь свойственные человеку, невозможность принять правильное решение, но и спонтанные действия, в общем — всякая мыслительная и поведенческая турбулентность.

Сознание ведь не от мира сего, так что удивляться тут нечему, да и базируется оно на свободе, на выборе, на возможности, откуда и отбор вариантов, пробы и ошибки, внезапность, неожиданность. Одна часть сознания ориентирована на внутренний мир, другая — на внешний. Пока человек один, сам по себе, сам с собой, то он, как правило, весьма собран и в себе уверен, но стоит человеку войти в мир — фракционный, клубящийся и метущийся, то человек сразу же становится другим, подвижным, переменчивым, он включает иное сознание — защитное, наступательное, агрессивное, хотя и, возможно, сочувственное, добродетельное, «любное».

Человек — совокупность и череда сознаний, а не только разных состояний одного единственного сознания. Человек — калейдоскоп сознаний, разумеется, каким-то обобщающим образом упорядоченных и представленных в виде сложного суммарного сознания.

Человек — сознаниевый мир и мир сознаний!

Что-то аналогичное можно сказать и о ноосфере, которая тоже сознаниевый мир и мир сознаний, но уже со своими собственными группировками и фракциями — коллективными, общественными, массовыми.

Ренессансный человек — этот бунтарь против Природы и Бога — воспринимал христианскую религию, феодальный порядок, цеховую организацию промышленности и гильдиевую организацию торговли, государственный абсолютизм, идеально-духовные каноны в искусстве и писаниях как нечто не просто его стесняющее и угнетающее, но и уже совершенно архаическое, себя не оправдывающее, тормозящее и попросту ненужное, в общем — явно уже отжившее.

И только с кризисом поренессансной цивилизации вдруг стало открываться человеку размышляющему (а глубоко, по-честному, со вкусом и непредвзято размышляющих особей, вообще-то говоря, совсем немного — единицы!), что религия и пронизанный её духом и идеологией социо-хозяйственный порядок... выполнял прежде всего функцию упорядочения человеческого сознания и столь же человеческой ноосферы, спасения человека и его ноосферы от непременной шизофрении и неизбежного безумия, обеспечения им приемлемого и достойного выживания.

Ренессансный человек поступил очень самонадеянно, положившись на себя и только на себя, а потому, сняв внешние ограничения, ориентиры и запреты Премодерна, освободил не только себя и свою деятельскую и творческую инициативу, но и сидевшего под природо-сакральным колпаком... *антропа*, не замедлившего этой свободой воспользоваться.

Что значит античеловек, который прямо в человеке и пребывает?

Нет, это не «чёрный человек», хотя может быть и таковым, а по большей части человек-двойник, человек-альтернатива, человек-иное, а потому и способный творить и вытворять что-то такое, что не соответствует интересам и потребностям собственно человека, что направлено против него, что ему вредит, что его уничтожает.

Творя неприроду, искусственный мир, человек Модерна сотворил и *антропиороду*, и *антимир*, как раз то, что было определено против природы и против мира, ну и... против самого человека, чего человек,

надо полагать, менее всего ожидал.

Созданный человеком мир навалился на человека со всей своей нечеловечностью, искусственностью, тяжкой инаковостью, даже и своеобразной негативной потусторонностью. Человек прозревающий вдруг увидел себя не в раю вовсе, а, наоборот, в самом настоящем... аду, причём им же — человеком! — сотворённом.

А к природе-то уже не вернуться, а к Богу-то не обратиться, ибо природа уже покорена, а Бог, увы, умер!

Пришлось человеку полагаться на самого себя и самому искать приемлемый для себя выход.

1. Демиургический — стратегия продолжения строительства нового мира.

2. Борьба с препятствующей прогрессу традицией, в которой уже обозначилась и новая — ренессансная — составляющая (новое освобождение от внешних ограничений, ориентиров, запретов, теперь уже и ренессансно-просвещенческих).

3. Частичный демонтаж сотворённого ради расчистки пути в будущее — политических структур, идеологии, литературы, искусства.

4. Разворот в сторону органической альтернативы (частичный ренессанс позднего Премодерна) — от свободы к её ограничению, от индивидуализма к единению, от либерализма к диктатуре.

5. Полный демонтаж сотворённого мира и его полное пересотворение, исходя из явно уже противоположных, чем когда-то было, принципов (частичный ренессанс раннего Премодерна).

И чтобы вступить на путь антикризисных перемен, необходимо было избавиться от имевшейся избыточности и всего ставшего вдруг ненужным, овладеть новыми возможностями и пространствами, преодолеть отличную неопределенность и достичь новой спасительной упорядоченности, перестроиться и отмобилизоваться, и сделать это можно было через... насилие, вполне и борческое, вовсе не мироносное, а военное, милитарное, вооружённое — никакого толерантного разрешения тогда совершенно не виделось!

Свободный, раскрепощённый, дехристианизированный и обезбоженный человек, в котором во всю буйствовал античеловек, привыкший

вовсю бороться с природой и сакралом, чувствовавший в себе безбрежные силы, не мог уже помыслить себе ничего другого, кроме большой кровавой разборки — открытого, полноценного, самостоящего человека со столь же открытым, полноценным и самостоящим человеком, включая и сидящих в них античеловеков.

Человек — существо двойственное: природно-неприродное, материально-идеальное, организменно-сознаниеное, сеюмирное-иномирное, — и как же ему не быть сложным, разделённым, разнообразным, мало того, как в таком существе не появиться отрицающих друг друга, но и вполне друг друга полагающих сущностных противоположностей — человека и античеловека, ежели повсюду и всегда рождения и смерти, жизни и угасания, дружбы и ссоры, любви и ненависти?

Античеловек прежде всего, конечно — зверь, но не только, и во вполне человеческой части сидит античеловек, который просто другой человек, непохожий, противный, дурной, но и... альтернативный. И коль скоро человек вообще что-нибудь творит, то он способен творить разное и прямо противоположное тоже — одно и другое, хорошее и плохое, полезное и вредное, доброе и злое, мало того, человек никогда не знает, что он на самом деле творит и в итоге сотворит, а главное, с какими последствиями, в чём, конечно, виноват не только человек, а и неопределённый, закрытый, фракционный, разный, своенравный и своевольный мир, в котором человеку доводится по счастливой или несчастливой участи своей быть, мало того, хозяйствовать и творить.

И вот перед человеком своё собственное, им нежданно-негаданно сотворённое — странное, уродливое, враждебное, ибо творил человек сам, не руководствуясь ни природным, ни сакральным, и натворил вместе с добром слишком много зла, и сотворённое вдруг как-то приостановилось, замерло — не то в испуге, не то с угрозой бытию, не то просто назло, — и человек стал искать выход, искать поспешно, с одышкой, в отчаянии, а то и в бессилии, — и одну невозможность выхода — мирную он предпочёл другой — военной, ибо сидел в человеке античеловек, жаждавший и ждавший кровавой бескомпромиссной брани — что намеренно «войновой», что отчаянно бунташной, что осознанно революционной.

Так вот и приговорило великое поренессансное строительство само себя — к великим историческим потрясениям!

Человек был всегда... человеком — славная констатация! — но при этом был всегда вкупе с античеловеком, но вовсе не всегда человек был столь творчески, тем более демиургически, свободен, решителен и радикален, производителен и эффективен, разнообразен, как это возымело место в поренессансном Модерне.

Так что проблема была не в самих по себе буйствах, войнах и революциях, которые всегда были с человеком, ему охотно служа, даже и в самые сакрализованные времена, а в том, что выразительные эти спутники человека, его жизни и хозяйства нарисовались в момент органического — всеобщего, невыносимо глубокого и затяжного, вполне и системного — кризиса по-человечески созданного человеком вполне уже человеческого мира — мира Модерна, который уже вполне поглотил человека, сделав своей органической принадлежностью, издеваясь над ним, хихикая (вот они — *цветы зла!*), загнал в тупик и требовал, посмеиваясь, выхода — куда? — ежели не было уже впереди ни природы, ни Бога с религией, ни иного какого-нибудь сакрала, ни даже другой подходящей для переселения планеты-колонии, хотя мечты и чаяния разные были: новый гуманизм с новым сциентизмом, новый сакрализм с коммунизмом, какое-нибудь «общее дело» вроде фашистского, не очень ещё осознанный космизм, вполне непонятный ноосферизм, безысходный экзистенциализм, ну и, конечно же, эволюционизм, революционизм и анархизм.

Впавший в кризис Модерн требовал, однако, немедленного выхода — по образу Александрова разрубания гордиева узла. Жить в кризисе в общем-то можно, но не вечно же, да и кризисная энергия, она же и антиэнергия («чёрная энергия»), рвалась наружу, а мир вразнос — не лучшая посудина для человеческой экзистенции, ибо сиденье в такой посудине чревато самым гнусным исходом — что для посудины, что для самого человека.

Ясно было, хотя и далеко не всем, что наступили последние для Модерна времена, а удовлетворительного будущего никак и нигде не просматривалось, за исключением разве накатившей на Европу социалистической утопии.

Модерновый мир упорно подходил к какому-то мощному катаклизму, вполне для себя и своих размеров космическому. На повестку дня выходили общемировой взрыв («большой взрыв»), всеобщая борьба и вездесущая смерть. Договориться человекам между собой было невозможно, а главное, не о чём: то было время бескомпромиссных альтернатив, за которыми стояли вполне уже созревшие силы, жаждавшие сражения и победы над противником, по возможности, полной.

Метафизика была отброшена, опорочена, забыта, на передний план вышла физика, предполагавшая уже не так размышление, как действие. Явились и субъекты прямого действия — имперские государства, но давали о себе знать и поднимались и субъекты действия непрямого — реформистские и революционные (явные и неявные, легальные и нелегальные, публичные и конспиративные).

Человек сложен — многочеловечен, и мир человеческий сложен — многомирен, и путей у того и другого множество, и вариантов, и вариаций — очаг, котёл, калейдоскоп, — и везде инициатива, везде альтернатива, везде проект. И как тут было не передраться, не порассчитывать на силу, не поиграться со смертью!

И пошло-поехало: войны, восстания, революции!

Научно-технический прогресс, окончательно расправившийся с природой и сакралом, поставил соревнующегося между собой и славно дерущегося человека вне природно-сакрального закона, о чём громогласно, раскатисто и бесцеремонно известила мир несчастная Хиросима.

Да, победители были, как были и побеждённые, и победители продиктовали свои условия побеждённым, и установили свой порядок, и порядок этот заработал, не допуская больших разрушительных конфликтов, но... но кризисные проблемы никуда не делись, разве лишь, изменив свою внешность, ушли в тень; победители и побеждённые оказались вполне временными, а новые игроки в мирозданье не заставили себя долго ждать; свободно творящий человек уже вырисовывал новые для себя возможности, варианты и проекты.

Всё ещё не смешалось в очередной раз в планетарном человеческом доме, но угроза всеобщего смятения вдруг стала нарастать — демиургия на то и демиургия, чтобы преподносить жаждущему всего нового человеку это самое новенькое: новую расстановку сил, новые фантазии и

амбиции, новые конструкции и, разумеется, деконструкции, в общем, движение вперёд — *прогресс!*

Кризис Модерна не остановил и не мог остановить своевольную человеческую демиургию, рождённую Ренессансом и закреплённую Просвещением, наоборот, он её в ходе и в результате большой всемирной разборки с её войнами, восстаниями, революциями, переворотами, подрывами, расчистками, деконструкциями, репрессиями, прорывами, упадками, опошлениями, в общем, со всей поднявшейся вдруг отовсюду и везде *инфериальностью*, необычайно эту демиургию усилил и ускорил, ибо демиургия эта вовсю работала на всю эту инфернальность, призванную помочь преодолеть демиургический кризис, придать демиургии новое дыхание, перестроить построенное и выйти на что-то совсем уже новое, чего докризисный Модерн не создавал и вряд ли вообще предполагал создавать.

Выбор кризиса Модерна был в пользу... Модерна, но уже обновлённого Модерна, вроде бы учитывавшего жестокие уроки кризисного Модерна, но... всё-таки... Модерна.

Модерн лечил Модерн, Модерн излечивался Модерном, Модерн искал... Модерн!

Не только экономико-научно-технический мейнстрим оставался по глубокой сути своей модерновым (США, Великобритания, затем Западная Европа с Японией), но таковыми были и ему, этому мейнстрому, альтернативные «стримы», а именно — социал-фашистский в Германии и Италии, советско-социалистический в СССР, феодально-имперский в Японии, хотя вроде бы и стремившиеся к преодолению Модерна — либо через возврат к мифам прошлого (фашизм, самурайство), либо через овладение утопией (коммунизм).

Победу в конце концов одержал мейнстрим или самый модерновый по притязаниям и намерениям Модерн, но... то была... пиррова победа, ибо Модерн не мог уже быть прежним, докризисным или же классическим Модерном, когда-то дышавшим светлым, разумным, благородным гуманизмом, вполне логично и красочно обоснованным лучшими человеческими умами — содержательным, всесторонним, целостным, могучим, нашедшим эффективное применение в экономике,

науке, технике, производстве, а также в философии, литературе, искусстве, в политике и социальном устройстве, в новой государственности, в образовании, но даже и в религии с Церковью, в общем — везде, причём везде триумфально, изысканно, красиво, — так вот яростно передравшийся Модерн XX в. уже не мог вернуться к классическому Модерну, хоть и пытался, ибо многое уже изменилось безвозвратно, да и кризис с ужасным выходом из него не прошёл бесследно: Модерн стал другим Модерном, как будто бы более развитым и совершенным, но и... с какой-то мощной... *антимодерновой*... составляющей, отрицавшей Модерн, хотя его вовсе и не преодолевавшей, что заставляло сделать вывод о явлении и закреплении в рамках Модерна его системной противоположности — *антиМодерна*, уже не дававшего Модерну оставаться собственно Модерном.

Выходило, что апогей Модерна с его совершенным гуманизмом уже состоялся, как раз тогда, ещё до кризиса Модерна, а теперь, уже в XX в., это был не просто кризисный Модерн, лихорадочно искающий для себя выхода, а какой-то другой Модерн, имевший с классическим Модерном очень мало общего: впрочем вроде бы в экономико-научно-техническом плане ренессансно прогрессивный Модерн выглядел в аспекте дорогого ему гуманизма каким-то... деградансно регрессивным, что означало, что с Модерном произошло что-то воистину... нет... пока пусть и не самое страшное, но что-то всё-таки очень роковое: на место гуманизма вторгся даже не воинственный и смертоносный антигуманизм (вспомним Освенцим, Гулаг или ту же Хиросиму!), а что-то совсем другое... вроде бы по форме и гуманистическое, а по сути-то уже совсем *иное* — не просто даже не гуманистическое, а уже и не человеческое, хотя вроде бы и в человеке, через человека, ради человека.

Кризис Модерна, вызвавший целый сонм страдательно кровавых пертурбаций, пустивший Модерну кровь, даже его вроде бы основательно подлечивший, если не переворотно преобразовавший, вытащил из Модерна возможность тотального благоустройства человеческого общежития на основе и в пределах материально-физического благополучия, массовой трудовой занятости, товарного изобилия, необычного роста потребления и прямо-таки «восстания» охотно потребляющих масс, установление социально-правовых гарантий, возникновение

доступа к образованию и здравоохранению, к литературе и искусству, к спорту, досугу и зрелищам, пусть и не для всех в равной степени и достойного качества, не без доли лукавства и большой порции лицемерия, не без тайного манипулирования сознанием и того, что у православных называется совестью, не без ловкого обмана и спасительной лжи, но всё-таки благополучия, а не *прозябания*, пожалуй что, и с исполнением вековечной мечты человечества о Царстве Божием на Земле — пусть без Бога, пусть по преимуществу вне природы, но всё-таки... реального счастья, причём уж очень у многих, даже и у большинства, хотя и только там, где утвердился Модерн, где случился его кризис, где прошли жестокие кризисные игры, где состоялось великое гуманитарное жертвоприношение, где было за всё это счастье сполна уплачено.

Однако кризис Модерна куда-то задевал... само содержание Модерна... со всем его вызывающим гуманизмом и всеми титаническими достижениями гуманитарной мысли: академии и университеты ситуацию не спасли, а философы, писатели и деятели искусств, упрощённо пополнившихся фотографией, кинематографом и телевидением, эту ситуацию лишь надёжно усугубили, хладнокровно признав неизбежность дегуманизации и кинувшись в ней суетливо участвовать, почувяв возможность щедро поживиться на деформации, искажении, расчленении, безобразии, мертвечине, пустоте.

Что-то вдруг произошло в модерновом доме, что-то внезапно, что-то в глубине Модерна не слишком раскатисто, но очень уверенно щёлкнуло — что же?

28

Модерн — время полноправной и полномасштабной человеческой демиургии. Человек взял на себя функцию известного ему неизвестного лица — Господа Бога, и стал творцом своего, совершенно уже собственного, мира.

Важнейший философско-хозяйственный вывод-приговор!

А что мог вообще сделать человек-демиург, это странное природно-неприродное существо, зачем-то осознанное и столь же загадочно параосознанное (оподсознанное, обессознанное), оснащённое почему-то немалым знанием и награждённое отчего-то абсолютным незнанием, зато, правда, безмерно наглое, ловкое, порочное,

ни перед чем не останавливающееся, весьма и подлое, и коварное, и кривожадное, к тому же беззастенчиво фантазийное и охотно галлюционирующее (и не только во снах), что могло сделать это в высшей степени странное существо на Земле по своему собственному усмотрению, не ориентируясь более на природу и совсем не руководствуясь уже ничем высшим сакральным?

Наверное, что-то весьма уродливое, неполноценное, шизофреническое, каким, собственно, оно было и само.

А ведь люди-титаны всё это делали — герои Возрождения и столпы Просвещения, во всяком случае, по их замыслам и лекалам всё творилось в Модерне, создавался новый, совсем ещё небывалый, почти что и невозможный, мир.

Но мир этот, человеком созидаемый, вряд ли полностью соответствовал чаемому человеком, ибо задача-то была сверхграндиозная, гигантам Нового Времени не особенно и подвластная — нечеловеческий мир, окружавший человеческий, был всё-таки масштабнее, сильнее, могущественнее всего создавшегося человеком, хоть и поддавался этот внешний мир самозванному, дерзкому и своевольному человеку-демиургу, вознамерившемуся этот мир пересотворить, но не раскрывал яростно демиургировавшему человеку всей таящейся в нечеловеческом мире грозной неизвестности.

Получалось у человека то, что получалось, — и никакого совершенного мира всеобщего счастья получиться у человека не могло, а то, что получалось, мало устраивало человека, во всяком случае, думающего и переживающего человека, ибо всё выходило из-под рук и ума человеческих каким-то античеловеческим, не стеснявшимся идти и против самого человека, ибо таковым, а именно — античеловеческим, везде был и сам человек-демиург, ибо был он для себя самого шкурник, гад и убийца.

Вот и получался у человека весьма странный мир — с мощнейшим зарядом человеческо-античеловеческого непотребства.

И зародился вдруг в человеке демиургирующем страх перед созидающим им же искусственным миром, этим чудовищем, монстром, левиафаном, безжалостно прессовавшим человека, его охотно гонявшим и без всякой самоокоризны пожиравшим.

Наступило огромное, поначалу, видно, подспудное, неясное, сдержанное, а потом и вполне ясно очерченное... разочарование... от всего созданного денатурализованным и секуляризованным человеком, во многом уже антихристианским и обезбоженным, очищенным от загадочной метафизики, старательно отгородившимся от влияния Мирового Духа, Божественной Софии, Сакрального Логоса.

И страшно тут было не столько от громоздкой, вязкой и весьма опасной для жизни физики нового искусственного мира, сколько от... нет, нет... не от метафизики как таковой, свойственной природному и божественному мирам, ибо натуральная и сакральная метафизики были уже надёжно изгнаны из нового искусственного мира, во всяком случае, прочно запечатаны в каком-то дальнем укромье, а от уже особого рода новой, во многом искусственного происхождения, по большей части отрицательной, с какими-то чёрными прогалинами и бесцветными пустотами метафизики — можно сказать, уже и *антиметафизики*, или *антиметафизики*.

И заглянувший в чрево такой антиметафизики добросовестный мыслитель уже не мог испытать ничего другого, кроме великого вибрационного шока — издевательского, оскорбительного, умерщвляющего, а очухавшись, не мог не подивиться безмерной скорбности мирового поренессансного образа и тщетности всего просвещенческого наследия, всей созданной в новые времена философии, литературы, культуры — воистину замечательных, «непревозможимых», а главное, совсем уже недейственных, ставших бесполезными, ненужными, а они-то ещё имели богатейшее содержание, высокую идеиность, непреходящую мысль, не без успеха соревнуясь с сакрализованным образно-словесным наследием.

Внезапное замешательство быстро сменилось болезненным помешательством: человек, всё ещё не теряя веры в науку и технику, в физику и математику, в архитектуру и инженерию, стал вдруг терять веру... в самого себя, возлагая надежду уже не на человека как такового — эту непристойную тварь, а на *очищенный от метафизики и сакральности интеллект* человека, подкрепляемый не тягучей и путаной моралью, а чётким механическим законом.

Теперь во главе процесса стоял не собственно человек, заместивший с наступлением Нового времени природу и Господа Бога, а лишь его — человека, а может, по большей части и античеловека — *интеллект*.

И тут стало всё более замечаться одно курьёзное обстоятельство: модерн стал куда-то вдруг исчезать, превращаясь во что-то другое, его — этот самый модерн — успешно отрицающее.

Строительство человеческого-античеловеческого мира продолжалось, но шло оно уже всё более не вопреки природе и сакралу, как это было во времена классического Модерна, а вопреки уже тому, что было как раз создано в эпоху ещё незамутнённого сомнением Модерна.

И человек тоже стал какой-то другой — не столь уж содергательный и моральный, а всё более формализованный, механический, институционализированный, правооснащённый, интеллектуальный, информационный, инновационный, разумеется, и гедонистический (при изобилии потребительских благ!), и гламуристический (при повышенном-то внимании к индивидуализированной персоне — не личности вовсе, нет!).

Овнешнился как-то человек, обоболочился, заодно и подопустошился, обезвнутрился, очень уж стал похожим на юркую *погремушку* — заболтался и заигрался, облегчился, задинамился, одним словом — *запогремушился*.

Даже сама реальность стала какой-то... *ирреальной*, слишком уж подвижной, мнимой, мимолётной, какой-то ненастоящей, лишённой стояния, пристойности и непреходящей ценности, а вместе с тем и подкрепляющего прошлого, подтверждающего настоящего и даже обнадёживающего будущего, хотя бы уже потому, что из всегда неизвестного, но всё же желаемого, будущее превратилось вдруг в известное и вполне не желаемое, ибо впереди уже стала просматриваться дурная во всём тупикость!

Уже и о Царстве Божием на Земле как-то пересталось мечтаться, ибо оно вроде бы уже наступило, так по сути и не наступив, более походя почему-то на тягостный ад, чем на какой-то воодушевительный рай.

Сдалась чудесная литература, сдались изящные искусства, сдалась классическая музыка, превратившись в свои уродо- и злоторвные противоположности, а на освободившееся место пришёл свободный — толпо-

популистский, бесоинфернальный, пустопорожний — «арт», заражённый внешней вычурностью и совершенно не склонный к какой бы то ни было содержательности.

Даже чувства человеческие куда-то исчезли, замещённые адреналиногонными физиологическими реакциями, как исчезли и любые вдохновенные переживания, заменённые острыми и злыми психогенными встрясками.

Очищенный от метафизики и нравственности интеллект делает своё дело, завершая строительство человеческо-античеловеческого мира, вытаскивая на арену вдруг поблёкшей и сникшей истории последние (ультрановейшие!) времена, за тенью которых ничто земно-небесное уже почему-то перестало просматриваться, разве лишь что-то туманно-космическое да иллюзорно-иномирное.

Так, Модерн, вроде бы ещё оставаясь и по-прежнему кружка говорливой огнедышащей птицей над несчастной Землёй, вдруг превратился, став при этом и *ультра*-Модерном, во что-то уже совсем иное, несущее в себе какое-то предательское отрицание Модерна: вроде бы ещё Модерн, но уже... другой — причём уходящий, преодолеваемый, даже и гонимый, — и ничего не оставалось мыслящим людям, как обозвать этот новый суперискусственный Модерн... *Постмодерн* — последним, так сказать, Модерном, теряющим самого себя и невольно исчезающим.

Да, Модерн привёл, физически оснастившись и материально обогатившись, как и формально и механизменно усложнившись, но зато существенно истончившись и содержательно обеднившись, к Постмодерну — но всё ещё сознаниюму и ноосферному, но уже тотально интеллектуализированному и механизированному миру-погремушке.

29

Натерпевшись страху и испытав нешуточный шок от человека демиургического, этот же самый человек демиургический не нашёл для себя иного выхода, как окончательно *интеллектуализироваться*, решительно покончив с поренессансным позитивным гуманизмом и просвещенческой обкаткой человека — философической, мировоззренческой, исторической, вообще словесной, литературной, текстуальной, и резко развернулся к формализации, схематизации, технологизации —

то биши к расчёту, к цифре, к числу.

Так человек стал превращаться в *постчеловека* — робота, киборга, чиповея, в некую набитую игровой информацией, а не глубокими познаниями, счётно-решающую машину, склонную при этом к комфорту и удовольствиям, подражательному поведению, легко и эффективно манипулируемую.

Духовно-душевное нутро куда-то и как-то вылетело вдруг из человека, оставив на быто-исторической арене уже иного человекообразного — пустотно-оболочкового, более уже схожего с автоматическим счётно-решающим устройством, чем с переполненным природно-сакральной метафизикой человеком.

Мир окружающий представлял всё более лёгким, летучим, фиктивным, а также не в меру переменчивым, мельтешивым, слишком уж игривым и игравшим — и вышло на поверхность симуляционное, импровизационное и послушное *квази*, легко заменившее всё реальное, архетипическое, традиционное, идущее оттуда — из трансцендентного, из сокровенного, из сущностного, из пережитого — и не стало вдруг смысла, замещённого полезно-бесполезной функцией, символа, замещённого пустым знаком, субстанции, замещённой пустотой.

То был явный *деграданс*, но в сугубо содержательном, смысловом, ценностном планах, когда механизм стал важнее организма, тело важнее души, манипуляция важнее творчества, выдумка важнее правды, фикция важнее реалий, симулякр важнее естества, клон важнее прототипа.

Элементы всего этого «странноприимного», ставшего вдруг более всего важным, всегда были в человеке, в его бытии и истории, но они никогда так не превалировали, а потому и не превращали человека в какого-то нечеловека, а человеческий мир — в *античеловеческий антимир*.

Выход из кризиса Модерна оказался выходом в *постчеловечество*, в *антимир*, которые не так, может быть, сегодня кризисны, как апокалиптичны, что вовсе не оправдывает общей исторической телескопии (целеполагания, стремления) и не отводит человека и его мир от навязчиво надвигающейся отрицательной эсхатологии (завершения).

Человек и его мир теперь на *краю*, когда идти тому и другому особенно некуда (кроме космоса и иных планет): внешняя природа освоена

и покорена (что не значит, что она насовсем сдалась!), комфорт обеспечен и утверждён, прогресс уже и не прогресс, а обработка достигнутого (через инновации и имитации, через повторение и клонирование), и когда, что особенно важно и примечательно, любое внушительное движение вперёд лишь усугубляет апокалиптическую ситуацию.

Главными противниками человека в утверждении его долгожданного счастья являются теперь... сам человек вкупе с сидящим в нём античеловеком, а также созданный человеком вместе со всё тем же античеловеком искусственный мир, тоже немало античеловеческий, вытесняющий человека из человека и самого человека из созданного им же мира.

Не нужен человеческий человек постмодерновому, овеществлённому, механизированному и интеллектуализированному миру, не нужен!

Не просто человек созидаёт свой мир, а и созданный человеком мир перемалывает, передельивает и выталкивает из себя человека — и кто тут в итоге кого — большой вопрос, чуть ли не самый ныне острый, болезненный и ответственный?!

Человек — существо, в общем-то, *обречённое*, вообще обречённое изначально на неизвестность, на мрак, на темень, на ту же смерть, но и на жизнь тоже, на свет, на значимость, на сознание, опять же не знание, на бессознание, на душу трепетную, на борьбу за себя и с самим собой, а главное — на исчезновение: знания, сознания, воли, организма, материи, природы, сакрала, а отсюда, пока живой — на гордыню, на мятеж, на погибель.

Обречённость — вещь (от вещать) серьёзная, грозная, злая, ибо она, эта самая обречённость, человеком вполне осознаваемая, он о ней знает и с нею непрерывно живёт, испытывая озабоченность, недоумение, страх и... ненависть, но и пытаясь её для себя одолеть, выдумывая мифы, вероучения, философии, смыслы, символы, законы, процедуры, ритуалы, литургии, молитвы, табу, заклинания, жертвоприношения, да мало ли ещё что, включая и любовь, и чудеса, и мистерии, и архетипы, и ангелов с демонами, лишь бы не сойти с ума, обрести какую-то опору, поймать шанс, выжить и пережить, шагнуть в новую историю.

Нет ничего по сути ни удивительного, ни явно предосудительного, ни вполне порицаемого в том, что христианский человек, вкусивший

сверх всякой меры невозможной истины, каким-то странно-чудесным образом подтверждённой жестоким и безумным распятием Христа по воле отвергшего его отчаявшегося люда, в один прекрасный момент взбунтовался против природы и сакрала, положившись, весьма и опрометчиво, на самого себя, на свои ум и волю, на свою демиургию, и попытался как-то преодолеть эту онтологическую и гносеологическую обречённость, устроив на земле что-то вроде... э-эх... ничегошеньки-то у человека са-монадеянного не получилось, а обречённость, им давно проклятая, лишь удачно подтвердилась да укрепилась, приблизившись и по срокам своего конечного исполнения.

Постмодерн сегодня на переднем плане, но и модерн тоже есть и даже премодерн вовсе не исчез, и оба они совсем не только на периферии измученной планеты, но и в самом сердце Постмодерна — в тех же США с Европой.

И как бы ни был обречён человек на гнездящуюся в нём и распространённую вокруг него неизвестность — *Великую Неизвестность*, он всё равно взыскивает жизни, а жизнь для него старательно перебирает варианты, совершая пробы, ошибки, непотребства всякие и непоправимости, играя с услужливой и неотступной смертью, рискуя, падая и поднимаясь, подвигаясь вперёд — не так уж и охотно, не так уж и стройно, совсем и не весело — и встаёт неприступной скалой сегодня величайшая из проблем: чья же тут возьмёт?

О-ох, неужто снова разрешающе-неразрешающая война, всемирная бойня, последний, а может, уже и конечный, Армагеддон, ибо никаких мирных благоносных и устойчивых взаиморазрешений на планете что-то не предвидится: всё вокруг как-то зыбко, тревожно, коварно? Никто никому не верит, все стараются друг друга перехитрить, обмануть, переиграть, раз уж откровенно огненной силой потягаться невозможно, во всяком случае — пока невозможно — фронтально, в боях, до изнеможения, в усмерть, до чьей-либо победы и чьего-то поражения, ибо никто сегодня не хочет взаимного, ещё и полного, изничтожения, а может, лишь пока не хочет — до какого-то рокового мгновения!

У Постмодерна на вооружении интеллект, информация, технологии, у него вся замечательно обдуманная физика и великолепно отшли-

фованная механика, в том числе и вся гуманитарная, включая политическую, экономическую, психологическую, организационную, управляемческую, манипуляционную, у него сверхмогучий Голливуд и вездесущий Эфир, на его стороне и всё современное мифотворчество, вполне и научное, а также футурология, прогностика, стратегирование, проектирование, конструирование, причём конструирование сразу всего, в том числе и человека, и целостного искусственного мира.

Постмодерн внутренне пуст, но зато внешне функционален, деятели, экспансивен и агрессивен. Он лезет везде и всюду, имперски распространяя по свету суррогатный постмодерн и насаждая везде и всюду неоколониальные квазипостмодерновые стихии, ему подотчётные.

Постмодерн — явный паразит, он не может существовать без модерна и премодерна, их тотальной эксплуатации, а потому устанавливает над ними своё господство, надёжно крышую и загодя прессуя.

Постмодерн не чужд изощрённого политикаства, жёсткого кри-минала и лукавой конспирации, он идёт на всё, «вынужденно» расставшись с какой бы то ни было общечеловеческой моралью и не испытывая ни перед кем и ни перед каким природно-сакральным возмездием никакого страха.

Постмодерн держит на планете глобальную власть, уже весьма мифологизированную, но, увы, вовсе не сакральную. И остальной мир, ещё сидящий в премодерне и модерне, хотя и пользующийся наносно-подражательным постмодерном, вовсе не весь согласен на соблазнительный Постмодерн и его господство, вынашивая фундаментальные ему альтернативы, за которые уже упорно борется и даже готовится, судя по всему, по-серъёзному за них сразиться.

Да, явного Армагеддона сегодня нет, но разве нет при этом Армагеддона неявного, разве мир планетарный в состоянии действительного мира, а не подспудной войны, сопровождаемой и вполне горячими катаклизмами?

Нет, мир сегодня в весьма условном мире, причём достаточно уже напряжённом, натянутом, если ещё и не готовом внезапно и с треском лопнуть, то к этакой милой внезапности заметно уже приуготовленном. Все в мире вооружены и активно вооружаются, разрабатывая, особенно в империальных США, новые, невиданные ранее, сверхумные, сверх-

изворотливые и сверхнадёжные орудия обороны, нападения и смерти. Никто никому не доверяет, даже внутри блока НАТО все друг у друга на подозрении, а что говорить о сказочно усиливающемся день ото дня Востоке, Китае, мусульманском мире, да и той же всё ещё мечущейся и подозрительно озирающейся вокруг себя России.

Выстроенная глобализмом мировая пирамида никого не устраивает, она тягостна даже для расположившихся на её вершине США. Мир явно должен переустроиться, но как? Потребен уже новый мировой победитель, который и продиктует всё необходимое новое побеждённому им миру. Но США сегодня — вовсе не победитель, к тому же и весьма дрянной глобальный менеджер — себялюбивый, паразитарный и крайне неэффективный. США себя достаточно уже дискредитировали, затевая «последние» локальные войны, международный (глобальный?) терроризм или тот же «мировой» финансово-экономический кризис, за который надувательски и насилием заставили заплатить всю планету. Золотой американский век подходит к концу! На очереди уже иные мировые игроки, набирающие сейчас силу и опыт. И это уже не загнивающие от чрезмерного потребления враждебных человеку симуляций и ходячего непотребства обездуховленные «интеллектуалы», а вдохновляемые сакральной традицией, не чурающиеся переворотных нововведений и весьма уже владеющие современностью, ещё не вполне сформировавшиеся, но уже достаточно обозначившиеся... *новые земляне*, вырастающие на плодоносной ныне мировой периферии, готовящейся уже выдвинуть и свой мощный планетарный центр.

Так что война идёт, вовсю идёт, ни на мгновение не замирая и никого из обитателей планеты насовсем не оставляя. И если принять во внимание: а) ограниченность планетарных ресурсов, их нарастающую нехватку, равным образом, и ограниченность жизнетворных пространств; б) явное перенаселение планеты с учётом растущих затрат на поддержание любой современной человеческой жизни, в особенности в передовом (прогрессивном) образе; в) общую предельность планеты, её полномасштабную освоенность человеком, её нынешнюю экзистенциальную «малость», то вполне объяснимым и понятным становится тезис о *войне всех против всех*, нарастании потребности в такой вот, вполне уже и открытой, войне, наконец... нет, нет... вовсе не её неизбежности, а, скажем

так... её вполне уже рисуночной реалистичности.

Дело в том, что речь идёт уже не о войне между локальными соперниками, не о простой захватнической войне, даже не о войне за господство в каком-либо регионе или в целом мире, как и не о пресловутой войне цивилизаций, идеологий, религий, нет, тут уже что-то другое — это, на первый случай, не что иное, как *война миров* — настоящего мира, вышедшего из прошлого и его решительно отбросившего (ныне передового, постмодернового), и будущего мира, вылупляющегося из настоящего и его рачительно заранее отвергающего (ныне ещё вроде бы отставшего, но уже обрастающего мощью, в перспективе же мира запостмодернового), а вот на крайний случай — это *война нынешнего мира с самим собою*, что менее объяснимо и понятно, но что, собственно, и лежит в глубоком основании происходящей и вызревающей «войновской» суперистерии.

Мир идёт в разнос, выбирает от собственных апокалиптических конвульсий, он болезненно инфернализируется и отчаянно милитаризируется, уныло и с ужасом заглядывая не столько в ирреальное будущее, сколько во вполне уж реальную бездну!

Раздел III ПОСТИЖЕНИЕ

30

Человек способен не только что-то познавать, осознавать, знать, понимать, но и творить, причём как раз то, чего вокруг нет, что не познаётся и отображается, а что человеком воображается и — согласно придуманному им образу — созидается, сначала опять же вообразительно, проективно, виртуально, а потом и фактически, формно, утвердительно, да и не только натурально, вещественно, земельно — или физически, что прежде всего в творчестве человека бросается в глаза, но и идеально, эфирно, символично, при этом тоже утвердительно, что в глаза сильно и просто так не бросается, но за глазами, где-то там — в уме, в сознании, в памяти удерживается, живёт, действует, как раз всё то, что не физическое, а метафизическое.

Человек — творец, и прежде всего творец идеального, образного, смыслового, знакового, в общем — метафизического, чем полнится как раз сознание человека и подтверждается человек в человеке, а потом уже человек выступает и творцом всего материального, предметного, устойчивого, всего физического, что вещественно окружает человека, определяет извне его жизнь, облегчая её и отягчая, изменяя, насыщая, делая другой.

Хозяйство — действие сразу на двух фронтах — метафизическом и физическом — и именно метафизика тут вначале и впереди, а физика лишь следует за метафизикой, хотя в практической повседневности всё может представляться и совсем наоборот.

Человек перво-наперво вроде бы физичен, но физичен-то вовсе не человек, а лишь его организм, а вот сам по себе человек перво-наперво как раз метафизичен, ибо без этой особенной — сознаниевой — метафизики никакого человека просто нет, а есть лишь обыкновенное животное — одно из неисчислимно многих.

Жизнь человека — постоянное воображение жизни, её идеальное предшествование, это непрерывная преджизнь, её возможная возможность, её внеприродная виртуальность, и только потом, лишь по реализации воображённого, возможного, виртуального, жизнь течёт как реальная жизнь, одновременно метафизическая и физическая.

Человек творит свою жизнь, созиная образы, проекты, действия, реалии, — и среди этих последних как видимые вещи-сооружения, так и невидимые вещи-мысли, становящиеся в силу их утверждения и всеобщего признания действующими понятиями, символами, нормами, «обязанками», обманками, да мало ещё чём, что наполняет сознание, его формирует, тяготит, ведёт, а то и совсем не редко и не по случаю разрушает.

Хозяйствовать — действовать прежде всего и в основе ментально, в сознании и через сознание, через мысль, а потом и через отношения с другими сознаниями, через выскочившие наружу и воспринятые вовне мысли, через взаимодействие посылаемых навстречу друг другу мыслей, их соприкосновение, взаимовлияние и соперничество, через продуцирование новых мыслей, а там, глядишь, уже через принятие личных и коллективных решений, да ещё и их реализацию, вовсе не сразу руками,

а поначалу ментально, в мозгах, в уме, и только потом, если надо, и руками, и ногами, и всем, можно сказать, организмом.

Сознание — не просто сознание, а целый сознаниевый кластер, где одно сознание сочетается с другим сознанием, как и с парасознанием тоже — то ли подсознанием, то ли сверхсознанием, то ли вообще с бессознанием (совсем уже несознательным сознанием), — и всё это кластерное диво давно замечено человеком и взято на учёт, и учитывается, и сохраняется, и используется, а сам человек, не очень-то надо всем этим задумываясь, давно всем этим пользуется, вытворяя такое, что никакому Господу Богу, не говоря уже об ангелах и демонах, просто не снилось, ежели, конечно, и у них там тоже есть сон и тоже бывают сны.

Сознаниевый кластер — очень сложный мир, безмерный, не моделируемый в полноте своей и до конца не познаваемый, во многом случайный и во многом закрытый, конспиративный, потаённый — и этот кластер, этот бездонный трансцендентный микромир — органическая принадлежность человека, обязанного его при себе всегда иметь, им пользоваться, его формировать, образовывать, насыщать, в нём и им жить, наслаждаясь им и его же остерегаясь, постигая всегда новое и достигая знаниевых вершин, но непременно падая вниз и разбиваясь, а при случае — и сходя с ума, выпадая из трудоёмкого сознания и попадая в облегчённое бессознание, где одна лишь дольня, хотя, видно, и не совсем пустая, не раз проклятая бездна.

И такой вот осознаниеный и в меру обессознаниеный человек являет себя на Земле не кем-нибудь, а *хозяйствующим субъектом*, ещё и взявшим на себя функцию Господа Бога Творца — ежели творить возможно, то и пересотворять возможно, а может, и надобно, почему нет? ибо... для чего же тогда на земле этот странный хозяйствующий субъект — слабый, уязвимый, несовершенный, однако амбициозный, могучий, дерзкий, злой, способный на всё, даже и на убийство самого себя — даже и как вида, разумеется, не просто так, а через посредство им же запущенного какого-нибудь глобального, пламенного и неотвратимого Армагеддона?

Воистину хорош этот хозяйствующий субъект — не правда ли? — который не одни только блага жизненные производит, но и антиблага тоже, совершенно и антижизненные, к тому же ещё и себя производит —

как хорошего, так и плохого и свой идеальный мир производит, свою жизнь, свою историю, свои академии и университеты, свои театры, свои войны, насилия и убийства, свой суд, свои пытки и тюрьмы, весь свой мир, но не без чертополошно цветущего антимира, накрепко заражённого преисподнической антижизнью!

И всё это **он** — *Человек, главный на Земле хозяйствующий субъект, непредсказуемый творец!*

А вокруг сознания всегда была, есть и будет *неизвестность* — *Великая Неизвестность*, нагоняющая страх, отчаяние, позор, но и возбуждающая интерес, стремление идти вперёд, желание сразиться за себя и свою жизнь. Насладившись вдосталь поражениями и смертями, человек понял вдруг, что нужно и можно всё-таки покорить эту неизвестность, заодно осознав, как это можно сделать — через покорение своего сознания и через осознивание этой непокорной неизвестности.

Так родились непререкаемые понятия, образы, предания, мифы, религии, те самые прочные идеалии, которые укрощали проснувшееся сознание и надвинувшийся на человека неведомый ему мир, как и саму Великую Неизвестность, их удобоваримо объясняли, делали своими, их присваивали, устанавливали над ними свою власть.

Родилась *регламентация* — сознания и парасознания, мало того, и самого окружающего мира, — и всё это стало подвластным, уловимым, приемлемым, служебным.

И это-то идеальное упорядочивание как раз и стало главным достижением человека как хозяйствующего субъекта, а вовсе не что-то физическое, что тоже было, но что было всё-таки не главным, а вполне и второстепенным.

Не обретение физических средств к существованию всегда было, есть и будет важнейшим моментом в хозяйственной деятельности человека, а обретение, поддержание и развитие идеального мира, возделывание сознания, оперирование с парасознанием, взаимодействие с трансцендентно обусловленным миром, покорение и удержание Великого Неизвестного.

Человек делал, делает и будет делать самого себя, творить своё сознание, свою осознанную идеально — духовную сферу, — как раз

всё то, что особенно ему необходимо — именно как человеку, а не животному организму, ибо без такого постоянного творения мир человеческий немедленно истончается, рассыпается, исчезает.

Человек везде и всюду вовсе не одинаков, он многолик, разен, наборен. Большинство людей биофилы и жизнелюбы, но есть среди людей, и их немало, жизнефобы и даже некрофилы (любители смерти); есть явные творцы, а есть и, пусть и зачастую скрытые, разрушители; есть живущие с любовью к своим ближним и даже дальним, а есть и не лишенные к людям и ко всему живому великой неприязни, если не самой обыкновенной ненависти; есть самоотверженные трудяги, творцы, герои, а есть отверженные лентяи, паразиты, гады. Короче, есть *люди*, а есть... *нелюди*, есть *человеки*, а есть и *антроповеки*, которые «за» и которые «против». Всего хватает в человеческих сознаниях и натурах, как, собственно, и в поддерживаемой и культивируемой человеком ноосфере.

В чём же тут дело? Да во всём том же — в первичной и конечной неизвестности всего и вся, что как раз и предопределяет не только досадное блуждание в гуще бытия вкупе с небытием, но и возможность и свободу быть разным — коли есть враждебное окружение, коли жизнь — борьба, коли есть смерть, коли вокруг человека и в самом его метафизическом «нутре» неизвестность, коли всё живое над бездной, а от бездны этой никуда не уйти, да и от самого себя человеку тоже никуда не уйти. Откуда тут взяться гармонии — что в человеке, что человека с человеком, что человека с миром, что мира с человеком?

Никакой гармонии тут нет и быть не может, а царствует тут как раз дисгармония, которую нужно и можно, конечно, усилием, на срок и локально гармонизировать, но никак не надеясь на окончательно стабильную гармонию, ибо последняя роднее всего не жизни, а смерти.

Нет, благополучие не для природы, не для жизни, наверное, и не для самого Господа Бога, ибо из благополучия можно извлечь только... ничто, причём полное и окончательное — без «большого взрыва», без турбулентности, без движения, без борьбы, без изменений, в общем — без мира, без природы, без Бога, как, разумеется, и... без человека!

Человек — субъект дисгармонии и неблагополучия, хотя и стремящийся к гармонии и благополучию, их же и упорно нарушающий,

как и никогда и надолго их в полной мере не достигающий.

И только в идеальном мире зияет модель (только модель!) гармонии и благополучия — как мечта, как проект, как миф, ибо без этой модели, во-первых, нет образца, критерия и надёжного судии, во-вторых, нет надежды, а надежда — это вовсе не чувство и не мысль, а экзистенциальная субстанция, без которой и жизни никакой нет, как и хозяйства, труда, творчества.

Так что Великое Неизвестное само поставило человека в положение этакого с позиции Абсолюта и Вечности... уродца — бунтаря, болтуна и нахала, который, вертаясь по жизни и так, и этак, становясь то ангелом, то демоном, то взмывая верх, то падая вниз, то вселяя в Бога великую надежду, то вызывая у него истовое отвращение, как-то существует, борясь с миром, с природой, с себе подобными и с самим собою, то бытуя вроде бы человеком, а то и практически уже античеловеком, то неким высшим существом, чуть ли не небесным, а то и вполне низшим, совершенно земным, зверским, гадским, в общем — реализует, хозяйствуя, чей-то не им придуманный, но явно им корректируемый проект — *Великий Проект*, а вот с какой реальной телеологии и действительной эсхатологией, кто знает?

31

Нет, нет, никакой гармонии и никакого на земле, в природе, в мире благополучия, ибо в противном случае всё остановится, замрёт, исчезнет! Жизнь — это нескончаемая дисгармония и неустранимое до конца неблагополучие, лишь прерываемые и подправляемые внезапными и временными над ними победами. Где-то внутри общей дисгармонии и вездесущего неблагополучия обязательно реализуется тенденция к гармонии и благополучию, смягчая и корректируя органический хаос человеческого бытия, придавая в целом страдательному людскому бытию потребную ему жизнеспособность.

Человек — вовсе не сплошная беда, более того, он и обязательная победа — над собой, над другими людьми, над миром!

Не зная, откуда он и для чего, человек, веря в своё более чем странное предназначение и свои странным образом осознанные силы, упорно идёт вперёд, страшась, спотыкаясь, падая и погибая, и зашёл уже

весьма далеко, бросив вызов природе, материи, мировому духу, даже и самому Господу Богу, причём зашёл настолько далеко, что... о-о!.. об этом лучше глубокомысленно помолчать, во всяком случае, повременить с ответом, которого, конечно же, нет, но который всё-таки, увы, есть!

От первичного и давлеющего над миром и жизнью хаоса человеку никуда не уйти, как не уйти человеку — этому осознанному животному — и от борьбы с этим неотступным и вязким хаосом, ибо только с хаосом и только в борьбе с ним может быть человек как человек — умница, мечтатель, проектант, творец!

И вот тут-то важно обратить внимание на тот удивительный факт, что и сам человек — хаос, всё его сознание, вся его душа, да и организм в значительной мере тоже, что сознание, душа и организм должны вместе и порознь непременно справляться с этим хаосом, подавляя и сдерживая его, упорядочивая и корректируя, управляя им, но никогда полностью и до конца не устранивая.

Хаос — первооснова, и он всегда и везде прорывается сквозь все заслоны, — что в индивидууме, что в коллективе, что в обществе, что в целом мире.

Без хаоса никуда — он залог жизни, сознания, человека!

Что такое хозяйствование, ежели не оперирование с хаосом, борьба с ним, взаимодействие, пожалуй, что и игра, — без хаоса и игры с ним разве лишь в абсолютной пустоте возможно, где ни жизни, ни сознания, ни человека, ни хозяйства.

Хаос противостоит не столько порядку, который ведь и в хаосе есть, сколько именно пустоте, где хаоса вроде бы нет, но ведь и порядка никакого тоже нет — что порядок без хаоса — опять же ничто!

Видимая природа — вроде бы не хаос, но это только так кажется, ибо хаос в природе лишь покорён, что, конечно, не значит, что повсюду и навсегда. Морская буря — вовсе на хаос, разве лишь временный хаос, а хаос — это полная энергии бездна, которая не где-нибудь, а всегда и везде здесь, в этом мире, в человеке, в сознании, в ноосфере. И любое формное бытие есть преобразуемая антиэнтропийным сознанием энергийная бездна, которая сама по себе без времени и без пространства, ей совершенно не нужных и к которым она совершенно безразлична.

Хаос — не пустота, а наполненность, но не материей, которая форма, а некой проматерией (предматерией), которая форм не имеет, но которая — как предшествование — уже есть. Это то самое ЕСТЬ, которого явно *ещё нет*, но которое всё-таки уже *есть!* Не нужно ни порицать хаос, ни отрицать бездну — оттуда и через них как раз всё бытие вместе с жизнью и является. Оттуда и через них явился и сам человек со всем своим сознанием и своей ноосферой.

Иное дело, что есть взаимодействие с бездной и хаосом, борьба с ними, та же игра, без чего и жизни никакой, ни сознания, ни ноосферы, ни академий с университетами, ни бизнеса, ни приятных досугов, ни подлых измен, ни кровавых разборок — ничего!

А раз так, то в основе бытия человеческого всё-таки дисгармония и неблагополучие — и лишь в результате борьбы с ними иной раз и на срок является прямо противоположное, конечно, относительное — какие-那样的 абсолюты в имманентном-то бытии, ясно, что никакие!

Человек — сначала и в основе своей, конечно, зверь, хаосник, бездник. Культура и образованность весьма затушевали эти изначала с первоосновами, и человек ныне и в самом деле кажется *Человеком*, чуть ли не богоподобным существом, если и не совсем совершенным, то вполне по-гуманному приемлемым. Однако это не совсем так, и история, в том числе и самая новейшая (культурнейшая и образованнейшая), ясно и ярко это подтверждает — человек всё-таки сначала и в основе своей зверь, хаосник, бездник, а потом уже, коли повезёт, удачно сойдутся звёзды и примерно сложатся обстоятельства, то и человек, а в порядке большого исключения — *Человек!*

Ни сознание, ни разум, ни ум, а тем более знание, культура, вера, никак не гарантируют человека от... античеловека, ибо быть человеком значит умело и эффективно владеть сознанием, разумом, умом, а *ещё* и чувствами, стремлениями, страстями — и при этом владеть всем этим ради человеческого в человеке — чего же тогда, *ежели* не человеческого? А всё это человеческое в человеке, что как раз противостоит хаосу, зверю, античеловеку... за рамками самого человека, вне его... на Небе, в Космосе, за пределами посюсторонности, оно абсолютно, незыблемо и непререкаемо, потому-то и критериально, — и это всё есть... божественное, что от Бога, Христа, Софии.

И это очень и очень показательно: человек как человек, а не античеловек — вне человека, за пределами человеческого мира, как внешнее требование, как потусторонний императив, как непременное над человеком внешнее насилие, — и всё это возможно посредством знания (утверждения), приходящего извне, со стороны, оттуда, быть может, откуда и всё в этом мире, и сам человек тоже.

Удержание человека в человеке — дело сакральное, это дело религии, священных текстов, церкви, клира, в общем, всего, что над человеком и на человека, но никак не в человеке, где человек превосходно уживаются с античеловеком — были бы воля и подходящие обстоятельства, чтобы немедленно в том убедиться.

Разумеется, оформленный сакрально — извне и сверху — человек может позволить себе и укрощение себя изнутри и снизу, или самоукрощение, правда, всё равно ориентированное на внешнее, эзотерическое, потустороннее.

Сознание *оттуда*, а потому оттуда и его укрощение, оформление, упорядочивание, одним словом — человечивание.

Через несудимую сакральность!

Но и сам человек в итоге кое-что соображает и немало делает в том же направлении, вводя принципы, правила, нормы, создавая законы, суды, тюрьмы, применяя наказания, внушения, смертные казни, — и всё это ради человека, борьбы в нём со зверем, покорения в нём хаоса, овладения гнездящейся в нём бездной.

Культура. А ведь это всего лишь система запретов, по крайней мере поначалу и в основе своей. Не делай того-то и того-то, а делай то-то и то-то, тогда и будешь человеком, а потому человек, этот иногда даже *Человек*, — всего лишь скопище более или менее соблюденных, по большей части уже и незаметно для сознания, запретов.

Сознание само себя укрощает, ибо иначе... хаос, бездна, зверство, безумие, как и окончательное *бес*-сознание, а потому запреты, запреты и запреты, но и летящие во все стороны и настигающие грехи, вины и непотребства невидимые стрелы — чтобы без особого выбора!

Свобода. Нет её, этой свободы! Нет, и быть не может! Свобода — это хаос, бездна, смерть, пустота. Однако свобода всё-таки есть, но ка-

кая? — конечно же, относительная, ограниченная, связанная. Рядом с ирреальной свободой всегда стоит реальная несвобода, которая и контролирует любую возможную свободу, держит в рамках, упорядочивает и укрощает, мало того, ещё и... обеспечивает, ибо без надзирательной несвободы никакой конструктивной свободы для человека вообще быть не может.

Кто вообще среди людей свободен? Ответ: *никто!* Иное дело, что кто-то в чём-то, где-то, когда-то и зачем-то более свободен, чем другой, но это никак не отменяет принципа господства несвободы, да не над кем-нибудь, а над самым что ни на есть *Человеком!*

Поражает более всего не зверскость в человеке, не стихийность, не античеловечность, а... *добровольная человечность*, которая, конечно, от уважения к потребной человеку несвободе, но уважения естественного, самого по себе возникающего, почти что и незаметного. Что ж, и *Человек* есть среди людей, и *Люди* среди людей, и человек иногда звучит вполне гордо, вовсе и не гадко, и не глупо, и совсем не мало таких вот Человеков да такого вот Люда, но чего всё это стоило окровавленной истории и чего стоит прельстительному настоящему, да и во что обойдётся надёжно обезбоженному и как будто бы уже обезболенному будущему?

32

Сознание (весь сознаниевый кластер) — вещь великая, сложная, безгранична, это целый знаниево-творческий мир, богатый смыслами, образами, символами, знаниями, мир чувственный, переживательный, полный страсти, включающий в себя ум, разум, интуицию, душу, пользующийся словом, речью, понятиями, идеями, текстами, в общем — вещь великая, сложная, безгранична, где всё течёт и изменяется, сменяется, перевоплощается, откуда-то возникает и куда-то пропадает, остаётся, держится, запоминается, но и исчезает насовсем, а главное — вещь по преимуществу трансцендентная, несмотря на всю свою имманентную принадлежность носителю сознания — человеку.

Хозяйствование — работа сознания, но сначала с сознанием, внутри него, а потом уже и от сознания, вне его, но по преимуществу в сфере сознания — коллективного, общественного, ноосферного. И поскольку сознание — вещь более всего не физическая, а метафизическая,

то хозяйствование в основе своей есть феномен метафизический, хотя и не стесняющийся быть по мере необходимости и физическим.

Врождено ли сознание, врождено ли хозяйствование, которое есть имманентная реализация сознания? Похоже, что нет, не врождены, ибо всё это требует принудительного пробуждения и не менее принудительного формирования (обучения). Сознание всё-таки — не дело природы, по крайней мере, не одной только природы, это дело чего-то внеприродного, нездешнего, потустороннего. Сознание не вписано в природу, оно ей не гармонично, и поэтому должно вписаться в природу, войти с ней в гармонию, оприродиться.

И человек это делает, завися от природы. Он почитает её за мать и стремится к единению с ней. Так возникает натуральное хозяйство, оно же поначалу и первобытное. Человек понимает, что он отличен от природы, от окружающего мира, от животных, но ему ничего не остаётся, как сжиться с природой, войти в неё, добиться с ней согласия, натурализоваться. Любое первобытное хозяйство есть хозяйство оприденное, чему соответствует и оприденное сознание хозяйствующего человека.

Будучи изначально неприродным, сознание в начале своего исторического пути ищет контакта с природой, единения с ней, даже и гармонии, а потому последовательно *натурализуется*. Отсюда не одни только хозяйствственные приёмы и навыки, но и соответствующее идеино-понятийное оформление, причём не одного только производственного процесса, а всего натурализированного бытия. И что интересно: человеку никогда не хватало чисто физического дискурса, он всегда пользовался дискурсом метафизическими — что для физики бытия, что уже для самой по себе метафизики. А когда человек уловил, что природа к физике не сводится, ибо она полна чего-то невидимого и неуловимого, но при этом очень важного и действенного, то стал создавать совсем не простые идеинные конструкции, включавшие в себя всё это невидимое и неуловимое и органично входившие в расширявшееся человеческое сознание. Дошло дело и до поклонения всему этому невидимому и неуловимому, но... существовавшему, действовавшему, определявшему, — и в итоге появились духи, затем божества и боги, а потом и тексты о них, предания, сказания, одним словом — *мифы*, восполнившие, обогатившие и укрепившие сознание, его упорядочившие.

Человек понимал, что вокруг него работающая неизвестность, и стал искать с ней эффективного взаимодействия, заискивая и преклоняясь, но в то же время и умиротворяя её, сдерживая, а то и укрощая.

Будучи сам существом метафизическим (осознаниенным), человек искал и находил контакт с внешней для него природной и внеприродной метафизикой, составляя с нею, пусть и противоречивое, но всё-таки достаточно устойчивое и эффективное целое.

Величайшее из хозяйственных достижений человека: действенный контакт с трансцендентным!

Человек укрощал и упорядочивал и свою собственную метафизику, эту сидящую в нём парасознаниееву стихию, восходившую к первичному хаосу и отправной бездне. Человек должен был управлять своей метафизикой, а через неё и своей физикой. Человек не мог не становиться умным и разумным для самого себя, своего нутра, своего собственного микромира. И тут возникала строгая регламентация, формировалась матрица поведения, устанавливавшаяся чёткий порядок.

И дело здесь не столько в нехватке пищи или тепла, сколько в самом воспроизведстве человека со всем его сознанием, которое было вовсе не только ему другом и ему подспорьем, но и его противником, и вредоносным орудием, легко превращавшим человека в античеловека, в животное, в зверя.

Сознание само по себе — это выбор среди неизвестного, и выбрать тут сознание может всё, что угодно, и прежде всего самое вредное, порочное, убийственное и самоубийственное, как раз то самое, что питается в человеке хаосом и бездной, его первичной звериностью, его античеловечностью, никуда насовсем не исчезающим антимиром.

Вот почему хозяйствование это всегда и в первую очередь работа сознания над сознанием, деятельность по превращению бесхозяйственного предсознания в хозяйствующее сознание, как и превращение через сознание одного хозяйственного сознания в другое, следственно, созидание сознанием определенным образом и определенного образа сознания, способного вследствие этой традиционной или новой упорядоченности полезно и эффективно хозяйствовать — сначала и долгое время по большей части в природе, под её водительством и вместе с нею, а затем всё более и более уже вне природы, от неё независимо, как и попросту

ей вопреки.

Способ хозяйства, характерный для того или иного человеческого сообщества (даже и отдельного человека), — это прежде всего *способ организации сознания*. А затем уже всего остального — решений, отношений, действий, процессов. История перебирает варианты, задерживаясь на том или ином способе хозяйства, что то же самое — способе организации хозяйственного сознания, который оказывается в тот или иной момент и в том или другом месте наиболее приемлемым, а хозяйственное сознание старается закрепить любой эффективный способ, не только его ментально представляя (закрепляя в памяти), но и сакрально освещая.

Переход от способа к способу — всегда трудное и серьёзное действие, это, как правило, переворот, а потому такой переход сопряжён с большими напряжениями и немалыми страданиями, разрывами и потерями, но и рывками вперёд, достижениями и победами, а главное — с трансформацией сознания, его переделкой и самопревращением, с его перерождением.

Переход от способа к способу может быть вызван различными обстоятельствами: климатическими изменениями; обретением новых пространств обитания; завоеваниями и покорениями (приходом других людей, владеющих иными хозяйственными приёмами и навыками, их господством; эксплуатационным подчинением одних другими — местных пришлыми); появлением новых орудий труда, как правило, более производительных; выработкой новой организации труда, всего жизнеустройства; наконец, изменениями в самом хозяйственном сознании человека, появлением как бы *другого* человека. Это-то последнее наиболее интересно и значимо: сознание не может оставаться при всей необходимости его целостной деловой консервации всё время и везде неизменным, хотя бы и в порядке исключения.

Разумеется, любые внешние перемены влияют на действующее хозяйственное сознание, его изменяют, но и само сознание в некоторых условиях способно самоизменяться — и не только по поводу своего самосовершенствования, что понятно, но и по поводу себя самого... самоотрицания.

Не нравится, и всё тут!

Тут всплывает момент *нестандартного творчества* в самом хозяйственном бытии, в процессе самого хозяйства, в самом его делании. Можно всё вершить так, как предположено и завещано предками, подтверждено традицией, освящено сакралом, а можно вершить... как-то *иначе*, по-другому, по-новому, вовсе не обязательно, что более эффективно и красиво, но... *иначе*, открывая новые возможности самого делаания и, конечно же... бытия.

Классика: собирать и собирать даруемое природой, бродя по её пространству, а можно... взять, да и посеять те же дарованные природой семена, вырастить злак, собрать урожай и съесть произведённое, закрепившись уже в каком-то определённом месте, став человеком оседлым; можно производить всё и вся одним сообществом для себя, а можно... кое-что взять, да и обменять на что-то другое с каким-либо другим сообществом, получив новую для себя выгоду, причём выгоду для обеих сторон, что означает перейти к обменному образу хозяйства, став если ещё не полноценным экономистом, то ужеproto- или предэкономистом.

Таких примеров-подтверждений можно привести великое множество, но дело тут не в примерах как таковых, а в важнейшем факте хозяйственного ради самого хозяйства творчества, органично свойственного хозяйственному сознанию.

Что, к примеру, значит желание-утверждение: не хочу работать на племенных бездельников, а хочу работать на себя и своих близких (просемью)? И разве можно надёжно и до конца противостоять этому намерению? Да, для начала такого модерниста можно и убить, как и ликвидировать затем другого, но всё равно либо модернисты сбегут и растворятся навсегда с племенем, как бегут модернисты в разные стороны и сегодня, в век всеобщего просвещения, образования и профессионализма, либо заставить изменить хозяйственное и всё бытовое устройство подвергнувшегося социо-психологическому, а не только чисто хозяйственному кризису, племени.

Большое это дело — развитие сознания, его работа и творчество, его стремление к новому, к другому, к небывалому, в общем — к *иному*, ибо вышел человек из неизвестности, от неё не оторвался, идёт по ней, её покоряет и ею покоряется, ею живёт. И нет тут для сознания никаких

заведомых границ, ибо и само сознание полно той же самой неизвестности — вроде огромной космической «тёмной материи», надёжно обхватившей со всех сторон значительно меньшую «светлую»!

33

Сознание не только и не столько отображает мир, включая и самого себя, сколько что-то этакое воображает... как раз уже *свой* мир — сознаниевый, что не означает, что это всего лишь мир самого по себе сознания, нет, это и мир относительно этого сознания (человека) внешний и этот внешний мир сознание тоже ведь не без успеха воображает, правда, не без необходимой на внешность объективной коррекции.

Вообще-то сознаниевое воображение вовсе не какое-то исключение для каких-нибудь гениев, а повседневная функция-способность любого сознания: сначала всё реально предстоящее случается в воображении, в замысле, в проекте, а потом уже и в деле, в реализации, в реальности. Вся жизнедеятельность человека состоит из перевода возбуждённого виртуального (возможного, желательного, придуманного) в текущую реальность. Сначала план, а потом его осуществление — и так в каждый момент осознанной жизни.

Жизнь, конечно, ведёт сознание, но и сознание ведёт жизнь!

Ход сознания для человека важнее хода вещей, хотя человек довольно и зависит от хода вещей. Обычно это ход вещей владеет человеком: пробуждение, туалет, завтрак, приезд на работу, работа, обед, работа, приезд домой, ужин, досуг, сон. Чем не привычный ход вещей, от человека вполне и независимый, хотя человек его исполняет, или в нём участвует, через чередование своих вроде бы собственных намерений, решений и действий.

Может ли человек изменять ход вещей? Разумеется, может, на то у человека сознание, но ежели ход вещей имеет место и отменить его в целом невозможно, то человек может его изменить лишь частично и на срок (можно, к примеру, не пообедать на работе, или просидеть на работе до ночи, или дома раненько что-то поделать из «рабочего»), а вот чтобы изменить весь ход вещей, человеку нужно непременно переместить себя уже... в другой ход вещей, или в ход других вещей, пусть и им — самим этим человеком — придуманный и выстроенный.

Способ хозяйства — всегда тот или иной ход вещей, который в целом хозяйствующими субъектами соблюдается, хотя иногда и нет, но непременно реализующийся — пусть и со сбоями, спадами, рывками, подъёмами, перерывами, отклонениями, колебаниями, но всё-таки реализующийся. И в этом ходе вещей человек может быть независимым исполнителем, статистом, винтиком, а может и проявить нестандартную активность, выступить с инициативой, вдруг что-то изобрести. Способ хозяйства может сопротивляться подобному новаторству, а может его и допускать, в особенности на этапе своего становления или же, наоборот, угасания, когда либо всё ещё в способе только складывается, либо уже разлагается, теряя над собою контроль.

Сознание — это непременно воображение, а вообразить ведь можно всякое, в том числе и то, чего нет, а затем можно и попробовать достичь того, чего нет: ежели владеть словами и понимать смыслы, то почему же не произвести на свет новые слова и поймать иные смыслы, не говоря уже о создании новых текстов?

Сознание всегда творит — либо попросту что-то виртуально предшествующее реальному, либо что-то уже такое, что не только предвещает реальность, а что её изменяет — вполне и радикально, и масштабно, и глубоко.

Сознание себя воспроизводит, это ясно, но оно себя и производит, себя при этом изменяя, делая другим, а изменившись, воображает и создаёт что-то такое, чему и само бывает несказанно поражённым: сделано вроде бы одно, а получилось-то в итоге в чём-то, а то и совсем другое, вовсе не обязательно очень уж нужное, полезное и доброе.

Сознание творит! Создаёт то, чего нет — либо подобное, либо новое, но творит, а поскольку творит среди большой неизвестности и великой сложности, то и... немало вытворяет... не то чтобы совсем уж всё, что угодно, но всё-таки многое, а частенько... неизвестно что, если и не в целом, то хотя бы в частностях, в деталях, в отдельных следствиях.

Откуда вдруг берётся образ чего-то несуществующего, совсем нового, явно уже иного? Ясно, что из сознаниевого кластера-котла, из его глубины, из тьмы, мало того — из сидящего где-то там *ничто*!

Сознание — феномен творческий, а следственно, и... вытаскива-

ющий откуда-то из себя, из своих потаённых глубин, из своего трансцендентного ничто что-то такое, что и вообразить-то просто так невозможно, а именно... *идею* или *образ* того, чего нет, — это для начала, а потом не без усердия к ним что-то и добавляющий, нередко заходясь сам перед собой в исступлённом творческом раже.

Что же это такое — сознание?

Помимо того, что это само по себе зафиксированное в памяти знание, это ещё и производство нового знания, причём производство в чём-то непременно скрытое, потаённое, трансцендентное, ибо сопряжено оно с тем самым ничто, откуда и в главном проистекает. Только законченное, зафиксированное и применяемое всеми знание кажется совершенно умственным, а на самом-то деле всё умственное знание восходит к знанию... безумственному, точнее — *метаумственному*.

Тут самое время напомнить о бездне и хаосе. Всё ведь оттуда. Оттуда и сознание со всеми своими знаниями, обнаружениями, находками, догадками, рефлексиями, изобретениями.

Метафизика на то и метафизика, чтобы не быть физикой, чтобы свою великую тайну от физики иметь, этой тайной безмерно наслаждаться и ею же немало тяготиться.

Крайнее творчество, как раз то, которое *оттуда* — не выведение вовсе, не конструирование, а улавливание, схватывание, обретение... через внезапное открытие, посредством откровения, озарения, выплеска.

Сознание знает и не знает. Оно знает, что знает, и знает, что не знает. Оно зачастую не знает, что знает. Сознание — непрерывная борьба знания и незнания. Обретая новое знание и задерживая его в себе, сознание забывает другое знание, сбрасывает его, стирает из памяти. Сознание всегда — вовсе не всё возможное знание, даже не всегда самое необходимое. Сознание — блуждающее, мерцающее, калейдоскопическое знание, это никакой не монолит, даже и не стройная система, хотя отдельные монолитные ядрики и стройные системки в знаниевом мире сознания и наличествуют — вроде уставов гарнизонной службы. Сознание нагружается знанием по большей части вынужденно, и оно при первой же возможности от ненужного или чрезмерного знания освобождается. Знание, как нередко и незнание, — мука! Разумеется, не всё знание

и не любое незнание, но всё-таки это тягость, колкость, уязвление, точнее, источник всего этого — этих острых и беспощадных ощущений, вчувствований и переживаний.

Само бытие сознания, его собственная жизнь, сама реализация сознания как сознания — не то что непрерывная страда, включающая борьбу с миром, с его неизвестностью и с его же известностью, а также и борьбу сознания с самим собой, но при этом и за самого себя, отчего сознание есть не что иное, как самое обыкновенное для человеческой экзистенции страдание.

Сознание — это страдание!

Метафизика, сидящая в человеке и представленная сознанием (сознаниеевым кластером), внимательно и убедительно об этом страдании заботится, ибо без этого страдания попросту нет и самого сознания, как и нет его усердной работы, порывистых интенций в себя и во вне, вообразительных глюков, неожиданных рождений в сознании чегото нового, его надрывных расставаний с уже отходящим, как и опасливых встреч с ещё только надвигающимся. Сознание и не выдерживает своей собственной метафизики, самого себя, срываясь в бессознание, в антисознание, в хаос и бездну... откуда, собственно оно и вышло, с чем никогда и не расстаётся.

Сознание — особый мир, это мир в мире, не имеющий по сути своей ничего общего с внешним (природным) миром, — и в отличие от внешнего, более или менее устроенного, чуть ли не системного мира оно не только не имеет никаких подобных обустройства и системности, но и вообще не принимает никаких из внешнего мира аналогий.

Сознание не имеет ни пространства, ни времени, оно не является ни протяжённым, ни куда-то текущим, ни объёмным, ни плоским, ни массовидным, ни точкообразным. Сознание — это... *ничто*, однако насыщенное ничто, а потому и *ничто*, состоящее опять же из... ничто, ибо что есть глюк, образ, смысл, слово, понятие, мысль, речь, текст, если не... *ничто*, разумеется, ежели смотреть на всё это не физикалистски, а метафизически, ибо всё это идеальное, духовное, потустороннее, трансцендентное.

А ещё говорят, что духа-де мирового нет, что нет никакого эфира, что нет вообще чегото... нефизического, как, разумеется, говорят, что и

Бога нет. А ведь всё это есть, и это есть не где-нибудь, а прямо в человеке, и это есть не что-нибудь, а сознание, которым человек живёт и от которого страдает, будучи при этом сам физическим, материальным, плотским, организменным, что только добавляет человеку страдания, но не по случаю болезней и смерти, что само собой понятно, а вследствие вынужденной совместимости сознания с организмом, человеческой метафизики с животной физикой, духа с плотью.

Здесь не такая уж и гармония, хотя принудительное взаимопризнание и есть, а самый настоящий конфликт — изначальный, затяжной, неодолимый. Здесь онтологическая нестыковка, гносеологически подмененная сознанием и воспринимаемая им как онтологическая же несправедливость, точнее — *проблема*, не имеющая никакого имманентного разрешения, но жаждущая разрешения трансцендентного.

Здесь искрящийся, раздражающий, остроболезненный контакт, от которого не уйти, но который жжёт, беспокоит, гонит куда-то вперёд ошарашенное навеки сознание. И восстаёт сознание перед плотью, а метафизика перед физикой, и пытается сознание обрести с плотью равновесие, даже и гармонию подыскать, и падает в изнеможении перед плотью, и гнобит её, и отрицает, и переделывает. А воз-то и ныне там, ибо суть всевышнего эксперимента, наверное... а, впрочем, в чём же эта суть — кто знает?

И ничего не остаётся сознанию, как творить и создавать, искать и находить, конструировать и реконструировать, поглощая неизвестное и добавляя известное, надуваясь от излишнего знания и схлопываясь от обильного незнания, поражаясь бездонности всё время ускользающей от него *Мировой Тайны*.

Само сознание, разумеется, тоже тайна, и это раздражает сознание, но и воодушевляет, заставляя крутить эту всю метафизику — что свою родную, что внешнюю чужую, и не просто крутить, а прямо-таки выкручивать, ища в экстремальной темени экстремального выхода, да вот куда? — в иномирье, туда, откуда пришло, где всё иное, где нет утеснения, где... полная-де свобода, конечно же — последняя. Так ведь и за гробом тоже свобода, и тоже последняя, так надо ли искать этот чёртов выход, может просто устроиться здесь в сеюмирье, — и устраивается тут сознание, укрошаая себя, обставляя, кристаллизуя, и бытует веками,

мало изменяясь, чего-то упорно ожидая, но... вдруг спохватывается, сбрасывает с себя свои же оковы, устремляется вперёд, вырывается на простор, творит заново себя и переделывает окружающий мир, ища в экстремальной темени его уже неэкстремального выхода... да вот куда?..

34

Нужно было свободное сознание, и оно явилось — сначала в Средиземноморье, может по причине легендарной Атлантиды, как её базовый ремейк, потом в Западной Европе — в Италии, Голландии, Англии, задев даже на время Испанию с Португалией, завладев Францией и Германией, всей бунтарской сравнительно с Азией Европой, перекинувшейся на другие континенты, спровоцировавшей и кое-какую свободу даже в твердолобой Азии.

Протестантство — это ведь не одна борьба с католичеством и папством, это ещё и борьба за свободу сознания, за его право хозяйствовать помногу и творчески, а главное — свободно. Либерализм — совсем не простая штучка, это открытая возможность возможности — быть, творить, переделывать, да что переделывать — *пересотворять!*

Сначала пересотворились отдельные сознания, но во взаимной, хотя поначалу и не слишком явной, связке, затем пересотворились, или, лучше сказать, были пересотворены, сознаниевые массы, а потом была пересотворена и вся европейская ноосфера — религиозно, политически, социально, хозяйствственно, экономически. Возникла новая европейская цивилизация, а вместе с нею и новый европейский мир. И главным действующим лицом в этой цивилизации и этом мире стало свободно хозяйствующее сознание, разумеется, соответствующим образом организованное, упорядоченное, даже и укрощённое, но ровно настолько, чтобы масштабно и разнообразно творить и пересотворять — под себя, под свою стать, под свои капризы.

Величайший в истории прорыв-переворот, то ли допущенный Христом, то ли им попущенный, то ли Христом предположенный, то ли свершённый ему вопреки. Где Христос, там и антихрист: тихий, ловкий, законспирированный, ещё и умный, и красочный, и гениальный. Похоже, что тут было всё и всё сразу, ибо была тут большая метафизическая заваруха, не имевшая в самой себе ни пространства, ни времени, — и пойди-

ка разберись с ней, ибо решение-то тут трансцендентное, принятное не кем-нибудь, а самой *трансценденцией*, которая мало того, что всегда и везде есть, но и повсюду работает, да ещё как работает — усердно, изобретательно, напористо, не без ошибок и сбоев, не без потерь и провалов, но работает, достигая своих, ей же самой не слишком ведомых, не то что образумленному и обезумленному человеку, целей.

И это хорошо, если цель никому тут не ведома — ни сознанию, ни бессознанию, ни даже самой трансценденции, ибо повсюду в мире *становление* — из начального ничто в... ничто конечное... через промежуточное нечто, и вот это-то *нечто* и есть наш, человеческий, осознанный мир, наше собственное бытие, которое всего лишь связка, мостик, перешеек от одного ничто (одной неизвестности) к другому ничто (другой неизвестности).

Человек не раз в своей победно-погибельной истории пытался поверить в самого себя, за что и получал по полной программе от Обстоятельств и Всевышнего, но... но... рано или поздно *это* должно было случиться — *обращение человека к самому себе*, уже без посредства природы и сакрала, и это непременно случилось, — и пошла у человека совсем *другая* история, которая, не отменив насовсем ни объективных обстоятельств, ни хода вещей, ни морочащей человеческое воображение неизвестности, ни всякой деятельской круговорти с цикличностью, ни колебаний с вибрацией, ни подъёмов и спадов, ни рождений и смертей, подпала всё-таки под решительное влияние человека-творца, освобождённого от тенет земли и опеки сакрала, уверовавшего в свои собственные силы и набросившего на мир свои собственные умственные сети, подмяв мир кое-как под себя и под себя же его немало и вовсе не кое-как реконструируя.

И заработал *Проект*, уже совершенно человеческий — имманентно-разумный и имманентно-рациональный, но при этом, по причине внутриорганизменной и внешнеконтекстной метафизики, и совершенно трансцендентный — с неизвестнойteleologией и неведомой эсхатологией, как и, разумеется, с потаённо-откровенческой текущей реализацией. Внутри себя, а лучше сказать, сам для себя, проект был вполне уместным, расчётным, толковым, а вот при контакте с метафизикой, — что внутренней, что внешней, — проект выглядел более стихийным,

своевольным, бестолковым, даже иной раз и... безумным, но... проект оставался проектом, распространяясь по пространству и времени подотчётной ему реальности, захватывая все возможные веси и перетекая от поколения к поколению.

Вроде бы внешне такой ясный и логичный, проект отличался в то же время внутренней загадочностью и неопределённостью, как, собственно, и должно было быть, хотел он того или нет, и был он по сути своей и не по воле своей проектом совершенно *конспиративным*: что могли сказать о будущем те же Леонардо, Лютер, Галилей или Ньютон, как и любой другой титан гигантского внутримирового переворота, разве лишь Макьявелли мог, желчно усмехаясь, констатировать неизменность драгоценного человеческого «Я», весьма, знаете ли, античеловеческого?

Не став небесно хорошим, но и не став при этом земно плохим, человек, почуяв в себе знаниеющую мощь и созидательную силу, а главное — свою *собственную демиургическую самость*, принялся за устроение своего собственного мира — полномасштабного и полноценного, отвергнув все заведомые ограничения и априорные опасения — будь что будет!

Вот он, метафизический хозяйствственный инстинкт, превративший имманентно и сдержанно хозяйствующего человека в неистово действующего трансцендентного Хозяйствующего Субъекта, хоть и не равного, как казалось, Богу и Природе, но тем не менее ставшего относительно них и рядом с ними третьим Великим Субъектом — уже сильно подобным первым двум!

Одного желания демиургировать было мало, нужно было *средство*, и таким средством стала вполне независимая от природы и сакрала, хотя и связанная с ними коллегиально, *наука*. Да, да, именно так: *наука!* та самая, которая расцвела пышным цветом с момента высокоосознанного восстания человека, да не только против природы и сакрала, но и против самого себя прежнего — слишком метафизического и слишком трансцендентного.

Явление науки — явление нового сознания, оснащённого новым знанием, небывалой ранее претензией человека на царствование в этом мире и разверзшимися вдруг перед человеком хозяйствующим демиургическими возможностями.

Вот и в дневнике появилась как-то вдруг ночью во время бессонницы следующая запись: «Наука рождена не столько пытливостью и жаждой познания, сколько демиургической потенцией, вдруг получившей право и возможность осуществиться. Метафизическая задача произвела на свет задачу физическую, а трансцендентность, вызвав из себя демиургическую имманентность, ушла в тень, уступив на свету место актуальной имманентности. Человеку хозяйствующему потребовалась конструктивная определённость, чтобы реализовать демиургический замысел (вполне и трансцендентный, метафизический), перешедший в проект (столь же по краям метафизический и трансцендентный). А проект этот потребовал погашения метафизики и сокрытия от глаз и умов людских неустранимой трансценденции. Отсюда упор на имманентную, актуальную, поверхностную, закрепившуюся на свету и на свете физику бытия, а потому и на науку — как узнавание и знание физики, средство оперирования с нею, орудие достижения целей переделки физического материала и пересотворения физически представленного мира. Наука — знание об упругом (материальном, вещественном, предметном) мире, отгороженном сознательно от всего духовного, эфирного, вакуумного, от хаоса и бездны, от потенциальности, от ничто. Открытие физики и закрытие метафизики. Признание природного происхождения человека, физического, как и самой природной, физической природы человека. Возврат к природе, к физике, к материи — к *Матери*. Уж не Эдипов ли тут комплекс разыгрался тут у человека с поклонением и взятием матери и отстранением и убийством отца — Отца?»

Наука — антиметафизический феномен, вовсю объятый метафизикой. Что такое наука? Точное вроде бы знание, конкретное, даже и коначное (знание о концах, о конечных истинах). Это выверенный практически сухой текст, вытащенный из тутошнего, реального, готового текста.

Наука сплошь достоверна — функционально достоверна, что правда, не мешает ей создавать недостоверные мифы об окружающем мире, включая самого человека, но это уже не столько при фиксировании, переделке и изготовлении чего-нибудь небывалого, сколько при... всего этого объяснении, — тут у науки, сталкивающейся невольно с метафизи-

кой и трансценденцией ничего удобоваримого не получается. Только старателю выпестованные, но всё же дурные мифы! А всё из-за забвения метафизики и трансценденции, которые, конечно же, из бытия и мысли никуда не исчезли.

Онтологическое объяснение — за пределами науки как таковой, тем более что целостной, а лучше сказать — единой, науки нет и быть не может, как и единой научной картины мира, даже и при наличии научной философии и философии науки, ибо тогда надо было бы признать онтологическую метафизичность и трансцендентность мира, что противоречит науке и что в пределах науки совершенно непостижимо.

Любопытно, что наука, точнее, созданные человеком научные тексты — по преимуществу вовсе не так уж физичны, а более всего... метафизичны, ибо идут от сознания и кристаллизуют мысли, являются не объективной реальностью, а субъективными, пусть и выверенными, идеалиями, не такими уж, кстати, логическими и бесспорными. Наука в своём текстуальном образе — миф, пусть и весьма реалистический, ибо это либо образно-символьное отображение, либо не менее образно-символьное представление. Однако ради бытия науки и её процветания метафизикой можно и пренебречь. Иное дело — края бытия, которых уже достигла наука (как раз там, где *нано* и *мега*), где либо неведомые первоосновы, либо столь же неведомые перводали. Там и там — в микромире и в мегамегамире — вроде бы как вакуум, который совсем не абсолютная пустота, ибо вакуум чем-то всё-таки начинён, но не актуальным, а потенциальным, не действительным, а возможным, не имманентным, а трансцендентным. Но всё равно наука выступает, оберегая себя, против любой метануки, выходящей за пределы науки как таковой, не говоря уже о метафизике и трансценденции, которых наука вообще терпеть не может, — как же ей тогда поступить со всеми научными мировоззренческими мифами, прочно засевшими в академиях и легко крыло блуждающими по университетам?

Наука — фетиш, фетиш новомировской европейской цивилизации, как и те же деньги (капитал), превратившие эту цивилизацию в экономическую, но вряд ли сама эта экстраординарная по своим следствиям для человека и мира цивилизация отдаёт полный отчёт в истинном зна-

чении науки, не только заменившей собою религию с философией (метафизическую, прежде всего), но и сам доступный человеку мир, да и самого человека, снабдив имманентный мир и имманентного человека собственными о них мифами, заменив цветущий природный текст сухим научным, заставив человека смотреть на себя и мир через мертвеннобледную текстуальную призму науки, уверив недоверчивого, но при этом опустошённого человека в том, что мир наш прост, как проста сама правда, что в нём нет такой тайны, которая не была бы разгадана наукой, что мир в целом человеку доступен, что дело тут лишь в дополнительных научных знаниях и в полном научном вывороте мира наизнанку.

Никакого ничто в таком мире нет, а есть только нечто, в котором и разбирается шаг за шагом наука, расчленяя и раздробляя это нечто, препарируя, заменяя натуральность искусственностью, пересотворяя исходную данность и выстраивая производную приданность.

Наука — это отгороженное от мировых первоначал, действующих всегда и везде, не переставая, особого рода знание-умение, тоже действующее, но действующее одновременно зряче (физически) и вслепую (метафизически), затрагивающее и переделывающее поверхностную корку бытия, заходя и в его ближайшую плоть, но никак не заглядывая в его духовную сердцевину, в это таинственное ничто — полную пустоту или пустую полноту, откуда всё и произошло — и мир, и природа, и сам человек с сознанием, куда, по-видимому, всё и уходит, ибо в противном случае не будет ни науки, ни переделки всего сущего, ни пересотворения мира, не будет также ни амбиций, ни энергии, ни силы, ни энтузиазма, ни изобретательности, ни инноваций, ни прогресса, а прогресс-то ведь тоже новомировский фетиш — *Прогресс!*

35

Прогресс!

Это, конечно, развитие, движение вперёд, стремление к новому, небывалому, более сложному и совершененному, более производительному, удобному и комфорtabельному, более приемлемому, доступному и обильному, это созидание, строительство, демиургия, это движение от природы к неприроде, от естества к искусству, от дикости к культуре, от традиционных обществ к цивилизованным, вообще к имманентно иному.

Прогресс — это обновленческая деятельность людей, новаторское хозяйствование, достижение человеком чего-то нового.

Но это и обновленческий ход вещей, совершенствование способа хозяйства, переход от устаревшего способа к другому, более передовому, достижение нового образа и строя жизни.

Однако прогресс — это и идея, идеология, концепция, и хотя всё это идеальное обращено на имманентное, трудно пройти мимо того факта, что вдохновлено оно всё-таки не так физически, как... метафизически — у прогресса ведь есть своё метафизическое оправдание — построение Царства Божиего на земле, непосредственно в этом мире, самими людьми, — и это несмотря на то, что идею такого прогресса не обосновать полно и до конца ни натуралистически, ни физически, ни математически, ни попросту логически, ибо каков же тогда конечный пункт прогресса и каков образ возможного в том пункте человеческого бытия?..

Деяния прогрессные по преимуществу имманентно-физические, вполне научно обоснованные, хотя всего труднее оказалось их совершать в направлении самого человека, его сознания, психики, поведения, способа жизнеотправления, ибо человек вкупе со своей ноосферой вовсе не так уж физичен и имманентен, что потребовало от науки и соответствующих прогрессных картинок и манипуляций.

И чтобы навязать их человеку, наука, ничтоже сумняшееся, загородила собой ненавистные ей метафизику и трансценденцию, оставив фундаментальные вопросы человека и его бытия без адекватного ответа, зато предложив человеку свои — упрощённые и вроде бы точные — мифотворные решения: по итогам прогресса человек должен окончательно, имманентно (органически) онаучиться, став уже совершенно наукообразным, превратиться в саму ходячую науку, точнее бы сказать — в научно-информационную ячейку-комплекс, если не в механическую куклу, а всё в человеке вненаучное — метафизическое и трансцендентное — должно попросту отмереть.

О-о, учёный человек нового времени, или эпохи Модерна, занялся преобразованием и самого человека, изгоняя из него (его сознаниевого кластера) все «заблуждения» предшествующих веков — культурные,

мировоззренческие, религиозные, философские, вообще любые традиционные — и вгоняя в человека новые и непрерывно обновляющиеся «ясные» и «точные» научные представления.

Подстать науке стало и искусство. Оно шагом освобождалось от той же самой устаревшей, ложной и обманной-де традиционности, конечно же, в основном, христианской, всё более отходя от сакрала с его духовидной метафизикой и всё более приближаясь к человеку как таковому — что в текстах, ставших литературными, что в театральных представлениях, заместивших церковные мессы, что изобразительно — в скульптурах, картинах и портретах, что музыкально — в светских композиторских опусах, операх и опереттах, в концертах.

Искусство стало служить не Богу, не сакралу, а непосредственно уже человеку. Утвердился *гуманистический реализм*, подмявший под себя трансценденцию и опрокинувший священность.

Разумеется, кое-где, особенно в музыке, трудно было обойтись без чего-то высшего и низшего, внеприродного и внечеловеческого, но загнанная в угол наукой и просвещением трансцендентность все равно оказалась не более чем на службе у человека, впавшего в гумано-реалистичный раж.

И возымел место необыкновенный расцвет искусств, достигших небывалых ранее вершин — вполне и метафизических, трансцендентных, но ни в коем случае не сакральных, не потусторонних, не иномирных. То было воспевание *Человека*, человеческих и только человеческих деяний, страстей, страданий и переживаний, любви, ненависти, даже и пороков, хотя религия и церковь ещё долго сохраняли своё присутствие и влияние среди людей и в их сознании, но со временем всё более ограниченное, упрощённое, урезанное.

И в искусстве физика победила и укротила метафизику, её даже по-своему похитила, присвоила, обесчестила, хотя эта победа не была столь уж последовательной и категоричной, как в науке или в той же философии. Искусство вообще трудно оторвать от метафизики, ибо оно насквозь метафизично, но сместить координаты куда-то в сторону от метафизики хотя бы на словах всё-таки удалось.

Есть еще *техника* — этот выдающийся продукт науки, искусства

и изобретательства, но с этим феноменом всё гораздо яснее: демиургирующий человек буквально кинулся создавать орудия для своей авторитарной демиургии, как ментальные, так и материальные, служившие физической переделке земного физиса, его переустройству и пересотворению. Человек в итоге создал разнообразный и вполне целостный *техноМир*, что позволило человеку-демиургу приступить даже не к переходу, а прямо-таки к прыжку в *neprirodnu*, уже полномасштабно и целостно предстоявшую архаичной природе.

В развитии техники и становлении технокомира была, конечно, своя метафизическая мотивация, мало осознавшаяся вольно и увлечённо творившим человеком, но... откуда же эта способность и возможность творить, изобретать, создавать неприродный мир, если не от... иномирья, от трансцендентного, от ничто?.. но... с этим всем было в умах человеческих уже покончено и всё сводилось лишь к свойству высокоорганизованной материи, каковой по большей мере и мнил себя человек-демиург.

Нет, метафизика совсем не исчезла, хотя с открытой умственной ареной была вынуждена уйти, раскритикованная и осмеянная; метафизика укрылась в ментально-духовных бастионах религии и церкви, в тыловых фрагментах философии, в закрытых и едва тлевших очагах эзотерики, не избежала она убежища и в той же мистике со всякого рода заманчивым оккультизмом.

Победа науки и физики над философией и метафизикой была явной и решительной, но... не только не полной и не окончательной, а и, как показала история, совершенно временной, точнее... никакой победы по сути и не было, а было грубое вытеснение подрастерявшихся противниц на периферию умственного процесса, в ментальные катакомбы, ибо полные метафизики и окормляемые трансценденцией сознание и носфера, корреспондировавшие с метафизикой и трансценденцией самого мироздания, никак не могли даже при всём желании уйти от... самих себя, — и наступил момент неизбежного реванша, совпавший с первыми признаками кризиса модерновой цивилизации на рубеже XIX — XX вв.

Демиургировавший активно человек многое тогда совершил, он заметно переделал и продолжал переделывать доставшийся ему в наследство от... *неизвестности*... мир, создавая свой собственный мир — искусственный, ему уже вроде бы хорошо известный, и человек-демиург

мог уже вполне удовольствоваться совершённым, но... тут-то и началось самое странное: ни сам человек не мог принять с любовью и безоговорочно этот новый мир, ни сам этот новый мир не мог с любовью и безоговорочно принять человека; обнаружилось фундаментальное экзистенциальное противоречие между человеком и построенным им миром, проявлявшееся в их взаимном неприятии и друг от друга отталкивании; и коль скоро от мира этого его устроители не собирались отказываться, то оставалось лишь продолжить его созидание и активизировать переделку под него человека, вдруг обнаружившего строптивость и не желавшего просто так интегрироваться с этим умопомрачительным миром; один за одним стали возникать, если и не прямо противоположные, но в той или иной степени альтернативные проекты нового искусственного бытия; тогда человек был признан архаическим и подлежащим интенсивной и разносторонней модернизации; столкновение между археочеловеком и новым, при этом и непрерывно обновлявшимся, миром, как и столкновение между самими разными уже людьми (видами людей) становилось неизбежным; модерновый мир вступил в эпоху своего общего кризиса и череды болезненных коллизий, но также и разного рода адекватных кризису переустройтельных действий и стихийных катаклизмов.

На модерновый мир вдруг надвинулась невидимая, но остро ощущаемая тень... *катастрофы*, из вязких пространств которой вышли вдруг на свет божий всякие грозные события вроде антиновомировских революций, внутриновомировских войн, проновомировских переворотов и ультрановомировских режимов.

Модерновый мир втянулся в беспощадную войну *среди, против и за* самого себя, что было обусловлено вовсе не устареванием этого нового и вполне ещё свежего мира, а вдруг возникшей в нём конфликтогенной алгоритмикой, обвязанной своим происхождением первичному завершению строительства нового мира и его себя достаточно полному обнаружению как перед лицом отвергавшегося им сакрального, природного и человеческого наследия — внешний конфликт с уходящим, но вовсе ещё не ушедшим миром, так и перед самим собою относительно возможных путей движения вперёд — внутренний конфликт вариантов и альтернатив.

Возникло мощное энергийно-информационное напряжение, возжелавшее немедленной и грубой разрядки, между прочим, вполне метафизического и трансцендентного характера, в чём новый онаученный и секуляризованный мир, конечно же, никак не мог себе признаться.

36

XX век — время большой кризисной тряски созданного предприимчивым человеком-демиургом *нового мира* (мира экономизированного, техницизированного, сциентизированного, секуляризованного, гуманизированного). Трудно сказать, каким был мир в распоряжении человека в эпоху славной Атлантиды, но столь обширного, разнообразного и целостного искусственного мира на протяжении известной истории у человека не было. Можно сказать, что человек (европейский, западный, постхристианский) вдруг оказался на другой планете или же другая планета вдруг как-то десантировалась на планету Земля, воврав в себя вдруг резко изменившегося человека.

И утвердиться этот новый мир вкупе с новым человеком мог только через большую многоходовую и многособытийную разборку между старым отжившим и новым пришедшим, между одним новым и другим новым, между тем, что было или уже явилось и тем, что только замысливалось как возможное, потребное и неизбежное.

Да, это была затяжная схватка за жизнь, её варианты, за условия жизни, её возможности, за пространство жизни, её перспективы, но это была также схватка внутри сознания и за сознание, за захват и подчинение ноосферы, за овладение смыслами и текстами, за их разработку и навязывание (победителями — побеждённым), за само устройство человеческого мира, за его модель и её внедрение, за культуру и цивилизацию, за человека и тип его реализации.

Всё это происходило в рамках Великого Проекта, никем не отменённого, но всеми по-разному понимаемого, идущего как *Великий Революционный Процесс* и близившегося к какому-то пусть и первичному, но всё-таки завершению. Ренессансная демиургическая телеология сплелась с новомировской демиургической эсхатологией, и чудесный искусственный мир, освящённый и заколдованный Просвещением неожиданно, но вполне обоснованно, вдруг затрясся, ища для себя

окончательный выход и не находя его в пределах самого себя.

Впрочем, какой-то временный выход был всё-таки найден — новый мир вкупе с новым человеком оказался изобильно оснащённым излишествами, на полной свободе, и, ничем не ограничиваемый и никем не укоряемый, он с восторгом перескочил из царства необходимости к царству импровизации, заменив подневольную экзистенциальную страду привольной изобретательной игрой, не заметив, правда, как попал в зависимость от обессмысленной импровизации и в кабалу к пустопорожней игре.

Передовой мир, хорошенъко передравшись внутри себя и напропаизводя мириады трупов, обеспечил свою победу надо всем прошлым и устаревшим, заодно аннулировав еретические поползновения альтернативных вариантов вроде фашизма, коммунизма и феодал-империализма оказался под водительством неимоверно окрепших и почти полностью овладевших планетой Соединённых Штатов, составивших вместе с пре-мудрым туманным альбионом — Великобританией глобальный общемировой штаб в существенно отличном от эпохи Модерна состоянии — *постмодерновом*.

Mир Постмодерна — воистину необыкновенный мир, мир-пустышка, мир-погремушка, мир-волчок. Крутится, вертится, мельтешит. Это мир-интеллект, голый интеллект, ничем не стеснённый и ни от чего, кроме фантазии своей, не зависимый. Мир-разум, мир-информация, мир-технология. Мир-мысль! Ни природы, ни истории, ни традиции. Лёгкий мир, парящий, непостоянный и изменчивый. Непрерывно новый, инновационный, обновленческий. И обманчивый! Никаких заведомых и всеми уважаемых устоев, никаких обязательств, никаких сакрального порядка ограничений.

Вполне счастливый мир: массовое безмерное потребление, удовлетворение любых желаний, всеобщая бравада и гедонизм, восторженный гламур. В общем — исполнение мечты, сама мечта, её потребление и исчезновение. Теперь не мечта о реальности, а сама реальность как мечта, которая есть уже мечта-реальность, а потому и не мечта и не реальность, а явленная возможность. Мир как непрерывная и повсеместная игра. Что тут невозможность? Ничто. Всё теперь возможность, отчего и мира-то вовсе нет, а есть лишь его имитационный призрак.

И вместо людей теперь их имитация, их импровизация, их блик. Не облик, а всего лишь блик, он же и глюк, он же и миг. Человек — миг, жизнь — миг, бытие... тоже ведь теперь миг.

Иномирье!

Мир, он же, видно, и постмир, в котором сознание само по себе, вне связи с природой и сакралом, вне зависимости от прошлого и истории, вне преклонения перед неизвестным будущим. Сознание от сознания, знание от знания, фантазия от фантазии. Ничего весомого и ничего предосудительного. Всё с нуля и всё сразу. Не в полноте вовсе, а в пустотелой дутости. Дутый мир. Мир-пузырь, мир-гондола, мир-оболочка. Но и мир-облако, мир-эфир, мир-ничто.

Этого ли хотели люди-просвещенцы пока бедствовали, страдали, боролись? А ведь и в самом деле ещё людьми были, а не схемами, не пустышками, не погремушками!

Просчитались?

Наверное, да, но и так само вышло, самим ходом вещей, а может... и ходом неизвестности — этой проклятой неизвестности, которую вроде бы уже познали и покорили, откинули на периферию прогрессного процесса, а она всё-таки тут как тут, без всякого намёка на раскаяние.

Вышло как будто бы не то, чего хотели, впрочем, может, *этого-то* как раз и хотели — материального, вещественного, физического, причём не чего-нибудь, а... *благополучия*, причем полного, всестороннего, разнообразного, а идейное, духовное, сакральное этому благополучию и подчинили, в него и загнали, разве не так? Так что же теперь удивляться, ежели всё так и есть?

Да, конечно, начинали вовсе не так, начинали как раз с идейного, духовного, даже и сакрального, правда, перетянув всё это на себя, на человека, и долго, знаете ли, держали всё это в себе и для себя, создавая литературу, светское искусство, театр, музыку, право, демократию, в общем — новую культуру, новую цивилизацию, новое устроение, вполне гуманистические, запустили вперёд хозяйственную инициативу, строили, производили, изобретали, окружая себя зданиями, предприятиями, теплостанциями, впутываясь в сеть шоссейных и железных дорог, мостов, трубопроводов, деля жизненное пространство с паровозами и пароходами, автомобилями и тракторами, самолётами и ракетами, не забывая,

конечно же, о винтовках, пушках, танках, крейсерах и подлодках, как и, разумеется, об атомных бомбах и оружии массового поражения, впрочем, развивали активно науку, образование, медицину, физкультуру, спорт, придумали всякие игры с мячом вместо гладиаторских сражений — и во всё это тоже вкладывая идеи, душу, страсть, много работая, трудясь, творя, ничего из трансцендентного вокруг себя не видя и ничего из потустороннего в окаёмах земных не замечая, кроме, пожалуй, одной лишь смерти-иудушки, которую научились для начала отодвигать по срокам, а потом, глядишь, и совсем с нею распрощаться.

Много чего натворили европлюди необычного и удивительного, целий новый мир соорудили, даже не заметив, что оказались в уже совершенно *иnom* мире, в *иномирье*, отличавшимся от прежнего мира не новизной как таковою, а своей фундаментальной *инаковостью*, отрицавшей не просто прежний мир, а вообще уже любой земной мир, а потому утвердившей как бы *надземный, надприродный, надмирский мир*.

Вырвались и... оторвались, и этот факт уже ощущать стали, чувствовать, хотя и не слишком ещё осознавать, радея по-прежнему о гуманизме и даже гуманности, которых уже давно нет, как, собственно, по большому счёту и не было — в ожидаемом образе, ибо нет места какому-то там гуманизму с гуманностью в *сверхгуманном* мире, где-то позади они остались и остались, судя по всему, навсегда.

Когда-то, на заре Ренессанса и в разгар Просвещения, потянул человек всю идейно-духовную составляющую на себя, немало себя обыдев и одухотворив, а потом, по прошествии вовсю деловитого и исключительно творческого времени, не избежшего кризисов, коллизий и катастроф, вышло вдруг так, что всё это идейно-духовное начало нежданно-негаданно испарилось из человека, оставив в чистом, незамутнённом виде лишь голый интеллект вкупе с сокрытым в нём счёто-решающим устройством — и произошло это вследствие того, что сам по себе человек не мог долго и продуктивно культивировать и удерживать в себе то, что было задано ему извне и сверху, чем он должен был непременно и непрерывно питаться. Оторвавшись самонадеянно от потусторонности и трансценденции, человек быстро изничтожил в себе резервы идейно-духовного, вложив весь свой идейно-духовный потенциал в доступный ему внешний мир, в мир искусственный, в мир науки, техники, вещей, в мир

по сути-то уже нечеловеческий, — а потому и истончился человек в духе своём, и растворил он дух свой в мире своём, и исчез, обессилив себя и мир свой.

Человекобрáз — вовсе не человек, а миробрáз — вовсе не мир человеческий!

И стал европейский мир... *никакойским*, и стал он господствовать на планете и себя всей планете настойчиво навязывать, превращая планету Земля в... *никакую*, но... но... это уже совсем другая песня, к которой ещё подладиться незаметно надо, творя по ходу кое-что из невозможного и что-то иномирное на голову свою вытворяя.

37

Когда великое европейское деяние начиналось, то казалось, что ресурсы тут безграничны — природные, материальные, вещественные, но и человеческие тоже — что у проектёров и конструкторов, правителей и менеджеров, у всякого рода предпринимателей и эксплуататоров, что у работников и трудяг, нещадно эксплуатируемых, как, разумеется, и у военных, полицмейстеров и разбойников, не говоря уже о прокурорах, судьях и адвокатах, в общем — у всех так или иначе поверивших в человека (а ведь в человека-демиурга, что было тогда мало кому ясно — единицам!), развернувшихся к человеку и его необычайно возвысив. Протестантизм — не один только протест, но и приветствование — свободного человека, вольного сознания, самоопределяющегося социума. Здесь уже неукротимая вера в человеческий потенциал, его силу и бесконечность, в дальнюю, пусть ещё неясную, но уже вполне человеческую перспективу, в поднимающееся творческое сознание, в необыкновенные человеческие способности и свершения.

И пришло в европейскую жизнь осознание того, что городскими коммунами, феодальными герцогствами и мелкими королевствами можно было лишь начать движение в захватывающую новизну, сделать первые, пусть и самые важные, к ней шаги, но идти вперёд можно было только посредством крупных образований-государств, способных не только прикрыть собою рынок и всю новую жизнь, но и обеспечить сосредоточение больших ресурсов и сил для прорыва в широкое и дальнее будущее: и тогда на место коммун, герцогств и королевств пришли

крупные государства-нации, под эгидой и при участии которых и возникла вся модерновая европейская цивилизация.

Нет, никакой особой межгосударственной симфонии тут не было и быть не могло, но было зато креативное по конечным итогам соперничество, когда то одна страна, то другая выходила вперёд, брала на себя какую-нибудь, вполне, кстати, и трансцендентную, историческую миссию, становясь в чём-либо лидером, исполнителем, творцом, а потому и в той или иной мере созиателем *Новой Европы*, поначалу еще и довольно христианской, а затем всё более и более антихристианской, секулярной, обезбоженной.

И хотя Ренессанс родился в Италии, мотором новой европейской цивилизации стали Голландия и Англия, а потом и Франция с Германией, не считая Испании с Португалией, посвятивших себя наряду с Голландией, Англией и Францией великим колониальным завоеваниям.

Настал и срок новомировскому *паневропеизму* (*евроГлобализму*), что вылилось в попытки того или иного объединения Европы — то под эгидой Англии, то Австро-Венгрии, то Испании, то Франции, а затем уже и Германии.

И дрались, и воевали, и захватывали, и соединяли, и распадались, и... когда дело дошло до нынешнего Европейского Союза (ЕС)... добровольно объединились.

А ведь каждым государством-лидером предлагался свой вариант нового европеизма, исключая цезаре-папистский: Англия, к примеру, предпочитала единение экономическое, торговое, финансовое, разумеется, при ведущей роли Англии с её исключительным промышленным и морском положениях; Испания попыталась силой оружия объединить Европу под духовно-католическим знаком, но... не учла, что Европа была уже другой, не только посткатолической, но и постхристианской, а главное, инициативной, предпринимательской, творческой и... своевольной; Австро-Венгрия стремилась, как хитроумная феодальша, прибрать потихоньку к рукам летавшие окрест куски Европы; Франция, наевшись просвещения и объевшись революцией, попыталась, ведомая самозванным императором Наполеоном Бонапартом (новым-де Александром Македонским или новым Цезарем), силой овладеть Европой, но уже под флагом засиявшего в своём блеске европейского гуманизма; сказала

своё объединительное слово и Германия, сама едва объединившаяся в государство-нацию, государство-империю, да так сказала, причём дважды, что у европейцев до сих пор от этих заявлений мурашки по коже, хотя и не от прямых свидетельств, ибо участников милитарных драм уже в живых не осталось, а от всего лишь писаной истории да экранных изображений.

Германия, тоже решившись на милитарный захват Европы, как и Испания с Францией, предложила Европе не просто свой вариант модернового европеизма, а кое что похлеще, правда, более всего в случае не с кайзеровской имперской, а с притязаниями «тысячелетнего» фашистского рейха, вдруг взлетевшего посреди модерновой Европы благодаря... археотрицанию... этой самой модерновой — экономико-либеральной, демократо-плутократической, болтливо-разнужданной — Европы, отрицанию, нисходившему даже не к Средневековью, а к Спарте, к Македонскому, к Римской Империи, к Цезарю, к викингам, к христианскому рыцарству, и восходившему к новому арийскому проекту — национал-социалистическому, но при этом и фашистскому, а фашизм как раз означал крайнюю форму людского единения — безоговорочного! То было предложение Европе... *анти*-Европы, способной заместить старую и больную Европу — запутавшуюся в сетях ложной и лживой свободы, заживо гнившую и добровольно погибавшую. То была мужественная, мрачная и смертоносная реакция на затянувшийся кризис Европы — кризис Модерна, кризис ренессансно-просвещенческой цивилизации, кризис европейского человека. Европа нуждалась в очищении, которое и должна была проделать тотальная чистка — уже хирургическая, а не терапевтическая, и уж тем более не гомеопатическая, а главное — бескомпромиссная, беспощадная, долгая.

Вот вам и проектик в лоне победившего гуманизма — не так ли?! где Бог, правда, уже умер, а сам гуманизм... нет, не умер вовсе, а просто вытащил на свет божий своё... самое сокровенное, человеку как таковому как раз и противное, а именно... совершенство человеческое, привавшее к делу господ преобразователей, тех самых, что человека не испугались вовсе, а заставили на себя самого энергично и добросовестно поработать.

Новая гуманогенная раса, возненавидевшая расу европейскую,

больную и дискретную, способную лишь деградировать, разлагаться и умирать. Смерть ради жизни, но жизни совершено уже новой — *постевропейской*, — вот что привносил, совершал и чаял новый германизм, рождённый большой европейской войной 1914—1918 гг. (вовсе не такой уж и мировой) и подтверждённый второй великой войной 1939—1945 гг. — уже воистину мировой, причём там и там посредством не побед германских, а сокрушительных германских поражений. И после этого кто-то ещё не признаёт метафизики — метафизики бытия, истории, человека и человечества?!

Выдала кризисная Европа и ещё кое-что примечательное — не так уже среди самой Европы, как на её восточной периферии: усовершенствование социальных отношений и устройства общества, а затем уже (чуть ли не автоматически) и усовершенствование секулярного человека — и чуть ли не на вполне гуманных началах. Речь идёт о *социализме-коммунизме*, не захотевшем ни крайнего возрожденческого индивидуализма, ни наглой эксплуатации капиталом трудящегося населения. Отсюда идеи колlettивизма, обобществления собственности, социальной защиты, справедливого распределения благ, совместного неантагонистического бытия, бесклассового общества.

Начиналось это всё как совершенно идеальная, можно сказать, кабинетная, утопия, затем весьма быстро превратилась в идеальный, хотя и не менее утопический, но при этом и крайне амбициозный проект, а вылилось в итоге в настоятельную потребность социального переворота — либо постепенно реформного, либо радикально революционного.

Так или иначе, но подняла голову *Европейская Революция*, эта антагонистическая наследница *Европейской Реформации*!

Однако в ренессансно-просвещенческой Европе, прежде всего в Англии, нашлись защитные силы, которые, во-первых, противостояли новым, уже постевропейским проектам — что социал-коммунистическому, что социал-фашистскому, которые, впрочем, враждовали между собой ещё более яростно, чем со старушкой Европой, и во-вторых, сами стремились к какому-то обновлению, но с сохранением новомировских традиций гуманизма и либерализма, капитализма и финансизма. На помощь было призвано ещё находившееся в их ведении государство, что означало внедрение заметной доли этатизма — что более умеренного

кейнсианского, что более радикального дирижистского. Золотой денежный стандарт рухнул, деньги остались на номинальной государственной платформе. Подготовка и ведение войн, стимулируя этатизм, обеспечивали для капитала и производства расширяющийся рынок. Наступило время огосударствлённой Европы, во всяком случае, гораздо более огосударствлённой, чем это было совсем недавно. Гуманизм, либерализм, капитализм и финансизм подпали под этатизм, но зато в той или иной мере сохранились. Кризис Европы привёл к Европе огосударствлённой, в результате чего Европа осталась Европой, не превращаясь ещё в уже запретированную постЕвропу. Единой Европы не стало, а возникли по крайней мере, три Европы: этатическая ренессансно-просвещенческая, социал-коммунистическая и социал-фашистская. Оставались и национальные государства. Отсюда и всеобщая борьба с ведением больших войн. И выиграла, выжив, всё-таки старая Европа, правда, подкреплённая этатизмом и подкрашенная социализмом. Фашизм не прошёл из-за своей экстраординарной милитарности, звериной расовой политики и фундаментального человеконенавистничества.

Тут надо принять во внимание одно очень важное обстоятельство: на стороне старушки Европы оказались в тот момент две мощные силы — одна оказалась наследницей новомировской Европы в лице США, а другая — насильно обновлённая социализмом Россия, представленная тогда в виде СССР. США, будучи не совсем законнорожденным продуктом Европы, но всё-таки Европы — этого нового европейского мира, не могли не прийти на помощь всему тому, на чём и сами стояли — как раз на гуманизме, либерализме, капитализме и финансизме, тем более, что это сулило США занять верховное место в мире, вытолкнув с него Европу, а СССР, подвергнувшийся нападению со стороны европейского фашизма и приговорённый им к уничтожению, не мог не сразиться с фашистским проектом в союзе с США и всей антигерманской Европой в лице главным образом Англии.

Так что не сама по себе европейская геостаруха выжила и осталась на карте мира, а при непосредственном производительном и военном участии двух невозможных один для другого союзников Европы, один из которых — СССР, был ещё и столь же невозможен для самой Европы, как раз по причинам своего неискоренимого российства и только что

выращенного в своих недрах «азиатского социализма».

Так что европейская новомировская геостаруха была в полном смысле слова спасена — американским евроКапитализмом и азиатским евроСоциализмом, что заставило её после победы задуматься не над новой битвой на пространстве Европы, а над мирным себя объединением, разумеется, на началах пусть и испоганенных горькими европейскими пертурбациями, но всё ещё живых гуманизма, либерализма, капитализма и финансизма, правда... под бдительным оком, в угоду и при помощи своего младшего брата — США и вопреки окрепшему в большой европейской драке своему исконному противнику — СССР-России.

38

В середине II тысячелетия от Р. Х. в Европе вышел, ежели не выскочил, на историческую арену новый человек — *европеец!* Ему было от чего явиться: финикийцы, древние греки и римляне, карфагенцы, варвары, викинги, иудеи, христиане, феодалы, вассалы, рыцари, крестоходники, альбигойцы, храмовники, масоны, розенкрейцеры, оккультисты, ландскнехты, разбойники, крестьяне, цеховые ремесленники и торговцы-гильдийцы, мануфактурщики, финансисты, моряки и пираты, рабочие, колонисты, воюющие друг с другом правители и феодалы, преданные золотому тельцу папы и клирики, музыканты, паяцы и поэты, философы, алхимики, прорицатели, ведьмы и ведьмаки, иезуиты и инквизиторы, изобретатели и реформаторы — и все... *предприимчивые, активные, ловкие и умелые, жаждущие успеха, богатства, давно уже переставшие надеяться на Господа Бога, Христа и Божественное Провидение, склонные более полагаться на себя и свой ближний круг — авантюристы, проектёры, трудяги, герои, молодцы, бесы, черти, в общем — предприниматели.*

Как тут в самом деле было не явиться *европеицу*, этому новому хозяйственному субъекту, изобретшему и выставившему вперёд протестантизм, гуманизм, индивидуализм, либерализм, экономизм, прагматизм, предпринимательство, техницизм, сциентизм, творчество, инновации, грабительство, накопительство, обогатительство, рост, развитие, прогресс, в общем — Новое Время, Новую Жизнь и Новую Европу.

Варился, варился в европейском кotle человече и выварился вдруг

в нового человека — в образе *европейца*, которого в Европе ведь долго не было, а были лишь проевропейцы или же предевропейцы, но никак не европейцы. И не мешало быть европейцу англичанином, французом, голландцем, испанцем, чехом, неополитанцем или германцем, поскольку главное тут состояло в особом *европейском духе*, всех человеков в Европе раз за разом и пронизавшем.

И дух этот был в первую очередь экономико-предпринимательский, а потом уже любой другой: католический, протестантский, политический, демократический, научный, технический, деловой, просветительский, творческий, милитарный — какой угодно, ибо Европе требовалось всё, как и всё это в итоге состоялось, вся новомировская целостность, вся цветастая палитра столь сложной новомировской событийности.

Это было, конечно, чудо — стратегический вырыв вольного человека на простор земного бытия — и переворот европейский увенчался не чем-нибудь, а мануфактурой и фабрикой, паровой машиной, смитовской политэкономией, гегелевской философией, светским искусством и литературой, железными дорогами и автомобилями, дредноутами и телеграфом, театром и синематографом, авиацией и ракетами, танками и атомной бомбой, в общем — созданием нового, по сути своей уже неприродного, совершенно уже человеческого мира, который и стал называться *европейским*, что означало вовсе не географическую его особенность, а непосредственно *идейную, концептуальную, онтологическую*.

Возникла Новая Европа — как оригинал, исключение, перспектива, как мир инициативы, выдумки, прогресса, как мир интенционный, экспансивный, агрессивный, как мир-привлекаловка, мир-сблазн, мир-прелесть. Мир-свобода, мир-движение, мир-возвышение. Может, такой была или могла бы быть когда-то Атлантида, но в известной истории ничего подобного не было — впервые, экспериментально, чудесным, прямо скажем, образом. Из Христа, через отход от Него и последующее Его отвержение! Через возрождение в Христе отринутого когда-то Христом античного человека, скорее, пожалуй — через рождение во Христе уже неоатлантического человека, то бишь *европейца*.

Великие географические открытия, а за ними и обширнейшая европейская колонизация планеты, дали возможность европейцу стать

человеком всемирным — *человеком мира*, мало того, не только получить в своё распоряжение планетарные ресурсы, но и насаждавать в разных местах планеты свои резервные локации, одна из которых, возникшая в Северной Америке, добившись насилиственным путём политической независимости от Европы, стала ничем иным, как ещё более новой, при этом и совершенно уже искусственной, сознательно созданной, целеположенно сотворённой (масонами, кстати) Европой, отчего Европа стала совсем уже обоснованно называться Старым Светом, а американская — Новым Светом, как раз новоевропейским.

Североамериканская Европа была основана, обстроена и развита как раз теми самыми новыми европейцами, которые явились в Европе в середине II тысячелетия от Р. Х., но не находили в Европе достойного себе применения: свободного, деятельного, созидательного, авантюрного, экспансионного, агрессивного.

В Америке, как и в других местах вроде Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки, как раз и реализовался более всего новый европеец — в чистом виде, на расчищенной от аборигенов плодоносной земле, а также посредством эксплуатации завозимых в Северную Америку из знойной Африки чернокожих рабов. Возникшее в Северной Америке супергосударство — *Соединённые Штаты Америки* стало не просто продолжением Европы, не просто даже Новой Европой, а и некой уже *сверх-Европой*, ибо было свободно от тянувшего назад тяжеловесного исторического наследия, от сдерживающих традиций, от того же Папы Римского с его неповоротливой Церковью, не говоря уже о разного рода сильных и не очень сильных наследственно властей предержащих. Относительно Европы, или Старого Света, США оказались исторически эманципированным пространством, где могла развернуться большая домостроительная работа, воплощавшая не что иное, как непосредственно уже человеческий замысел. То было самое настоящее *создание человека мира*, мира сразу большого, государственного, цивилизационного. То было строительство за Атлантикой *новой Атлантиды*, не обременённое религией, философией, какой-либо традиционной идеологией, даже и искусством с литературой, не сдерживаемая никакими круговыми запретами, обычаями, установками, строительство вольное, инициативное, рискованное, но идущее вперёд и вперёд, ориентированное только

на настоящее и будущее и уж никак не на прошлое, можно сказать — *внеисторическое*.

И это было очень и очень важно: Европа родила заокеанскую Атланто-Европу, которая, будучи в истоках своих Европой, не была отягощена европейским прошлым, а потому оказалась вполне свободной от... Европы, став *par excellence* тем самым новым миром, о котором так мечтала Новая Европа, но которым сама стать никак не могла, да и до сих пор не стала, хоть и стремится уже на наших глазах превратиться в подобие США — в *Соединённые Штаты Европы*.

И пока Европа втягивалась в свой затяжной кризис, подходя шаг за шагом к большим войнам, крупным социально-политическим переворотам и утверждению совсем не слабых антиновоевропейских режимов, Соединенные Штаты энергично становились, развивались и крепли, исповедуя чёткий житейский, он же и хозяйственный, прагматизм, не преминув разыграть и собственную большую войну — граждансскую, как раз ради утверждения своей сверх-Европы — экономической, творческой, технотронной, наукогенной, прагматической, а в плане идеологии — маконско-позитивистской. Американский демиургический эксперимент — самое настоящее и самое реальное строительство пресловутого Храма Соломона (тоже ведь Домостроительство), чем всегда занимались под чутким незримым водительством легендарного архитектора Хирама разного рода морально-хозяйственные устроители мира человеческого — вольные каменщики, храмовники, тамплиеры, розенкрейцеры, как и, разумеется, правоведы, моралисты, парламентарии, менеджеры, а потом и учёные, исследователи, инженеры, деятели искусств, писатели, изобретатели, всякого рода прожектёры, утописты, футуристы, прогносты, одним словом — архитекторы всего и вся, в том числе и самой старушечки Европы.

Не обременённые старосветскими проблемами и противоречиями, не говоря уже о страстном паневропейском проектизме (бонапартовом ли, социалистическом ли, фашистском ли), Соединённые Штаты Америки, разместившись и буйствуя за океаном вдали от матушки Европы, смогли не только по-сыновьи отойти от старой Европы, но и по-передовому её догнать и перегнать, разумеется, в делах чисто хозяйственных — без сильных погружений в такие, прямо скажем, не первые нужности, как

религия, философия, литература, искусство, во всяком случае в их крайних, как бы и не в практических, реализациях. Ежели дух, то дух практический, созидательный, действенный, одним словом — *предпринимательский*, ибо всё остальное, что не предпринимательское, не более чем искус, прелесть, баловство, как и всё то, чем была уже давно больна Европа и от чего, собственно, передовой европеец и сбежал подале от Европы. Утилитарность, польза, непосредственное благо — вот ради чего стоило жить, трудиться, хозяйствовать, чем, не сильно сомневаясь, Америка и занималась, превзойдя Европу и выдвинувшись на ведущие утилитарно-хозяйственные, материально-технические и деятельски-прагматические позиции в планетарном мире. *Европейское чудо* тогда уже свершилось, на очереди было *чудо американское*, не замедлившее в будущем XX в. себя вполне выразительно проявить.

Благоденственная, бурно развивавшаяся, но критически против себя самой настроенная Европа втянулась в классовую борьбу и грядущую революцию, которая, правда, в самой Европе так и не свершилась, а главное — Европа вдарилась в ужасные большие войны, названные мировыми, хотя мировой более всего была лишь вторая большая война, а первая была более всего европейской. Войны эти всё и решили: Европа ослабела, подразорилась, обеднела, не только утратив своё былое величие, но и ведущую в мире роль, а сила, богатство, державная мощь и ведущая роль на планете перешли к Соединённым Штатам, к этой загодя подготовленной Европой европейской резервации, в которой чистая сверх-Европа вдруг и явилась на свет Божий, подмяв под себя уже устаревшую Новую Европу, правда, подмяв, что называется, с уважением, посыновив, позволив сохраниться, подняться и перейти к мирному внутриевропейскому существованию, образуя шаг за шагом когда-то и кем-то задуманную ментально и в боях реально вынашивавшуюся Единую Европу — Соединённые Штаты Европы. И классовую борьбу удалось подмять, и социализм пустить в нужное социал-демократическое русло, и с Ватиканом договориться, наконец, расправиться с фашизмом, покончив с ним, как кажется, окончательно и бесповоротно. Получилась миролюбивая, ставшая вновь на ноги, развивающаяся и даже процветающая, к тому же шаг за шагом объединявшаяся Европа, демократическая, бур-

жуазная, в меру дирижистская, благонамеренная и благоуханная, в общем — почти рай, совершенно земной и как бы сам по себе образовавшийся.

Рай этот сразу же с момента еговольно-невольного строительства был надёжно прикрыт не просто США, даровавшей весьма разрушенной и вообще расстроенной войной Европе спасительный план Маршалла (деньги, оборудование, ресурсы), но и быстро сотканным из европейцев с ведущим участием США военным Северо-Атлантическим пактом (НАТО), что в итоге позволило Европе остаться Европой и заставило пуститься в создание ультрасовременного *Общего Европейского Дома*, к которому не замедлили присоединиться после развода СССР и международной социалистической системы центральноевропейские и балтийские страны, отпрынувшие от Востока и прильнувшие к Западу — не то союзнички, не то перебежчики, не то мигранты.

Сегодня — в XXI в. — Европа — большое, даже и сверхбольшое, геостратегическое образование имперского типа, с единой валютой и кое-каким общим правительющим штабом (военным, политическим, экономическим), образование, продолжающее свой интеграционный поход, определённо обозначившийся где-то в 50 — 60-х гг. XX в., но в то же время переживающее как-то вдруг возникшие общеевропейские проблемы вроде экономического кризиса, кризиса европейского социализма (общества социальной защиты), кризиса государственных бюджетов и, конечно же, валютного кризиса, так и неожиданно вспыхнувшие (вновь ожившие) внутриевропейские противоречия: что делать, как быть, куда идти, с кем идти, а кого и сбросить с корабля современности?

Развал СССР и открытие рынков на европейских просторах усилили позиции не только США, но и Европы, как, разумеется, и Китая, и других стран, что вылилось для США и Европы в кратковременное (1,5 — 2 десятка лет) доминационное политическое и экономическое процветание: США — диктатор мира, его чуть ли не властитель; доллар — фундаментальная валюта мира, валюта-«делай, что хочешь»; Европейский Союз пошёл в гору, расширился, возгордился, породил евро — единую европейскую валюту, которая сразу тоже стала мировой, чуть ли не конкурентом доллару.

Что говорить, евро-атлантический, а лучше бы сказать — атланто-

европейский, Запад добился своего — чуть ли не полного и «пошти-ка» окончательного господства над планетарным миром и сделано это было в итоге вовсе не горячей, а вполне холодной мировой войны, в которой пораженцами стали СССР и почти весь мировой социализм, а победителями как раз США с Европой.

И это была вовсе не победа одних государств над другими, как и не установление доминирования одних стран над другими, нет, это была победа *и доминирование передового, уже постмодернового, мира надо всем планетарным миром, погруженным в основном в модерн и премодерн и располагающим не более чем производными, вторичными, зависимыми от передового мира анклавами постмодерна.*

Да, выиграли прежде всего США и Европа, однако в первую очередь, конечно же, США, а потом уже и Европа, но... такого рода выигрыши чреваты почему-то, нет, разумеется, не немедленными проигрышами, а, скорее... новыми проблемами, не очередными вовсе, а именно *новыми*, которых ранее не было, которые оказываются как раз следствиями недозволенных или же передозволенных побед, порождающих не такие уж оправданные, но зато далеко идущие глобальные (они же и глобалистские) надежды и устремления.

39

В Европе сегодня брожение, Европа убеждается то ли в полной невозможности Соединенных Штатов Европы, то ли в немалой эфемерности существующего Европейского Союза, где хоть и обновленная вроде бы Постмодерном и умеренная общеевропейским процессом Англия, Франция, Германия, Италия, Испания, Польша... — но ведь по-прежнему это всё те же Англия, Франция, Германия, Италия, Испания, Польша... эти бывшие ярые враги, а сегодня чуть ли не горячо любящие друг друга собратья по единой Европе, не забывающие при этом о своих исторических корнях, культурных особенностях и локальных интересах, — так что в современной Европе вовсе не так уж спокойненько, игроки там разные и ведут очень сложную игру, а тут ещё импортные негры, арабы, турки, мусульмане, которых всё больше и которые все уже-таки граждане Европы и которые не сильно глупее и дурнее коренных европейцев, к тому же они уже и европейцы, и всё прибывают, прибывают, да и белый

импорт прибывает, и уже подменяет собою коренных европейцев, которые становятся всё более умственными, утончёнными, имитационными, не говоря уже об их погружении в новоевропейский гедонизм и позднеримский гламур.

Утончается и истончается мирная и благодушная Европа, феминизируется и инфантанизируется, голубеет, быстро превращаясь в Новый Вавилон, теперь уже в совершенно райский, в изнеженный поздний Рим, в уютненький Содом и вполне раскованную Гоморру. Что говорить, свершилось: царство человеческое на земле европейской построено, сбылась мечта бодрых возрожденцев и страстных просвещенцев, жизнь европейская стала воистину хороша и жить в Европе стало совсем хорошо!

В Европе полный порядок, тотальный комфорт, всеобщее благо-денствие, и досуга хватает, и развлечений, и, знаете ли, культуры, которой с удовольствием живут, употребляя и потребляя. Не так много теперь в Европе творцов, но зато полно подрасслабленных исполнителей, нет уже глубоких мыслителей, но зато хватает цепких интерпретаторов, не слишком заметны духовники, но зато на боевом посту психотерапевты и адвокаты, не изобилует Европа собственными тружениками, но зато переполнена пришельцами извне и имманентными имитаторами. Теперь время клонов, ремейков, инсталляций. Ну и хорошо, и славно, ибо не страдают теперь в Европе, а наслаждаются, находя повсюду разномастную усладу — ту самую усладу жизни, которой в столь массовых размерах человечество никогда ещё не знало. Магазины, рестораны, шоу, электронные чудеса, авто, лыжи, яхты. Рай, он и есть рай!

Пятьсот исторических лет, пятьсот лет перестройки и модернизации, пятьсот лет упорной архитектурной работы, разумеется, не без страданий, эксплуатации, грабежа и войн, но ведь удалось же, удалось, и когда же, точнее, через что? — так ведь через последний столетний кризис, через век вроде бы загнивания и упадка, большого разора и чуть ли не полного самоотрицательного самоуничтожения (две большие рискованные войны, социализм, фашизм), — и ничего, при поддержке возникшей как будто по высшему провидению Североамериканской Европы — США, удалось-таки выскочить в совершенно Новую Европу — мирную, единую, вполне уже и европейскую.

Да, есть противоречия, есть проблемы, есть кое-какие неустройства, а у кого, скажите, их нет, зато такой прекрасной жизни, впрочем, где-нибудь в эмиратах жизнь и получше будет, но в Европе-то всё-таки ёщё жизнь, а не арабский ультрааквариум какой-нибудь, а жизнь есть жизнь, из которой что-нибудь ёщё и выварится — что-то ёщё другое, почему нет? — может, это и к счастью, что противоречия новые нарастают, уже общеевропейские, что проблемы новые явились, тоже уже общеевропейские — уж, не в этом ли залог неумирания Европы и очередного обновления европейской жизни?

Хоронить Европу не надо, это неумно и почти похабно. Вот вроде бы гнила, гнила Европа на глазах у всего мира, а подишишь ты — не только выжила, но и преобразилась, породив из гнили своей яркий посмодерновый плод — себя же новую, правда, не с гнильцой ли, не с червоточинкой ли, не с плесенью ли разноцветной на скоротечно подсыхающих уже семенах?

Что ж, всё это есть — и яркий люциферов свет, и гнильцо внутри пожилого, но упорно молодящегося организма, но это вовсе не значит, что Европы нет или Европа пренепременно кончается, нет, Европа есть и она продолжается, однако... вот тут-то и вся закавыка, ибо *неоевропеец*, на свет ныне вылезающий, вовсе уже не тот европеец, что Европу модерновую наперегонки отстраивал, а что-то уже совсем другое — это уже какой-то совсем новый, глобализированный и во многом уже денационализированный, европеонид, для которого никакой родной родины уже почти нет, как почти нет и родных языков, обычаяев, традиций, родных литератур, культур, искусств, даже родных безобразий почти что уже не осталось, а есть или пустотелое *неоевропейство* (оно же и *неоевропеонидство*) да уходящие в небытие остатки прежних европейских отечеств.

На место яркокрасочного и сочного европейского разнообразия приходит унылое и немощное однообразие, по геопринадлежности вроде бы европейская, а на самом-то деле уже более всего... американское, бродвейское, голливудское.

Да, Европа остаётся, но она и уходит, более того, это уже, по-видимому, не-совсем-Европа, а может даже совсем-не-Европа, хотя что-то европейское ёщё имеет место в Европе, даже за Европу ёщё борется, но...

не слишком ли уже поздно, а потому и тщетно, ибо Европа, так и не став пока Соединёнными Штатами Европы, попала уже под печать Соединённых Штатов Америки, своих спасителей, благодетелей и водителей.

Разумеется, не нам предрешать судьбу Европы, даже и чисто умозрительно, Европа сама себя определит, зная, наверное, свои пути и сроки — то ли европейские, то ли уже постевропейские, но что-то всё-таки заставляет нас воображать более всего уже *пост*-Европу, населенную не столько даже неоевропейцами, сколько уже *постевропейцами*, если, конечно, на то будет воля Господня и время, которое неумолимо и как-то очень быстро тает себе и тает.

Геоисторическая мистерия, которая ныне разыгрывается на пространстве Европы и которую можно было бы уверенно назвать «Похищением Европы», в самом разгаре. Да, США и глобальный центр немало сделали и делают для разогрева этой сладко-жуткой мистерии, ликвидируя европейское своеобразие, восходящее к европейскому разнообразию, но, — и это самое поразительное! — Европа сама активно и целенаправленно участвует в собственном же похищении, уничтожая всячески внутри себя не одни только границы, но и локальные особенности, вбирая в себя всё новые и так ли ей нужные страны и активно притекающих со всех сторон пришлецов, для которых Европа вовсе не дорогая Родина, а всего лишь тёплое гнездовище, удобное для физико-материального по преимуществу жизнеотправления.

Впрочем, история человеческая богата откатами, поворотами, зигзагами, так что и у Европы, возможно, есть иные варианты, которые, правда, не очень-то сейчас просматриваются, но ведь ЕС сегодня вовсем не слабом кризисе, как и в весьма чувствительном кризисе и сама Европа, а там, глядишь, что-то вдруг и вызреет из невозможного, и случится — кто мог предвидеть, к примеру, ту же недавнюю войну на юго-востоке Европы — в Югославии, а ведь война эта взяла, да и прогрохотала, причём с непосредственным участием НАТО и США — прямо посреди новоевропейского миролюбия вкупе с гуманизмом, либерализмом и демократизмом, не говоря уже о европейской толерантности и политкорректности?

Нынешняя то ли действительно объединенная, то ли попросту воедино сколоченная Европа хоть и всё ещё обывательски благоденствует,

живя цветасто, бодро и богато, но вовсе не отличается общественным спокойствием, более того, что-то весьма вдруг забурлила, то ли просто реагируя на кризис Европы с его ломкой европейского социализма, то ли сам этот кризис Европы невольно и нехотя провоцируя, предчувствуя тоталитарное завершение классической Европы — теперь уже не из воинственных Парижа или Берлина, а из сладкоголосого Брюсселя (и из эталонного Вашингтона, кстати, тоже). Да, в Европе разгорается борьба между пока ещё национализированными европейцами и «людьми» совершенно нового пошиба — так называемыми «новыми кочевниками», образующими даже для Европы новое и опасное человекообразное племя, если не расу — *неоевропеидов*.

Вот и явился в Европе «новый кроманьонец», готовый подчинить себе, а то и вовсе уничтожить, неподатливых «неонеандертальцев», этих устаревших бесповоротно ещё национализированных европейцев (англичан, французов, германцев, итальянцев, испанцев, греков, хорватов...), заменив их по необходимости податливыми неевропейскими пришельцами, готовыми-де согласиться на любые условия, выдвигаемые новой господствующей расой, состоящей из вымороченных финансистов, менеджеров, юристов, профессоров, шоуменов, «гомосексов» и т. д. и т. п., которые уже вне постоянного места жительства, устойчивой деятельности и привычного досуга, вне культурной автономии и политической оседлости. И хотя этот неокочевник более всего по происхождению европеец, а потому и неоевропеид, по складу же идеально-духовному, а лучше бы сказать — знание-информационному, он уже никакой не европеец, а потому ежели он и достроит свою Европу, то это уже будет явно не Европа, а что-то другое — кусок от неоАтлантиды, наверное.

Неоевропеец более родственен уже не Европе как таковой, а всему постмодernовому миру, глобальному миру, исходящему более всего сегодня не из самой по себе Европы, хотя ростки его, как и потуги к нему, всегда были в Европе, а из Америки, Уолл-Стрита, из Голливуда, ибо Америка, будучи продуктом Европы, оказалась более свободной от Европы, её исторического наследия, чем сама Европа, а потому более подвижной, изобретательной, прогрессивной, искусной и искусственной, но при этом и искусствительной. Послевоенное привнесение Америки в Европу и сыграло роковую роль в судьбе Европы, а попытки великого де

Голля и некоторых других европейских по духу лидеров противостоять нашествию молодого и сильного постевропейского американизма успехом не увенчались, мало того, где они, все эти борцы за археоЕвропу — как те, что были, так и те, которых просто нет? Европа сдалась Америке, своему незаконнорожденному дитяти, и нынешняя Европа есть уже не столько продукт развития самой Европы, как и её известной деградации, сколько продукт американского тоталитарного, чуть было не выскочило — тлетворного, влияния. Никаких «штатов» вместо стран в Европе ёщё нет, но что-то «штатское» там непременно будет, если в Европе не случится чего-нибудь экстраординарного, вроде развала ЕС, хотя возникновение вдруг чего-либо явно проевропейского в противовес антиевропейскому ныне более чем проблематично.

40

Возрожденческая Европа совершила внутри себя переворот в пользу... анти-Христá (неважно, что не сразу, поэтапно, врастяжку), а просвещенческая Европа этот переворот не только надёжно закрепила, но и обеспечила закрепление в Европе уже самого князя мира сего: европеец пошёл заметно дальше, не желая простого противостояния Христу, не желая уже никакой, даже остаточной, сакральности, а предпочитая надеяться только на самого себя, свой ум, своё любознание, свою изобретательность, своё творчество, чем и открыл окончательно дорогу князю мира, любящему действовать прямо через человека, опираясь на его эгоизм, сребролюбие и манию величия.

Европа — сложный, разнообразный, многослойный, разнонаправленный, многоликий организм — социальный, хозяйственный, политический, культурный, идейно-духовный, сформировавшийся исторически на историческом месте, несущий в себе огромное историческое наследие, пусть и неоднократно преобразованное — со сбросами отжившего и выработкой и восприятием нового, то самое наследие, которое, придавая Европе европейскость, удерживает Европу в Европе, делая Европу по-европейски творческой и прогрессивной и по-европейски же сдержанной и консервативной. Европа — очаг Нового Мира — мира Модерна, Нового Времени, лаборатория нового человека-модерниста — инициатора, предпринимателя, преобразователя, творца, как и очаг самой Новой Европы.

Нигде в мире не случилось ничего подобного — прорыва человека в собственное «Я» и в собственное будущее, что стало возможным посредством отречения европеоида от Природы и Бога и принятия на себя функции пересотворителя данного ему мира, превращения этого мира в мир взятый и человеком сделанный. В то же время Европа засомневалась в правильности ею содеянного и стала, в целом не отрекаясь от избранного демиургического пути, искать какие-то иные варианты — от особенных, национальных и европейско-имперских вариантов до таких крайних, в чём-то уже и антиевропейских, как социализм или тот же фашизм, что не только выразилось в кризисе Европы, потрясённой двумя гигантскими войнами, но и обусловило своеобразный... *конец Европы* — как общемирового лидера, как мощного демиургического очага, как генератора новейшего жизнеотправления.

Нет, Европа не сошла на обочину общемирового процесса, но она перестала быть его локомотивом, во всяком случае — первым локомотивом, самым мощным и динамичным. Сомнение, самоанализ и самокритика, обусловленные сложностью и насыщенностью Европы, как и взятой ею на себя трудной, тяжёлой и рискованной преобразовательской миссией, дали тот, мало кем ожидаемый, результат, нашедший выражение не просто в закате Европы, что может быть объяснено и обыкновенной усталостью от преобразований, коллизий и войн, а в закате Европы перед... Европой: Европа не выдержала самой себя, саму себя и отвергла, утратив в себе необходимую для исторических прорывов историческую уверенность.

Не то США — эти-то как раз набрались по итогам кризиса Европы и особенно Второй мировой войны, из которой США вышли самым успешным — окрепшим и разбогатевшим — победителем, великой самоуверенности, столь потребной для исполнения любой миро-исторической миссии, а коль скоро Америка была порождена Европой (прямо как гомункулус какой-нибудь в алхимической лаборатории), то США легко приняли эстафету в тяжёлой работе по человеческому переизданию человеческого мира от засомневавшейся и передравшейся внутри себя Европы, изрядно ослабевшей и утратившей роль главного всемирного лидера. США же ни в чём не сомневались, а главное, хорошо понимали, что нужно им и всему миру — свободного ото всех устаревших идеино-

духовных условностей, кроме внешних правовых, деятельного человека-строителя, соответственно, человека по преимуществу физико-информационно-технологического, способного, ни в чём сильно не сомневаясь, строить тот самый благополучный в материально-выживательном плане человеческий мир, а может, и *постмир*, создание которого было замедлено, если не прервано в Европе.

И если Европа была превращена в демиургический Левиафан посредством множества переворотов, ряда реконструкций и массированной ментальной обработки, но в случае с США всё было гораздо проще и эффективнее — США сразу и споро складывались в этот демиургический Левиафан, вовсе для них не вынужденно, а вполне и добровольно. В итоге мир получил мощный, максимально ясный и чистый, ничемrudиментарным не обременённый, нацеленный на движение вперёд и только вперёд демиургический центр-очаг, оказавшийся способным не просто топологически лидировать на планете, а и предложить земному человечеству великое дело достраивания того самого искусственного, неприродного, фантастического мира, замысел которого возник в Европе, где и получил первую реализацию. Успешно пережив за счёт войны и разлада в Европе собственный демиургический кризис, США вышли на миромасштабный уровень, что позволило им овладеть безграничным резервом и необъятным полем своего империального демиургирования — уже в роли мирового лидера-строителя, из чрева которого прямотаки вылезал и расплывался по планете ультрановый — евроамериканский, а точнее — американоевропейский, если не попросту *американский* — человеческий мир, не так уже модерновый, как *постмодерновый*, а вместе с тем и *постчеловеческий*.

Америка, Америка!

Это звучно, величаво, подъёмно! И в то же время непринуждённо, забавно, весело!

Реализация мечты человеческой о собственном мире, превосходящем матерь-природу и свободном от унижающего человека внешнего отцовского сакрала, невероятно пронзительном и обильном, чрезмерном, избыточном, почти что и райском. Вполне и творческом, изобретательском, инженерном. Ничего подобного не было и до сих пор нет на пла-

нете — в таких гигантских масштабах, в такой неимоверной насыщенности, в такой беспредельной неуёмности. *Мир в центре мира, мир над миром, мир — владетель мира!* Всё теперь оттуда — из США, всё самое новое, передовое, выверенное. Источник новейшего мира, производитель ультрасовременности, генератор будущего. Мир Постмодерна, мир надчеловеческий, сверхчеловеческий, внечеловеческий. Мир технический и техницизованный, научно-физический и научно-фантастический, мир соторяющихся и непрерывно меняющихся причудливых форм.

Формальный, конечно, мир, феноменально-функциональный, экстравертный, лишённый мирозданческой ноумenalности, исторической загадочности, трансцендентной тайны. Мир совершенно человеческий, про-человеческий, из-за-человеческий, ради-человеческий. Ясный и простой, хотя и архитектонически неимоверно сложный.

Созданная авантюристами пришельцами и продолжающая принимать стремящихся к личному успеху денационализирующихся пришледцов, Америка, не имеющая потаённой истории и не обладающая исходящей из небытия имманентной метафизикой — открытый гостиный и деловой двор, огромная межплеменная ярмарка, безграницная предпринимательская биржа со скрепляющими бурлящее инициативой и начинаниями космополитическое братство финансовой и правовой системами, равным образом и государственностью, как и, разумеется, со стихийно складывающейся и конкурентно воспроизводящейся социальной иерархией.

Чарующая особенность Америки — законопослушная, а лучше бы сказать — закону внимающая свобода — личная, житейская, деловая, корпоративная, политическая, штатская, что не значит вовсе, что в сформировавшейся Америке есть место анархии и своевольной стихии — ничего подобного! — в Америке царит закон, и вся пресловутая свобода там есть свобода лишь в рамках закона, или в соответствии с законом, на крайний случай — между законами, там где закона нет или ещё нет. Америка — totally регламентированный законом социум, и в этом плане вполне подневольный, но, однако же, не настолько, чтобы насовсем заглушить предприимчивую индивидуальность и деловую инициативность.

Америка гордится собой, своими техническими, спортивными и

голливудскими достижениями, своей производительной, изобретательской и творческой силой, своей финансовой, военной и конспиративной мощью, своей уникальностью чистого, как бриллиант, продукта Модерна, своей прогрессивностью, своей ролью главного творца Постмодерна, наконец, своим экономическим, техническим, научно-исследовательским, идеинно-пропагандистским доминированием на планете, своей великой значимостью в изменяющейся современности, своим назойливым глобализмом и командным положением в текущем мире, своими возможностями начертания, определения и конструирования будущего.

Америка возникла пиратски, захватнически, агрессивно, геноцидно, империалистически. Краснокожиеaborигены были по преимуществу уничтожены, а их остатки загнаны для их же блага в натуральные резервации. Из Африки были завезены миллионы чернокожих рабов, предки которых ныне свободные граждане США — афроамериканцы. И несмотря на социо-гражданский прогресс, преклонение перед свободой личности и бизнеса, массовое уважение закона, насыщенность житейским комфортом, беспрецедентное накопление знания, развитие науки, литературы, искусств, Америка остаётся всё такой же пиратской, агрессивной, захватнической, империальной, — и несмотря на свою улыбчивую физиономию, вполне, конечно, деланную, не может скрыть своего прямого родства с князем мира сего, с антихристом, в общем — со свободным человеком как таковым, совсем не отягчённым изначальной природностью и не обременённым никакой внечеловеческой сакральностью.

Америка, разумеется, находит всему соответствующие умственные и моральные оправдания, а ежели не находит, то искренне... извиняется (перед теми же индейцами, неграми, вьетнамцами), — и всё это лишь позволяет Америке оставаться Америкой — *империальной державой*, а ныне уже *имperialным властителем мира*, одаривающим планету не только своим эгоизменным управлением, но и вездесущим долларом, обильным кредитом, баснословными инвестициями, фантастическими долгами, виртуозными технологиями, военными базами, молниеносными вторжениями, человеколюбивыми войнами, опять же всякой идёйщиной, выраженной лучше всего негритянской эстрадой и голливудскими поделками (Голливуд — не так место, где делаются фильмы, как

очаг потребной Америке ментальности, средство идео-психической борьбы, лаборатория текущего и будущего сознания, институт ноосферы, её бесцеремонной инженерии, мастерская нынешнего и предстоящего мира).

Каждущийся мировой конгломерат стран, государств, наций, живущий-де сам по себе — весьма прилично скроенная и сколоченная Америкой *мирообщественная пирамида*, во главе которой США, подпираемые своими ближайшими сателлитами-соучастниками вроде Англии, ЕС, Японии, чуть ниже — так называемые развитые страны, ещё ниже — активно развивающиеся, ещё ниже — слабо развивающиеся, ну а совсем в низине — не собирающиеся никак развиваться. Кое-какие страны пытаются оставаться вне этой проамериканской пирамиды, а некоторые «самцы» уже помышляют о собственной пирамиде, но... реальна пока именно американская, как и проамериканская, пирамида, держащаяся благодаря США, но не только за счёт их грубой имперской силы, но и вследствие могущественного влияния вырвавшейся вперёд передовой американской цивилизации, всесторонне определяющей современность и уверенно (так, во всяком случае, многим сейчас кажется!) овладевающей будущим.

Что ж, США отдают себя миру — как его передовой отряд, его образец, наставник, проектант, его водитель, а планетарный мир, покоряясь, угоджая и подражая Америке, платит США не одной только проамериканской политикой, но и любыми жизненными ресурсами, среди которых самое достойное место занимают рабочая сила, интеллект, профессионализм, творческий потенциал, в общем — человеческий фактор, ибо гуманизм требует много *homo*, и этот *homo* сам является в качестве добровольной дани в роскошные вавилонские сады князя мира сего, безраздельно царствующего на непрерывно строящейся и постоянно недостроенной американо-мондиальной властно-финансовой пирамиде (достаточно вспомнить рисуночный доллар с его усечённой пирамидой и всевидящим оком).

Между Америкой и миром — альянс, может, не такой уж всем миром желаемый, как и внутренне прочный, но так или иначе действенный и внешне вполне благопристойный (ООН, Всемирный Банк, МВФ, ВТО,

«Семёрка-восьмёрка», «Двадцатка»...), в общем — американский миро-
вой мир!

41

Премодерн был не без колебаний и сомнений, борьбы и расправ отринут Европой, модерн ею начат и в общих чертах реализован, но полное, почти что кристально чистое воплощение модерн получил уже не в самой Европе, а в открытой Европой и изначально совершенно модерновой Америке (США), где модерн легко и широко развелся, не встретив ни упорных премодерновых преград, ни самоубийственных для модерна альтернатив: национальных, социалистических, фашистских, а потому не только был успешно завершён, но и, достигнув состояния *ультрамодерна*, плавно перешел в *постмодерн*, не только решительно вымыvший остатки премодерна, но и изрядно потеснивший сам возлюбленный Америкой и возлюбивший Америку модерн — почти до самого конца.

Именно Америка — могучая и ненасытная Америка, свободная, деловая и предпримчивая, заполучив самым удачным образом великий выигрыш от двух великих войн, связанных Европой в связке с Японией, и волею Провидения попавшая на роль безоговорочного мирового лидера, именно она — счастливая Америка! — поймала за яркий огненный хвост постмодерновую Жар-птицу и, восторженно ею завладев, принялась щедро рассыпать по миру чудесные от неё пёрышки, точнее, отблески от этих чудесных пёрышек, вполне и Люциферовы.

Америка получилась, она заслужила мирскую признательность, благодарность и даже преклонение, да что преклонение — сакрализацию, как тот же золотой телец, к подножию которого сама Америка припала когда-то и продолжает старательно и неустанно припадать — признательная и благодарная, состоявшаяся, великолепно обустроенная и ярко цветущая.

Чудо-Америка и Америка-Чудо!

Великая Америка — мощная, циклопическая, монструозная. И свободная, свободная, свободная! Она же и *Четвёртый Рим*, который не должен вроде бы быть, да вот, подиши ты, есть, ещё и воистину миро-вой, планетарный, глобальный!

Имперскость вовсе не противоречит демократии, как и любой

элито-плутократии, гражданскому обществу или тем же общечеловеческим ценностям, как и экономике с частной собственностью и инициативным предпринимательством и уж тем более не противоречит такая имперскость фирмам, банкам, корпорациям, финансовым группам, в общем — капитализму, наоборот, при удобном случае со всем этим она ловко сочетается, не гнушаясь никаким экономико-политико-идеологическим империализмом.

Имперскость — вовсе не обязательно диктатура, тоталитаризм, всеобщее огосударствление и непременное подавление заурядной личности, как и оголтелая эксплуатация подвластного населения, покорённых народов, приобщенных к империи провинций, прихваченных намеренно или ненарком безголосых колоний.

Имперскость — прежде всего дух, идея, намерение, алгоритм, деяние, сдабриваемые силой, мощью, амбицией, уникальной судьбой, «заточенные» на возвышение, доминирование, господство, это как раз всё то, что вполне наличествует в США, не исключая, кстати, и диктатуры (идеи, концепции, закона), и тоталитаризма (вездесущей регламентации бытия), и даже ограничения свободы личности (в Америке ведь мало что позволено из житейского, отчего, наверное, и разного рода специфические эксцессы вроде внезапных умалишённых расстрелов ни в чём не повинных сограждан).

Америка вполне имперски устроена, несмотря на пресловутую свободу штатов и всегражданские выборы — Президент, Правительство, Парламент, Верховный Суд, ну и Пентагон с ФБР и ЦРУ, в общем — вполне имперская властная вертикаль, она же и пирамида; Америка имперски одухотворена (величие, заносчивость, гордыня!) и имеет вполне ясные имперские интенции и свершения, причём относительно всей планеты Земля, не то что какой-то её части.

Однако в торжествующей и доминирующей в мире Америке почему-то сегодня весьма тревожно, даже и волнительно, если попросту не тряско.

Прошла, видно, Америка, если не проскочила, какую-то фундаментальную историческую меру — феноменальную и метафизическую одновременно, прошла! Теперь вот откуда-то надрыв, неуверенность, невозможность! Чрезмерность, которая оборачивается немощью;

изобильность, за которой маячит пустота; величие, от которого исходит низость.

И всё по законам дьявольской диалектики: победа, а за ней... измена; обретение, а за ним... тщета; высота, а за нею... бездна!

Хорош был проект «АМЕРИКА», невероятен и действенен, синергетичен и антиэнтропиен, энергиен и воплотителен, но и он не миновал эсхатологии, он тоже поддался на энтропию и неизбежные завершения, не избег конечности и смертности, но не в силу только достижения цели — позитивной телеологии, а и по причине... предательской себя... невозможности, обнаруживающейся как раз в момент наивысшей себя возможности, прямо в точке своей полной эзистенциальной невероятности.

Пока Америка позитивно дружилась с Модерном, была им одухотворена и несла его самоутверженно на себе, Америка была вполне нужна, и всё у неё получалось. *Америка — проект Модерна, а Модерн — деяние Америки!* Тут всё было в феноменальной, исторической и метафизической гармонии. Иное дело — Постмодерн, это непридуманный и сам собою выскочивший продукт Модерна и Америки, завершивший Модерн и уже схвативший за горло саму Америку... уж не с тем ли, чтобы и её завершить вместе с Модерном, отправив их вместе во внеисторическую бездну-могилу?

Постмодерн — это хоть и *ультра*-модерн, но это уже и *пост*-модерн, мало того, это ещё и *пост*-гуманизм, соответственно *пост*-человечность, — в том смысле, что на место ЧЕЛОВЕКА, занимавшего центральное место в Модерне, приходит постмодерновый *пост*-человек, который относительно модернового человека либо обездущенный механизм, либо говорящая пустышка, либо отчаявшийся безумец, а в целом — более всего *бес*, ибо он о-бес-сознаниен, о-бес-чувственен, о-без-духовнен, о-без-умлен.

Таковой оказывается ныне и Америка, что хорошо видно по всему скоростному её образу бытия, по денежно-финансовой изворотливости и технологической изощрённости, по всей её *искус*-ной продукции, по всему антиэзистентному, если уже не трупному, яду, сю на весь мир из себя источаемому.

Постмодерн — не жизнь вовсе, а замысловатая и путаная антижизнь, а ежели ешё и не смерть, то уже явно... нежизнь, как раз та самая *нежситъ*, давно подмеченная находчивой мудростью человеческой.

Умна Америка, горделива и ловка, изобретательна, находчива, ибо игрок она большой и крупье великий, ещё и фокусник, к мошенничеству склонный, но боязлива она ныне и труслива — как сытый и избалованный аристократ в четвёртом поколении, а потому плетёт, плетёт она свои липкие сети, мир ими старательно опутывая, а сети не выдерживают, рвутся, дырятся — и мало что выходит толкового у Америки, разве лишь натужное протягивание своего о-бес-смысленого уже с человеческой точки зрения бытия.

Человечность — тоже ведь мера. А если за пределами этой меры, тогда что? Вот и обнаруживается постмодерн, он же и постмир, он же и антимир.

Америка — самый большой, самый совершенный, самый целостный и законченный искусственный мир. Это мир-титан, он же и мир-«Титаник», но не потому, что американского монстра поджидает уже плывущий ему навстречу коварный азиатский айсберг, а потому, что на борту самого североамериканского «Титаника» как-то очень уж всё стало проблематичным, непонятным, безысходным. И импорт мозгов со всего света что-то уже не слишком помогает, лишь продляя затягивающуюся «титаническую» болезнь: «11 сентября» — никак не признак выздоровления, а ФРС — явно не самый успешный врачеватель.

Америка ныне — это уже ничем не утоляемый перманентный кризис, кризис-монстр, кризис-«Титаник», как раз тот самый апокалиптический кризис, из которого не бывает никакого выхода, кроме... *преображения*, — и кто же в Америке, кроме несчастного 44-го президента, склонен к такому преображению, ежели даже грохот «11 сентября» не был провидчески услышан: ни громкого крика прозрения, ни общего покаянного вопля!

Америка уже *вне* мировой и мировой реальности, она вся в своей собственной (не блевотной ли уже?) ирреальности. Кто глубоко думает, тот склонен понимать! Ведь и с СССР что-то подобное было: где он теперь — могучий и нерушимый?!

Информационно-технологическая апокалиптика — разве её нет?

А США-то впереди, в авангарде, на полном скаку! Куда и зачем? В *иное*? Но какое же *иное*, во что и с кем?

«Современная» философия и есть современная Америка, которая прямо-таки и есть вся «современная философия». Всё тут по-постмодернистски, зыбко, песочно, рассыпчато. Мысли ради... бессмыслия! О-о, этого мало кто хочет, но так получается, ибо это мысли... нет, даже не ради смерти, а в угоду... пустоте, той самой, что угнездилась в постмодерне и обуяла нынешнюю ультрафилософию, переставшую быть собственно философией, ибо заместила она тайну мира своей собственной — пустотной — тайной, из которой ничего уже кроме ненужного чертополоха, произрасти не может. Э-эх, книжники и фарисеи, и прожектёры, и маргиналы, и сквернословы — ради чего же вся ваша учёность, вся ваша во всём вроде бы осведомлённость, вся ваша крутая ничегошечность — ради чего?

Бог — *ничто*! Вот и вся высокая истина, впрочем... и Америка с Постмодерном не что иное, как *ничто*, а если и *нечто*, то не более чем «титаническая» инсталляция.

Ницше — гений, он — молодец, Бога отверг, Христа, и человека вслед за ними, соответственно и мир Божий отверг, и мир Христов, и мир Человеческий. Правильно сделал, ибо не видел вокруг себя ни Бога, ни Христа, ни Человека. Так говорил не легендарный Заратуштра из Персии, он же и Зороастр, а вовсе не такой уж легендарный Ницше из Европы, полунемец и полуславянин, а может и полу... человек тоже, всё вокруг аннулируя и аннигилируя. Пришествие бездны заметил, ничтожащее ничто узрел, гибель Европе предрёк — и заколдовал Европу, как когда-то Гоголь Россию, и содрогание её смертоносное почувствовал, и безумием своим заплатил за безумие забесновавшейся Европы.

Передрался меж собой жестоко и кроваво новоевропейский мир, устроив две гигантские бойни, ряд коварных революций и громких имперских падений, но выжил — даже с кое-какими надеждами на будущее, а с помощью Америки ещё и зажил, в объединённую Европу превратившись, — и хоть Америкой новой не стал, но... обамериканился изрядно... под колпаком НАТО и водительством США, хоть и повыпендривался малость перед американским собратом, а то и сыночком, а то и дочуркой, силу и значимость великие вдруг набравшим.

Америка — не страна вовсе, даже и не просто большой и сложный мир, а гигантская всемирная паутина: финансовая, экономическая, технологическая, политическая, идеологическая, культурная, военная, по преимуществу легальная и открытая, а в главном всё-таки конспиративная и сокрытая. Паутина вполне империальная, монократическая, кровоносная и кровососная. Мир планетарный, конечно, весьма недоволен ею — это снизу, но зато правящие элиты, расставленные предусмотрительно по всемирной паутине (по странам и всем) — вполне довольны, ибо принадлежат они не странам и всем, а империальной Америке, этой глобальной спрутице, лояльность, гарантии и инструкции от неё безостановочно получая. Так что Америка везде и всюду, а не только в благословенных и несчастных США, и где её больше — большой вопрос?

Мировое лидерство и господство — вещи совсем не шуточные! Здесь и прозорливая идея, и конструктивный проект, и необъятное по миру содержательное сооружение. Это ещё и постоянное ко всему в мире внимание, неусыпный надо всем контролль, нескончаемая череда разнообразных деяний. Управление! И напряжение — колосальное имперское напряжение! Совсем не малая доходность, но и жертвенность при этом немалая! И хотя прокураторы верные повсюду расставлены, а над ними ещё и вышколенные кураторы, и варвары свежие — умные и сильные — отовсюду непрерывно в монополию прибывают (счастливчики!), и технологии всякие успешно созидаются и применяются — запредельные, сверхмогущественные, тончайшие, в том числе тайные и коварные, и деньги с инвестициями повсюду американские, и вся экономика тоже, не говоря о geopolитике, но... но... со всё большим скрипом, если уже не со стоном, вращается экзистенциальное миро-амириканское колесо, одновременно громоздкое и дырячное, одурманивая идейно-информационными выбросами эксплуатируемую Америкой всемирную провинцию, — и всё сильнее скрипы и стоны от предательски разбалтывающего имперского колеса, всё неэффективнее и отвратительнее американское водительство в мире, всё явственнее генерирование процветающей Америкой геостратегического зла и мирокризисных заварушек, всё опаснее для мира, народов и цивилизаций присутствие и верховод-

ство на планете эгоистической, прожорливой и всё более обезумливающейся Америки.

Америка даровала миру законченный Модерн, превратившийся вдруг в импровизационный и симулятивный Постмодерн, у которого, в отличие от модерна, ни вдохновляющей идеи, ни основательной концепции, ни целостного проекта, ни дальновзоркой стратегии, ни готовности к труду и жертвам, ни стремления к запредельности.

Да, Америка ныне в космосе и в геноме, она вроде бы штурмует мегамир и внедряется в наномир, напрямую и бесцеремонно вторгается в иномирье, она же достраивает долгожданный *техноМир*, способный окончательно вытеснить мир природный и мир человеческий (социо-психологический, сознаниевый, ноосферный), но... но... нет уже в Америке прежнего созидающего духа, нет прежнего национального единения, нет и прежней элитарной сплочённости. Разбредается как-то Америка, рассредоточивается и... чуть ли не разделяется, более пока, конечно, внутренне, скрытно, подспудно. Нарастают специфически американские противоречия, восходящие к разношёрстности и многоцветности Америки, её плюроплеменности. Вроде бы *нация*, но нация искусственная, поверхностная, придуманная, не органическая и не организменная. Модерн сплачивал и растил Америку — это своё удивительнейшее явление-образование, окропляя её кровью и потом, превращая в живой и единый организм, а вот постмодерн Америку... разлагает, осветляя кровь и высвечивая мозги, расслабляя тело и опустошая сознание, готовя приступ самоуверенной эвтаназии.

Постмодерн — прерывание истории, приостановка движения вперед, сбивание на круг, зацикливание. Постмодерн — тупик, лабиринтность, безвыходность. Верчение на месте, непрерывная, но никуда не ведущая изменчивость, волчковость. Духовная, идейная, интеллектуальная энтропия. Приоритет феноменальности над ноуменальностью, факта над смыслом, пустоты над насыщенностью. Незаметная болезнь, отбирающая силы, сладкое лекарство, силы не возвращающее. Мутирующая зараза, всюду проникающая и никакого снадобья не боящаяся.

Постмодерн — возмездие человеку за бесовскую самоуверенность и демоническую демиургию. Хотел этого человек или нет, но получил. Сам! И выхода из сетей Постмодерна, как и из сетей позднего Рима, нет,

а потому, кроме всё теперь изничтожающей войны, только один возможный исход — победа *Традиции*, но при том условии, ежели традиция переварит постмодерн и сама станет... *другой*!

42

Третий Рим, он же в XX в. СССР, сам разрушился, хотя и не без услугливой помощи извне — что идеино-политической, совместённой с экономической (гонка вооружений, соревнование за космос), что деятельно-конспиративной, не пренебрегшей антисоветским диссидентством, скрытой агентурой и доброхотовскими изменениями.

США, а точнее, мировой управляющий центр, в США привольно сидящий и ими активно пользующийся, заняли первенствующее положение в мире, уже вполне монометропольное, а плюралистическая планетарная провинция, в состав которой попал и резко ослабленный, расколовший и униженный Третий Рим XX в., совсем ещё не исчезнувший, но переставший уже самостийничать и дерзко фрондировать, признав мировое первенство и всемирное лидерство США (вкупе, конечно, с НАТО), что и вызвало иллюзию «конца истории» — как истории противоборства всяких возможных и невозможных Римов, в том числе и трёх последних, уже Римов нового времени — *европейского*, пусть долгое время разрозненного, разнообразного и внутренне взаимоборческого (английский Рим, испанский, голландский, французский, германский, итальянский), *rossийского*, ставшего в один прекрасный момент советским, и новейшего *американского*.

Многовековая «Римская борьба» завершилась, наконец-то, победой американского Рима, ставшего по её итогам как раз Четвёртым Римом, если исходить из того, что третьим была Российская Империя, обернувшаяся в XX в. Советским Союзом. Да, не исполнилось как будто бы пророчество старца Филофея о том, что Четвёртому Риму «не быть», а он вот вдруг случился — в лице и на базе США, хотя, разумеется, может и прав был всё-таки московитский мудрец, ибо трясёт что-то Америку, трясёт, да и мир планетарный, хоть и склонился ныне перед США, но вовсе Америке не покорился — ни окончательно, ни бесповоротно, да и с «концом истории» вряд ли мир согласился, ибо зрит он историю

и помимо США, мало того, и... без США, этого Четвёртого Рима, которому, кажется, и впрямь «не бывати».

Антиамериканизм, как и антимираимпериализм, как и антипостмодернизм, не менее сегодня актуальны, чем сами все эти американизм, мироимпериализм, постмодернизм, как и всё с ними связанное или же ими так или иначе обусловленное.

Да, США, да, американская всемирная империя, да, прогрессивный-де постмодерн — всё это есть, и никто этого не отрицаёт. Но ведь есть и другое — бурно развивающаяся азиатская Азия, расходившийся не на шутку в антизападном раже мусульманский мир, вспученная и никак не утихающая Латинская Америка, развороченная извне и ищущая себя Африка, есть и новейший Карфаген, впрочем, нет, конечно, не Карфаген, не совсем Карфаген, да и совсем не Карфаген, а лишь его отдалённый образчик — Китай, который в любом варианте не Америка, но зато ей — Америке, явный конкурент, неизбежная альтернатива, в общем — очень своеобразный, но всё-таки... *Карфаген!*

Есть ещё Индия, есть Бразилия, есть Иран, есть и многое другое, более мелкое, но зато и более громкое, задиристое и провокационное, есть ещё, надо особо заметить, и неопределённая, но всё-таки всё ещё заявочная Россия, которая не только *восьмёрка* при семёрке или рядом с ней, а *восьмёрка* есть знак единения Неба и Земли, но и фигулярная *двойка* — в БРИКСе (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), а двойка тоже ведь Земля с Небом, тоже сакральная целостность.

Так что совсем не радостно столичной Америке созерцать планетарную периферию, которая, впрочем, не такая уж для Америки и колония, хотя и не совсем уж свободная от Америки территория, но зато многослойно насыщенная — историей, преданиями, мифами, культурами, памятниками, мудростью, как раз всем тем, чем богат Премодерн, не допущенный в США, а ежели и слегка допущенный, то решительно уже подмятый — Новым временем, Просвещением, Модерном и Постмодерном.

Если Америка — непрерывно обновляющаяся новизна, страна без предыстории, то мир-провинция — сочетание новизны с ветхостью, где туманная предыстория не только держится в глубинах обветшалого

сознания и многовековой истории, но и, влияя на активно ныне воспринимаемую новизну, вырабатывает альтернативную Америке сложную актуальность. Ветхость там — не тяжкий, ядовитый и убивающий современность груз, а живительный ресурс и благоносный резерв для нескончаемого бытия, причём как раз сегодня — в эпоху практического космизма и нанотехнологий — миру человеческому особенно пригождающиеся.

В настоящее время всего значимее столкновение не Модерна с Премодерном, а Премодерна с Постмодерном, и не столько на площадке Запада, сколько в пространстве мировой относительно Запада периферии. На Западе сил у премодерна немногого, его основные силы на Востоке, где постмодерн, это фактически новейшая западная религия, не реализуется в чистом виде, а встречает сопротивление и борьбу со стороны выжившего премодерна. Кое-какие тактические успехи у империального постмодерна на Востоке, конечно, есть, главным образом внешние и поверхностные, подражательные, чего не скажешь о достижениях глубинных и стратегических. Восток не только держится и держится за своё, но и Западу служит немалой подмогой, щедро окормляя быстро возрастающих в числе западных ориенталистов.

Китай, эта вечная Поднебесная Империя, совсем и не римская, как, собственно, и Индия, тоже по сути империя и тоже совсем не римская, действуют не торопясь, размеренно и расчтливо, чему служит весь их идеино-духовный премодерновый потенциал. Китай не теряет голову и в трёх соснах не теряется, ибо он, как и Индия, экзистенциально стоек и мудр — не спешит, но и не отчаивается, и, кажется, всё заранее приемлемо знает, как, собственно, и Индия.

У США вера в посюсторонний разум, во внешнее функциональное знание, в логический расчт, одним словом — в науку, в исследование, в умственное заключение, причём скорое, деятельное, безостановочное. Не то на Востоке: там господствует древняя, омытая слезами и кровью, оплаченная вековечной историей мудрость, сдерживающая, конечно, науку и прагматику, непрерывное обновление бытия, но зато оберегающая саму осознанную жизнь. И сегодня там благотворный синтез — мудрости, науки и действия, разумеется, не очень стройный и не самый благовейный, но всё-таки синтез. Человек там сохранён и ни в какого

постчеловека не превращается. По глазам видно! Душа, может, там и не горит в созидальном экстазе, но зато в прогрессивном огне не мается. Разумеется, жертвы постмодерна и там есть, но их немного — этого неизбежного топлива прогресса! И ежели Америка уже сотворяет, закусив удила постчеловека, чем, кажется, и проамериканская Япония в какой-то мере пробавляется, то Восток от такого перевоплощения человека, судя по всему, застрахован — своей лояльной приобщённостью к премодерну.

Да, антипремодерновые революции и на Востоке возымели место, но... они не уничтожили премодерн, а лишь обеспечили сквозь него прорыв — в обновлённую, но не оторванную от премодерновой почвы жизнь. Долго дремал Восток, однако беспокойный и задиристый Запад его всё-таки разбудил — и сегодня Восток уже явная альтернатива Западу и чуть ли не вынужденный похоронщик самой Америки, разумеется, пока более в вероятности, чем в реальности, но чего под жёлтым солнцем и фиолетовой Луной не бывает?

Китай прёт вперёд — неудержимо и уверенно! Никакой гнили, никакой усталости, никакой суицидности! Китай весь движение, рост, развитие. Не сегодня-завтра он станет первым на планете по производству, по хозяйственной мощи, по экономической смётке, а там, глядишь, и по потреблению ресурсов. И это вовсе не вторая Америка, не новое псевдоевропейское издание, не искусственный постмодерновый клон. Это не ЕвроАмерика, не Чайна-Запад, даже не Евро-Япония — это... Китай, со всеми своими китайскими прибамбасами, делающими и удерживающими Китай Китаем.

А напротив Китая США, передовая во всех отношениях Америка, могучий всемирный центр, самоуверенная макушка устроенной самой Америкой планетарной пирамиды. Нет, Китай не пойдёт войной на Америку, не пойдёт он и на острый конфликт с Америкой, ибо знает, что Америке и так вскоре конец, причем... от самой же себя, ибо Америка себя уже выказала, своё дело сделала и себе самой достаточно уже осточертела. Китай даже поддерживает Америку, он продлит её существование, ибо она ему технологически нужна, но спасать Америку он не будет, ибо не захочет получить от неё рискованную дозу источаемого ею трупного яда. Главное для Китая — не допустить опасной для мира американской

постисторической истерики и яростного приступа постмодернистского безумия.

Идёт ли Китай на смену США в качестве верховного правителя мира?

С генеральным верхоглядством Америки скоро будет покончено: Америка сама снедает Америку. Страны-«маргиналы» лишь ей в этом активно споспешествуют. Но займёт ли Китай место США? Вряд ли! Китай — империя для самого себя и для китайцев, которые слишком особы и плотно закрыты для любых некитайцев, как и для мира в целом. Китай не годится для всемирного лидерства, ему нечего сказать миру и некуда его вести (не вести же весь мир в Китай!). Вряд ли Китай готовится управлять миром, ибо мир — не Китай, китайского управления мир не поймёт и не примет, но зато Китай, усложнившись и расплывшись, сможет телесно доминировать в мире, в нём просто присутствуя, воспроизводясь и усердно работая. Китай как бы сольётся с миром, глобально инкорпорировавшись в него, что выразится в итоге в феномене единения *Китая-мира с миром-Китаем*.

Разумеется, есть ещё Индия, мусульманский мир, Иран, Бразилия, как и есть пока Россия, не говоря об иных претендентах на бытийскую самость и историческую субъектность, на вариативность.

Гигантской и ёмкой Индии придётся, по-видимому, более всего рассчитывать на себя, в чём-то уподобляясь при этом Китаю — не суетясь и опираясь на свой мудрый премодерн, достигая необходимых геостратегических результатов на своём собственном игровом поле, не допуская туда никаких серьёзных конкурентов — вроде того же ненасытного Китая. Шансом таким Индия, судя по всему, обладает.

И последние станут первыми!

Сложнее и непредсказуемее судьба претенциозного мусульманского мира — множественного, разрозненного и полного стратегической неопределённости. В этом мире хватает всего: тут и процветающие материально и социально эмирата, и разорённые войнами и вторжениями милитаризованные страны, и демократии с неповторимым исламским привкусом, и такого же рода монархии, и столь же исламские диктатуры, в общем — пёстрый и загадочный мусульманский мир, отягчённый незыблемыми традициями, новомодным экстремизмом, межстрановыми

противоречиями, сектантскими противоборствами, противостоянием с Америкой, Европой, Израилем, Индией, Китаем, да мало ли ещё с кем.

Единого мусульманского геостратегического субъекта сегодня нет, да и вряд ли он в обозримом будущем появится, но есть более или менее общая идеология, кое-как образующиеся общие интересы, налицо существует и неугасающее чувство особости и взаимной общности относительно внешнего мира и перед лицом вдруг возникающего противника. Единого субъекта нет, но есть конгломерат субъектов, даже не кластер, и из этого конгломерата может явиться всё, что угодно, в том числе и вольная или невольная провокация мировой войны.

Несмотря на схожесть и даже общность с христианством, исламская идеология отличается значительной спецификой, делающей её так или иначе внехристианской, что позволяет ей противостоять христианству и порождённому христианством миру, в особенности, достигшему постмодерновой стадии бытия, как раз мусульманский мир по большей части и крупному счёту не устраивающей.

Мусульманский мир сегодня — не меньший, если не больший источник амбициозного напряжения, чем США вкупе с НАТО и Израилем, ибо он стал основным сопротивленцем американскому глобализму, западному постмодернизму и ближневосточному (форпостному) израилизму.

Не подвергая сомнению общей фундаментальной терпимости мусульманского мира к иным земным мирам, нельзя не обратить внимания на проявляемую из его недр острую нетерпимость, во многом и обоснованную, к империальному глобализму США, экспансивному западному постмодернизму и неугомонному израилизму, что чревато возбуждением серьёзных политических и милитарных коллизий вроде палестинской, иракской и афганской, а в перспективе и иранской.

Мусульманский мир не спокоен, он возбужден и достаточно взбудоражен, не так сам по себе опасный, он опасен своим нынешним перегруженным недоверием, протестностью и тревогой, что способно взорвать при случае мир в мире и спровоцировать конечный Армагеддон.

Америка со своим НАТО пытается утихомирить и полностью подчинить себе мусульманский мир, защитить от него своенравный Израиль,

предотвратить, не ослабляя своего господства в мире, явление новой мировой войны, но делает это столь неловко, двусмысленно и непоследовательно, что фактически играет на руку своим же противникам, немало их раздражая и раззадоривая.

Мусульманский мир сегодня — очаг обезмириания мира, это безусловный очаг войны (которая вовсю там и идёт!), не могущий быть погашенным без какого-то чрезвычайного внутримусульманского усилия, разумеется, не под бестолковым водительством США и не при высокомерной опеке Запада, но усилие такое не представляется сегодня реально осуществимым.

Есть ещё Латинская Америка с Бразилией, есть и Африка с неспокойными арабским и чёрным мирами.

Латинская Америка, совсем недавно почти безоговорочная вотчина США, ныне волнующийся и во многом уже антисевероамериканский континент, признающий разные политические режимы и хозяйствственные устройства, не брезгующий наркоторговлей и откровенно чаящий в ряде мест социалистического будущего, упорно стремящийся выйти на путь независимого развития, не прибегая в международной сфере к масштабным милитарным разрешениям.

Большая и громкая активность некоторых латиноамериканских государств вроде Кубы, Никарагуа и Венесуэлы, демонстрирующих последовательную независимость от США и Запада, сопроводилась появлением на континенте достаточно уже мощного государства-лидера — Бразилии, не постеснявшейся составить вместе с Китаем, Россией и Индией новый и перспективный международный союз, явно уже не проамериканский (БРИК).

Бразилия — весьма авторитетный на сегодня региональный центр, способный уже самостоятельно действовать в своих интересах, а также в интересах всей Латинской Америки, как и вдохновляясь чуть ли не имперским будущим. Рим не Рим, но ведь и не пассивный сателлит глобализма, более того, серьёзный ему противостоятель.

Латиноамериканский континент стремится порвать с полуколониальным проамериканским прошлым, стать на путь модернизации и самостоятельного развития, хоть и не является столь принципиальным и радикальным критиком Запада и США, как тот же исламский мир.

Чёрной Африке труднее всего выразиться в геостратегическом плане, ибо она пока скорее в предыстории, чем в истории, но и она перестаёт, как и Африка арабская, быть бессловесной провинцией Западной Европы и американского глобализма.

Африка — континент разнообразных интересов, как ей имманентных, так и для неё внешних. Не обладая отчётливо выраженной субъектностью, африканский мир, тем не менее, весьма значимый и перспективный ресурс для всего планетарного мира, молниеносно текущего времени и невероятно ускоряющейся истории, который не может остаться вне всемирного соревнования за будущее, а в случае ослабления и падения престижа иластной роли США с Европой он может оказаться в поле стратегического видения и созидательной практики разных мировых сил, в том числе и из БРИКСа, не говоря уже о потенциях и интенциях самой многострадальной и всё ещё блуждающей по историческому лабиринту Африке.

43

Да, во главе мира сегодня вроде бы США. С ними во властном союзе Европа и Япония, Канада и Израиль, как и те же цветущие Австралия, Саудовская Аравия или Республика Корея. Всё это так, но вся нынешняя конструкция планетарного мира, включая и многосмысленную, если уже не обессмыслившую Организацию Объединённых Наций, хоть и удерживается, и существует, и не теряет надежды на будущее, уже находится под большим вопросом, если не переживает — может, более скрытый, чем явный — *кризис*, причём кризис с неприятным апокалиптическим душком и предательскими трупными отметинами.

Сегодня никто не заинтересован в резком крушении сложившегося мироустройства, хотя водительство США уже не столь бесспорно, чем было ещё каких-нибудь два-три года назад, более того, на концептуально-метафизическом уровне оно уже вовсю отрицаемо.

Мир не желает Армагеддона — своего самоуничтожения, а потому отрижение нынешнего устройства и текущего образа мира идёт более конспиративным и как бы само собой складывающимся путём, а не посредством радикальных субъектно-субъективных действий. Инициатива тут представлена более ходу вещей и даже ходу самой неизвестности, чем активной геостратегической практике.

Ясно, что мир должен уже стать другим и он другим непременно станет, если не сорвётся вдруг в неопределенный, безысходный и самоубийственный общемировой катаклизм.

Будущее сейчас за выдержанной — стоической тотальной выдержанкой, а не за самонадеянной активностью политических авантюристов. Мир меняется и меняется весьма темпово. Главное сейчас — не нырнуть в огненную бездну, хотя мир, кажется, уже близок, слишком близок к бездному краю, во всяком случае, он вполне уже имеет возможность со вниманием и не без выводов взглянуться в поджидающую его роковую пропасть — либо чтобы отпрянуть от неё, либо, подскользнувшись, в ней навсегда исчезнуть.

Хорошо сказать: взглянуться, испытать шок и отпрянуть! Любому человеку это трудно сделать, ибо бездна, из которой он и весь мир вышли, манит обратно, притягивает, магнитит. А тут весь мир оказался в положении рискового путешественника, добравшегося до желанной цели, её узревшего и неожиданно остолбеневшего от изумления, ибо цель эта оказалась совсем другой, чем он ожидал, а впечатление от неё — сокрушающим!

Да, передовой мир сегодня уже на краю — на краю Света, где материя пропадает, свет исчезает, реальность уходит в невидимость, имена не называются, а какие-либо чаяния отсутствуют. Постмодерн — мир, но мир крайний, в чём-то фундаментальном уже не-су-светный, не нашенский, не человеческий, не схватываемый и не трактуемый. Это уже скорее Иоаннова образа мир, если не потрудиться вспомнить библейское «Откровение», вопросительно завершающее вещью Библию.

Земной мир, когда-то тесно сочленённый, если не переплетённый, с небесным, а теперь всё более от Небес независимый, обрёл наконец-то по итогам демиургированного активно Модерна некий над собою высший мир — этакий *надмир*, он же и *сверхмир*, а именно *постмодерновый мир*, он же и *постмир*, и *антимир*, но уж никак не *миру мир*, ибо, отрицая весь наличный земной мир, он не предлагает миру никакого экзистенциального позитива, которого попросту не знает, ибо пуст он и тупиков — от или из постмодерна можно лишь... в бездну, к которой оголтевшее человечество он напрямую и вывел.

Великий экстремист, этот Постмодерн, мир-экстремиум, после

которого ничего уже реально человеческого, не говоря о природном, не просматривается, — нарочито внедряемый Постмодерном *виртуальный мир* ведь не мир вовсе, а *иллюзия*, которая не миф даже, не сказка, не фантазия, а совершеннейшая *пустота*, из которой выход только один — в ещё большую пустоту, которая лишь ещё совершеннее, следственно — в бездонную, лишённую времени и пространства, абсолютнейшую могилу.

Избавляться надо земному миру от Постмодерна, избавляться, к миру небесному всё плотнее примыкая, но не сквозь постмодерн или через его посредство, а путём отрицания постмодерна, что проделать можно с помощью *Традиции*, понимаемой как возрождающаяся духовность, она же и человечность, она же и божественная *Софийность*.

Отрицая и гнобя изначальную метафизику, а вместе с нею не одну лишь религию, но и философию, самоуверенные наука, техника и экономика, а точнее — сциентизм, технологизм и экономизм, отвергли *Софию Премудрость Божию*, оставив человека действующего, созидающего и демиургирующего наедине с самим собою и своим функционально-функционирующими сознанием, быстро превратившимся в *бес*-сознание, или, лучше сказать — в *бес*-сознательное сознание, для которого действие оказывалось важнее созерцания, зрячее открытие важнее ненаблюдаемого откровения, а слепое конструирование важнее прозорливого умолчания.

Антисофийность была, наверное, не случайна, точнее — она была, видно, необходима — для прорыва в иной, не софийный и не закрытый, а в открытый и функциональный, мир, ставший немедленно миром Модерна — и поначалу модерн был довольно-таки софиен, хоть и перенёс акцент с небесной Софии на... земную, но... и сам не заметил, как... о-*бес*-софиился, вкатившись в наглый, вертлявый, обездумленный и уродливый постмодерн, по-своему и несчастный, ибо постмодерн ещё бытует в мире человеческом, где пока ещё есть остатки не совсем ещё изгнанной реальности с отголосками любви, ненависти, страдания, тоски, да и кое-какой радости.

Постмодерн — мир подменный, это мир-симулякр, ловко изображающий земной рай, будучи предвестником не столь уже земного ада.

Нет ничего страшнее для человека — всё-ещё-человека, чем мелькательная пустота, вращательная плоскость, иллюзорная стереометричность. Антисофия — манящая, влекущая, прельстительная, она дарует не просто свободу, а полную свободу — освобождение, но не только от сакральности и природности, от Софии Премудрости Божией, как и от той же метафизики, но и от любого весомого содержания и веского смысла, от насыщенной экзистенции и тяжкой полноты.

Постмодерн и антисофийность — родственнички, можно сказать — братец с сестричкой, либо кузен с кузиной, и входят они в бытие человеческое вовсе не сразу, не в миг, а постепенно, не в одно столетие, достигая шаг за шагом последних времён и настигая в конце концов «конец истории».

София — вовсе не свод сакральных правил и указаний, хотя это может к Софии и относиться, это и не сами по себе намерения и мысли Бога, которые человеку вряд ли хорошо и достаточно известны, хотя и могут по божественной благодати иногда и в меру воображаться человеком, София — не что иное, как Богом даруемая человеку причастность к самому себе и к тому, что выше и вне человека и вообще имманентного мира, что явно метафизично и особенно трансцендентно, но что в силу своего участия в человеке даёт последнему осознание человеческой меры, снисходящей на человека как безусловный критерий и неопровергимый абсолют.

София — это не текст, хотя в тексте она может быть и выражена, это чувство, мысль и смысл одновременно, причём никак внешне не выраженные — ни в словах, ни в правилах, ни в уставах, а лишь во внутреннем переживании, разумеется, при единении с совестью, которая, будучи божественной вестью, собственно Софией в человеке и является.

София — Божия Весть, заложенная Богом в человека и находящаяся с Богом в непрерывном творческом контакте — связи, синергии, религии. Здесь не принуд, а согласие, не борьба, а гармония, — как бы ищащие и находящие друг друга вести — от Бога и от человека, способные узнати друг друга, понять и воедино слиться.

Согласно православной христианской традиции, или же позиции, или трактовке, отображённой в соответствующей софийной иконописи,

София — Христос, и это всего вернее, ибо как раз Христос есть богочеловек, носитель и выразитель Божией Премудрости, передающий её человеку, по-человечески трактующий, за неё страдающий и умирающий на кресте, жаждущий её от апостолов.

София — не свод законов, а осенение, принадлежность ософиенного сознания, потаённый генератор мудрости.

София — мудрость, а не благоприобретённое знание, хотя и знание тоже, а постоянно вырабатываемая и обретаемая метафизическая ориентировка, возникающая не от одного только знания, но и от незнания тоже, называемая обычно интуицией, предчувствием или озарением, что споспешствует гибкому переходу при необходимости и возможности в сформулированное знание, а далее и в открытую информацию, но по преимуществу дающее о себе знать всё-таки вне априорного знания и за границами доступной всем и вся информации — *трансцендентно!*

София — руководство, указатель, предупредитель, регулятор, корректор, направитель, одобритель, но и назидатель, критик, порицатель и избавитель. София благонамеренна, но не благостна, терпима, но не толерантна, а потому она настойчива, воинственна и жестка.

София — не женское начало, хотя и не минует женщины, и уж, тем более, не женская ипостась Бога, который в своей Премудрости ориентируется на себя, на свой замысел и свой проект, неся за себя и за всё своё полную премудрственную ответственность.

Бог на то и Бог, чтобы не делить себя на природно-житейские половинки. Вот почему Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, а ежели София это Христос, то тут как раз всё и в порядке — вся Божественная Троица в премудром между собой единении, прямо как три ангела на иконе Андрея Рублева, где предполагаемая София Премудрость Божия всех троих ангелов объемлет, между ними свободно витает и в чаше общей промыслительно у gnездывается.

Почему же человек не очень-то следовал Софии Премудрости Божией, а предпочитал свою, совершенно земную мудрость, вылившуюся в конце концов во всякое энциклопедическое, научное и профессиональное, знание, из которого метафизическая мудрость куда-то исчезла, а любая другая попросту где-то затерялась, как логически и опытно недоказуемая.

Нет, не всё просто в отношениях между Богом и Человеком, ибо имеют место не только недопонимания и разногласия, но и принципиальный конфликт: человек то ли не хочет, то ли не может, то ли не считает нужным следовать Премудрости Божией, то ли её не воспринимает, то ли она ему мешает, то ли его ограничивает, наверное, тут всё сразу и вместе: Человек, а это был человек христианский, разошёлся так или иначе с Богом, с Христом, с Премудростью Божией, предпочтя своё собственное для себя наставничество в виде самостоятельно обретённого разнообразного знания, как и своей собственной «премудрости».

И разве было невозможно совместить человеческое знание, его выработку, его чеканку, с Софией Премудростью Божией, разве София так уж препятствовала познавательной и демиургической свободе человека, разве её не дозволяла?

Сложный вопрос, наверное, самый сложный из подобных вопросов: или человек чего-то недопонял, или прельстился свободой, забыв о мере, или был чем-то или кем-то обольщён, что уверил в себя как в бога, или почувствовал себя достойным лучшей, чем то было представлено Господом, участи? — так или иначе, но человек пустился в собственное познавательно-демиургическое шествие по доступной ему части Вселенной, не им созданной и вряд ли только ему предназначенной.

Наверное, то была какая-то aberrация сознания, его раздвоение — хотя бы на данное человеку Богом и взятое человеком у Бога, а может, попросту присвоенное, сделанное своим, но сознаниевая (и знаниевая!) гордыня явно победила в человеке и он, набравшись храбрости, противопоставил себя Богу, попав при этом вольно или невольно в сети к истинному противнику Бога — дьяволу, бесу, сатане, которого человек, правда, попытался проигнорировать, посчитав за неумное и давно устаревшее недоразумение.

Немало в итоге удалось человеку познать знаниевых секретов Божиих: об устройстве Вселенной, о составе и конфигурациях материи, о природе, о сокрытых в ней числах, количествах и соотношениях, ну и о себе тоже, своём организме, даже и о душе своей — как части организма, о социуме, морали, культуре, о воспроизведстве себя и общества, в общем — о мире и о себе в мире, как и о мире собственно человеческом.

Нет, конечно, человек не отказался совсем от мудрости, но свёл её

лишь к ценным мыслям, рождаляемым умными, опытными и знающими людьми, иной раз и в религиозно-сакральной окраске, а то и в софийной оболочке, но всё-таки к человеческим и только человеческим мыслям, пусть и откровенческим, пусть и неизвестно откуда взявшимся, пусть и пришедшим свыше, ибо «свыше» теперь было не более, чем полускачальным образом, если не простым эвфемизмом.

И докатился передовой человек в своём познавательно-демиургическом рвении до бес-человечного постмодерна, для которого не то что священного писания уже не существует, но и цельногуманистических (классических) идеологии, литературы, искусства, культуры, вообще слова, смысла, качества, меры, когда на место Софии Премудрости Божией приходит... пустота, а на место мудрости человеческой — не более, чем занимательная игра, а всякая человечность — чело-вечность — оказывается заменённой на техностойность, в том числе и правовую, и политическую, и психическую, а реальность сменяется виртуальностью, а предметность — иллюзией.

Так в человеческом мире, в его самой передовой, прогрессивной и развитой части, воцарилась *антисофия* — вполне осмысленный, доказанный и законный продукт восставшей против Господа Бога и Софии Премудрости Божией человечности!

Раздел IV

ПРОМЫСЕЛ

44

Россия — страна странная, неопределенная, просто так не квалифицируемая и не классифицируемая — и если б это была незначительная страна, с непрятательной субъектностью и не слишком выраженной историей, а то ведь громадное материковое образование, возникшее и сидящее в Европе и в Азии, питающаяся Западом и Востоком, упирающаяся в бескрайний арктический Север и опирающаяся на пестрый азиатский Юг.

Россия — империя, то расширяющаяся, то сжимающаяся, империя уже давняя, пусть и не такая древняя, как китайская, но со своей уже большой историей — от первых имперских попыток киевского князя

Святослава через царственную Святую Русь Ивана III и уже полнозвучную империю Петра Великого к имперской по духу и устройству Российской Федерации XXI в. — урезанной наследницы великой советской империи XX в. — СССР.

Как бы ни называлась Россия — Гипербореей, Скифией, Русью, Гардарией, Тартарией, Московией, Российской Империей, Союзом Советских Социалистических Республик или Российской Федерацией, это всегда Россия, страна руссов, русичей, россов, русских, россиян, чья не слишком явственная, схватываемая и воспринимаемая метафизика, а для многих и попросту дурная, уродливая, гибельная, чудесным образом определяет метафизику России и её причудливую судьбу, столь же для многих дурную, уродливую и гибельную.

Россия образовалась на просторах евроазиатского континента — от моря и до моря с запада на восток (от Атлантики до Тихоокеаники) и от Арктического океана на Севере до Чёрного моря (б. Русского) на юге. Главное достояние России — пространство, но это и её главная житейская и геостратегическая проблема. Полиэтничность, страновое разнообразие, потребность в суперэтносе; высший этатизм и явная иерархичность, неизбежность имперского устройства и имперской судьбы; высокий центризм с попутными центростремлением и центробежием, потребность в жёстком объединении локалий и целостной единой общности в сочетании с тенденцией к дроблению целого при первой же возможности, отчего слияния, распады и воссоединения; высокая мобилизационная способность в ущерб текущей упорядоченности; безостановочная и неустанная борьба — порядка со стихией, дисциплины с анархией, несвободы со свободой; упорно воспроизводящееся сочетание любви и ненависти, привязанности и неприятия, ностальгии и отвержения. Трудный мир, страдательный, истязательный, порочный, но и почему-то к себе неудержимо влекущий, привязывающий, удерживающий, однако и стесняющий, отталкивающий, гнобящий. Мир не игровой, не состязательный, не личностный, ибо — остро выживательный, где много шири и далей, тьмы и холода, риска и страха, где одни лишь горизонты, но зато мало людей и очень мало их защищённости, когда гарантия для человеков одна — быть вместе, а быть вместе трудно, почти что и невозможно, потому и принудительно — через традицию, общину,

власть, то или иное насилие — что внешнее, что внутреннее — над собой.

Быть русским... э-эх!.. именно так — *невозможно*, потому и русские столь невозможные — странные, необычные, привлекательные, противные, отталкивающие, гадкие, а главное — безмерные, а потому и экстраординарные, непредсказуемые, экстремальные, невероятные и... непонятные. Быть русским — это труд, страда, испытание, жертва, наказание, но никак не удовольствие, не вожделение, не почёт и, разумеется, не добродорядочная слава. Быть русским — *бремя*, невыносимое, протестное и страшное, однако почему-то русскими самоотверженно принимаемое — без восторга и не без горечи, но... из-за чего-то, почему-то и для чего-то всё-таки принимаемое.

Россия — никакой не рай, это, скорее — ад, наземный ад, вполне посюсторонний. Кому-то из аборигенов и пришельцев на Руси, быть может, и хорошо, но... в целом же на Руси трудно рассчитывать на удачу и удовлетворение, а без стойкости и мужества, ну и особого рода жизнелюбия, тут никак не обойтись — вопреки природе, стихии, порядку и беспорядку, власти, политике, экономике, идеологии, культуре, литературе, театру, музыке, телевидению, прокурорам, судам, адвокатам, богачам, бедноте, бюрократам, взяточникам, ЖКХ, ворам, бандитам, да мало ли кому и чему ещё, кто и что бытует на Руси, в ней благоденствуя, изворачиваясь и прозябая.

Жизнь в России реализуется более всего *вопреки*, это некая вопреки-жизнь, которой не должно быть, но она почему-то... есть, мало того, она насыщена эмоциями, думами, страстями, событиями, переживаниями, борьбой, проблемами, заморочками, завязками, развязками, взлётами и падениями, победами, поражениями, достижениями, провалами в общем — всякими невероятными невозможностями, превращающими в непременные возможности, становящиеся и необходимостями, но необходимостями опять же невозможными, а потому ищущими и находящими совершенно невозможное, но становящееся почему-то возможным, разрешение.

Почему-то, видно, умом Россию не понять, в Россию можно только верить!

И верят! Кто? Русские прежде всего, но и многие нерусские тоже, хотя немало собственно русских, которые в Россию совсем не верят,

а предпочитают Европу, Америку, а теперь вот и Китай с Индией, хоть Малайзию с Таиландом, но только не Россию. Понять их можно, ибо Россия если и дар Божий, то дар, который вовсе не подарок, а ноша — тяжелая ноша, от которой ни удовольствия, ни награды, ни выгоды. Вот многие русские и не выдерживают, бегут, ища счастья на стороне, а что говорить о нерусских — не русских россиянах, которые и подавно из России бегут — во все возможные стороны.

Россия — страна сплошного неблагополучия, причём не только физического, но и, что особенно примечательно, метафизического. Россия держится *неблагополучием* — тем она и особенна, и интересна, и по-своему привлекательна. Страна-экстрем, страна-приключение, страна-адреналин! Чего нет в России, так это скуки, хотя есть то, что называется русской хандрой, но хандра — не скука, это глубокое, тяжкое и с трудом выносимое переживание, либо подтачивающее, ослабляющее и умертвляющее, либо закаляющее, укрепляющее и оживляющее, это уж как кому повезёт, как и кому на роду бывает написано.

Россия — это борьба — как борьба за жизнь, так и за саму Россию, за её жизнь. Но борьба своеобразная, когда одно что-нибудь ни с того ни с сего бьёт и топит, а другое ни с того ни с сего поддерживает и спасает, если, конечно, борьба не переходит в открытую войну, когда зверь выходит на передний план, а человечный человек уходит в тень, но и тогда всё свершается по-российски странно, не так, как того хотят законы войны и установление «чрезвычайек».

Россия — страна несуразная, но ещё более загадочная, она вышла из тайны и в тайне пребывает, не порывая связи ни с бездной, из которой весь мир вышел, ни с высшими силами, весь мир из бездны повыталкивавшими.

Россия — страна бездная, но в то же время и страна, устремлённая ввысь, в высшее иномирье! По всему чувствуется, даже и видно, что сей мир России не дорог, она его и не слишком обустраивает, предпочитая в отличие от Европы с Америкой или того же Китая с Индией не так быть в нём, как пребывать — вроде как на постое, временно, не укореняясь. То ли просторы тут виноваты, то ли систематические в них пришествия иноплеменцев, то ли общий жизнеотправительный риск, то ли гнетущая невозможность сформировать что-либо воистину утверждающее, крепкое и

стабильное, но Россия как-то не склонна себя удерживать в неизменном образе и в стройных рамках, постоянно как-то меняясь и перемешиваясь, сбрасывая с себя почему-то вдруг устаревшие и напяливая на себя новые, конечно же, чуждые и несуразные, одежды, что-то вроде бы охотно на себя примеривая и зачем-то не менее охотно от уже будто бы выверенного избавляясь. Россия всегда собою недовольна, прочно и эффективно она не устраивается. То одно ей нужно, то другое, но никак не что-нибудь воистину приемлемое и долгоустойчивое. России потребно *иное*, а вот какое — она, конечно, не знает, да и знать вряд ли сильно хочет!

Всякая страна, всякий народ, всякая нация в той или иной мере метафизичны, иррациональны и трансцендентны, ибо начало их либо теряется в веках, либо прячется за выкрутасами истории. Всё тут синергетично, самовольно и произвольно, самоорганизационно, хотя находятся и центры, и ядра, и столпы, как и отцы-основатели — легендарные и вполне исторические, хотя тоже непременно залегендированные. Любая самостояющая локалия, любая субъектность, любая история — всегда в той или иной мере мифологичны, в чём-то обязательно таинственны, измышлены и необъяснимы.

Что касается России, то она не так даже легендарна, не так таинственна, хоть и этого в ней больше всякой нормы, как попросту несёт в себе экзистенциальную тайну, не только уходящую в историческую даль, что понятно, но и постоянно и непременно присутствующую в любом российском настоящем, ибо Россия — сама *тайна* и есть!

Любая метафизика неопределённа, конспиративна и таинственна, но здесь какой-то особый случай, когда метафизика прямо в тайне, а тайна — напрямую метафизика, или, лучше сказать, вся метафизика из тайны и вокруг тайны — здесь не просто метафизическая тайна, а тайна самой метафизики.

Россия, её история, любое её настоящее, не говоря уже о будущем, не поддаются ни обстоятельному узнаванию, ни удобоваримому объяснению, ни удовлетворительной оценке, а требуют... мифотворчества, которое вовсе не склонно завершаться чем-нибудь приемлемым вследствие редкой конспирогенности предмета, закрытости его внутреннего кода.

В самом деле: что есть код или же каков код России?

Разве на этот вопрос есть ответ? Вряд ли! А ежели и есть, то он, безусловно, сам изрядно в свою очередь закодирован. Вот и бьётся отечественная мысль, пытаясь раскодировать Россию, её как-то понять и воспринять, найти ей приемлемое для земной истории освещение.

Но что-то не очень получается, точнее, одна щетка тут получается — склизкая и отвратительная!

45

Умом Россию не понять, взглядом зорким не охватить, зрением проницательным не просветить, языком остроумнейшим не описать, а вот услышать её всё-таки можно, причём на всю глубину, ширь и высь, на весь её ход, её ритм и все её содрогания, тем более, что трансцендентное звучание России, её метафизическая музыка, или же звуковая метафизика, уже услышаны её верными сынами — Глинкой, Бородиным, Мусоргским, Чайковским, Римским-Корсаковым, Рахманиновым, Скрябиным, Шостаковичем, Прокофьевым, Свиридовым, как и многими другими из XIX и XX вв., ибо музыка всего ближе к метафизике и заложенной в ней тайне, следственно, и к самой по себе России — не так феноменальной, фактической, исторической, как ноумenalной, сущностной, концептуальной.

Основной миф России — метафизическая и совершенно трансцендентная *мистерия*, которая есть не игра, не спектакль, не представление, хотя это всё тоже есть, а сакрализованное, непрерывное и нескончаемое действие с неустановленным замыслом и непредположенным финалом. Место прямого панисторического взаимодействия с Богом, ожидания нового Божиего Откровения, включая Страшный Суд и Конец Света (сего Света). Мистерия как фантасмагория, драма, трагедия, но и как стремление к *иному*, телеологическая потребность конечного разрешения, жажда закрывающей бренный мир эсхатологии.

Благодаря *руссости* и *русским* Россия не от мира сего, она устремлена в мир *иной*, ей неизвестный, но ею страстно почему-то желаемый. Посюсторонность для России совсем не по ней, она ей не дорогá, будучи лишь вынужденным и зыбким условием присутствия в этом мире, потребного, наверное, для чего-то Богу, но вовсе не потребного отчего-то самой России. Отсюда Россия двоится, она здесь и... *tam*, но не ради

этого *здесь*, а ради того *там*. Отсюда хронический выход за пределы, за конструкцию, за меру! Отсюда всегда физическая неустроенность, но метафизическая незавершённость. Невозможность органических равновесий и балансов, чего-либо устойчивого, навсегда признанного и неустанно воспроизводимого.

И всё это сказано в русской музыке, сказано без слов, даже и дословно, совершенно метафизически, по-Божески, по-Христовски, без всяких разъёваний и всякого учительства, просто и ясно, непосредственно, душевно, сердечно. Только в *такой* музыке русскому комфорtnо, только в ней он чувствует себя *Человеком*, только в ней ему хочется быть, трудиться, творить, ибо она от Духа Святого, от Христа, от Бога, в общем — от *иномирья*, которого нет, но которое непременно должно быть, пусть лишь в сознании с бессознанием, пусть только в бессловесной ноосфере, пусть лишь в космическом нигде!

Русский космизм — явление совсем не случайное, причём не скользкий, а реальный, деятельский, практический: от Кибальчича и Циолковского до Королёва с Гагариным, от теоретических задумок-выдумок до фактического полёта человека в космос.

Несбыточность здесь и сбыточность там — в *ином*, не на земле, хотя, наверное, и не в космосе, а в *иномирье*, которого нет, но которое не может не быть, ибо зачем тогда весь этот бренный мир, эта бестолковая жизнь, эта глупая Россия?

Да, Россия действительно глупа — сравнительно с той же Европой и тем же Китаем, она несуразна, нелепа, безобразна. И это тоже всё есть в русской музыке, хотя и не так много, печально и гадко, как в литературе, на театре, в кино.

Но такова неизбежная плата за неотмирность, за пренебрежение физическим комфортом, за предпочтение метафизических яств и страдательных укоров.

И лучше всего русский гений выразился в музыке, где нет материалов, нет конструкций, нет пределов. Музикальное запределье — русское запределье, звуковая фантазия — русская фантазия, а симфоническое иномирье — русское иномирье.

Русский дух и русская страна — не одно и то же, хотя и зависят друг от друга. Дух мечется, куда-то стремится, что-то захватывает,

а страна… страна стоит — stoически стоит, меняясь и изменяясь, не брезгя и себе самой изменять. Странная страна, что говорит! Самоутвердительная и самоотрицательная. Сколько в русской музыке утверждения, столько и отрицания, правда, всё более ради иномирья.

Самоотрицание — органическое свойство России, как и того же русского духа. Ничего тут не поделать, что есть, то есть! Дух-то неопределённый, красочный, буйный. Он и небесный, и земной, и человеческий, и звериный, ибо Россия — страна духа вольного, рождённого на просторах, в беспределье. Гиперборея, Скифия, Тартария! И при этом Россия — наследница глубокой и многослойной предыстории, знавшая Варягию, Грецию и Византию, степняков всяких, Хазарию, Булгарию, угров и финнов, татар, монголов, узбеков, да мало ли ещё кого, включая и алчный Запад.

Сложно, неторопливо, но при этом настойчиво закручивался на Восточно-Европейской равнине этногенетический вихревой замес, перепутывая и смешивая славян со степняками, уграми и финнами, татарами, монголами, тюрками, кавказцами, хазарцами, как и с пришлыми из-за северных и западных пределов Руси варягами, шведами, немцами, поляками. В итоге получились *русские* — теперь уже *великороссы*, имперцы и экспансионисты, с русским или великороcским языком, самобытной культурой, христианского вероисповедания, православные, держатели огромной территории, по преимуществу холодной и тёмной, лесной, степной, ледяной, не самой уютной, но зато оберегающей, рождающей и кормящей.

Свершилось историческое чудо — образовалась Великая Империя, да не какая-нибудь, а Российская — наследница великой Византийской Империи и великой Татаро-монгольской, той самой — Чингисхановой. Как раз в российской империи и явилась эта великая, уже Нового Времени, по-европейски сложная, полифоническая и симфоническая, возвышенная и возвышающая, по-русски вольная и по-христиански иномирная музыка, обозначившая и раскрывшая лучше русского слова, тоже весьма поначалу музыкального, но изрядно затем опустошённого, перелопаченного иискажённого, суть русского духа, уже по-европейски изрядно модернизированного, но по-азиатски ещё вполне естественного.

Пространная, дольняя, просторная, в то же время даровитая,

обильная и флегматичная Русь, сама любившая проникать неспешно в разные веси, упорно расширяясь, всегда впускала в себя, переваривала и держала в себе иноплеменничество, инородство и иноверство, проявляя покойную терпимость, безыскусную лояльность и леноватую заинтересованность.

Так что народ русский, не говоря уже о российском — сложный народ, полигенетический, цветастый, однако не конгломератный, а весьма органический, даже единый, но при этом совсем не однообразный — как раз симфополифонический!

Народ это народ, а страна это страна — и, как всякая страна, Россия социально-государственно обустроена, конечно же, как всякая большая страна, отчётливо иерархически и центристски. Россия к тому же не просто большая страна, а целый мир, а мир на то и мир, чтобы не избежать не только иерархичности и центризма, но и имперской.

Однако на этом сходство с великими странами закрывается, дальше идёт лишь большая российская особость.

Прорусы, а это были восточноевропейские, славянские по языку, обычаям и преданиям, языческие, а точнее бы сказать, ведические, по вере племена, не имевшие долгое время заметной государственности, хотя какие-то протогосударства в их среде возникали по инициативе отдельных державных харизматиков, скорее всего, иноземных колонизаторов вроде северных викингов или южных византийцев, — и первая более или менее отчётливая государственность возникла как раз по инициативе северных, возможно, и славянского происхождения, колонизаторов — вярягов, из которых сложилась на Руси посредством перемешивания со славянами и степняками славная велиокняжеская династия Рюриковичей, с которой и была связана полтысячелетняя история Руси — вплоть до рубежа XVI — XVII вв.

В те далёкие времена, как и в дальнейшем, правящая и служивая элита складывалась на Руси во многом из пришлых иноземцев, потом обрусевавших и совсем не редко становившихся более русскими русичами, чем коренные русичи-славяне.

Так или иначе, но российская иерархия была этнически сложной: нерусская по большей части, хотя и непременно обрусевавшая, правящая верхушка, долгое время княжеская, боярская; церковное православное

духовенство, исходно греческое, местная монастырщина; смешанный служивый, менеджериальный и офицерский элитарный слой, ставший в итоге по преимуществу дворянским; славяно-росское, угро-финское, татарское или то же тюркское работное, тягловое и податное, в основном крестьянское, население, из которого формировалась солдатская часть армии, частично свободное, но в основном огосударствлённое либо феодально-закрепощённое; наконец, вольное, а затем и служивое, этнически смешанное, казачество.

При огромной лесной и степной территории, открытой всем ветрам, ворам и врагам сразу, как и долгое время при нехватке людского ресурса на хозяйственное освоение и обустройство гигантского и в климатическом отношении сложного пространства, а также на его и населения защиты, равным образом и на эффективную социо-государственную организацию, на Руси, в Московии, в России возник особого типа человек, он же русский человек — что князь, что дворянин, что священник, что купец, что ремесленник, что крестьянин, что даже казак, а именно — служивый человек, армейского образца, казарменной выучки, к общему делу призванный и этому делу преданный, неприхотливый, приспособительный, в основе покорный, субординационный, но по-особому и вольнолюбивый, стихийный, бунтарский, привыкший к опасностям, риску, напряжению, мобилизации и внезапной смерти, не рассчитывающий на долгую счастливую жизнь, на стабильное лично-семейное благополучие, сочетавший тяжкий труд, большие бытовые заботы и великие доблести с выбросами лени, буйства и разного рода иных пороков и непристойностей. Воспринимая жизнь как тяжёлое испытание, полное непрерывной борьбы за существование, русич ставил на первое место нужду, необходимость, неотвратимость, судьбу, юдоль, менее всего рассчитывая на личную или даже групповую инициативу и полную победу над обстоятельствами, ходом вещей, бесконечной неизвестностью. Отсюда выносливость, терпеливость, стойкость, но отсюда и душевная импульсивность, эмоциональная порывистость, характерная разухабистость, поведенческая разносность. Вгоняемый постоянно и насильно в потребную, но трудно переносимую бытовую меру, русский всегда нёс в себе скрытый протест против внешнего насилия и регламентации, периодически взрываясь и восставая, убегая от людей, общин, государства,

скитаясь, разбойничая, ушкуйничая, казакуя. Не имея возможности отрешиться от подневольной (для всех, кстати, в той или иной степени подневольной) жизни, не питая к ней большой любви, испытывая и немало отвращения и ненависти, он, цепляясь за русских и русскость, не мог не отрицать в то же время тягостной русскости и трудных русских, как и совсем не привлекательного себя самого, а потому всегда жил с ощущением (грузом) отрицания русских и русскости, недружественной для него родины и нелюбезного ему отечества, а иной раз и шёл против всего этого, уходя вовне, а то попросту от родины отрекаясь.

Христианство и православная церковь объединяли, оккультуривали, облагораживали и спасали Русь-Россию, её народ, её государственность, в особенности во времена страшной погибели страны от орд Батыя и долгого ордынского владычества.

Нет, в общем-то, ничего удивительного в фундаментальной противоречивости русских, нередко выразительно ужасной, когда в одном и том же народе присутствуют и ярко проявляются доброта, ум, душевность, щедрость, мягкость, стойкость, самоотверженность, геройство, мудрость, а также религиозность, образованность, интеллектуализм, художественность, способность к разнообразному творчеству, тонкий элитаризм, но в то же время и самые обыкновенные, а иногда и изощрённые — зло, тупость, леность, едкость, скряжесть, вороватость, наглость, трусость, эгоизм, гордыня, зависть, хамство, зверство, буйность, как и всячески оправдываемое, как правило, со всё понимающей ухмылочкой, презрение к уму, деловитости, любознательности, инициативности, образованности, конструктивности, любой выделенности, любого движения вперёд, любой «возвышенности».

Да, скифы мы — «с раскосыми и жадными глазами», хотя и не скифы тоже, и глаза не столь уж раскосые, но... возникла и сидит весьмаочно в русскости какая-то дикая, то ли доисторическая, то ли как раз самая что ни на есть историческая (иноплеменное водительство, войны, набеги, ига, жёсткий службизм, крепостничество, рабство), то ли попросту инфернальная — прямо от бездны мировой, некая особенная субстанция, разумеется, метафизическая, та самая, которая делает русских, этих вроде бы неотмирных существ, ещё и людьми бездны, от неё не только в ужасе не отпрызывающих, но к ней прямо-таки магнитно

тянущихся. Чем хуже я и все мы, тем лучше! И ведь удаётся, ох, как удаётся — с русским-то хамством, ничегонеделанием, разрушительством, беснованием!

Вот и выходит очень своеобразный божий народ, насколько божий, настолько и не божий, если не... но не будем об этом, ибо литература русская достаточно об этом уже сказала, так что нет смысла ничего пересказывать после-то «мёртвых душ»: иномирье русских, получается, как там — вверху, на Небе, так и там — внизу, в бездне, — и русский человек одновременно устремлён туда и туда, отчего и неустроен, и непонятен, и дурашлив, но и... мудр, поднося истории и миру какую-то великую загадку, ему и никому, кроме Господа Бога, не понятную, но у которой есть всё-таки имя — *Россия*!

46

Россия — страна между Европой и Азией, между Небом и Землёй, между отрицательным прошлым и невозможным будущим, а потому и нигде, хотя и рвётся в Небо и тяготеет к Земле, тянется к Европе и не уходит от Азии, отвергает негодное-де прошлое и не обретает потребного-де будущего, а потому и лишённая нормального, устроенного, успешного, настоящего — крепкого, уверенного, долгого.

Страна щедро и разнообразно раздвоенная, по кругу, по всем возможным азимутам, причём разделённая контрастно, шизофренически, на белое и чёрное, на каким-то чудом уживающиеся в едином турбулентном пространстве враждебные противоположности.

Варяги и славяне, татары и русичи, немцы и русские, верхи и низы, Новгород и Киев, Киев и Москва, Москва и Новгород, Санкт-Петербург и Москва — всё это разное, отличительное, своеобычное, колючее. И всё это примиряется силой, победой одного над другим, полным превосходством, безоговорочным доминированием, а то и беспощадным уничтожением противника.

Коварно убитый новгородским варягом Олегом киевский князь Аскольд, тоже, кажется, варяг, вышедший радушно встретить на берег Днепра почётного гостя с севера; предательски уничтоженный великий воитель Святослав, имевший большие насчёты поднимавшейся Руси имперские планы; вывороченные из земли, битые кнутами и сброшенные

в воды Днепра языческие (ведические) боги во главе с Перуном; насилиственное крещение Владимиром киевлян в водах Днепра с настойчивым, елико возможно и жестоким, утверждением новой религии — христианской, ввезённой из противной Руси Византии; жесточайшее преследование язычества-ведичества с безжалостным и упорным гоном волхвов — верной опорой проигравшей историю веры.

Тут можно продолжать и продолжать: Москва и остальная Русь — покорение Москвой всей доступной ей Руси; захват Москвой древнего — иного — Киева и разгромом неуступчивого — иного — Новгорода; опричнина и расправа Ивана IV Грозного с боярским инакомыслием и своеволием; массовый переход русской элиты на сторону поляков и латинян в Смутное время, как и безоговорочное изгнание культуртрегерских пришельцев; церковный раскол XVII в. на новообрядцев и староверов; бескомпромиссная европеизация России Петром I с унижением старой элиты и полное подчинение церкви светской власти; демонстративное перенесение Петром I столицы государства российского из Москвы в Петербург; европейское просвещение России узурпаторшней императорского престола немкой Екатериной и её же решительное подавление просветителей-масонов; радикальный по идеологии и духу декабризм и не менее радикальная с ним расправа; критическая и весьма безответственная дворянская литература; славянофилы и западники, не бывшие, строго говоря, ни теми и ни другими, но зато бывшие непримиримыми между собой противниками; диссидент Герцен, революционные демократы, народники, толстовцы, социалисты и Революция; царская власть с охранкой и всякого рода революционеры — борьба не на жизнь, а на смерть; массовая измена элиты царю, Империи, Церкви, Православию, России и антироссийская либеральная революция сверху; внезапный большевистский переворот, повлёкший за собой радикальную — впервые в истории социалистическую — революцию; бескомпромиссная братоубийственная война между белыми и красными обновленцами; массовый террор, перешедший надолго в практику политических разборок; пришествие вроде бы последовательного социализма, а на деле тотального этатизма; враги народа и их уничтожение; массовая сдача в плен врагу, попавшие в плен — предатели; россияне на стороне врага-

агрессора, врага-оккупанта, врага-палача; инакомыслие как предательство, измена, преступление; обманная перестройка и новая, вполне и подлая, если не вообще подлайшая, либеральная революция; насилиственная реставрация экономизма, капитализма, финансизма, тотальное проникновение западнизма.

Везде и всюду разделение, раздвоение, раскол, при этом без компромиссов, в борьбе, с войной — вплоть до полного уничтожения оппонента. Разумеется, не каждое мгновение, не по всему пространству сразу, не по каждому случаю, но часто, почти непрерывно, содрагательно и конвульсивно.

Русь-Россия всегда была в поиске Руси-России, так и, судя по всему, не находя её, отчего вырабатывалось устойчивое неприятие любой текущей Руси-России, непременно являлось желание заполучить другую Русь-Россию, а поиск потребного образа всегда шёл либо где-то на противоположном краю российского бытия, либо уже за его пределами. Так или иначе, но в Руси-России всегда присутствовала не то что *не*-Русь-Россия, ищущая новую, лучшую Русь-Россию, но и самая настоящая *анти*-Русь-Россия, жаждавшая радикально и навсегда покончить с Русью-Россией. И ежели Восток оставался далеко, был мало известен и не особенно привлекал, то христианская Европа находилась рядом, она была хорошо известна, а главное — необычайно привлекательна. Запад, католичество, латинство, протестантизм, высшая-де цивилизация, развитая культура, всесторонний либерализм, широкое просветительство, наконец, свободное творчество сильно влекли к себе Русь-Россию — и Ивана III влекли, и Ивана IV, и Годунова с Шуйским, и первых Романовых, а очередной Романов — Пётр I, так тот просто запустил Европу в Россию, навсегда раздвоив её на более или менее российскую Россию, или *про*-Россию, и Россию европейскую, или *противо*-Россию. Так и началась на просторах России упорная борьба между Россией и Европой, в которой по мере сил всегда участвовала и Азия — что русская, что не-русская, — и борьба эта идёт, с переменным успехом для России, Европы и Азии, аж до сих пор — уже и в XXI в.

И никак Европа не может полностью, окончательно и бесповоротно одолеть Россию, её покорить, ею овладеть — ни лобовым образом

(поляки с Лжедмитриями или Лжедмитрий с поляками, Наполеон, Вильгельм II, Гитлер), ни «проникательно», даже обучив русских дворян европейским манерам и французскому речению, ибо Россия — не то что не от Европы, как и, кстати, не от Азии, и мало того, что она от себя самой, но ещё и не от мира сего, чего ни Европа, ни Азия, кроме разве отдельных проницательных европейцев и азиатов, понять никак не может. Ни к европейскому, как и, разумеется, ни к азиатскому, аршину не подвести Россию, у неё свой размер, своя стать и свой же аршин, ей самой, кстати, не очень-то и известный. Станный тут аршин, тайный, трансцендентный!

Трясёт Россию от европеизации, сильно трясёт, да что трясёт — обезумливает — и бесится Россия, умываясь потом, слезами и кровью, принося огромные, по преимуществу и невинные, никем и не учтываемые, жертвы на алтарь страдальной, путаной и в то же время поразительной истории. И что интересно: Европой Россия никак не становится, хотя и изменяется, Европе подражая, напяливая на себя европейские, а во многом попросту псевдоевропейские, одежды, мало того, под «ига» европейские немедленно попадая — то вроде как под немецкое (по итогам Петра I), то марксистское (от 1917 по 1991 г.), а вот теперь и глобалистское (евроамериканское, это уже после 1991 г.). И ничего, кряхтит, матрится, чертыхается, но стоит, на себя исподтишка дивясь и самой себе удивляясь!

Россия, конечно, собою хороша, но... очень уж и безобразна — без образа она, без правильного и устойчивого, — и как же такое вот без-образ-ие в образ-то правильный и устойчивый вогнать? Бо-о-льшая тут проблема! И боятся реформаторы, и мучаются, и ужасаются: ничего-то путного, дельного и крепкого никак не получается. Всё, вся и всех проглатывает беспардонная и беспощадная Россия и, не особенно всё проглощенное переваривая, непременно выблёвывает, оставляя в своём непристойном организме лишь какие-то ублюдочные «похожести».

Да, завидует Россия Европе, восхищается ею, даже любит её по-своему, а вот сама Европой стать почему-то не может, как, собственно, и Азией, ибо у России не одна лишь своя стать, но ещё и свой ход, и свой манёвр, как и своя на всё непременная закавыка, а то и загогулина, но где тут верный путь, какая возможна стратегия, что за цель?.. ах...если б

знат! — тогда бы и загадки никакой не было, как и самой загадочной России!

Бывали в России вполне приличные времена, устойчивые и почти мирные (Русь-Россия всегда ведь в той или иной войне), бывали и смутные времена, безнадёжные, тяжкие, невыносимые, бывали и переходные — тоже не слишком лёгкие, вполне и кризисные, но хотя бы будущее какое-то сулившее, опять же весьма неопределённое. И славна Русь-Россия более всего турбулентными временами, не просто проблемными и вопросными, а и крайними, погибельными, когда страна едва держится, чудом как-то сохраняется и не меньшим чудом воскресает.

Чрезвычайщина — если и не полная норма для Руси-России, то вполне оправданная обыкновенность. Одна из причин и одно из следствий общей неустроенности, недоделанности, недодуманности. Какая-то повсюду временность, дискретность, прерывность. А ежели и мир, и постоянство, даже и благополучие, то какие-то ненадёжные, попутные, приходящие и проходящие. Беда — естество Руси-России, непременная спутница её не слишком праведного по общечеловеческим меркам бытия. Вот почему у русских не виктория, а победа — по-беда, как раз то, что сразу после *беды*, если, конечно, ум и руки к изгнанию беды бывают старательно и самоотверженно приложены.

Много было у русов-русских побед, немало было и поражений. Фифти-фифти! Да ладно поражений от внешних врагов и побед над ними, а то ведь и поражений от самих себя и побед над самими собою. И идёт это чередование поражений и побед, историю русо-российскую ярко окрашивая, но при этом и запутывая, и затрудняя, и гнояя.

Русо-российская страда, она же и невозможность, и неизбежность, и тягомотина. Какая-то прямо-таки эсхатологическая телевизория, когда не только цель не ясна, но и цели быть вообще будто бы не может, ибо впереди вместо цели лишь вполне определённая... тщета, если не вполне вероятный... конец! Отсюда неизбытвная русо-российская *апокалиптика*, какая-то особенная бесконечность, навязчивая незавершённость, упорно возрождающаяся бесформенность. Отсюда и формообразующее насилие, управляемский диктат, выручающее понуждение, но и охранительный консерватизм, спасительная инертность, нарочитая косность. Отсюда и напряжения, ломки, перевороты, революции. Апокалиптика движет...

апокалиптику — что созидающую, что сберегательную, что переделочную. Замкнутый на себя порочный круг. Даже сама *апокатастиска*, или антиапокалиптика, в Руси-России... в меру тоже апокалиптична!

Русский человек хорошо знает, что такое практическая апокалиптика, — и он ничего и никого уже давно не боится, разве лишь загодя на всякий случай опасается. Давно пропитанный животным страхом, он уже не подвержен никакому эсхатологическому страху. Он ничем не дорожит, даже своей жизнью. Адская действительность никак не споспешествует ни онтологическому, ни гносеологическому, ни экзистенциальному, ни физическому, ни метафизическому, ни даже трансцендентному страху. Русский чувствует, что он этому миру не ограничен, что он в этом мире пришелец, и он не дорожит этим миром, а вслед за ним и собою тоже. Да, это вызов — и не только этому миру, но и его Создателю, не только странному бытию своему, но и самому себе!

Вот откуда глубинный русский нигилизм, совершенно апокалиптический. И русский протест против всего и вся, и русский анархизм, и русская революция, тоже ведь апокалиптические, совсем даже не конструктивные. Свобода по-русски — *воля!* а воля на то и воля, чтобы... э-эх... покончить со всем этим миром, да и... а что дальше? — а дальше опять лишь гнусные оковы, опять неволя, опять страда.

Вот почему *Россия* — только слово, только символ, только бессловесность, только субстанция! Наполнение реальности бытовым смыслом, чтобы быть всегда удовлетворённым и никуда не стремиться, никого в России не устраивает, а потому русские ропщут, негодуют, отрицают, бегут, бунтуют. Ни один дальномасштабный проект почему-то в России не удаётся. И Россия эсхатологически разворачивается против России, отрицает человека, жизнь, мир, но разворот этот ничего не даёт России, кроме очередной тщеты и новой волны страдания.

Заколдованная страна с метущимся и мечущимся духом, с инфернальной порочностью и небесной святостью, с необузданной историей и неукрощённой потенцией, совершающая броски, рывки, взлёты, но и вершащая невероятные падения, срывы, провалы, контрастная, сама себе противоречащая и саму себя отрицающая, что-то упорно ищущая и ничего не находящая, бредущая и бредовая, не тухошняя, мистическая, трансцендентная, одним словом — *заколдованная!*

Проторусы, русы, русины, русичи, россы, русские, россияне. Кто они и откуда? И что в них издревле, из протоистории, из доистории и предыстории, а что уже историческое, выработанное, благоприобретённое, как и привнесённое, навязанное, воспринятое, ставшее органичным или же остающееся чуждым. Вовсе и не нужным? Кто знает? Язык у русов явно древний, какой-то и впрямь изначальный, возможно и досанскритский. Мифология тоже древняя, а если и значительно «позжий» пересказ, то, похоже, из явно «старших» источников. Ведичество у русов тоже ведь древнее, да и письменность, судя по той же «Велесовой книге», в глубь веков уходящая. Так что содержательность русская, похоже, давнего происхождения, прямо-таки с незапамятных времён, вполне иprotoисторических.

Лесные и лесостепные славянские племена, частично горские (Карпаты, Татры, Черногорье), частично приморские (Балтика), ушедшие когда-то на равнинные просторы Восточной Европы, постепенно смешиваясь с угро-финнами, но и достигая южных европейских окраин, вплоть до кавказских предгорий и берегов южного, когда-то долгое время даже называвшегося Русским, моря (нынешнего Чёрного моря, включая и Азовское). Можно, конечно, вспомнить о скифах, венедах или тех же вандалах, которые вполне могли быть в генетической связи с проторусами и предшествовать более поздним русам. Так или иначе, но бытие русов явно древнее, чем это показывают обычные исторические источники. И то, что они были давно и были вовсе не дикари, а носители древней и весьма высокой культуры — факт, кем-то, быть может, и оспариваемый, но самими русами хорошо ощущаемый и по-родному признаваемый.

Как свалилось на Русь ни с того, ни с сего варяжское элито-военно-управленческое племя? Скорее всего, свершилось какое-то вполне и родственное замещение одной правящей элиты на другую — южной, к примеру, на северную, либо образование правящего слоя посредством приглашения «третейских судей» с ближнего, наверное, и по крови тоже, а не только по образу жизни, зарубежья — как не связанных с внутренними интересами славян-русов, не говоря уже об участии в межплеменных распрях.

Любой межплеменной союз, да ещё и склоняющийся к государственности, хотя бы к её зачаткам, требует независимого для каждого из союзных племён управления из единого центра, придерживающегося так или иначе антитрайбалистской и антикоррупционной ориентации. Так что ничего удивительного в появлении на Руси варяжских управляющих, военных и полицейских сил, собственно, нет. Наверное, был какой-то договор, были выдвинуты и закреплены взаимоприемлемые условия, был разработан и какой-нибудь внутренних и внешних дел регламент, что, надо полагать, сразу или со временем было нарушено, а потом и вовсе отброшено и забыто, ибо земля русская оказалась-таки под непрекращающей властью варягов, впрочем, быстро, заметно и целиком обрусевших, что хорошо видно хотя бы по изменению имён тех же князей Рюриковичей.

Рюриковичи оборонили и закрешили торгово-промышленный путь из варяг в греки, под их опекой возникли многочисленные города, среди которых выделялись явно процветавшие Новгород и Киев. Была ли тогда Русь собственно Киевской, хотя сам Киев был градом столенным, трудно сказать, но то, что это была Рюриковская Русь — это уж точно! И не слабой вовсе была тогда Русь, а сильной и животворной, да и выглядела в сравнении с заграницей весьма привлекательно. Активно взаимодействуя с более древней цивилизованной и развитой Византией, Русь набиралась знаний, опыта, культуры, мало в чём из внешней бытовой, хозяйственной и государственной атрибутики уступая престарелой Византии.

Тесня и отбрасывая воинственных степняков, любых пришельцев с Востока, Русь воевала и Византию, покушаясь даже на саму её столицу — Царь-Град, а разгромив хазар и булгар, вознамерилась, кажется, и саму Византию покорить, превратившись в новую, полную молодости и задора восточно-южно-европейскую империю.

То было рюриковско-русское чудо — возникновение на юго-востоке Европы большого и сильного, умного и решительного, амбициозного и экспансивного русско-славянского государства. Настоящее чудо, сравнимое со многими аналогичными историческими происшествиями: Вавилон, Троя, Афины, Македония с её Александром Великим, Рим, Карфаген... в общем — событие!

Однако... однако что-то не заладилось в новом претенциозном

субъекте, возник политический и идеологический кризис, обязанный происхождением, надо полагать, и влиянию хитроумной Византии: княгиня Ольга тайно приняла в таврическом Корсуне христианство; её сын Святослав, этот российский Александр Великий или Цезарь, язычник и волхв, был предательски заманут в степняцкую ловушку по своему возвращении в Киев с Дуная, где намеревался основать новую столицу, и убит; его сын Владимир, он же и внук тайной христианки Ольги, побыл-побыл язычником, пытаясь воссоздать и укрепить пантеон языческих богов во главе с Перуном, да вдруг разочаровался в вере отцов и, приняв христианство в том же Корсуне, насилино крестил сначала киевлян, а потом и всю Русь.

Явилась вдруг на Русь *революция* — революция сверху, а может и из-за рубежа тоже, вроде новомодных «цветных» происшествий, и стала Русь в одночасье другой — христианско-византийской, а потом пришло время, когда Русь, уже будучи Московским Царством и чуть ли уже не империей, была провозглашена прямой и главной наследницей разгромленной западными крестоносцами и захваченной малоазийскими турками Византии, что и выставило перед Россией проблему отвоевания Царьграда-Константинополя и возвращения в лоно Христианской Церкви священного храма Софии — этого главного сакрально-домо-вого символа Православия.

Считается, что вл. кн. Владимир выбрал византийское христианство из ряда конфессий, беседуя с их представителями-послами и глубоко размышиля. Но так ли это было на самом деле, не был ли этот чуть ли неrationально-политический выбор простым пиаром, как и был ли он вообще: Византия и Византийское Христианство давно уже проникли на Русь, захватив воображение политической и деловой элиты, того же среднего класса, горожан, и не было тут никакого конфессионального выбора, а было просто *решение*, сначала тайное, а потом — после выборной пиарной процедуры, если она вообще была — явное? Так что не выбор тут был, скорее даже не приглашение, хотя по форме это и было приглашением, а самое настоящеепроникновение «византийщины» на Русь, в чём-то поначалу и вполне колониального типа.

Да, для лучших русских людей данная политико-идеологическая акция была нужна и понятна, ибо приобщала их к более передовому и

развитому миру, к великой цивилизации, прямой наследницы древнего мира, Эллады и даже Вавилона с Египтом. Молодая Русь стремительно цивилизовывалась, не тратя времени на разработку и становление внутри себя оригинальной цивилизации. Ничего особенного неприемлемого и постыдного в том не было, но зато возникали проблемы — острые, тяжёлые и долгие.

Русь ведь не была к моменту своей христианизации-византизации лишённой сакральной метафизики, продуманного поклонения природе и богам, тщательного взаимодействия с духами и демонами, как не была она лишённой мифотворчества, исторических преданий, культурных традиций. Русь была, как принято говорить, языческой, хотя совсем не ясно, что вообще в таком разе означает это слово — языческая, так же, как и то же варварство, а потому лучше было бы сказать — волхво-ведической. То была идеология непосредственно природно-общинная, когда человек не особенно отделял себя от природы, а индивид — от общины, народа, себе подобных людей. Такая идеология, спасительная для племенного быта, немало уже стесняла быт городской, заметно уже отдаленный от природы и натуральной общинности, и уж тем более стесняла киевлян в зоне искрящегося контакта с передовой, более развитой и более цивилизованной, а главное — более прельстительной, Византией.

И если кризис ведической идеологии (религии) тогда уже имел место, то он пришёл в первую очередь более всего в города и затронул элитарные круги Руси, а не ещё вполне природный племенной и общинный люд, вовсе не бывший в то время единым народом. Вряд ли славянские племена, подпавшие под молодую варяжскую, ещё и неустойчивую, государственность, могли испытывать глубокий идеально-духовный кризис, отвергая традицию и жаждая идеально-религиозной новизны.

Христианизация, она же и византизация, Руси, начатая вл. кн. Владимиром, вовсе, кстати, не агнцем, а, скорее, совсем наоборот — жестоким насильником, циничным и похотливым, правда, неплохим политиком (незаконнорожденным сыном вл. кн. Святослава и дворовой прислужницы, чуть ли не рабыни), так вот эта христианизация-византизация Руси была вполне *насильственной* и никакой другой она быть не могла, ибо основная Русь ничего подобного не желала и желать не могла.

Что ж, исторический прогресс — дело в общем-то тяжкое: он страшателен, потлив, кровав, одним словом — безобразен. Не отличалась «образием» и идеально-религиозная революция на Руси, превращавшей Рюриковскую Русь в Ромейскую. Вызывая вполне естественное непонимание (какие-то иноземцы-греки в чёрных одеждах, что-то такое толкуют «по-ихнему», о чём-то вроде бы нужном и ценном, но... зачем, зачем, когда со своими привычными богами и духами всё и так понятно?), а вслед за непониманием вызывая и вполне объяснимое отторжение.

Однако процесс пересотворения Руси и русичей был запущен, он пошёл и зашёл весьма далеко — до бесповоротного вытеснения волхвоведчества, хотя и не полного его забвения (Русь оказалась тут крепким орешком, продолжая удерживать внутри себя и своего люда кое-что из архитипического, да так, что новой идеологии пришлось кое-что признать из ею поначалу отвергнутого и даже вобрать в себя, пусть и с редактированием, что превратило в конце концов греческую ортодоксию в Русское Православие).

У всякой революции есть два неизбежных следствия-сопровождения: сначала контрреволюция, сопротивляющаяся революции, потом и антиреволюция, преодолевающая негативные последствия революции и ставящая в текущем бытии всё на свои места, но уже на новой основе, в новой конфигурации и в новых обличьях (реставрация тут не более чем частный случай, которого может и не быть). И вот менее всего обращается внимание на то, что навсегда уходит под давлением революции, ею решительно оттесняется и уничтожается, а ведь уходит всегда вовсе не самое плохое и даже не самое устаревшее, тем более не самое ненужное. Революция мало что щадит, надеясь на что-то новое и, наверное, более приемлемое, хотя выпускает на свет божий и многое такого, от чего страшно бывает потом и самой революции. Вот почему за революцией всегда идёт антиреволюция, что-то убирающая с глаз долой из навороченного революцией, что-то сохраняющая и возрождающая из ею отвергнутого, что-то выстраивающая новое, но уже не революционное, а попросту житейски-воспроизводственное.

Вряд ли христианизация-византизация Руси проходила гладко и при всепонимающем одобрении всех христианализируемых-византиевизуемых. И дело тут не в одном даже факте сопротивления драматическому

процессу, что понятно, а в стратегической значимости и успешности большого разрушительно-созидающего мероприятия, причём по преимуществу не в быто-физическом плане, а в идейно-метафизическом. Не вылезло ли из совершившегося тогда насилия какой-либо историометафизической каверзы, ибо гону и уничтожению подлежали не кто-нибудь, а *веющие знатцы* — сподвижники богов и духов, союзники мировых тайн и поклонники мистики, ведатели и ведущие, владельцы исторических вех. Да, они, эти ведатели и ведущие, проиграли, их время ушло, они подлежали исчезновению, но... что... тихому, безмолвному и безропотному? Тут и вся загвоздка: вряд ли Русь Ромейская избежала тогда от этих иномирцев ведунов, этих «финнов»... магического заклятия, а может, и мстительного проклятия, что и нашло потом реальное воплощение в нараставших княжеских междуусобицах, общем нестроении русского бытия, страшном иноземном нашествии и внезапной погибели земли русской, золотоордынском её пленении. Кто знает, так это было или нет, но почему же нет, ибо на метафизическом уровне как раз такое всегда возможно?

48

Воистину христианской Русь стала, надо полагать, не так по итогам своего крещения и прихода на Русь византийской (греческой) Церкви, как, уже во время и под давлением золотоордынского пленения, вошедшего в отечественную историю более всего под названием *татаро-монгольского ига*. Степняки, будучи вольными, подвижными и чуждыми стесняющим волю и движение идеологическим цивилизационным конструкциям «просторовскими» язычниками, не придавали какого-то особого для себя значения русскому христианству и греческой церкви, не видели в них большой и непременной для себя опасности, полагая их сохранение даже весьма полезным для обеспечения своего политического и экономического господства над покорённой Русью. Так что вера православная и Церковь греко-русская не только выжили, но и с неизбежностью усилили своё на русичей влияние, став главным идейным оплотом русскости и отечественности. Тогда-то и состоялся окончательный переход от Руси Старой — дохристианской, к Руси Новой — христианской, к Святой Руси, что и нашло своё выражение после освобождения

от ордынского плена в оригинальной пиарно-символической установочной норме — *Третьем Риме!* Только-только стала Русь независимой Москвией с её великими князьями-рюриковичами, как вдруг превратилась в Царство русское с Царём Русским во главе, запретеновавшее и на имперское величие, что как раз и подкреплялось последовательными завоеваниями и присоединениями ослабевших ордынских наследий.

И вот тут-то и началось самое странное: освободившееся от внешнего владычества, окрепшее и расширявшееся, запретеновавшее чуть ли не на имперское величие, Царство Русское, вполне и христианское, православное — *Святая Русь*, вдруг как-то замерло в нервическом оцепенении, не зная твёрдо, как жить ему дальше и куда идти, ибо одно дело — многовековой враг и постоянное ему сопротивление, мобилизация всех сил на борьбу за своё освобождение, совсем другое — великое движение вперёд, которое никем заранее не предначертано и ничем ясно не предопределено, которое нужно даже не выбрать сознательно, а нашупать — и варианты тут могли быть разные, и мнения, и ревнители этих мнений.

Момент освобождения и обретения силы стал для Руси и моментом стратегического вопрошания, поиска, выбора, ибо не было Московское Царство, не говоря уже об его элите, ни однородным, ни закрытым для внешних влияний, ни лишённым неоднозначных стратегических интенций.

Это было чудо — возникновение под ордынским гнётом мощного восточноевропейского государства, обретшего сразу же по освобождении от ордынцев высокий державный статус — Царства Московского. Однако всё было в молодом Царстве Московском не просто, ибо оказалось оно перед необходимостью борьбы с собою же за самого себя, за свой новый статус, ибо далеко не всех в тогдашней Руси радовало обретённое страной символическое великолдержавие, за которым маячили жёсткий порядок, несомненный централизм, безусловная иерархия, всеобщая дисциплина, безоговорочная «служивость», наконец — самодержавие, власть царя, державие одного!

И распалилась борьба, пошли гонения, полилась кровь!

Кульминации своей эта внутренняя междуусобица достигла при неуравновешенном и полубезумном Иване IV, впрочем, мистически

настроенным христианине, метавшимся неистово и искренне между преступлением и покаянием, вполне отражая раздвоенность тогдашней Руси, как стремившейся уйти подальше от ненавистной ордынской азиатчины, вкушив поболе Европы с латинством, так и не могшей это сделать под угрозой распада и скорого исчезновения.

Либо монолитное царство с его авторитаризмом и деспотизмом, либо... калейдоскопическое ничто!

И как ни метался Иван IV между Старой и Новой Русью, его манила и держала Новая Русь, которой он стал безоговорочной главою и которую он строил неистово вместе со своей беспощадной опричниной, не щадя ни себя, ни подданных, ни союзников, ни, тем более, своих явных и мнимых противников. В жестоких переделочных конвульсиях рождалась Новая Русь, она же и Царство Московское, прямо под яростный перезвон ничего не понимавших православных колоколов, под вопли невинного людского отчаяния и в потоке обречённой русской крови.

А тут рядом Европа, ушедшая за годы ордынского пленения Руси далеко вперёд, либерализовавшая католицизм и учредившая протестантизм, освободившая экономику, деньги, капитал и предпринимательство, сделавшая ставку на науку, технику, изобретательство, творчество, активно развивавшая производство, торговлю, транспорт, строительство, искусства.

Европа была уже в каком-то другом времени — *Новом Времени*, она уже вошла в какой-то другой мир — *Новый Мир*, превратившись в новую, уже изрядно забывшую о средневековые, цивилизацию, радикально изменившую быт, образ жизни, культуру, нравы, обычаи, манеру поведения, политические устройства, право и юриспруденцию, государственность, армию, полицию, тюрьмы, в общем — всё человеческое жизнеотправление!

Примером не примером была Европа для Руси, а уж... маяком точно, ориентиром, магнитом, вроде ушедшей в небытие не без содействия всё той же Западной Европы старой Византии, — Европа стала для Руси и этакой новой Византией — не своей, но... желанной, отталкивавшей, но манившей, к тому же вовсе не равнодушной к восточноевропейскому пространству, к Сибири, не менее алчной к России, чем к Индии, Китаю, Америке, Африке, даже пытавшейся зайти на Русь с мечом

в руках, но, потерпев военные неудачи, зашедшей с торговлей, ремеслами, искусствами, книгами, идеями.

Латинство ещё при ордынцах вполне укрепилось на Руси, в Московии, внося бродильный фермент в местные умы, в идеологию, в образ жизни и поведения. На Руси, на Москве всегда наличествовала явная или скрытая латинская, западническая, пронемецкая партия, причём не только в среде купцов и ремесленников, но и духовенства с аристократией, мало того — и в царских чертогах тоже, не оставив вне своего внимания и таких ревнителей русского православного государства, как Иван III Великий, Василий III и даже сам Иван IV Грозный, которые, имея идеально-культурные симпатии к Европе, упорно пробивались на Запад, отвоёвывая захваченные литовцами-поляками русские земли, покоряя и подчиняя Новгород, ведя войны за Балтику, впрочем не самые удачные.

Нет, органично вбирать в себя Восток Русь Московская не стремилась, ибо понимала, что с ним, хоть и роскошество. и нега, но и застой, и никакого движения вперёд; от Востока Русь только-только политически освободилась, часть его к себе присоединила, а с остальным Востоком ей достаточно было торговых контактов (шелка, ковры, холодное оружие, кони, сбруя, пряности). А вот с Европой было куда интереснее, хоть и сложнее: Европы хотелось, но Европа и сама хотела Руси, — и выходило так, что либо сама Русь должна была добровольно европеизироваться, отбросив православность, либо Европа должна была как-то европеизировать Русь, навязав ей либо католичество, либо протестантизм, либо хотя бы униатство.

Не очень до сих пор ясно, надо ли то же норманнское обустройство Руси относить к европеизации Руси, хотя, возможно, и надо, но византиизация Руси уже явно была её первой европеизацией, весьма потом и переориентированной, ослабленной татаро-монгольским игом, а вот последовавшее за ордынским пленением пришествие Европы на Русь (товары, ремёсла, книги, идеи, знания, профессионалы, наёмники) означало уже неуклонную, хотя и прерывисто-импульсивную, европеизацию Руси-России, разумеется, противоречивую, полную напряжений и борьбы, обретений и откатов, деятельных всплесков и негативных на них реакций.

Ища в муках свой новый образ и собственный путь, Русь-Россия, ставшая Московским Царством, боролась сама с собою, отвергая себя прошлую — доордынскую и ордынскую, почвенную — и устремляясь к себе будущей — послеордынской и собственно своей, но уже и к какой-то сверхпочвенной, а в этом движении к новой Руси-России не могло не сказываться заманчивое и провокационное присутствие Европы — что рядом с Русью-Россией, за границей, что внутри неё, в пределах уже её собственных границ.

И вышло в ходе этой саморазоблачительной и самоутвердительной борьбы своеобразное самораспятие страны — на путевом историческом кресте, что выражалось не только в движении по вертикали от старого к новому (от премодерна к модерну), как и в движении по горизонтали от азиатчины к европейскости (от отсталого мира к передовому), но и соответствующими раздвоениями страны, её расколами — прямо по обеим линиям судьбоносного исторического креста.

Движение по вертикали было движением не просто от бывшей зависимой колонии к свободной самостоятельной стране, что было хорошо заметно и вполне осознаваемо, это было также движение от ещё невнятной субъектной потенциальности к какой-то реальной, вовсе ещё не выраженной, значительной субъектности, а именно — к Риму, не более и не менее, к тому самому *Третьему Риму*, пророчески выклкнутому старцем Филофеем.

В лоне Святой Руси, а может, уже и на её месте, закручивалось что-то исторически великое и неизбежное, далеко выходившее за рамки географического ареала, как и вообще не местного разряда, никому еще до конца не ясное, но уже не сводившееся ни к уходившей стремительно великокняжеской Московии, ни даже к только что народившемуся Царству Московскому.

Путь был, может, и не самый скорбный, но зато крайне драматический, жертвенный, с междуусобиями и потерями, дикими расправами и спасительными братаниями, подлыми изменениями и стоической верностью. Билась мысль, рождались замыслы, гибли проекты. Гудела затяжная пря, гуляли страсти, глухой ропот сменялся жарким бунтом.

Новая Русь боролась со старой, Европа теснила... нет, не Азию, что понятно, а и саму... Русь, а Русь-Россия, вся изрядно смущённая

и немало запутавшаяся, искала, будучи не в силах ни остановиться, ни оглядеться, ни одуматься, какого-то приемлемого для себя выхода и, не находя оного, впадала в полное расстройство, переживая, безжалостно распятая на историческом путевом кресте, самоубийственную Голгофу.

Как раз это и случилось с пострюиковической страной на рубеже XVII—XVII вв., когда то ли потеряв адекватный себе курс, то ли не найдя нужной дороги, то ли растерявшись перед невозможным выбором, то ли сама себе сильно опостылев, а может попросту и начисто забывшись, Русь-Россия вдруг впала в диковинное состояние глобального безумства, названного впоследствии Великой Смутой, когда затрещала и рухнула вдруг сама собой русская государственность, возобладала мерзкая стихия, явились провокаторы и лжецы, восстала измена, пришёл с Запада наглый агрессор, изменила стране и полностью расстроилась армия, забулькатёло латинство, разразилась кровавая междуусобица, забунташил народ, заиграл разбой, разгулялся грабёж, загорелась земля, заполыхали пожары, запогибли люди.

А что Москва, эта чудесная собирательница земель русских, самоназванная столица Царства Московского?

А Москва чуть было не посадила на престол русский иноземного королевича — поляка Владислава, склонилась она и перед лжецарём — то ли чудом уцелевшим когда-то и внезапно окрепшим царевичем Дмитрием — чуть ли не сыном самого Ивана IV Грозного, то ли всего лишь авантюристом-самозванцем — Лжедмитрием (Гришкой Отрепьевым), явившимся пред Москвой прямо из-за польской границы с тучей иноземных разбойников и честолюбивой полячкой в функции жены-царицы, в общем — Москва изменичала, отрицая Русь, историю, почву, веру, хотя и колебалась, и паясничала, и зверствовала, пока не была насилино взята и покорена русскими adeptами Руси, прервавшими сползание Руси-России в бездное ничто, восстановившими государственность и обратившими поруганное и самообесчестившееся Царство Московское в своё, а не в какое-то там иноземное, будущее.

Смута прошла по стране мощнейшей злосчастной судорогой, она стала воистину самоубийственной Голгофой, которую Русь-Россия не могла, видно, не пережить, не просто раздираемая противоречиями и разнонаправленными предпочтениями, а буквально раскалываемая

невозможными невозможностями: разве легко было отрешиться от Руси локализированной, партикулярной, местнической (удельной, региональной, «федеративной»), ещё и весьма вольной, разнообразной, бунтарской и стать окончательно и бесповоротно Русью единой, централизованной, иерархически стройной, монолитной, покорной, вовсе уже не свободной, не пёстрой, не многоликой, не столь уже живенькой, да и как было не отстать русичам от Нового Времени, которое уже наступило в Европе, процветая культурно и цивилизационно кристаллизуясь, и светило оттуда на Русь-Россию вполне рассветным, а вовсе и не закатным светом — ведь Русь не только не была Европой, но и всячески ей противилась, а потому и не имела шансов, не воспринимая Европы, догнать уходившее от неё историческое время.

Да, это была грозная вспышка непрекращавшегося распятия на историческом путевом кресте, когда потребность в разрешении проклятых нововведенческих вопросов непосильно обострилась, а возможности сколько-нибудь сносного разрешения никак не являлось. И страна закипела и взорвалась, как какой-нибудь Везувий, забезумствовала, иска в круговорти страстей и лихорадочных деяний хоть какого-нибудь выхода, — и только изрядно отбезумствовав и малость очухавшись, вдруг... опомнилась, приступив, не слишком ещё понимая, что к чему, к новому самоустроению, нашупывая хоть какое-нибудь разрешение невозможных роковых вопросов: кем быть, как быть, куда идти?

Русь Московская не просто раздоилась, вертясь на месте между старой Русью и Русью новой, между Русью и Европой, не просто умственно и поведенчески шизофреничила, но и, не находя устойчивого компромиссного разрешения, шла на чудовищные расколы, делясь на непримиримые части, не позволяя ни одной из частей ни взять окончательно вверх над всем целым, ни окончательно с этим целым расстаться.

Смута была раскольной попыткой преодолеть уже возникший в стране раскол по поводу невозможности выбора прямого пути для послерюковичевского царства, — и эта попытка не увенчалась каким-либо позитивным результатом, не дав стране ни Новой Руси, ни своей Европы, лишь отодвинув окончательное разрешение проклятого вопроса — уже русского вопроса, а внутри него и русо-европейского,

в неопределённое будущее.

И опять после странного и безрезультатного внутреннего раздора, ядовитого искуса измены себе самой и наглого иноземного нашествия возник с неизбежностью крен в сторону матушки Руси, но всё равно уже не бывшей, а будущей, более крепкой и последовательной в своей царственности, но никак уж не латинской, а потому на первый план вновь тогда вышла... Византия, точнее, её некий призрак в виде полупризрачных её наследников — греков, и опять же не самих по себе греков, а лишь их весьма туманного образа, могшего послужить для московской власти не более чем внешним оправдательным аргументом её собственных интенций и блужданий.

Власть тогда нуждалась в упорядочении и укреплении государства, а следственно, и в более стройной идеологии, а потому и в более стройном управлении веры, а вера победила в стране, как и прежде, православная, отчего и ссылка на греков казалась тогда вполне уместной — как на ревнителей-де последовательного и крепкого православия.

Так свалилась вдруг на Русь церковная реформа — поспешная, не продуманная, бесполковая, получившая название *Никоновской*, хотя сам патриарх Никон не был вовсе её автором — авторство её восходило непосредственно к Кремлю, к царскому престолу, к царю Алексею Михайловичу Романову. Однако реформа была проведена как раз Никоном и проведена столь энергично и бескомпромиссно, что, укрепляя государство и готовя новую волну европеизации Руси, спровоцировала лишь новый в сомневающейся стране раскол: теперь уже на староверов и нововеров, что означало нежелание части Руси вновь устремляться за заграницей, в Европу, где уже возобладал и царствовал по убеждению многих православных людей реальный антихрист, как и вело к сдаче позиций перед антихристом со стороны другой части Руси, уже подавшей, по мнению ревнителей ортодоксального благочиния, под власть всё того же антихриста. Даже никоновская отчаянная попытка построения на Москве Нового Иерусалима не вызвала никакого достойного энтузиазма у русских христиан, чувствовавших во всём этом уже какую-то если и не невольную фальшивь, то явно неотвратимую тщету. «Передовая» власть не находила в недрах «отсталой» Руси ожидаемого ею позитивного отклика,

ибо на передний план вылезало всё то же самое — западничество, европейство, латинство, чего русские глубина и твердь никак не могли приемлить.

Чуткая староверовская Русь, ушедшая в раскол, бегство и самосожжение, рас прощалась тогда со Святой Русью, вполне законно узрев её апокалиптический конец, а не столь чуткая, но зато сильно жаждавшая житейской новизны и европейского прогресса нововеровская Русь приступила к новой волне европеизации страны, как оказалось, достаточно хорошо осознанной, вполне намеренной и вовсю подконтрольной.

Так драматично и кроваво Русь прощалась с Премодерном и встречалась с Модерном, происходил переход от Старого Времени к Новому Времени, от отвергнутой элитой неевропеизированной Руси к чаемой всё той же передовой элитой европеизированной России. Дорого обходилось Руси-России её движение к Европе, очень дорого, но оказалось, что никонианский раскол был вовсе не последней ужасной платой за хождение Руси в Европу: Новое Время, как вскоре выяснилось, не только не отличалось русофилией, что понятно, но и никак не запяtnalo себя тем, что обычно называется в образованной среде... гуманизмом, не говоря уже о принятом среди православных людей человеколюбии, что, впрочем, тоже, к сожалению, вполне понятно.

За реальным подтверждением русского обращения к модерну история далеко и долго не ходила: расколотая и неуклюжая Русь, гнавшая себя от себя и жаждавшая чего-то для себя иного, вдруг выдавила из себя... явление, а точнее, чудище... в лице не кого-нибудь, а прямо первого лица в государстве, самого... царя, молодого ещё царя, именем Пётр, ставшим потом и Первым, и Великим, а пока... пока попросту раздражённого русофоба и ущемлённого проевропейца, сформировавшегося в царских чертогах в нелюбви к russkosti и всей её византийщине, а в немецкой слободе в безбрежной любви к Европе, к неметчине, а потому решительно вступившем на путь переделывания матушки Руси по европейским вроде бы лекалам — неистово, бескомпромиссно, безостановочно, чему способствовала необыкновенная натура младореформатора — совершенно, знаете ли... *нечеловеческая!*

Воплотившись в одосчастье в одарённой, но и полубезумной личности самодержавного, неукротимого и деятельного Петра, Европа буквально ввалилась в Русь-Россию и принялась волею, умом, руками и ногами неистового младореформатора со товарищи, подпираемых тучей иноземных советников, специалистов и воителей, переделывать под себя и свой амбициозный проект непокорную страну, в раздражении круша всё местное, традиционное и давно замшелое, всё отсталое и уже ненужное, и лихорадочно созиная новое, свежее, передовое, столь вроде бы стране необходимое, не пренебрегая насилием, потом и кровью, действуя варварски, грубо, криминально и вполне по-революционному, практически задаром пользуя накопившиеся за десятилетия в народе созидательные энергии и силы, но не выпуская их на независимый конструктивный простор, принудительно и ловко канализируя в потребных модерно-державных направлениях, всё более подчиняя страну и народ безоговорочному самовластью, закабалая и выстраивая деспотическую систему управления с покорной центральной власти армейской и полуармейской служивой элитой.

Православную Церковь Пётр не стал ни реформировать по западному варианту, ни уничтожать, он попросту, отменив патриаршество, подчинил церковь светской власти и, не тронув догматов и ритуалов, оставил Церкви, лишь вполне приемлемую для самодержавной власти служебную психотерапевтическую функцию.

Более или менее удачливый в своих нередко несуразных и нелепых начинаниях, бесноватый Пётр, рубя направо и налево непокорные русские головы, не брезгая и личным отправлением багрово-красной палаческой функции, развернул-таки Россию к Европе, буквально нацепив на Россию псевдоевропейский маскировочный колпак, чем не так европеизировал Россию, как раздвоил её, если не расколол: на открытую псевдоЕвропу и закрытую псевдоРусь.

Ничего другого из поспешных и воистину бешеных петровских усилий возникнуть не могло, ибо его титанический замысел был по сути своей не только не европейский, но даже и не азиатский, а скорее какой-то абстрактно имперский, даже ордынский, чингизхановский, произволь-

ный и деспотический одновременно, никакой цивилизации не органичный и ни к чему почвенному не привязанный.

Петр не так вышел из России, чтобы её реформистски изменить, глядя на Европу, ей подражая, как свалился на Россию, чтобы её попросту переиначить под Европу, переделать внешний образ, причём сделать это хоть и не за «500 дней», но в максимально короткие сроки, за какие-нибудь три пятилетки — и всё это в отрыве не только от Европы, не только от России, но и вообще от всякой обыденной реальности.

То был совершенно абстрактно-произвольный проект для абстрактно-произвольного пространства и абстрактно-произвольного времени!

Пётр строил свою Россию — не европейскую и не азиатскую, а именно свою — *петровскую*, для чего и поднял родную страну на дыбы, не преминув и вздрнуть на дыбу, вывернулся, переломил, употребил, перепотрошил, перекантовал — и то ли не успел, то ли забыл, то ли не захотел, то ли не сумел ни поставить её обратно на ноги, ни сдёрнуть с ненавистной и бесполезной дыбы.

Так и ушёл внезапно из жизни, предварительно казнив несчастного сына-наследника за измену-де отцу-преобразователю, и оставил взбудораженную и невразумительно перелопаченную страну на неуютных берегах Финского залива с наспех построенной на невских болотах мокрой и холодной столицей, названной им прозорливо своим, ставшим для русских вполне уже антихристовым, именем.

Не сделав Россию Европой, хоть и повоевав немало с Европой в лице нависшей вдруг над Россией и самой Европой амбициозной на тот момент Швецией, терпя поражения и одерживая победы, что как раз и служило бесспорным повседневным и стратегическим оправданием петровских преобразовательных усилий, Пётр, ставший, тем не менее, Великим, добился главного — безвозвратно поселилискажённую Европу в искорёженной России, окончательно разделив страну на европейский-де верх с ордынским властным центром во главе и российский, он же и азиатский, низ, не имевший никакой субъектности и обречённый на безоговорочное служение верху и собою от него беспардонное управление. Начался откровенный паразитизм псевдоевропейской России над Россией собственно российской, этой коренной наследницей Руси, что

не значит, что вообще не состоялось потом никакого вынужденного единения двух взаимоисключающих Российй, но... никогда вполне органического, в лучшем случае — симбиозного, весьма и напряжённого, чреватого, конечно же, грядущим разрывом и неизбежным между собой судьбоносным столкновением.

Трудно сказать, какой именно хотел видеть Россию Пётр I, но получилось то, что получилось: с одной стороны, европейская-де Россия, которая была вовсе не Европой в России, а лишь российской (азиатской, ордынской) Европой в России, противостоящей не одной только российской России, но и... самой по себе Европе (сказалось влияние традиционной Руси, её неизгонимой метафизики), а с другой стороны — российская Россия, эта перебалоченная и загнанная в рабство традиционная Русь, долженствовавшая нести на себе вымученную Петром российскую Европу, эту полу-Европу, недо-Европу, псевдо-Европу, а в чём-то значительном и анти-Европу.

Хотел Пётр, видно, одного, а получилось у него совсем другое — не европеизация России и вхождение России в Европу, а возникновение на Востоке Европы двусмысленного относительно как Европы, так и Азии, имперского субъекта, воспринявшего вроде бы Европу, но и тут же себя ей противопоставившего, что было вполне естественно, если учесть весь ход борьбы Петра за Европу, в которой нашлось достойное место и многолетней войне... со всей той же Европой, пусть и в лице только Швеции и её незадачливого кесаря.

Российская, она же и петровская, Европа родилась вовсе не через одно лишь обучение у Европы, а и в войне с Европой, что и определило на века противоречивое взаимоположение реальной европейской Европы и придуманной российской псевдо-Европы.

Однако толчок к развитию России в европейском образе был дан, мало того, состоялось и начало пути, а потом, после ряда антипетровских корректировок, было запущено и кое-какое развитие, так что хоть и двоесущностная, вовсе не монолитная, но всё-таки единственная евразийская империя восстало-таки на Востоке Европы, набрала великого могущества, и, неоднократно побеждая в открытом бою реальную Европу, в том числе и легендарного Наполеона Бонапарта с его великолепной Великой Армией стала не просто нависать огромной восточной тучей над Европой,

но и весьма определять её текущее бытие, противостоя заразе уже новоевропейской *Революции*.

Произошло в общем-то что-то воистину странное: насиливо внедрённая в Россию усилиями Петра и заинтересованных в европеизации России европейских доброхотов, Европа, совершенно России не органичная, попросту в Россию вдруг попавшая, была каким-то образом под европейским же немецким правлением с онемеченной российской династией не только переварена коренной Россией (руссостью), но и предстала перед изумлённой Европой европейской по обличью, хотя и неевропейской по сути и, кажется, вообще альтернативной Европе страшной — богатой, содержательной, сильной, самоуверенной!

И хотя дворянско-аристократическая элита говорила не по нашему, не по-русски, а по-ихнему — по-немецки, по-голландски, по-английски, а в основном по-французски, мыслила она всё-таки не совсем по-европейски, если вообще не по-европейски, нашупывая какой-то иной, вовсе и не европейский, как это было, к примеру, в тех же США, исторический путь. Это была страна-альтернатива, — и это Европе пришлось осознать и против такой России с неизбежностью восстать, правда, долгое время совершенно безуспешно, что и было подтверждено поражением Европы в войне 1812—1814 гг. (руssкие войска вошли-таки в Париж!) и поражением Европы в спровоцированном ею бестолковом декабристском восстании 1825 г.

Пётр I Великий по-великому перетряхнул Россию и, создав из неё новое государство, вполне уже и имперское, лишь по форме европейское, а по сути-то вполне и ордынское, желая того или нет, обеспечил возникновение на Востоке Европы противостоящей ей и даже альтернативной цивилизации — *российской*, не утерявшей связи с византийской ортодоксией и русским православием, а потому как-то духовно весьма резко отличавшейся от собственно европейской, уже и весьма антихристовой, цивилизации.

Да, антихрист через Никона и Петра много чего натворил в Руси-России, но... трудно объяснимая преданность русских низов и части элиты своим духовным истокам не только замедлила антихристианизацию страны, но и обеспечила формирование в ней новой, всё ещё христианской, хотя и с мощным антихристовым замесом, цивилизации. Здесь

был сплошной парадокс: антирусское насилие нещадно громило и перекраивало Русь, но в то же время и вызывало глухое и не очень с её стороны сопротивление — и стратегически выходило так, что поле битвы никогда в Руси-России не оставалось за не-Россией и уж тем более за анти-Россией!

Вот, видно, откуда богоспасаемая Русь со своей малопонятной и очень рискованной исторической мистерией!

Но исторические парадоксы Руси-России вовсе не сводятся к факту её чудесных спасений, выживаний и самосохранений, мало того, ещё и бодрых выскакиваний на историческую авансцену, они непременно дополняются парадоксами самокризисов, саморасколов и самопотеря.

Да, Российская Империя, этот вроде бы сам собою возникший Третий Рим, доказала свою силу и живучесть, свою историческую претензию на особенное бытие и ведение победоносных войн, включая и такую великую войну, какой случилась война в Европе 1812—1814 гг. (сначала Россия была против чуть ли не всей Европы, ведомой Бонапартом, а потом в союзе с частью Европы, включая незабвенную Англию, уже против бонапартистской Франции), но Российская Империя тут же впала в свой внутренний кризис, наиболее ярко обозначенный декабрьским 1825 г. волнением в Петербурге по случаю смены государя-импера-тора, однако не исчезнувший с победой и расправой самодержавия в лице Николая I над бесподобно демонстрировавшимися декабристами, а лишь ушедший вглубь и надёжно овладевший всей российской исторической перспективой.

И всё было бы ничего, если бы не беспокойная и развивавшаяся Европа, вступившая под водительством торгово-промышленной Англии в индустриально-экономическую революцию и создавшая какую-то уже принципиально новую европейскую цивилизацию — экономико-научно-техническую. Ни о какой подобной революции Россия тогда не помышляла, как, собственно, и ни о какой другой. Россия, обымперившись и подразвившись, вдруг замерла и в этом своём замирании явно уже вновь стала отставать от Европы, теряя время и не различая перспектив развития. Это был застой, и кризис, в стране уже проявившийся, был кризисом именно застоя. Легкомысленные декабристы не смогли сдвинуть с места

застойную ситуацию, ибо таковое деяние могла совершить только *большая революция*, для которой во внешне ещё процветавшей стране не было ни условий, ни пониманий, ни потенций.

А что нужно-то было? А нужен был всего лишь... отказ от... дворянской самодержавной империи, что было тогда и немыслимо, и утопично, и невозможно. Обычно говорят о назревшей и чуть ли не вспыхшей необходимости отмены крепостного права, на что и нацеливались государь за государём, пока Александр II не стал в 1861 г. реформатором-освободителем, отменившим крепостное право, а дело-то было куда как серьёзнее — отменять надо было и дворянство, и аристократию, и самодержавие, что означало отмену самой Российской Империи, этого, повторим еще раз, Третьего Рима, во всяком случае в её петровско-екатерининской интерпретации.

И поскольку это совершенно исключалось, то дух революции, проявленный незадачливыми декабристами, не умер вовсе, а лишь затаился, уйдя в тень, в конспирологию, вылезая на поверхность сначала в виде всяких новомодных литпроизведений, университетских историко-философских курсов, словоохотливых интеллектуальных кружков, передовой отечественной и заграничной диссидентской печати, а затем и вселился в скрытые революционные и реформистские группировки, открытые религиозные секты и ереси, подпольные политические движения, легальные политические партии, прогрессивные конституции, говорливые парламенты, мрачный революционный террор, наглую пропаганду, беспардонные провокации, массовые народные выступления, крестьянские бунты, студенческие волнения и рабочие забастовки.

В Империи прочно поселились две сознательно действовавшие антисистемы — *умеренная проевропейская реформация*, олицетворением которой стали более всего добровольственный и победительный Александр II с его «освободительными» и «демократическими» реформами шестидесятых-семидесятых годов XIX в. и принудительно вынужденный, совсем и не победительный Николай II, уже внук Александра II, пытавшийся не так опередить зарождавшуюся революцию, что как раз делал его славный дед, как её безнадёжно предотвратить, и *радикальная революция*, проевропейская и антиевропейская одновременно, выразите-

лями которой стали... ох-хо-хо... и Герцен, и кучка так называемых революционных демократов, и народники, и социал-демократы, и социал-революционеры, и... и... не стоит, наверно, перечислять всех радикальных противников дворянско-самодержавной империи — от совершенно пристойных конституционных демократов до оголтелых анархистов, не говоря уже о боевиках, бомбистах и разномастных бандитах.

В общем: *партия Реформы* во главе с царями-императорами и *партия Революции*, не признававшая никакого самодержавия, а вместе с ним и никакой империальности.

То были так или иначе активные, вполне субъектно выраженные, со своими идеяными программами антисистемы, отыгравшие в итоге разные социально-политические роли в грандиозном апокалиптическом спектакле, унесшим жизнь не одних только мириад российских людей, но и самой Российской Империи, но сама возможность возникновения, постоянного наличия и непрерывного действия этих антисистем, какими бы благими намерениями они не руководствовались, фундаментально обусловлена иного рода антисистемностью, вполне и пассивной, и субъектно не выраженной, никак идеально не ограниченной, а именно — *субстанциальной*, восходившей к массовому неудовлетворению от текущего, конечно же, имперского, бытия, им, этим неудовлетворением, и обильно питавшейся, — и это удовлетворение относилось если не ко всем без исключения россиянам, то к их очень большому числу, причём сразу из *всех* социальных слоёв и географических локаций.

Без особого преувеличения можно сказать, что недовольны были по тому или иному поводу в той или иной мере *все* подданные великой Империи, исключая лишь разве самих держателей имперского престола, которые просто не имели права быть недовольными, платя за отсутствие этой возможности другой возможностью — быть озабоченными нарастающим неблагополучием и надвигающейся эсхатологической угрозой.

Революция, как хорошо известно, победила, она уничтожила вспыхнувшую Российскую Империю, так и не нашедшую возможности преобразоваться и уцелеть, но что интересно — антисистемность никуда не делась с революцией, а немедленно породила братоубийственную войну, преодолевать которую пришлось затем долго и жёстко... вполне и по-имперски, мало того, совершенно и по-ордынски!

Да, петровско-екатерининская XVIII в., как и александро-николаевская XIX в., Российская Империя вполне реализовала идею Третьего Рима, высказанную старцем Филофеем в момент, когда Царство Московское лишь только озарилось надеждою на возможный в будущем имперский статус, — примечательно, что мысль эта, вполне и историософская, вовсе не стала пустой побасенкой, как это представляется многим, а оказалась совершенно промыслительной: Третий Рим, этот наследник Первого и Второго Римов, был так или иначе сотворён на Востоке Европы не без предвосхищения и претворения его азиатской чингизовой империей, о чём не следует никогда забывать, ибо русский Третий Рим, хоть и был еврохристианским — православным, но с сильнейшей примесью деспотической и антихристианской азиатчины.

Ордынщина вовсе не покинула Русь-Россию с формальным падением татаро-монгольского ига, а осталось на Руси — и не только в царизме, аристократии и дворянстве, но и в самом русском народе, мало того, ещё и усилилась с присоединением к Московскому Царству восточных, бывших ордынских, земель. Так что третьеримская империя возникла и впрямь азиатской, причём была она не столько, наверное, Европой в Азии — или евросутью в азиатском исполнении, сколько Азией в Европе — или азиатской сутью в евроформе.

Так или иначе, но это была *Новая Россия — Россия Нового Времени — Россия Модерна*, и была она в Европе и в Азии, как и рядом с Европой и Азией, и не была она ни Европой, ни Азией, а была... *Россией*, вполне неприемлемой для собственно Европы (Западной Европы), как и не вполне приемлемой для собственно Азии.

Россия была *одна* — великая, мощная и перед будущим совершенно беззащитная!

50

Возникновение на Востоке Европы огромной евразийской империи с русским этно-культурным основанием и geopolитическим центром в Москве только на первый и непосвященный взгляд кажется случайным и недоразумительным, а на самом-то деле это был не случай вовсе, как и не было тут никакого недоразумения, а была реализация вполне исторически обоснованной, выстраданной и оправданной метафизической предопределенности, нашедшей уже первое воплощение в приходе на Русь

(в русское, а ранее славяно-скифское пространство) имперских по промыслительной сути варягов, подтвердивших свои империальные намерения походами на Византию, на соседей-степняков, разгромом Хазарии и Волжской Булгарии, присутствием Руси в Крыму и в Приазовье, беспардонной и жестокой славянской работогловлей, становлением державного Киева в противовес коммерческому Новгороду, удержанием торгового пути из варяг в греки (и наоборот), выходом на великий шёлковый путь, а затем принятием и внедрением христианства и византийства, обретением имперской от Византии символики (Владимир Мономах), но и попаданием в полон к татаро-монголам (ордынцам, чингизидам) и скорбной у них и от них имперской выучкой, а потом волевым освобождением от татаро-монгольского господства, новым объединением русских земель в единое, уже не киевское, а московское, государство, движением на Восток с замещением и частичным воспроизведением ордынской империи, не самым уверенным и последовательным, весьма волнительным и даже трагическим расставанием с исконной (природной) русской вольницей, пусть и относительной (поземельной, местнической, сословной) и упорным движением уже после Смуты и при Романовых кprotoимпериальной цивилизации с единым на Руси порядком,ластным централизмом, иерархической самоподчинённостью, самодержавным правлением, наконец, прямым, внезапным и откровенным петровским скачком в империю с одновременной насильственной европеизацией Руси, окончательно ставшей Россией (её девизантизацией и вовсе не слабой деруификацией), а также весьма заметной антихристианизацией страны (дехристианизацией, расцерковлением, секуляризацией, просвещением).

В Западной Европе, несмотря на постоянные империальные попытки (разного рода geopolитический роялизм, цезарепапизм, крестовые походы, Священную Римскую Империю, всестороннее английское могущество, испанские притязания, австрийский монархизм, французский бонапартизм, германский имперализм, европейский социал-фашизм) Нового Рима так и не возникло, хотя Западная Европа вроде бы была более прямой наследницей Первого Рима, чем та же Россия, которая в Римской Империи вообще никогда не бывала (побывав при этом в империи ордынской). Что же помешало Европе воссоздать Рим, стать

тем же Третьим Римом? Наверное, наличие весьма мощных, относительно самостоятельных и достаточно независимых друг от друга этно-государственных очагов, в которых не только вываривались *Разные Европы*, но которые обеспечили возникновение и воспроизведение на месте Западной Европы своеобразного *европейского geopolитического конгломерата*, оказавшегося способным не только удерживаться и вновь восставать, но в конечном итоге как раз не допускать на территории Западной Европы Нового Рима. Испуг Европы от Первого Рима, как и его страшного погрома варварами, так прочно засел в метафизику и ноосферную память Западной Европы, что ни о каком Новом Риме с общеевропейским центром во главе не могло быть в Европе и речи. И хотя имперские центростремления всегда имели место в Европе, антиимперские центробежия столь же всегда одерживали верх — аж до середины XX в., когда geopolитические центростремления наконец-то преодолели центробежия, дав дорогу объединённой Европе, ставшей ныне Европейским Союзом, достаточно уже по ряду признаков и *protoимперским*.

Две страшные миро-европейские, или евро-мировые, войны первой половины XX в. заставили Европу, в которой метафизический страх от взаимной вражды наконец-то превысил археогенетический страх перед евроимперией, пойти на внутреннюю консолидацию, способную в недалёкой перспективе, если на то будет воля исторического промысла, оплодотворить новое имперское образование — Пятый Рим, следующий, по-видимому, за Четвёртым — американским.

Тут, правда, выплывают в памяти пророческие слова старца Филофея о том, что Третьему Риму в Руси-России быть, а Четвёртому Риму... «не бывать», не то что какому-нибудь Пятому. Отсюда и оценочные размышления и оговорные вопросы: так ли уж крепок и жизнеспособен только что определённо заявивший о себе после раз渲ала СССР американо-глобальный Рим, как и возможен ли в реальности Рим новоевропейский?

Российский Рим, он же Третий Рим, оказался возможным. Пётр I как раз и стал восприемником этого чудного Рима, возникшего на Востоке Европы: от Византии и вопреки ей, от ордынщины и вопреки ей, а в чём-то и от Европы и вопреки ей, возникшего на обширном, в общем-то и свободном, пространстве, где хоть и появлялись разные этно-

государственнические очаги, но где очаги эти не смогли образовать пусть и переменчивый, но воспроизводящийся полигцентровый, а следственно, и антиимперский, кластер, где синергетический социоворот порождал не равносильные и равноценные центры, не способные ни овладевать друг другом, ни стирать друг друга с лица земли, а тенденцию к единому центру, к большому geopolитическому образованию, к империи.

Не эту ли империальную потенцию восточно-европейского геополитического пространства уловил прозорливый старец Филофей, предсказав России великое имперское будущее? Да, не одну лишь скрытую потенцию к империи заметил славный старец-геополитик, он явно почувствовал и реальную способность сформировать империю, мало того, узрел он и империальную интенцию, возбуждаемую восточно-европейским пространством, но уже, надо полагать, сдобренную *имперской идеей*, вдохновенно вобравшей в себя норманизм и византизм, христианизм и ордынство, европеизм и русизм, и ведший Русь-Россию, как вслепую, так и зряче, по промыслительному имперскому пути, в прозреваемые империальные дали.

Филофей уловил проект, разумеется, более ещё скрытый и метафизический, чем реальный и осознанный, который был не более чем глубинным, глухим и невыраженным намерением... самой истории, а уловил он его, по-видимому, осознав вдруг, — это после-то ордынского имперского пленения Руси, да ещё и с учётом предательского разгрома ортодоксального Константинополя западноевропейскими крестоносцами-еретиками и покорения Второго Рима иноверцами (новыми ордынцами)! — что Христос, укрепившийся на Руси, устоять может только, ежели в Руси восстанет империя, да не ордынская какая-нибудь, а Христова, наследующая Византию, Константинополь, Софию. Вот почему пригрезился Филофею именно Третий Рим, да ещё и на Руси, как и стало geopolитическому прозорливцу ясно, что Четвёртому Риму «не бывать»!

Имперские интенции в Европе не всегда имели место, но получили они полную и действенную реализацию не внутри Европы, где повторяющиеся империальные попытки ни к чему завершённому не приводили, а вне Европы — путём образования ряда европейских колониальных империй, что, с одной стороны, ослабило и дезориентировало на время

внутриевропейскую империальность, а с другой — обусловило накопление в Европе новых имперских амбиций и сил, что и вылилось в свой срок в две мировые империальные войны. Европа-таки передралась внутри себя, вполне и проимперски, не преминув втянуть в развязанные ею империальные схватки не только свои многочисленные колонии, полуколонии и иные страны влияния, но и подражавшую Европе Японию, а также не собиравшиеся воевать за новую европейскую империю СССР и США.

Возникновению единой европейской империи помимо возросших на руинах Римской Империи и боровшихся друг с другом за влияние в Европе национальных, вполне по духу и имперских, государств, помешала, конечно, Реформация, расколовшая Европу на католическую и протестантскую, вызвавшая соперничество двух Европ, не приводившее к доминированию ни одной из них над общеевропейским целым.

И усиленно развивавшаяся в Европе *экономическая цивилизация* долгое время не была сильно заинтересована в единой европейской империи, которую буржуазия не смогла бы тогда контролировать, но зато вполне могла бы оказаться под её тяжкой пятой, так что экономика с капиталом предпочитали долгое время национально-государственные «крыши», в особенности, те, которые подкреплялись колониальными имперскими завоеваниями.

Не способствовал общей политической евроимпериализации и вылив Европы в США, где собирались все экспрессивные европейские силы, позволяя Европе поддерживать свой полисубъектный «консенсус».

В Восточной же Европе всё было совсем не так: здесь имперскость не просто настойчиво просилась в реальность, но и шаг за шагом этой реальностью овладевала. После ряда проимперских попыток времени Киевской Руси обозначился, уже в постордынское время, вполне реальныйprotoимперский центр — Москва, Московия, Московская Русь, а потом этот центр стал осваивать окололежащее пространство — во все стороны, хотя и с разной степенью успеха и мерой овладения.

Так или иначе образовалась в итоге единая в топологическом плане империя, отличавшаяся от обычной империи отсутствием явной господствующей метрополии и явно эксплуатируемых колоний, хотя и с империальным центром во главе и с подотчётными ему провинциями.

То была империя, не практиковавшая подавления этно-культурного своеобразия оказавшихся в составе империи территорий и предпочитавшая международную органику любой международной разобщённости, не говоря уже о межконфессиональных противостояниях и раздорах.

Имперская Россия складывалась, переваривая натуженно внедрённую Петром и внедрившуюся саму по себе в русский организм Европу, включая и еврообразный элитарный слой. На это ушёл весь славный XVIII в. Потеснив малость Европу, Россия установила с ней паритетные отношения, поставила на место Турцию и вошла в Кавказ, взяла под свой контроль Прибалтику, Крым, Валахию, часть Польши, укрепилась на Севере, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, очутилась и на Аляске.

В общем, явился, сложился и утвердился к XIX в. Третий Рим — холодный, тёмный, снежный, бескрайний. Пётр Великий во всю молотил русичей, выделяв из них русских, а Ломоносов, уже посредством просвещения и реформы языка вывел новую породу русичей — *великороссов*, обретших полную и достоверную имперскую стать благодаря елизаветинско-екатерининским победам и созидательной воле великих имперских устроителей вроде в духе того же князя Потемкина.

Обретение вовсе не формального имперского статуса, как и необходимая уже для реализации обширной топоимперии всесторонняя мобилизационная армейщина, либо армейская мобилизационность, когда все в стране в той или иной мере крепостные слуги империи, её и для неё тягло, хотя и придавали некоторое время могучую силу и великую грозность России, но не дали подданным империи, во-первых, необходимой полноты личного жизнеотправления, полной личной ответственности за свою жизнь и столь же полной личной жизнеустроительной инициативности, что то же самое — личной, семейной, коллективной локальной свободы в земном жизнеотправлении, а не в небесном «житии»; во-вторых, возбудить не испытывающее границ людское творчество и соответственно тенденцию к общему развитию страны, созиданию и освоению собственных новшеств; в-третьих, обеспечить преодоление устойчивой подражательной зависимости от культурно, экономически и технически развивающейся Европы, достаточно определённо, целостно и стратегически себя Европе противопоставить, вытравить из себя всю от неё зависимость, встать рядом с ней и самодостаточно над ней возвыситься.

Обретение российской элитой европейских одежд, манер и языков, вполне по сути так и оставшейся неевропейской (тягловой, азиатской, ордынской), не только не превратило Россию в Европу, но и не увело Третий Рим при всём его поклонении Европе от идеально-геополитического противостояния с этой самой Европой (цивилизованной, либеральной, гуманистической, просвещённой), которая вовсе не питала никакого доброжелательства к дремучему, с её точки зрения, и непонятному для неё Третьему Риму.

Исторически сложившийся питет русского элитаризма перед передовой Европой, у которой приходилось учиться и учиться и которую приходилось всё время заимствовать и заимствовать, не позволяя России даже помышлять о каком-то ордынского типа противоборстве с Европой, хотя некоторые геополитические амбиции в отношении ближайшей — центральной и в основном славянской — Европы у Третьего Рима, конечно же, были.

Так что в целом Россия никогда не была высокомерно и агрессивно настроенной относительно Европы, хотя всегда внушала Европе великое к себе недоверие и чувство реального страха. А вот Европа питала к России вполне логичную с европейской точки зрения неприязнь и столь же обоснованные постоянно культивируемым европейским империализмом агрессивные намерения: от обращения России в своего зависимого и послушного сателлита до превращения варварской страны во вполне рабскую колонию. Европа всегда хотела ослабления России, её «изнутреннего» взрыва, её распада, хотя, надо отдать должное части элитарной Европы, в Европе культивировалась и приязнь к России, имела место и заинтересованность в России, в конструктивном с нею взаимодействии, даже в равноправном партнерстве с нею.

Россия и Европа, Европа и Россия — великое идеально-геополитическое, но при этом и совершенно метафизическое противостояние, нeliцеприятно периодически подтверждаемое вспышками яростного противоборства!

51

Особенность Российской Империи — Третьего Рима состояла прежде всего в том, что строилась эта империя не столько посредством

внешних колониальных завоеваний, сколько путём расширения государства-центра на близлежащую периферию, но при том важном условии, что внутри страны складывалась особого рода имперская властная структура с подчинением ей всего в ней наличного — что коренного центрального, что коренного периферийного. Строго говоря, Рим тут вырос не почвенно, изнутри, а был насильственно внедрён извне, да так, что между Римом и почвой никакой прочной и продуктивной органики не случилось.

Империя строилась по армейскому образцу — как служиво-тягловая, а потому подотчётное ей население оказалось не более чем рабским заложником империи (систематическая работорговля «киевских» рюриковичей, пройдя через полоны ордынцев и крымцев, дошла в конце концов до романовского всеобщего порабощения); строилась империя по ненавидимому населению ордынскому разряду, вовсе не европейскому и даже не древнеримскому, не говоря уже о византийском; что касается высокоцивилизованной-де европлатинской атрибутики — иноземной, то и она внедрялась нарочито насильственно.

И что же в итоге: Рим вроде бы состоялся, но Рим особенный — либо вообще без римлян, а если и с кое-какими римлянами, то всего лишь грубыми поработителями собственного коренного населения — славяно-угро-финнского, как, впрочем, и оставшегося татаро-монгольского. Вот и получилась какая-то сверх- или над-человеческая империя, захватившая в полон местное население и, над ним разместившись, его нещадно эксплуатировавшая. Социальная база такой империи состояла не в трудовом её населении, а всего лишь в имперской служивой элите — крепостниках (от царя до последнего дворянчика), причём по большей части своей элите чужеродной, если не прямо иноземной: варяжской, татарской, ливонской, польской, прибалтийской, немецкой, шведской, практически любой, но только не коренной, а ежели и коренной, то уже заметно дерусифицированной — так сказать, трансгрессивно изменившейся.

Рим, таким образом, возник и был, но Рим очень своеобразный, — где никто не чувствовал себя органической принадлежностью империи, лишь ей в той или иной мере и тем или иным способом принудительно и вынужденно служа.

Свообразие тут было не только в своеобразии собственно Рима,

но и в своеобразии его характерного предиката — в Третьем. Это был Рим с резко ослабленной духовно-церковной составляющей, что свидетельствовало о том, что хоть Третий Рим и состоялся, но состоялся либо как и не совсем Третий, либо же как Третий, но ослабленно или недостаточно Третий, в общем, какой-то межеумочный — ни действительно европейский (еретический, уже и антихристианский), ни конструктивно византийский (может, и с еретически преобразованной, но социально-активной Церковью), ни собственно российский (так и не давший простора самобытности, разумеется, не замшелой, а обновлённой).

Победивший Третий Рим реализовался и не мог не реализоваться в военизированной (спартанской, македонской, имперского Рима) организации, пройдя мимо организации гражданской (афинской, карфагенской, новоевропейской), что исключало возможность имманентного («изнутреннего»), постоянного и всестороннего творчества и развития, но зато способствовало консервации и стагнированию. Время высшего взлёта Империи на рубеже XVIII — XIX вв. стало и временем её остановки, когда с боями достигнутое почивание на лаврах обернулось сатисфакционным, но и погибельным самоуспокоением.

В 1825 г. всё уже стало ясно: Россия достаточно закоснела в образе Третьего Рима, надёжно застряв в своей тягло-служивой, мобилизационно-милитарной и аграрно-натуральной матрице. Империя уже явственно противоречила самой себе, да так, что, находясь в самопризванной успокоительной коме, впала в итоге в общий системный кризис — тяжкий, вязкий, затяжной, из которого Россия никак не могла найти положительного выхода. Поначалу выглядевший всего лишь проблемным, этот кризис со временем принял совершенно апокалиптический характер, обозначив собою длительный исторический период — период *русско-имперской апокалиптики* (с 1825 по 1917 г. и далее).

Стройно-милитарная конструкция российской империи, весьма эффективная при прорывочных мобилизациях и судьбоносных военных компаниях, как и при динамике империи вширь, не могла уже быть столь же приемлемой в обычное, мирное и как бы расслабленное в имперском отношении время, ибо, империя, боясь и отрицая в видах самосохранения хозяйственную, предпринимательскую, творческую свободу своих подданных — их личную, семейную, коллективную, местную инициативу,

не дозволяла возможности воистину самостоятельно развиться, а всё, что всё-таки появлялось со стороны вдруг вырывавшейся частной инициативы, либо немедленно глушилось, либо не замечалось и не получало поддержки, либо благополучно умирало в положенный в таком разе срок.

Отсюда оставалось либо насильтвенное развитие, естественно, заимствованное, догоняющее, подражательное, как это было при Петре и некоторое время по инерции после него, либо синергетически быстро и ловко возникающий всеобъемлющий застой.

В Российской Империи не сформировался и не мог сформироваться сектор-очаг свободного развития, не связанного непременно с властью и не обязанного приказной инициации сверху. Всё всегда шло сверху, из центра и по приказу, иной раз и нужное, и полезное, даже и эффективное, но вовсе не всегда, не повсюду, но зато всегда и всюду чреватое вторичностью, инертностью, ограниченностью, затратностью, не говоря уже об обильных потах и слишком часто напрасных кровях.

Хозяйство Российской Империи было подчинено её милитарной сути и казарменной организации и никак не предполагало наличия внутри себя самовольных очагов инициативы и развития.

Процветавший вроде бы Третий Рим и... на перспективу уже совсем не годный, что, конечно же, вполне ясно и широко тогда, наверное, ещё не осознавалось, но... осознавалось в порядке исключения примерно так, ибо откуда тогда тайные разочарования Александра I, Сперанский со своими конституционными и перестроечными проектами, декабризм, пушкинизм в своей бесновато-хулиганской части, николаевская подморозка, непрекращающееся диссидентство (Чаадаев, Белинский, Петрашевский, Герцен, почти вся литература, Московский университет), а ведь всё это как раз в момент наивысшего взлёта империи, её европейского по месту (перед лицом всей Европы), но не европейского по сути триумфа!

Пётр выстругал кое-как Великую империю — Третий Рим, но в таком её образе, который включал в себя противную, подлую, даже и предательскую присадку... потенцию к самоотрицанию, но самоотрицанию совершенно невозможному, на которое империя никак не могла пойти — нетворческому, безобразному, разрушительному. Отсюда гнус-

ная неразрешимость: либо саморазвитие, но при *другой* империи (афинской, карфагенской, европейской), а то и вообще *без* всякой империи, либо вот такая вот *империя*, он же Третий Рим, но без саморазвития, а следственно — без будущего! Создавая свою тягло-служиво-милитарную империю, Пётр невольно заложил в её конструкцию большую и очень каверзную мину — невозможность воистину самостоятельного развития и гнусная потребность в целостном самоотрицании!

Рано или поздно, но петровская империя попала-таки в самое для неё интересное положение — беременности... *иной* империей, и, что особенно примечательно, при как бы внематочном зачатии вполне ино-родного для империи плода, отчего классную империю сначала весьма замутило, а потом и — по прошествии не одного десятка лет — по-настоящему эсхатологически затрясло. Декабрьская 1825 г. судорога (дело тут не в одних незадачливых декабристах, ибо тут и Александр I с его таинственным внезапным уходом в пыльном Таганроге, и великий князь Константин, отказавшийся от престола, и ошарашенный всем тогда происходившим великий князь Николай, вынужденно ставший императором Николаем I и не знавший всерьёз что делать с доставшейся ему великой империей) — судорога эта и была первым самым ярким и красноречивым знаком-свидетельством постигшей империю непредвиденной и очень отвратительной беременности, от которой невозможно было ни тогда, ни потом никак избавиться: ни через подмораживания с консервациями, ни посредством реформ с либерализациями, ни рационально и с умом, ни трансцендентно и без ума — в надежде лишь на один Божий Промысел.

При Петре все стали имперским *тяглом* — что сам царь-император, что поднебесные и священные аристократы, что наземные дворяне, что заводчики и торговцы, что всякие работные людишки. Возникла удивительная империя — *тягловая*, а тягло есть тягло: ежели цель ясна и видна, ещё и понятна и влекуща, ежели все вместе, сообща, всем миром, ещё и ради Руси-матушки, то почему бы чего-то великого и не совершить, тем более что воля великая являлась, проект волевой и грандиозный возникал, как и, разумеется, вылезало откуда-то волевое напряжение, сопровождавшееся непременно и волевым же насилием.

И пока новые дворяне-преображенцы с актуальной псевдорусской

аристократией из гнезда Петрова в рамках и в ходе общего петровского дела и под ответственным покровительством решительного и беспощадного Петра возникали, образовывались и становились в роли привилегированных «отцов» и «сынов» Новой России, с тягловой служивостью лучшими людей можно было и согласиться, тем более, что Следственный приказ у царя-батюшки всегда исправно функционировал, безропотно неся свою неблагодарное тягло. Что же касается простых людышек, то их тягловое положение представлялось в рамках имперской конструкции вполне естественным — тяжёлым, конечно, подчас и невыносимым, но кому тогда под орлиным взором и львиной дланью неистового Петра, самого тяжко страдавшего от собственного же безумства, было легко? И все тогда — лучшие и простые, справные и худые — терпели, а уж нетерпеливых... ясно было куда... — империя рождалась в трудах и муках, в сражениях и свершениях, и тягло имперское если не очень уж душою воспринималось, но как-то в целом переносилось. К тому же ассамблеи необузданые были, карнавалы, празднества всякие, не говоря уже об антихристовых «Всесущейных соборах» и внеконфессиональных попойках — так что и релаксы потребные были, и отдохновения, и кое-какие удовлетворения: поместья с крепостными людышками для заслуженных лучших, денежные дары и обретения (вплоть до миллионных), европейское просвещение, цивилизованные манеры, иностранные языки, а для заслуженных простецов — дома призрения. В общем, тягловая империя была и с ней так или иначе поданные её считались, но, естественно, до поры — пока империя эта сама не стала уже не переносимой для её же подданных, включая и её привилегированных носителей и заступников... тяжестью.

Либерализация была неизбежной и она началась сразу же после ухода Петра с им же воздвигнутого императорского трона, на который императорские гвардейцы тут же посадили безродную супругу Петра Екатерину (Анну Скавронскую), прерывая романовский династический ток и избавляясь от возможных от этого странного рода крутых самодер-жавцев. После Петра неистовых *работников* на российском троне уже не оказалось, зато сменяли друг друга (не без насилий и смертей) более или менее эффективные, но непременно умеренные, иной раз и либераль-

ные, весьма подчас и просвещённые менеджеры — но никак уже не крутые реформаторы, не ярые обновленцы, не безжалостные революционеры.

Либерализация прежде всего коснулась высшего аристократического слоя, не одно десятилетие менявшего в угоду себе и на всякий случай — для верности, монархов на российском троне. Со временем, уже при Екатерине II, либерализация затронула и широкое дворянство, получившее от имперской власти долгожданную вольную, по которой дворяне освобождались от обязательной тягловой службе империи. В итоге имперские верхи довольно-таки либерализовались, почти что по-европейски, Екатерина стала Великой, а империя... совсем и не либерализовалась, ибо всё трудо-тягловое население осталось в той или иной крепости (неволе), а творческий сектор-очаг посреди Империи так и не возник.

Пугачёвский бунт ощутимо потряс петровско-екатерининскую империю, немало напугав засевших в ней имперцев, но империя от этого не стала другой, а осталась всё той же — частично либерализованной, но либерализованной по-имперски, скорее по-ордынски, чем по-европейски, и в основном подневольной — с прямо крепостным либо с косвенно крепостным (ограниченным в правах и возможностях) населением.

Строго и умно говоря, пугачёвский бунт уже свидетельствовал о глубоком кризисе империи, но победная ещё империя этот симптом не то что не заметила, но имела ещё возможность его проигнорировать, отложив на некоторое время как осознание кризиса, так и попытки его разрешения.

Любопытно в связи с этим появление на троне после Екатерины Великой (этой, в общем-то, иноземной узурпаторши престола, но весьма удачливой правительницы ещё полного сил и расширявшегося Третьего Рима) императора Павла, вроде бы сына Екатерины и убиенного не без её согласия онемеченного Петра III, но сына, державной матерью почему-то очень нелюбимого. Был ли Павел законным Романовым или нет, как, собственно, не остаётся ясно с генеологией и у самого Петра I, не так уж и важно, но зато весьма красноречивыми оказались сам Павел и его краткое царствование: внешне подражая решительному, деятельности и неуклонному Петру, Павел, этот вроде бы тоже неистовый, но уже... ковёрно неистовый, преобразователь-романтик, замыслил

перестроить, правда, лишь своими указами, из двора, империю, сделать империю... более третьеримской что ли, одухотворённой и нравственной, но при этом и более организованной, упорядоченной, стройной, долженствующей, и на самом деле стать Третьим Римом, более европейским, чем ордынским, для чего задумал Павел дворян превратить в благородных рыцарей, крепостных крестьян в свободных хлебопашцев, а купцов, заводчиков и ремесленников в рачительных предпринимателей. Павел был в итоге близстоящими дворянами убит, не без английского наускания, объявлен, что было легко сделать, безумцем, подвергнут нарочитому забвению. И всё это, увы, не без ведома и даже некоторого участия сына несчастного Павла, наследника престола, Александра, ставшего после гибели Павла императором Александром I.

Всё правление Павла I было не чем иным, как кризисной судорогой самой империи, но империи ещё крепкой, в себе не усомнившейся, а потому этой скверной по сути судороги и не заметившей. Безумие Павла, если оно и имело место, было и скрытым безумием петровско-екатерининской империи, нашедшим явленное пристанище прямо на троне, где и было фактически освящено бесноватым императором. Новый Петр-преображенец в Павле не состоялся, да и не мог состояться — империя не собиралась не то что от себя отрекаться, но даже и сколько-нибудь заметно собою поступаться, тем более в романтическом павловском ключе. Империя попросту уничтожила незадачливого реформатора, не только не вошедшего в историю великим преобразователем, а как-то влипшего в неё порфиноносным... клоуном, разумеется, трагикомическим.

Странной была империя — странные в ней гнездились образы и случались происшествия!

52

На просторах Восточной Европы, посреди большой Восточно-Европейской равнины, на осях «Запад — Восток» и «Север — Юг», не мог не возникнуть мощный имперский центр и он возник — в постордынской христианской Московии, отвоевав для себя бывшие ордынские земли, старорусские западные, часть Балтики, овладев Сибирью и Дальним Востоком, выйдя на Кавказ и в Среднюю Азию, потеснив изрядно Турцию, войдя в Китай, претендую на влияние в Центральной и Южной

Европе, на обладание Константинополем, поучаствовав вместе с Европой в разделе Польши, проникая в Иран и намереваясь войти в Индию.

Само по себе возникновение восточно-европейского имперского центра и всей обширнейшей, если и не монолитной, то в общем-то единой, целостной империи — безусловное историческое чудо, обязанное своим явлением не столько, наверное, далёким небесам, сколько близкой земле, природе, естеству, ибо империя эта была в основе своей натуально-хозяйственной, аграрной, пространственной, хоть и не отрицавшей торговли, денег и вообще экономики, но явно держа эту последнюю в подчинённом земельно-натуральному хозяйству положении и роли, равным образом, и промышленность со строительством не выводя за рамки локализованного и вспомогательного сектора в среде естественно-аграрного и в целом империального бытия.

Нельзя сказать, что империя не была достаточно совершенной по своей внутренней организации — административно-милитарной, что имперское хозяйство было для империи неэффективным и что всё творилось в империи кое-как, — совсем нет — это была весьма работоспособная империя, совсем даже не плохо организованная, имевшая действенную и в основном победоносную армию, стяжавшая немало побед и много славы, превратившая славяно-финно-угорское населенческое ядро в великороссов, обеспечило формирование обновлённого и обогащённого великорусского языка, создавшая возможность плодоносного многонационального общежития, сотворившая, как вскоре выяснилось, великую и достаточно оригинальную, хотя и внешне сильно европеизированную, культуру.

Империя не была не случайностью, ни недоразумением, ни прихотью подгулявшей истории. Она возникла как северный мост между Европой и Азией, но в то же время и как бастион ортодоксального христианства, как преемница Византии, как проекция Святой Земли, а потому и, при всей своей привязанности к Европе, как и некая анти-Европа, ей противница, от неё берег и над нею страж, наконец, как альтернатива одновременно Европе и Азии, как вроде бы Евроазия, а на самом-то деле — *Россия!*

Империя сделала из Руси Россию, правда, из Святой Руси вовсе не такую уж святую Россию, даже заметно уже антихристианскую, —

в том или ином облике, но Россия стала империей и не могла уже быть не империей, а империя на Востоке Европы и на Севере Азии оказалась Россией и тоже не могла быть уже ничем иным кроме России. Россия и империя слились воедино, образовав Российскую Империю, причём непосредственно по существу, а не по одному лишь прозванию.

Империя была тягловая, стройная (буквально — от строя), насильственная, дисциплинарная, командная, служивая, с придавленной частной и локальной инициативой, с явной потенцией к совершенствованию, но и с явной боязнью перемен, тем более, стихийных, своевольных, внезапных, но самое нехорошее — с нараставшими в элите и народе ощущениями отчуждения и отстранённости от общего имперского строя и государственных дел, что находило воплощение не только в бегстве от принуда, что вполне понятно, но и в особого рода... оправданной безответственности, что было плохо, но тоже вполне объяснимо.

Была любовь к природе, усадьбам, деревням, даже и к городам, но не было любви... к империи, остававшейся в чём-то фундаментально метафизическом весьма чуждой её же подданным, ибо империя возникла и существовала не как деяние социума, его естественная реализация, а насильно внедрённая в социум инородная система с чертами антисистемы, вроде Левиафана, понуждающего и пожирающего людскую среду, которому нужно было принудительно служить и от которого при случае и по возможности надо было бежать. Особенно эта нелюбовь к империи стала проявляться, когда свободные земли с землепашцами были розданы адептам имперского Левиафана; и вознаграждать за верную, пусть частенько и лукавую, и неэффективную, и даже вредную службу стало уже нечем: денежные выплаты (пособия) не шли ни в какое сравнение с натурально-физическими обретениями.

На рубеже XVIII—XIX вв. империя была крепка, в расцвете сил, не без надежды разрешить уже дававшие о себе знать каверзные проблемы, как-то даже шаг за шагом либерализовываться, не допуская ни под каким видом Революции, весьма привольно разгуливавшей по Европе.

Но вдруг почувствовалось, что изменить в империи что-либо всерьёз и надолго нельзя, во всяком случае, без риска умертвить при этом саму империю: империя не поддавалась на либерально-экономические

(европейские) перемены, всячески им сопротивлялась, ибо была задумана Пророчеством совсем в ином, вовсе не европейском, образе, а как раз в... ордынском, хотя и с византийской культурной закваской и христианской духовностью.

Тут-то всё и началось, тут-то и обозначился — сначала глухо, подвольно, исподтишка, а потом и всё более отчётливо, явно и резко — *кризис* — кризис империи, имперский кризис, он же и кризис России, российский кризис, он же и *роско-имперский апокалипсис*, что не только не помешало, а даже странным образом способствовало расцвету в Российской Империи разнообразной, конечно же, европеизированной, но очень при этом самобытной (национальной) культуры — словесной, художественной, музыкальной, — как раз и отразившей обязанное парадоксальному сочетанию имперского кризиса-надлома с возникшим в это же время духовно-интеллектуальным, более творческим, чем деятельским, напряжением-взлётом. Пушкин наилучшим образом выразил этот «раздирочный» момент, причём не одним лучезарным творчеством, но и своей беспокойной жизнью, закончившейся внезапной трагедийной смертью.

В Пушкине как раз всё тогда и сошлось: расцвет империи, и её тогда ещё более скрытый, чем явный кризис; вовсю смущающее Россию европействие с его свободой, развитием и революциями, но также и со своей враждой к России; необходимость глубинных перемен, либерализации, просвещения и роста гражданственности; потребность в усилении ответственности, «обнародывании» империи, преодолении отчуждения империи от подвластного ей населения, в возможности всяческой конструктивной инициативы. Пушкин всё видел и всё понимал, многое порицал и за что-то ратовал, убеждал и, признательный имперскому расцвету, не смог пройти мимо имперского кризиса, пусть как-то им и по-другому квалифицируемого, не выдержал всеобщего «остекленения» и, затеяв бессмысленную дуэль, ушёл, растерзанный духовно и уставший физически, из имперской жизни, из-под «отеческой» опеки императора, «товарищеского» себя непонимания и светского к себе презрения.

Вот и Империя, ничего не поняв ни в декабризме, ни в феномене Пушкина с его демонстративным уходом, ни в самой себе, впавшей в апокалиптический кризис, лишь дивилась своему могуществу и странному

неудовлетворению от него г. Пушкина. Зато Европа всё хорошо тогда понимала — вплоть до ухода «пресловутого» Пушкина — и, понимая, ждала своего часа.

И час этот неожиданно наступил, когда Европа осмелилась (!) напасть на Россию (!), да не где-нибудь, а прямо в Крыму, прямо на Севастополь, при этом и победу тогда одержать, приняв от побеждённых русских ключи от поверженного Севастополя. Так Европа мстила за Наполеона Бонапарта и его неудавшийся поход на Россию, за покорение русскими войсками Парижа, за отсутствие в России проевропейской революции и за подавление Россией революции в Европе, а главное — за унижение варварской Россией цивилизованной Европы, за недостаточную европейскую Россию, её упорную альтернативность, за непокорность Европе и свою самостоятельность, хорошо заметив слабости и уязвимые места Российской Империи, её на момент Крымской войны технократическую отсталость, её к самой себе уже весьма внятное отвращение.

Поражение, унёсшее из жизни императора-столпа Николая I, не выдержавшего уже даже не кризиса, а самого настоящего позора Империи, заставило российскую монархию в лице Александра II, ставшего преемником Николая I на российском троне, пойти на реформы, даже на *системную реформацию*, конечно, не религиозную, а всего лишь социальную, но всё-таки *реформацию*, начатую отменой крепостного права, освобождением крестьян от личной зависимости, разумеется, без земли — ради сохранения вполне уже дискредитированного имперского, а лучше бы сказать — паракомпактского, дворянства, служившего более или менее империи по военной и административным линиям, но давно и во многом уже расслабленного, паразитарного, хозяйственно отсталого, безынициативного. Дворянство к тому времени уже достаточно деградировало, оникчёмилось, обнулилось. Оно уже перестало быть действенной опорой империи, предпочитая унылой России жизнерадостную Европу, получая в России доходы и растрачивая их в Европе. Так что отменять вместе с крепостничеством надо было и дворянство, давая простор предпринимательству и тружеству, но... империя-то оставалась вместе с императором дворянской, а дворянская империя никак не могла решиться на столь радикальную революцию сверху — отмену

самого дворянства, а потому потребное уже совершение антидворянской революции было лишь отнесено во времени и передано, как часто практиковалось на Руси, в ведение Провидения.

Дворянство, отойдя довольно от имперских служивых обязанностей, создало, разместившись в сельских и городских усадьбах — этих разноцветных родовых мезомирах, великолепную культуру, но культура эта не могла спасти Империю от кризиса, несмотря на свой критический к Империи настрой, но зато могла, как раз вследствие своего критического настроя, лишь подточить Империю как империю, вызывая в ней комплекс неполноты и нездачливости, но менее всего вызывая стремление к конструктивным переменам. Критиковавшие критиковали, но перемене-то серьёзных боялись, а потому пустую говорильню предпочитали реальному действию, да и действовать-то было особенно некому, не считая вялой охранительности и натужного сопротивления постоянно набиравшей силы Революции.

Функциональная деградация дворянства была настолько значительной, что даже дерзкое показательное убийство царя Александра II — освободителя и либерального реформатора — не вызвало никакого заметного движения в сторону радикального преобразования страны, наоборот, обусловило лишь желание её консервативной подморозки, что и проделал царь-миротворец Александр III, сын убиенного Александра II.

В историческом плане Империя была настолько уже растерянна, что всякое решительное действие по собственному социальному переустройству ей было страшно и попросту недоступно. Кризис не был преодолён, зато вовсю пошло разложение, правда, не без бурных ростков европейского экономизма, воспользовавшегося упадком империи и при этом его же активно усугубляя. Для Империи это был самый настоящий — трагический и ужасный — приговор, который она сама на себя и возложила, оставив в неприкословенности дворянство и не сделав ставку на иные социальные слои — не столь по сути уже имперские, но исторически тогда куда как более деятельные.

Вся эта глухая и бестолковая реформационная невозможность обусловила зато возможность революционную, которая-таки воплотилась в реальность, однако не так уж российскую, как непосредственно

антироссийскую. Пока Империя тщетно искала пути нерадикального себя преобразования, борясь при этом с Революцией, русская революция, ещё стоявшая за российские, а не антироссийские, радикальные перемены, успела саму себя исчерпать ещё на подходе к фактической революции, и когда действительная революция свершилась, то это уже была вполне *антиимперская* и достаточно *антироссийская* революция.

Тут уже сказалось влияние собственно антиимперских и антироссийских сил — как внутренних, со стороны имманентной антисистемы, так и внешних, со стороны geopolитических врагов Российской Империи.

53

В кризисной ноосфере имперской России XIX в. постепенно вырзела и надёжно поселилась устойчивая, уже не в пример незадачливому декабризму, антисистемная субстанция, не столь даже важно ком конкретно выраженная, но вобравшая в себя всю людскую неудовлетворённость от Империи и самой России, их уже концептуально отрицавшая и сеявшая в душах россиян не одно лишь сомнение в правильности российского общежития, но и чувство последовательного, вполне уже нигилистического, неприятия, доходившего до пусть сначала глухого, а потом и всё более откровенного отрицания Империи и самой России.

Поражение в Крымской войне лишь подтвердило и усилило антиимперские, в чём-то уже и антироссийские, настроения, а либеральные реформы Александра II только подлили масла в огонь, не оправдав возникших было ожиданий в возможности позитивного, на европейский, разумеется, лад, поворота в движении Российской Империи в будущее.

К концу XIX — началу XX в. *антиИмперия* и *антиРоссия* вполне уже сложились в лоне Российской Империи, и не как только надстроенные и концептуальные ядрышки, а как вполне и практические движения, успев показать себя и в радикальных действиях, хоть ещё и не многочисленных, но весьма значимых (одно убийство царя-освободителя в 1881 г. чего стоило!). Большие разборки пошли уже в XX в., да такие, что никому тогда малыми уже не казались.

Противное империи движение питалось самыми разными, вполне и системными, неудовлетворениями: от не находивших достойного себе

применения разночинцев, обедневших дворян и аристократов, стеснённых купеческих и предпринимательских кругов, обездоленных и сгрудинившихся в городах бывших крестьян, ставшими эксплуатируемыми нещадно пролетариями, от угнетённых инородцев, в особенности, из-под черты оседлости, от подневольной всем и вся интеллигенции, но и от литераторов, университетских профессоров, деятелей культуры, артистов, художников, музыкантов, даже и цирковых клоунов. Довольные, конечно, были, и их было, наверное, немало, но недовольных было слишком много, и они-то были как раз очень активны: антисистема сама себе воодушевляла и гнала вперёд, возбуждая устойчивое, упорное и бескомпромиссное протестное движение.

Нет, конечно, не все, далеко не все из тогдашних протестантов желали непременной гибели Империи и уж тем более России, но протестная среда была слишком подходящей для зарождения и вынашивания не одной лишь самой по себе революции, но и самой настоящей геостратегической... изменения — предательства Российской Империи — и эта отвратительная бацилла поразила (или заразила) самые разные слои и уровни российского бытия, разъедая его и без того нездоровый организм, подтачивая жизненную волю, морально опустошая.

Ничто тогда Империи не помогало: ни нарочитая русофилия, ни обращение к её славным событиям и свершениям, ни движение навстречу Православию и Церкви, ни оздоровительная подморозка российского общежития, ни предостережения того же Достоевского, ни столяринские репрессии, ни вынужденные николаевские реформы. Россия достаточно свихнулась на Революции и уже жила её нетерпеливым ожиданием.

А тут ещё Европа с послушной ей Азией. Мало того, что ушла вперёд в производительном отношении, но, сама мучимая межгосударственными противоречиями и как всегда обуреваемая имперскими амбициями, затеяла... ускорить-таки революцию в России, чтобы раз и навсегда расправиться с ненавистной Империей, вздумавшей активно развиваться, осваивая будущее и конкурируя не без успеха с Европой. Ничего лучшего, чем крушение Российской Империи посредством российской же революции, для Европы невозможно было придумать, тем более что агентов европейского влияния и прямых Европе пособников в России всегда

хватало. Понимали всё это российские горе-революционеры, или нет, новольно или невольно они трудились на европейские интересы, во всяком случае, были надёжно, хоть и рискованно, ими оплещены.

Европа не только всячески поддержала Революцию (чем она, кстати, всегда занималась, поощряя русское масонство, декабристов, того же Герцена, как и любых иных просвещенцев-противленцев), но и обеспечила её явное ускорение — посредством того же натравливания на Россию подкормленной Европой и милитарно ею оснащённой агрессивной Японии. Бездарно вновь ведшаяся, а затем унизительно проигранная новая малая война, теперь не Крымская, а Русско-Японская, подхлестнула негативистские настроения в России и спровоцировала воистину революционное событие — попытку русской революции 1904—1905 гг. Империи удалось тогда избежать краха, подавив ростки революции, но победы Империи здесь не было, а было не более чем временное отстранение рыскавшей по Империи революции, оттяжка конечного поражения, хотя страна и развивалась экономически, производительно, даже научно, весьма при этом и либерально-демократически преобразовывалась (конституция, парламент, гражданские свободы), настойчиво перевооружалась, искала нового для себя порядка, овладевала исторической перспективой, противопоставляя нараставшей Революции новые конструктивные Реформы.

Но... но усталость от империи, её милитарности, административности и централизованности, от приоритета изживших себя аристократов и «обезвоженных» дворян (этих толстовских, достоевских и чеховских героев), от безволия и инертности императора, слабости его правительства (исключая правления Витте и Столыпина — одного за большой ум и за видную политическую ловкость отстранённого, а другого, естественно, тоже за большой ум, как и за ещё большую волю, попросту убитого), перевешивала, что вовсе не ослабило негативистских настроений относительно... уже ненужной никому... Империи.

Нутро империи стало уже совсем другим, во многом и неимперским, каким-то расслабленным, разжиженным, дохловатым, а подотчётная империи общественность алкала уже иных, вовсе не имперских, разрешений болезненного бытия, к чему уже склонялись и самые империальные верхи. Что же касается низов, то им было уже всё равно,

кто был над ними и над ними же непрерывно изгалялся — самодержавие или демократия.

Уже давно не тягловая и не эффективная империя обернулась-таки ненужной ни для кого обузой, от которой всем хотелось лишь побыстрее избавится. Ну а последовательным негативистам казалось, что стоит только... и наступит на месте неудачной Империи всеобщее благоденствие — какая в мире революция вообще без романтики, утопизма, наивности, а уж русская... о-о!.. русские ведь не от мира сего, — вот и рубили они старательно вместе со всякого рода инородцами и иноверцами большой сук, на котором все дружно и нерасторопно сидели!

А ведь была формула: «Самодержавие, Православие, Народность», сочинённая умным Уваровым, осуждавшим вольнодумство Пушкина и за это первого поэта России недолюбливавшим. Чем плохая формула? Не хуже ведь лукавой «Свобода, Равенство, Братство», а главное — для нас, для россиян, для имперцев. Однако... однако не всё тут было просто: *самодержавие* оказалось жёстким, инертным, избирательным, вовсе и не народным, да не очень-то и российским, явно европеизированным, олатиненным, онемеченным, так или иначе весьма инородным, не своим, если не прямо чужим, к тому же частенько и брез沃尔ным, и растерянным, и бездарным; *православие* же российское так и не нашло, исключая время ордынского пленения, полной дороги к душам и сердцам русичей, не благоустроило вполне русо-русское общежитие, колеблясь между язычеством, византийством и латинством, не выработало ясной для себя и народа концептуальной выраженности, боясь отойти от византийской ортодоксии и не понравиться модернизационному латинству, а со временем Петра I и вовсе оказалось загнанным в угол, едва очухавшись от этого внутреннего пленения к рубежу XIX — XX вв., но без сильного оздоровительного влияния на охваченный апокалиптикой и ожиданием грядущего катаклизма российский мир (Церковь не так противостояла апокалиптическому раздраю, как к нему присоединялась — в утешение россиянам); *народность*, о-о! тут уж совсем не просто, ибо никакой органической народности у Империи вовсе не было: народ не делал и не мог делать никакой для себя империи, а был всего лишь империей покорён, причём не один только тягловый люд, но и так называемые свободные людишки, которые, хотели они того или нет,

тоже были в надёжном полоне у Империи, вполне и ордынском.

Так что формула уваровская хоть и была в умственном плане весьма хороша, да вот далековата она оказалась от реальности, и ежели что и было в России в полноправности, свободе и действенности, так это одно самодержавие, а одного самодержавия без крепкого общего морального настроя и народного участия в управлении имперского общежития для длительного исторического успеха было всё-таки маловато.

И ёщё: многомудрый Уваров обошёл почему-то главное — российскую элиту, аристократию и дворянство, этих безоговорочных владельцев земель и душ, воителей и администраторов, всем и вся управлявших, действительных носителей Империи, которая была как раз ими-то и создана и от которой они всё и получили, которые контролировали само самодержавие, его защищая и временами даже спасая, не позволяя ему долгое время ни самому меняться, ни страну трансформировать, ослабив и отменив рабство, всеобщий имперский полон, а потом, когда самодержавие всё-таки решилось на кое-какие серьёзные перемены, ущемлявшие так или иначе элитных имперцев, то эти последние быстренько отошли в сторону и заняли к родному правительству нейтральное или даже оппозиционное положение.

Так что не «Самодержавие, Православие, Народность», а «Царь, Дворянство и Армия» — вот и вся формула Российской Империи, более всего по сути и организации ордынской, чем какой-либо другой.

В 1914 г. Европа спровоцировала и повела большую европейскую войну, ставшую мировой, втянув в эту войну и Российскую Империю, для которой война была совершенно не нужной и крайне опасной... в аспекте нового подъёма утихомиренной, но вовсе не сгинувшей в небытие Революции.

Не слишком удачно и эффективно ведшаяся апокалиптическим царизмом войны, изобиловавшая неурядицами, нехватками и потерями, хотя вовсе и не проигрышная, лишь подогревала и отмобилизовывала заせいшую в стране антисистемную субстанцию, которая, не без бикфордовой поддержки Европой вместе с США и Японией российских революционных группировок, в том числе и элитных, масонских, дворянских, даже и генеральских, вдруг взорвала динамитно сердце огромной страны и покончила не с одним только Самодержавием, но и по прошествии

небольшого времени и со всей Российской Империей.

И не кто-нибудь из тех же злонамеренных радикалов-демократов изменил тогда Империи, а вполне благонамеренная, но уставшая от войны и достаточно распропагандированная антисистемной агентурой... имперская армия, она же и императорская, да ладно бы на уровне тёмных солдатских масс, не видевших никаких для себя доброкачественных перспектив, а то ведь и образованного и просвещённого офицерского корпуса (как дворян, так и разnochинцев), мало того, на уровне самой генеральской элиты.

Многое тут сплелось в одном змееподобном клубке, очень многое, но главное, что империей как механизмом управления, защиты и жизнеобеспечения уже никто не дорожил (выскакивает невольно даже вопрос: дорожил ли Империей сам император Николай II, выполнявший до конца своей перед нею долг, но вряд ли уже сильно в Империю веривший?)

В общем, Империя Российская сгнила на корню, сама сгнила, а Революция лишь помогла ей свалиться во внеисторическую яму, а потом в ней и развалиться, и расколоться (какая замутившаяся Россия без яростных расколдов!), и впасть затем в великую, и тоже, как русско-германская война, никому по сути не нужную братоубийственную бойню.

54

Империю Российскую задним числом и любят, и ненавидят, как оправдывают её, сожалея о её крахе, так и яростно осуждают, — и каждый тут по-своему прав, и все точки зрения законны, и на любую из них находится приличное обоснование.

Империя Российская должна была «нарисоваться» в евроазиатском пространстве, и она «нарисовалась», и имела, наверное, какое-то важное и глубокое обоснование *быть*, кое-что из великого и вполне весомого *совершить*, реализовать какой-то потаённый исторический смысл, наверное, ею самою в полной мере и не слишком осознавшейся.

Надо было решить пространственную задачу, законструировать открытую всем агрессивным ветрам Восточную Европу, соорудить на её месте неприступный бастион, защитить от Западной Европы, от Азии, от Юга, воспроизведственно структурировать, обеспечить выживаемость

коренного и пришлого населения, превратить собиравшийся люд в самостоятельный, имеющий историю и обладающий перспективой народ; нужно было создать цивилизацию — как наследующую прошлые цивилизации, так и способную на какую-то самобытность; нужно было принять идеально-духовную эстафету от полоненного иноверцами христианского (византийского) мира, переместив его сердце в центр восточноевропейской равнины, а точнее, сохранить и защитить уже воспринятое ранее, но приобретшее особое значение ортодоксальное христианство, ставшее в Восточной Европе Православием; нужно было, проходя между европейской (латинской) Сциллой и азиатской (иноверской) Харибдой, заложить альтернативу как Западу, так и Востоку, способную открыть *иной* путь и воплотиться в мирового значения *ином* проекте.

Хорошо ли, плохо ли, но Империя состоялась, а Россия в ее матрице вполне удалась, причем то и другое не только было, творило и что-то итожило, но и доставляло поводы для весьма утвердительных надежд: что в военном отношении, как это случилось в 1812—1814 гг. и могло произойти в 1914—1918 гг., если бы не революция 1917—1918 гг.; что в культурном плане, что было подтверждено невероятным по уровню и разнообразию творческим взлётом в XIX в.; что в экономико-производительном и научно-техническом аспектах, что находило подтверждение в предвоенные 1900-е гг., в обнадёживающих итогах того же 1913 г.

Империя, этот будто бы Третий Рим, имела при этом вовсе не такой уж римский, как и не такой уж третичный, а скорее всего всё-таки ордынский характер, что было связано прежде всего с заразительным ордынским наследием, обусловлено огромным, при этом единым, имперским пространством, наконец, закреплено этнографическим наследием (лесовики, степняки, горцы, поморы — мало что разные, но и вобравшие в себя бог знает сколько народов, культур, сознаний и бессознаний тоже). Империя, созидавшаяся сверху и из центра как суперсоциумная структура, овладевавшая пространством, покорявшая и вбиравшая в себя местное население, оказалась в итоге не так внешне, как внутренне колониальной, эксплуатировавшей в имперских целях своё собственное, взятое империей в полон население, как коренное, так и присоединенное. Империя не была вроде бы оккупационной, но не могла избежать неприятных и рискованных оккупационных черт, в особенности в связи со своей

навязчивой, чуть ли не параноидальной, европеизацией имперской элиты (надо было и в самом деле додуматься говорить российской элите сначала на иноземных языках, зачастую русского языка вообще не зная!). Построение империи было по сути армейским (казарменным), что не могло не угнетать морально и эксплуатационно все слои населения, в том числе и чисто имперские (верхние, аристократо-дворянские, служивые), а также не могло не препятствовать общему социо-хозяйственному развитию, требовавшему «зон свободы», которых не было в достатке и в своеобразии в аграрно-милитарной империи. Несмотря на тотальный охват всего и вся, Империя, этот Третий Рим, всегда оставалась какой-то инородной системой в среде подвластного ей населения, хотя Империя не только властвовала и эксплуатировала, но и служила своему населению, его защищала, вела вперёд, внедряла цивилизованность, учила и просвещала, поднимала, очеловечивала, правда, занимаясь со вниманием вовсе не всем населением, а лишь его привилегированными — имперскими, прежде всего — слоями, ей самой столь потребными.

Империя не могла, даже когда и пыталась, правда, уже в эпоху своего заката, преодолеть возникшую уже при формировании империи отчуждённость Империи от подвластного ей населения, включая, надо особо заметить, и самих имперских людей, как и, наоборот, отчуждение подданных от самой Империи. Да, служили, да, работали, да, платили дань, да, воевали, но... но... не очень-то любя Империю, да что любя, не очень-то её и уважая, ибо сама Империя не находила ни повода, ни возможности, ни желания не то что любить и уважать, не нередко и попросту признавать за людей многих своих подданных.

Империя вроде бы была христианской, православной, Третьим, а не Первым Римом, а вот со взаимной признательностью Империи и большей части населения, в особенности по линии низов, простецов, худших людей, крепостных, ничего у Империи не получилось, как не очень-то у Империи получилось со взаимной признательностью и по линии высших кругов, где господствовали правила, схемы, регламенты и менее всего сердце, человечность, любовь. Да, и не такой уж христианской по существу и в строгом смысле была эта евразийская империя, восход-

дившая так или иначе к дохристианскому людскому материалу, испытывавшая, хоть и остаточное, но достаточно мощное влияние непреодолимого и неистребимого ордынства, обильно питавшаяся из не столь уж чистого источника христианства, каким был при своём закате фактический византизм?

В Древней Руси, наверное, была порядочная смута, когда в ней появились в качестве правителей, менеджеров и мобильных воителей так называемые варяги (то ли и в самом деле были приглашены проторусами, то ли сами вторглись в страну, воспользовавшись возникшим в ней нестроением, то ли было то и другое, опять же, то ли они были типичными скандинавами, то ли особого рода поморскими славянами, кто знает?). Но ежели была смута, то, надо полагать, не всё было благополучно по прогосударственному разряду у восточных славян: то ли договариться никак не могли, то ли к анархии были очень склонны, то ли яростно враждовали между собой. В любом случае не слишком, видно, государственным был восточнославянский люд, а потому и вряд ли воспринимал рюриковичевское пленение как родное. Столь же чуждым он наверняка считал и нагрянувшее на Русь христианство (иностранное, византийское, греческое), как и явно не пришёл в восторг от страшного ордынского разорения и трёхсотлетнего пленения. А вот Московское Царство, возможно, и посчитал за своё, родное, ибо от ордынцев с ним отбылся и за Святую Русь признал. Да вот Царство Московское совсем по-другому смотрело на славяно-угро-финское население, даже и на христианское, уже проверенное, ибо на сторону смотрело, на Запад, на Европу, в общем, на что-то опять же иное, чего вокруг не было и чему подданное население не соответствовало. И пошла переделка — сверху и из центра, и родилась империя, разумеется, для люда русского вполне и инородная, не своя, чужая. А дальше больше: закрепощение, внутренний полон, тюрьма. Опять же всеобщее повиновение — царю, императору, но и частное повиновение — помещику, администрации, купцу, промышленнику, да мало ли кому ещё в обширной и жестокосердной империи. А Церковь Православная без движения, без хоть какой инициативы, да и сама не прочь поживиться от православного-де люда, его каторжного труда и укоренённой в нём щедрости. И в Церкви крепостные, и трудники, и податники. Так что оставалось только бежать: лучшим

людям за границу — в Европу, а худшим на Дон, на Кавказ, в Турцию, в Сибирь. И бежали, отчаянно бежали — от немилосердной империи, её откровенного ордынства и лукавой православности.

Никакой имперской идиллии в Российской Империи не было, да и, по-видимому, быть не могло. Все эти Иваны Грозные и Петры Великие совсем не случайности на царском престоле, и действия их багрово-красные тоже не случайные, как и неволя, дарованная ими народным массам, да что там массам, их же менеджерам и спецназовцам, тоже не случайна. Гуманизм, знаете ли, не для ордынско-византийской империи, — и хотя формально гуманизм, пусть и ограниченный, и непутёвый, и дурашлиwy, всё-таки взял верх в Империи в результате реформ и общей эволюции, но он никогда не взял высокого градуса уважения к человеку, всё равно к какому — простому, худому, маленькому или же к большому, лучшему и знатному. Чего не было, того не было: Империя задавила общество и раздавила человека, так что ни общества самодеятельного никогда не было в России, ни человека самостоящего и независимого не было, но зато всегда были бунты, бегства и самоубийства, как и поселилась вдруг, прямо во время расцвета Империи и торжества России, колючая и подлая Революция, однако вполне оправданная и даже по-своему справедливая.

Русский человек, хоть крестьянин, хоть рабочий, хоть купец, хоть солдат, хоть баба стоеросовая, а хоть и дворянин, офицер, священник, профессор, писатель, даже и сам император — вовсе не был никаким бононосцем, хотя кое-что от Бога, он всё-таки в душе всегда имел, точнее бы сказать, русский человек был всегда шире, сложнее, переменчивее, чем благопристойный христианин-православец, а потому всегда был таинственнее, калейдоскопичнее,искажённее и уродливее, чем это могла себе представить православно-имперская самонадеянность.

Русский человек умел сочетать несочетаемое: верность империи с изменой оной; любовь к Родине с бегством от неё; нарочитую религиозность с разнужданным буйством; человеколюбие с человеконенавистничеством; открытость души с задушевной подозрительностью...

Кто такие были те же пугачёвцы, так поразившие гениально-прозорливого Пушкина: богоносцы или изверги, а любые вообще казаки —

удалые смельчаки или разудальные грабители? И то и другое, как, собственно, многий, очень многий русский, ибо вокруг русского всегда царствовала... *несправедливость*, эта потрясающая любое воображение античеловеческая субстанция, а рядом с нею, конечно же, насилие, несвобода, тюрьма. Господи! Не хорош русский, совсем не хорош, но вот... ежели он... *человек*, ещё и добрый и сильный, и справедливый, и деятельный, не хам, не подлец и не изменник, то... то при русской-то бесчеловечной жизни... чуть уже и не герой, впрочем, как раз самый настоящий герой и есть, разумеется, не Онегин, не Печорин, не Чичиков, не Обломов, а кто же... э-эх... нет такового в русской литературе, нет, разве лишь Дубровский, так ведь и тот вне закона, или Болконский, так тот и погиб скоренько, чтоб... да и не добрым Болконский вовсе был, ибо... э-эх... больной родилась русская имперская литература, очень больной, и из болезни своей органичной, усиленной кризисом Империи, так и при всём своём эстето-смысловом величии, кажется, не вышла.

Чего, вообще говоря, удивляться русской Революции, её отчаянному зверству, как и не менее отчаянной и зверской борьбе с ней через расстрелы и те же «столыпинские галстуки», как и революционному краху Империи с изменой ей не кого-нибудь, а выпестованной ю же для себя армии, как и нечаянно сокрушаться по поводу безумной, тяжкой и кровопролитной гражданской войны, в бывшей Российской Империи вдруг зачем-то разыгравшейся.

55

Не впадая в идейную демагогию, следует признать, что крах Российской Империи в 1917 г. был не только вполне закономерным, но даже извращённо закономерным — *империя изжила Империю!* — и никакой преступной со стороны тогдашних россиян apostasii ни в имперском, ни в религиозном смысле не было: нелюбезная народу и даже элите отсталая и неповоротливая империя, не нашедшая возможности избавиться вовремя и эффективно от своего главного узурпатора — привилегированного дворянства с аристократией, как и дать ход деятельно-конструктивным силам, которых, надо заметить, никогда не было в избытке, должна была рано или поздно рухнуть и она рухнула, разумеется, не без помощи

возвращенной внутри и поддержанной извне антисистемности, как и геополитических противников империи, воспользовавшихся случаем ей очередной раз отомстить и, окончательно с ней расправившись, расчётливо поживиться кусками её заботливо расчленённого тела.

Да, царь Николай II отрёкся от престола в пользу своего брата великого князя Михаила, а тот, озабоченно и горько поразмышилив, враз и навсегда осиротевший престол не принял, прекрасно отдавая отчёт в тщетности сохранения «обезарменной» империи.

К власти пришло Временное правительство, всё ещё по виду имперское, а по сути уже совершенно «бабье», призвавшее Учредительное собрание, но само никак не могшее ни управлять страной, ни вести войну, ни даже культурно распрощаться с царским семейством, со всей свергнутой династией. Англия не приняла русского монарха-неудачника, хоть и ближнего родственника английскому королю, ибо монарх этот ещё символизировал Империю, которая ещё была жива и которая вдруг могла контрреволюционно возродиться. Уместнее тут было не монарха свергнутого принимать в Букингемском дворце, а плести против России очередные интриги и заговоры, заставляя Россию продолжать ненужную ей войну с Германией и Австро-Венгрией, а в случае выхода России из войны, добиваться её ослабления и распада. Тут как раз подвернулись большевики-анти-имперцы, ещё и по большей части иноверцы, и инородцы, и иностранцы, чьи головы были заняты нелепым, но почему-то популярным тогда проектом Мировой Революции, с которыми смогли договориться в тот момент не так англичане с американцами и японцами, как их прямые фронтовые противники — германцы, — и эти-то вот большевики, совершив что-то вроде переворота с театральным захватом Зимнего дворца, где как будто бы заседали министры-временщики, приняли из рук уже достаточно растерянного и вельми дискредитированного Временного правительства, ослабевшую донельзя псевдоимперскую власть, заключили с Германией мир, подарив ей огромный кусок империи, а также попутно предоставив независимость Польше и Финляндии.

Тут-то и пошёл энергичный распад Российской Империи, как и, разумеется, ясно обозначился привычный для российской истории раскол населения на явно враждующие лагеря — на красный, бывший на стороне большевистской (коммунистической) власти, перебравшейся

для верности из ненадёжного во всех отношениях Петрограда — революционного, анархического, буйного, к тому же ещё и балтийского, куда мог явиться и мощный английский флот, в более инертную, но зато и более надёжную, удалённую от границ центральную Москву, и на белый лагерь, составленный из противников московской революционной (красно-коммун-ной) власти и сторонников очищенной от большевиков и их приспешников целой и неделимой России, не считая иных более мелких, хотя иной раз и весьма громких, вроде махновского, движений.

Россия завертелась в ужасной братоубийственной бойне, унёсшей миллионы жизней и полностью разорившей страну. Победу в этой бесполковой бойне, однако, одержали не белые, бывшие adeptами собственно России, пусть и не прошлой, а как бы и новой, чуть ли не демократической, но, увы, староклассовой, эксплуататорской, а красные, выступившие за Россию... без эксплуататоров, причём, тоже вроде бы демократическую, но главное — без помещиков, фабрикантов, торгащей, банкиров, чиновников, жандармов и прочей паразитарной-де сволочи. Это был мощный ход — ход конём! — привлекший на сторону красной власти не одних только трудящихся, ранее весьма угнетённых, но и большую, если не большую, часть разночинцев, интеллигенции, военных и гражданских спецов.

Большевики смогли внушить россиянам надежду на новую, уже вроде бы и не имперскую, жизнь, чего не смогли сделать белые, хотя среди белой верхушки было немало тех, кто обеспечил крах царизма и победу революции, однако не столь радикальной в аспекте будущего, уже во многом и не российского, бытия. Что касается пленённого ещё временным правительством царя с семейством вкупе с некоторыми членами царской фамилии, включая лично храброго, но политически незадачливого великого князя Михаила, то большевики, ничтоже сумняшеся, их тайно и грубо, прямо-таки по-зверски, ликвидировали — в страшном 1918 г., чтобы навсегда решить вопрос с монархией в России, разумеется, в ликвидационном плане, чтоб никогда более!..

Так закончилась не только история правившей в России более 300 лет династии Романовых (от Михаила до Михаила!), но и история Российской Империи, вполне и окончательно сколоченной царём-плотником Петром Великим на рубеже XVII и XVIII вв.

Да, история Российской Империи завершилась, но... вовсе не завершилась история восточноевропейской, как и евроазиатской, империи, переставшей называться Империей, но... империей всё-таки оставшейся — поначалу неявно, втуне, в глубине, а потом и всё более и более в фактической определённости.

Не прошло и четверти века, как на Востоке Европы вновь взошла, подстёгнутая новой европейской и мировой войной, развязанной по факту всё той же, но уже в фашистском облике, Германией — «Тысячелетним Рейхом» — новой германской империей... прямая наследница Российской Империи — Сталинская Империя под хитроумным большевистским названием Союза Советских Социалистических Республик. Нет, СССР был вовсе не Четвёртым Римом, как это кажется ныне многим, а... возрождённым внезапно... всё тем же... Третьим Римом, но уже не в образе ушедшей в небытие Российской Империи, а в образе Империи Советской, которая не так отрицала, как продолжала этот самый Третий Рим, но уже в большем приближении к Первому, чем ко Второму, как и не столько весьма уже забытую Византию, сколько незабвенную в восточноевропейском и евроазиатском пространстве чингизову Орду.

Абсолютная верховная власть во главе с вождём — фактическим императором, хотя формально и не самодержавцем, чёткая иерархия, дисциплина, безоговорочная исполнительность, в общем — до боли знакомая и родная... армейщина, огромная казарма, мобилизационный строй. И Александр Невский тут как тут, и Иван Грозный, и Пётр Великий — все в почёте, хотя все остальные постпетровцы-романовцы такого почёта не удостоились, может, из-за явно уже немецкой по крови принадлежности (война-то страшная шла как раз с немцами). Великие, совершенно петровского пошиба, стройки, принудительная индустриализация со столь же принудительной перестройкой агрохозяйства, использование принудительного, при этом и вполне рабского (ГУЛАГ) и крепостного (беспаспортные крестьяне-колхозники) труда, причём не на стройках и полях, но и на сложных предприятиях, да что предприятиях, в научно-исследовательских учреждениях («шарашки»). С администраторами и комиссарами, директорами, начальниками, но без помещиков, фабрикантов, торгащей, банкиров и прочих «гадов-кровопийц», которых по-революционному ликвидировали, но зато со старорежимными спецами —

гражданскими и военными. Воевавшая не на жизнь, а на смерть с фашизированной Европой, Красная Армия вновь обрела к 1943 г. имперский вид: генералы, офицеры, солдаты, все в форме, схожей с формой времени Первой мировой войны, при погонах и звездах, с аналогичным царскому разряду набором званий. В школах раздельное, как в имперских гимназиях, обучение юношей и девушек. Широкое применение гражданской формы. Милиция, почти не отличимая от царской жандармерии. Имперские по духу театры, вузы, Академия наук, университеты. Классическая по типу литература, такие же искусства, музыка. В общем — *Империя!*

И с Православием и Церковью тут не всё было просто. Большевистские гонения на Церковь и священство, упорно и обоснованно цеплявшихся за традицию, за вроде бы канувшую в лету Святую Русь, к началу Второй мировой войны прекратились (или почти прекратились), а во время войны обновлённая Церковь стала весьма быстро и настойчиво возрождаться вместе с возобновлением патриаршего чина и восстановлением церковных служб, поначалу сильно ограниченных или повсеместно приостановленных, хотя совсем и не ликвидированных большевистской властью, к тому времени, кстати, вполне уже освободившейся от великой иллюзии мировой революции, как и её особенно ярых адептов, и вышедшей на время Россию — СССР из-под гибельной роли оплота и резерва этой самой мировой революции, хотя, к сожалению, не до конца.

Так что советская империя и в самом деле была восставшим из пепла Третьим Римом, хотя и с подчинённой государству Церковью и с ограниченным управлением культа, но всё-таки с Православием, пусть и изрядно стеснённым, почти что в тот момент и маргинальным.

Важно заметить, что как ранее Россия могла быть только империей, а восточноевропейская империя быть только Россией, так и СССР мог реализоваться сам по себе и для себя лишь как империя, а единственной империей в Евразии мог быть только СССР!

Возрождение империи после и из антиимперской революции в матрице и облике СССР было, конечно, несомненным чудом, как раз тем самым, которое доказывает, что никаких сказочных чудес в истории не бывает, а бывает лишь исполнение реальных метафизических интенций непредсказуемого бытия: только империя, только централизация,

только иерархия, только имперская мобилизация, только армейщина, иначе — погибель: пространства, культуры, народов. Север Евразии требовал имперского, а не какого-либо ещё хозяйства, ибо сам по себе, без империи и имперского хозяйства Север Евразии — от моря до моря, от северного льда до южных гор и пустынь — субъектно выжить не мог, а мог быть лишь колонией более сильных субъектов — той же Европы.

Субъектность — вещь в истории необходимая. Быть субъектом истории, её делателем — и заслуженно, и трудно, и непременно гадко. Однако только субъекты рождают заметное, неповторимое, великое, что составляет саму историю, входит в её драгоценный фонд, о чём говорят, пишут, слагают песни, что помнят, чем гордятся, чего и частенько стыдятся, но... дела, только дела, большие свершения, одним словом — историческое хозяйствование, вершащее хозяйство истории.

Империя — миссия, но это и бремя, труд, жертва. И хотя явление империи кажется иной раз исполнением всего лишь чьей-то, чуть ли не личной, прихоти, но это далеко не так, ибо сначала возникает необходимость империи, к ней объективная, вполне и трансцендентная, потенция, подспудное неудержимое стремление. А бывает и так, что ежели не империя, то и... *ничего* — ни субъектности, ни бытования, ни истории, как и сознания с ноосферой, которые должны получить соответствующую формную выраженность.

Вот и Сталин, этот в прошлом бедный горийский мальчик-грузин, потом семинарист, революционер и боевик, один из вождей русского коммунизма, большевик, марксист, вроде бы даже и ленинец, сообразил, находясь в центре красной власти и видя пореволюционный раздрай страны, что никакого фундаментального, вольного самоуправления в России не получится, что мечту о всеобщей эффективной свободе нужно оставить навсегда, что ежели удержать страну, обеспечить ей независимое бытие и вывести на скорое тотальное обновление, то возможно всё это только на путях и посредством империи, а потому отнёсся к Российской Империи, с которой неистово сам боролся, не как к поверженной и навсегда ушедшей в небытие Атлантиде, а как к Фениксу, способному восстать из пепла, даже и как к... Христу, подлежащему... э-э... воскрешению!

Сталинская Империя — безусловная наследница Петровской Империи, всё тот же Рим, причём именно Третий Рим, однако Третий Рим... перевёртыш, когда стержень всё тот же — ордынский, а тело и идеиное наполнение уже другое, вплоть до и прямо противоположных.

У Петра преображенцы и семёновцы, ссыкной приказ, регулярная армия, православное вроде бы дворянство и столь же вроде бы православное чиновничество, иностранные спецы, а у Сталина компартия, которая, правда, и «орден меченосцев», комиссары, НКВД, Красная Армия, выдвиженцы, новые управленцы, старорежимные и иностранные спецы; у Петра Православие и Закон Божий вперемежку с западноевропейским наставничеством, а у Сталина западноевропейский марксизм и «История ВКБ(б)» вперемежку с кое-какой отечественной классикой; у Петра служивые имперцы с жалованной раздачей им в частное владение земель и людешек, а у Сталина государственная собственность общего пользования с принудительным распределением общего дохода среди служивых и работников; у Петра род государственного и феодального крепостничества, рабы на заводах и стройках, а у Сталина... почти то же самое, но и с обширным экономическим наймом впридачу, правда, тоже квазикрепостническим. И тот и другой понимали толк в мобилизации труда, в служебной дисциплине и бытовом аскетизме, в скромности массовых вознаграждений, в умении морально и материально поддержать своих, самых надёжных, но и с них же всерьёз и по полной спросить, в общем — оба творческие тоталитарные диктаторы, у которых всё под присмотром, в непрерывном напряжении, при неукоснительном исполнении. И у обоих кое-что, надо заметить, получилось: перетасовки, преобразования, трансформации с конечной перематризацией страны, её всесторонним обновлением, а в итоге — другая жизнь, другое хозяйство, другой, вроде бы, человек, но и, помимо неурядиц, провалов и поражений, непременные виктории, из которых одна обязательно самая победная, решающая, всё списывающая и всё утверждающая, легитимирующая строй, милитарность, произвол, насилие.

Два насильника — две империи, родственные, похожие, но в чём-то существенно и разные, не так, конечно, в аспекте римскости, как в ас-

пекте третичности, ибо одна империя была в основе ещё сакрализованной, христианской, хотя и с большой примесью активного антихристианства, а другая — совершенно, можно сказать, антихристианской, вполне уже и атеистической, секулярной, десакрализованной, хотя и с остаточной православной подосновой и сильно урезанной и ослабленной, может, попросту недоуничтоженной Церковью.

Примечательно, что сталинская империя была гораздо идеологичнее петровской, ибо большевикам пришлось не только ограничить и подчинить государству Церковь, как это случилось у Петра, а заменить церковь новой, причём совершенно уже секулярной организацией — партией, а религию — новой, коммунистической, идеологией, для чего как раз сгодился давно уже занесённый в Россию и в ней по-интеллигентски весьма культивировавшийся, в особенности радикальными социалистами и последовательными коммунистами, марксизм — учение о бесклассовом и неиерархическом социуме, базирующееся на общественной собственности и коллективном самоорганизационном труде.

Как и в христианстве, в марксизме присутствовала, лишь по-другому выраженная, идея Царства Светлого и Счастливого, но с той разницей, что в христианстве оно могло статья либо в ином мире — за гробом, либо же в здешнем мире, но как уже царство человеческое не более чем с отдельными чертами Царства Божиего, а в марксизме такое царство предполагалось как непременно построяемое в неопределённом будущем человеком для человека без всякой ориентации на Христа, Закон Божий и вообще Христианство — как итог Революции, обобществления собственности, труда и жизни, а также и трудослужбистской переделки человека.

Такого рода марксистская идеология вполне устраивала Сталина в видах развернувшегося тогда социо-политического и хозяйственного строительства, однако устраивала лишь как обрабатывающая сознание и оправдывающая действия большевиков идеология, но уж никак не прямое руководство к действию: к 1929 г. Stalin уже отлично понимал, что ни о каком практическом марксизме, кроме обоснованной марксизмом и приемлемой для советско-сталинской империи социализации собственности, труда, распределения продуктов и досуга, не могло быть и речи.

Сталин был не так марксистом, как... *сталинистом*, лишь вовсю пользовавшимся марксистской фразеологией и подходящими для нового имперского проекта идеями — организация той же регулярной армии весьма ведь далека от организации частно-гражданского бытия!

Будучи законченным макиавелистом, Сталин стоял не за свободу, демократию и самоуправление, а за конструктивный порядок, организационную иерархию и управленческое единонаачалие, для чего и, ища кое-какого равновесия с жизненной реальностью, использовал на словах и на деле принцип так называемого демократического централизма, при реальном исполнении которого получалось почему-то так, что механизм этот оказывался вполне... управляемым... из какого-нибудь криптоцентра вроде Кремля.

Да, это был возрождённый Третий Рим, а может, попросту восстановленный, но... уже в другом идейно-концептуальном обрамлении, вполне и обратном только что сгинувшей Российской Империи: без феодальной монархии, без аристократов и дворян, без феодалов, заводчиков и купцов, без кулаков-мироедов, без протестной интеллигенции, без Церкви и попов, без преобладания частной собственности и частных богатств, без всякого узаконенного паразитизма, но зато с трудовой занятостью всего населения и всеобщим трудовым энтузиазмом, с масштабным и разнообразным строительством, с равномерным распределением народных достояний (без шибко богатых, но и без явно нищих), с общим для всех Отечественным Домом, массовым образованием и правильным творчеством, с твёрдым общественным порядком, с гражданской ответственностью и солидарностью и т. д. Это был всё тот же Третий Рим, но уже в своём зеркальном отображении, какой-то противоположный, наоборотный, это был Третий Рим — оборотень, как-то вдруг вывернувшийся, иначе сложенный и совсем по-другому представленный.

Это был апогей Рима, не так уже христианского, как дохристианского, языческого, античного. Фактически произошла своеобразная новая имперская реформация с ренессансом, только вовсе не в европейском, а в совершенно азиатском исполнении, но что интересно — опять же не без европейских словес, сентенций и переодеваний.

Европа, конечно, ничего такого от вконец расстроенной революцией и гражданской войной России не ожидала, но, затаившись, на время

внешне смирилась, ибо сама раздиравась, как обычно, противоречиями, противостояниями, противоборствами и, как тогда было принято, готовилась к новой европейско-мировой войне, чтобы удовлетворить своим имперским амбициям и разрешить, наконец, давно уже мучившие Европу geopolитические, а проще говоря, раз и навсегда разобраться, кто в Европе хозяин и кто будет истинным хозяином богатой и дурашливой, регулярно гибнущей, но почему-то всегда восстающей, России. Со сталинской Россией, этим странным СССР, надо было считаться и даже дружить, выжидая возможность как использовать этого монстра в своих целях, так и при случае с ним хорошенько расправиться. Европа ведь была тогда разная, совсем не монолитная, так что у неё были разные центры интересов, решений и действий, а потому Европа могла вынашивать разные проекты относительно России-СССР, как и проводить разные политики. И Европа не могла ни постараться вновь втянуть в свою хитроумную игру восточного соседа-гиганта — и случилось так, что европейская Германия, ставшая к тому времени фашистской, национал-социалистической, империальной, как и, разумеется, злобно-аггрессивной, имперски-амбициозной, национально-высокомерной, разбив Францию и Югославию, подчинив своему влиянию почти всю континентальную Европу, отказалась от плана захвата Англии (полёт Гесса в Британию) и обрушилась всей своей и своих союзников мощью на Россию, на СССР, на Советскую империю, бывшую в тот момент ещё недостроенной, только-только восстанавливавшейся, более дажеprotoимперией, чем империей.

И тот факт, что Россия уже вновь развернулась к империи, пусть и советско-коммунистической, большевистской, даже и марксистской, сыграл на руку России, ибо это был новый имперский подъём, источавший новые потенции, силу и свежесть, а не совсем недавно пережитый имперский спад, источавший слабость, гниение и потребность в крахе. Россия-СССР выстояла, опрокинула врага, вошла в Европу, взяла Берлин, разгромила на Дальнем Востоке японскую армию, отомстив за унижение России 1905 г., и одержала вкупе с хитроумной Англией и добroхотными США Великую Победу — победу во Второй мировой войне, ставшей для России-СССР ещё и отечественной войной — Великой Отечественной войной.

Никто из здравомыслящих политиков и аналитиков в мире уже не сомневался в наличии восточноевропейской империи, простёршей свою длань и за уже хорошо известные истории российско-имперские пределы: в Центральную и Южную Европу, в Закаспий, в Азию, на Дальний Восток, как никто не сомневался и в том, что у империи этой, подтвердившей свою главенствующую роль в мировом коммунистическом и рабочем движении, охватившем к тому времени весь земной шар, обязательно проявятся миромасштабные амбиции.

Сталинская империя вышла по результатам Второй мировой войны и при поддержке возглавляемого ею международного революционного и освободительного движения (марксистско-троцкистской мировой революции) на роль одного из мировых лидеров, чего противники империи не ожидали, но с чем не могли не считаться, организуя ей сопротивление, возглавленное другой вдруг возникшей мировой империей — США, поддержанное и Западной Европой. США рванули в Японии две предупредительные ядерные бомбы, а потом сотворили вкупе с Европой антисоветский военно-оборонительный пакт — Северо-Атлантический (НАТО).

Земной шар, таким образом, вышел из Второй мировой войны с двумя мировыми империями-соперниками: американской и советской, между которым болталась сильно ослабленная и частично поверженная, навоевавшаяся до большого разорения, по-прежнему талантливая на геополитические сценарии и провокации Европа. Свободная от советского влияния часть Европы — Западная, получила поддержку США и стала быстро восстанавливаться, но уже не как очаг традиционной нестабильности, а как подопечная США зона международного спокойствия. Вскоре Европа вступила на путь хозяйственной интеграции и межгосударственного объединения, дойдя на этом пути до Европейского Союза с единой европейской валютой.

Бацилла Мировой Революции попала в Россию давно, оплодотворив Российскую Революцию, обеспечив в ней иностранное участие и имея результатом ослабление и крух Российской Империи. Большевики пришли к власти в России как adeptы этой Мировой Революции. Однако Сталин и его сподвижники поняли в один замечательный момент всю опасность для России её активного участия в мировой революции и

смогли, захватив в стране власть и подавив активных сторонников Интернационала в России, отвернуть страну от прямого участия в миромасштабном революционном безумстве и обеспечить восстановление национальной империи.

Однако связь с мировым революционным и освободительным движением, спровоцированным ещё в середине XIX в. Европой, совсем не угасла и угаснуть не могла — Россия уже была не христианской, а, увы, марксистско-социалистической, империей, как это ни парадоксально звучало и звучит до сих пор. Карл Маркс, вполне искренне ненавидевший Российскую Империю и весьма настроенный против самобытной русской культуры, нежданно-негаданно по воле товарища Сталина заместил в построссийском пространстве Христа и оплодотворил идеейно новую восточно-европейскую империю — сталинскую, коммунистическую, советскую. То ли это был невероятный парадокс истории, то ли конспирогенная, вполне уже метафизического свойства парадоксальная раскладка. Наполеон ведь тоже был поначалу революционным генералом и заядлым демократом, а затем, пройдя через режим личной диктатуры, стал императором — основателем Французской Империи, причём прямо там — в Европе, во Франции, в Париже! Как Наполеон вышел из Революции, так и товарищ Сталин вышел из Революции, а потому терять связь с Революцией товарищу Сталину совсем уж не пристало. Вот почему его империя, как и империя Наполеона, тяготела всё-таки к революционным, но уже имперским осуществляемым и империи подотчётным международным процессам.

Плохо это было или хорошо, но сталинскую империю после победы в грандиозной мировой войне, когда великая троица в лице Сталина, Черчилля и Рузвельта решала, ведя сложную и лукавую geopolитическую игру, судьбу всего мира, определяла его послевоенное устройство, не обошёл стороной *мировой соблазн*, тем более что сталинская империя имела мощную подпорку в мире в виде надеявшегося на неё и идущего в её фарватере мощного международного общественно-политического движения, питаемого идеями как раз Мировой Революции, всё тех же коммунизма с марксизмом.

Советский Третий Рим стал в мгновение ока мировым Третьим Римом, имевшим самые серьёзные миромасштабные амбиции.

Это потом, после краха СССР и его проигрыша в холодной войне против США и НАТО, пусть и проигрыша с мощной внутренней обусловленностью, во многом субъективного, стало ясно, что выход на мировой уровень и участие в гигантской попытке революционного преобразования всего мира стало большой для советской империи историо-стратегической ошибкой, а тогда, в эйфории Победы и имперского величия, империя, этот Третий Рим, клюнула на представившийся ей великолепный экспансионистский соблазн, совершенно, знаете ли, антихристовый.

Где Рим, там и Мир (инверсия: РИМ — МИР), но мир не как всеобщий покой, а как бескрайнее шарообразное поле для всяких преобразовательных деяний, реализаций, амбициозных проектов, созидания новых земных миров. И Рим вдруг перетёк в... Мир! Советский Рим в... ещё не советский Мир... но почему же и не советский, ежели Китай, Индия, латинская Америка, Африка, да и... Европа тоже жаждали тогда если не советизации, то уж социализации точно, так что было от чего свихнуться сталинской империи, она и свихнулась, позабыв о риске, об осторожности, о мере. Ведь империя была сама себе нескованно рада — каких-нибудь четверть века и... вторая по мощности держава мира, способная развиваться, расти, иметь мощную армию, умножать союзников, помогать вновь обращённым, контролировать полмира, перестраивать всё мировое бытие! И это почти сразу после невиданного краха Российской Империи, бестолковой революции, страшной братоубийственной бойни, постреволюционной смуты, реальной угрозы полного исчезновения! Великое тут случилось чудо, а раз так, то почему же не состояться другому чуду — миromасштабному, — так империя стала заложницей каких-то уже *сверх-* или *мета-*имперских процессов, в которых Империя вполне могла... и раствориться, что, собственно, через полвека огромных и во многом бесполезных усилий, трат и потерь и произошло.

Тут всё дело, вообще-то говоря, не в России и даже не в СССР как таковом, а в... Европе, да-да, той самой Европе, где был Рим, как раз Первый, где нарисовался Папа Римский с проектом Священной Римской Империи, где произошёл революционный, глобальный и судьбоносный

переворот человеческого мира от природности, сакральности, натуральности, иерархической структурированности, всесторонней регламентированности к либеральности, искусственности, секулярности, экономичности, сетевой организационности, а главное — к науке с техникой, к активной человеческой демиургии, к возможности переделок, перестроений и перевоплощений мира, человеку данного, его пересотворения в мир, человеком уже целостно созидаемый, где имели место неистовые крестовые походы, сменившиеся амбициозными географическими экспедициями и завоеваниями, уже колониальными, приведшими к сотворению великих колониальных империй и разного рода колониальных клонов Европы с образцовыми США впереди, где возник и раскатился экономико-производительный, он же и научно-технический, прогресс, где стал активно культивироваться национальный, политический и экономический империализм, где прокатывались всяческие революции и возникло движение Мировой Революции, где родились либеральные, национальные, социалистические и коммунистические, да и те же фашистские, идеи, где непрерывно гремели войны и разразились две ужасные мировые войны, где явился Гитлер с его зверским «тысячелетним рейхом», в общем, в Европе напряжения, беспокойства, перемен, новшеств, переворотов, войн, потрясений, катастроф, причём не в одной только Европе, но и за её пределами, по всему миру.

Европа — не география вовсе, не территория с населением, это... мировой очаг, лидирующий в мире мировой очаг мировых перемен. Именно Европа покончила с Премодерном и породила Модерн, именно она произвела на свет Новое Время и Новый Мир, именно она вознамерилась, передравшись внутри себя, подчинить себе имперски весь мир. Европа — это инициатива, это движение, это экспансия! И никогда не следует забывать, что всё современное сознание, как и вся современная ноосфера, да и вообще сам современный человек с современным социумом — порождение Европы, причём совершенно по духу и стилю имперское. Идеальный, ментальный, знаниевый империализм — самый действенный и эффективный империализм! Весь мир сегодня в той или иной мере порождён Европой, он есть её дитя, её эманация, во всяком случае, на уровне Модерна и Постмодерна, на уровне современности.

И если США, это новая мировая (глобальная) империя — этот

Четвёртый Рим, есть прямой продукт Европы, великолепно выделанный ею сынок-великан, настойчиво и умело воплотивший давнюю мечту Европы о своей мировой империи (папа Римский, Карл Великий, Наполеон, Гитлер и, конечно же, короли Англии, Испании, Франции, Германии), сформировавший то, чего никак не могла добиться раздираемая противоречиями и противостояниями Европа, то Россия, эта восточноевропейская империя — Третий Рим, есть всего лишь косвенный продукт Европы, но всё-таки продукт вездесущей Европы, однако не собственно европейский продукт, а, скорее даже... антиевропейский, ибо эта восточная империя, будучи вроде бы продолжением Европы (Первый и Второй Римы всё-таки были более европейскими, чем азиатскими, хотя Второй Рим прямо пересекался с Азией), оказалась, как минимум, евразийской империей, а как максимум, попросту самобытной российской, а Россия, как уже давно стало понятно в России и в Европе — вовсе не Европа!

Нет, Россия со времён Империи не только не была чужда Европе, но всячески её для себя и в себе допускала, хотя и, как оказалось, до каких-то непреодолимых пределов, более того, Европу в своём молчаливо урчащем чреве старательно переваривала и выдавала на гора какой-то *свой* вариант бытия, схожий с европейским, но по сути своей совсем и не европейским, а как раз... *российским*. Так что Россия никогда не была прямым клоном Европы, как те же США, и Третий Рим всегда отличался заметным качественно-характеристическим своеобразием. Вот почему отношения между Европой и Россией никогда не были ни простыми, ни доверительными, ни товарищескими, как и не раз оказывались натянутыми и конфликтными. Европа всегда стремилась подчинить себе Россию, ходила на неё и войной, а Россия всегда старалась отбиться от Европы, не позволить ей над собою политически и концептуально доминировать.

Однако Европа всегда присутствовала в России — по преимуществу идейно, культурно, цивилизационно, имея в России большое число верных адептов-распространителей («дивелопперов»), но и политически тоже, и агентурно, и конспиративно, и заговорщически. Европа не просто влияла на российские умы (писатели, поэты, театралы, художники, музыканты), но и стимулировала волей-неволей непосредственно антироссий-

скую партию (западники, диссиденты, либералы, реформисты, революционеры, социалисты, марксисты). Так что Россия не просто держала в себе Европу, но и носила в своём чреве настоящую *проевропейскую Россию*.

По большому счёту нет ничего удивительного ни в активизации в России этой проевропейской антиРоссии, ни в проевропейских реформах в России, ни в нарастании в ней европенского революционного движения, ни в случившейся в России проевропейской революции, ни в том, что революция произвела на свет не какую-нибудь, а социалистическую, опять же европенную, Россию — как реализующую самый передовой и захватывающий новомировский проект беспрекословной и вездесущей Европы, в чём-то глубинном соответствовавший ранним христианским чаяниям и оправдывавшийся российской натурально-принудительной хозяйственной практикой, как нет ничего удивительного и в том, что большевики были просто обязаны, реагируя на имперские притяжения Европы и ей вынужденно противостоя, удержать и восстановить имперскую Россию, хоть и под именами РСФСР и СССР, а после победы над половиной Европы и в условиях растущего социалистического движения в Европе и в мире соблазниться ролью мировой, уже и *метаимперской*, державы.

США и СССР не сами по себе миробусловленно заимперничали, а приняли исторические эстафеты от Европы, причём эстафеты уже по сути метаимперские: США понесли эстафету либерально-экономическую, или капиталистическую, а СССР — натурально-административную, или социалистическую, объединяя вокруг себя всех возможных адептов. Принятие этими великими державами метаимперских функций не могло не породить принципиального противостояния между ними, вскоре воплотившегося в третьей мировой войне, на этот раз — холодной.

Эту-то холодную войну выиграли в конце концов США, следственно, и в чём-то старушка Европа, а СССР эту напряженную войну проиграл. Мало того, взял, да и распался, покончив, правда, не с восточноевропейской империей как таковой, которая, несмотря ни на что, осталась на своей территории — теперь Российской Федерации, а с советской мировой метаимперией, чуть ли не с самим Третьим Римом, во всяком

случае, в последней — уже сталинской — интерпретации.

Причин, обстоятельств и мотивов поражения СССР перед самим собой и в холодной войне в общем-то хватает и кое-какие из них восходят к тому же, чем и отчего страдала в своё время ещё Российская империя, но есть кое-что, что было связано непосредственно с СССР и что сыграло, безусловно, решающую роль в постигшей его геостратегической трагедии.

Здесь уместно предварительно сравнить СССР, эту советско-сталинскую империю, этот социалистический Третий Рим со своим имперским, но *другим* уже имперским, победителем — США, этим Четвёртым Римом, и четвёртым не в плане наследия Третьему Риму, хотя кое-какой момент такого наследия в мировом пространстве всё-таки присутствует, а в плане параллельного Третьему Риму наследия всё той же Европе с её прежде всего Первым Римом (американская империя — другая, чем российско-советская, ветвь евроимпериализма).

Для США империя, во-первых, не так для себя самих, хотя некоторая империальность, кое-какой дух империи сидят и внутри страны (один Капитолий чего стоит со всякими имперского образа памятниками, сооружениями и изображениями), как для внешнего контекста; во-вторых, империальность в США всё-таки не на первом месте, не в основе страны, её организации, а в дополнение, в придачу, суперструктурно, надстроично, как, собственно, и государственность с политической властью; в-третьих, империальность в США восходит к частности (частному интересу, частной собственности, частной инициативе, частному присвоению), к либерализму с демократизмом, как и элитократии с плутократией, к экономике с её капитализмом и финансизмом, к гражданственности и открытому, хотя и с контролируемыми границами, обществу; в-четвёртых, такая империальность предполагает всесторонний динамизм, рост и развитие, экспансионизм, стремление к земному благополучию.

Всё наоборот было в СССР: само устройство страны было последовательно империальным — сверху донизу; империя была на первом месте, она представляла сам базис общества, была выше закона, исходила из приоритета власти, государства, административности, армейщины;

предпочитала огосударствлённую общественность (общий, он же и государственный, интерес, общественную огосударствлённую собственность, верхне-центровую административную инициативность вкупе с нижне-периферийной административной исполнительностью; организуемое сверху и из центра природно-распределительное присвоение благ); базировалась на планово-административном имперском хозяйствовании с подавленным, играющим служебно-вспомогательную роль экономическим началом; поощряла не гражданственность, а служивость, предпочитала не открытое, а закрытое общество; порождала тенденцию к статике, сжатию, застойной стабильности, стагнированию, вынужденному аскетизму.

Если же для имперской системы США было важно либо управлять самонарастающей социо-хозяйственной негентропией, смягчая самовозникающие в её потоке проблемы и кризисы, обеспечивая выход избыточной негентропии за пределы США, то для советской имперсности было важно постоянное преодоление средовой социо-хозяйственной энтропии и принудительное нагнетание созидательной негентропии, никогда не чрезмерной.

Возвращаясь к холодной войне, следует заметить, что дело тут было не столько в самой по себе межимперской войне, сколько в природе и меняющемся состоянии самих участников войны, этих двух мировых империй, одна из которых — СССР, была рассчитана на мощный мобилизационный импульс догонно-соревновательной направленности и принудительно-энтропийной заданности, естественно, импульс предельный, срочный, преходящий, непременно ослабевающий и затухающий, требующий постоянной внешней принудительной энерго-административной подпитки, скажем так — имперской раскрутки, другая — США, попросту шла вперёд, на заботясь о внешнем социо-хозяйственном стимулировании и занимаясь лишь военно-стратегической рационализацией самораскатаивающегося бытийного процесса. На стороне СССР было имперское проективное упрямство и огромные ресурсы страны и её союзников, включая трудовую и творческую пассионарность народа и элиты, а на стороне США — самодвижущийся динамизм общества и хозяйства, не меньшие в общем-то ресурсы с возможностью постоянного их пополнения извне, ну и более мощная производительная база с более высоким

технологическим уровнем. США были в целом и всё время впереди, а СССР — сзади, США опережали, а СССР догонял, США свободно катились, а СССР принудительно раскатывался. Рано или поздно, но СССР должен был потерять необходимый динамизм, прежде всего качественный, негентропийный, самостоятельный, сорвать «дыхалку» и приостановится, что, собственно, и произошло где-то в 1970-х гг. Не столько тут было поначалу поражения от США в холодной войне, сколько проигрыш им и их союзникам в межимперском соревновании. Поражение, однако, случилось, но имело место уже потом, при и по итогам развала СССР и самосдачи советской империи перед самой собой и в немалой степени перед своими исконными противниками, вдруг обернувшимся чуть ли не закадычными друзьями смущившейся, обессиленной и опозоренной России.

58

Ордынские режимы, как и любые другие милитарно-тоталитарные режимы, не рассчитаны на большую историю, даже ежели поданным этих режимов бывает вполне сносно существовать, а то и совсем даже не плохо жить. Человек всё-таки не пчела, не муравей, не термит, более того, он, вообще говоря, мета-животное, ибо обладает сознанием, он лишь частично в природе, лишь животом (организмом) своим, а как человек он более всего вне природы, вне материи, вне физической упорядоченности, а потому режимы, не предполагающие хотя бы частичного самовластия сознания, его определённого самоволия, как и, пусть относительной, но свободы, может, и долго держатся во времени, ни лишь замерев в каком-то неподвижном образе, попав в капкан непрерывной статики, не зная, что такое движение, развитие, обновление жизни, как и от всей этой динамики удовлетворение.

Выдвинув идею единого Бога Творца и идею человека, созданного Богом по своему подобию, христианство подтвердило исключительность человека как присутствующего на Земле природно-неприродного существа, способного не только трудиться ради своего физического выживания, что делают и любые иные животные, а и творить что-то неприродное, по-своему изменяя мир, его передельывая, даже и пересотворяя.

Да, человек — существо общественное, его сознание проявляется

вместе и наряду с другими сознаниями, зависит от этих сознаний, существует в мире сознаний, в ноосфере, а потому человек подлежит той или иной общественной организации, или же социализации, — если отвлечься от такого конкретного термина, как социализм — схожей с животными сообществами — стадом, стаей, роем, тем же муравейником, но всё-таки принципиально отличной от этих последних, ибо в человеческом мире наряду с людьми присутствуют идеи, слова, понятия, языки, тексты, абстрактные образы, в общем — сознание во всей его выразительной палитре, чего нет в мире животных, а потому у человека не сообщество всё-таки, а *социум*, без которого человеку попросту никуда.

Социум бывает различным, случается он и имперским, и ежели империя в основе и в начале социума, то она его себе непременно подчиняет, заставляет себе служить, что характерно, к примеру, для древнеримской, ордынской или российской империй, а ежели империя всего лишь венчает социум, дополняя его и по преимуществу ему служа, то получается империя финикийского, британского или американского типа.

Нетрудно заметить, что континентальные империи обычно отличаются милитарностью, административностью, иерархичностью, принудительностью, тоталитарностью, а вот морские, будучи относительно социума более надстроечными и производными, допускают и большую свободу социума, экономики, самоорганизации, они более ориентированы на управление отдельными процессами, а не на тотальное доминирование; первые всегда жёстче, статуарнее, «тяжелее», вторые же гибче, подвижнее, «легче».

Восточноевропейская империя — Третий Рим — безусловно континентальная империя, спартанско-ордынского типа, не склонная к активному саморазвитию и непрерывному самообновлению. Отсюда особого рода исторический циклизм: от одного принудительного рывка вперёд к другому через застой и какую-нибудь «непредвиденную» коллизию; от одной половинчатой реформации к другой; от одной формы империи к другой посредством революций, переворотов, смут и катастроф.

Опасавшаяся коренных перемен, Империя вынужденно рисковала собой, время от времени ставя себя в крайнее положение, а то и самораз-

рушаясь, правда, и каким-то чудом потом возрождаясь, что свидетельствовало лишь о наличии какой-то мощной, глубинно обусловленной, вполне метафизической ко всему этому предопределённости.

Очередной крах постиг восточноевропейскую империю — Третий Рим в советско-сталинском образе аккурат в ходе и по итогам третьей мировой войны, прозванной холодной. Более всего тут виновата, конечно, сама неповоротливая, негибкая и ненаходчивая империя, её незадачливая элита со своим инертным и оказавшимся в общем-то исторически несостоятельным высшим руководством. Конечно, империю пытались реформировать, но нерешительно и безрезультатно, ибо любое конструктивное реформирование требовало... чуть ли не деконструкции империи, во всяком случае, её очень рискованной реконструкции. В итоге достаточно уже уставшая от созидаательных напряжений и рывков вперёд империя, никуда уже не ведомая геронтократией, вовсе уже не склонная ни к каким антиэнтропийным самопеременам и негентропийному саморазвитию, не смогла поймать и оседлать новую волну научно-технического и экономическо-хозяйственного прогресса, овладеть будущим, а тут ещё ввязалась роковым образом в войну в соседней непокорной стране, как оказалось, в войну, для империи самоубийственную, — и это всё обеспечило империи непреходящий застой и успешно разлагающий любой живой организм полноценный маразм. В большой и обильной ресурсами стране не нашлось умных и достаточно амбициозных в историческом плане имперских по духу волевых реконструкционных сил, способных предотвратить ослабление и падение империи, но зато нашлись противоположные по устремлениям антиимперские де-конструкционные силы, обеспечившие развал страны, частное присвоение её богатств и производительной базы, сравнимое с оккупационным захватом и разграблением.

Тут самое время задуматься над *человеческим фактором*.

Любая империя, включая и такую, как американская, вырабатывает имперского человека, сознающего вольно или невольно свою принадлежность к имперской стране и свою перед ней ответственность. Если империя молода, на подъёме или в расцвете, то имперскость легче и надёжнее проникает в сознание, его соответствующим образом транс-

формируя, в особенности, в среде элитарного, административного и милитарного слоёв населения. Заметно менее имперскость ценится работными и податными слоями, не говоря уже об угнетённом люде. Лучше всего чувствует себя империя, способная найти и поддерживать внутри себя социумную гармонию, не допуская нарастания межклассовых противоречий и социальных взрывов. И ежели либерально-экономические империи рассчитывают более всего на успешную самоорганизацию социума, личную активность граждан и соблюдение ими законов, то милитарно-хозяйственные полагаются более всего на сознательность, лояльность и ответственность имперских подданных, как и на дисциплинарную над ними опеку, не говоря уже об откровенном над ними насилии и жёстких, если не попросту жестоких, репрессиях.

Восточноевропейская империя — Третий Рим — всегда базировалась на особого рода имперском сознании, признававшем сакральное верховенство над собой имперской власти, её ведущую роль в социуме, а также свою покорность империи, необходимость ей самоотверженного служения, за что рассчитывала на имперско-властные гарантии защиты, довольствия и выживания, а при благоприятном стечении земных обстоятельств и небесных звёзд — на процветание, уверенность в будущем и почёт. Для такого рода империй была характерна та или иная личная от неё зависимость, причём любого из подданных, включая и первого лица империи, а также прямая зависимость каждого подданного от состояния империи, особенностей её текущего бытия, становящейся перспективы. Здесь господствовала взаимная и по возможности полная интегрированность социума и империи, при которой судьбы обеих подсистем оказывались тесно переплетёнными, составляя вместе единую историческую судьбу. Разумеется, между социумом и империей всегда возникали те или иные противоречия, как и вспыхивали серьёзные разногласия, не обходившие стороной и возможность между ними разрыва, выпадения и общей катастрофы.

Имперскость, в особенности ордынского типа, с неизбежностью порождала, поддерживала и стимулировала как наперекор себе, так и в согласии с собой и отрицательные качества в своих подданных — вроде лености, инертности, безответственности, ненадёжности, пустоголовности, аморальности, выдавливала она и антиимперские настроения,

как правило, весьма обоснованные, воплощавшиеся в массовых протестных настроениях, инакомыслии, в тихом и «громком» сопротивлении, в подпольной борьбе, терроре и бунте, в революции, наконец, но при этом и в бегстве от империи, ей вынужденной измене, как и в откровенном ей предательстве.

Ордынская имперская ноша была тяжела и не только для масс имперских подданных, но и для самих носителей империи — императора, имперской элиты, администрации, армии, духовенства, интеллигенции, спецов, даже и для торгащей с промышленниками, тоже вынужденными считаться с имперской властной субстанцией, обильно разлитой по имперской стране. В империи людям было как «по себе», так и «не по себе», вроде бы ничего, а то и хорошо, даже и преотлично, но в то же время всегда или вдруг отчего-то несладко, неуютно, тяжко. Тут всегда были удовлетворённые и не очень, как были, конечно же, вполне неудовлетворённые, критически настроенные, а то и прямые противники, нередко и неуклюжие, бестолковые, даже мнимые. И империя всегда защищалась, храня себя, отыскивала усердно врага, с ним боролась, изолировала или уничтожала. Охранка вполне органична ордынской империи, как, собственно, и любой другой, а репрессии в «ордынке» — норма! Хочешь, не хочешь, а принимай, подчиняйся, служи! И когда империя молода и на подъёме, то нелёгкая имперская наука в целом принимается и более или менее переносится имперскими подданными, а вот с расцветом империи, когда массами и элитой овладевает желание счастливой мирной жизни, имперское бремя непременно ставится под сомнение, а уж при упадке империи попросту явно или неявно отрицается.

Любая имперскость имеет весьма ясно очерченный жизненный срок, включающий становление, расцвет и упадок, а потом либо полная гибель империи, её распад и растворение, либо большая внутриимперская смута, из которой «смирившаяся» империя всегда имеет шанс выйти обновлённой, чуть ли не другой империей, но уже на более короткий срок.

Внезапная и скорая погибель или та же рискогенная большая смута — роковые, хоть и не строго обязательные, атрибуты-следствия любой империи, её принудительного устройства и выпавшей на неё властной миссии. Смерть или большая болезнь тут всегда рядом, они

не грешат отстранённостью и перенасыщены услужливостью. Бытие империи — всегда напряжённое и ответственное бдение, на что уходят немалые силы и энергии. Империя всё время производит империю — причём сначала империю, а потом всё остальное. Но любая империя — трансцендентная необходимость, хотя иной раз и не очень вроде бы исторически оправданная, а раз это неизбежность, то имперцам приходится с империей всё время считаться, и утверждать её, и поддерживать, и длить, хотя в какой-то момент нежданно-негаданно и предавать.

Русский апокалипсис, начавшийся почему-то в момент наивысшего расцвета Российской Империи и в итоге отметившийся бесславной антиимперской революцией, вполне уже и предательской, как и ужасной гражданской войной, не так уже предательской, как бессмысленной, преодолевался после гибели Российской Империи не как-нибудь, а *по-имперски* (во главе с товарищем Сталиным), причём не восторженно по-имперски, а отвратительно по-имперски — как раз апокалиптически, исподтишка, из мрака, без Христа, но зато с антхристом, под прикрытием чуждого русскому миру марксизма, безжалостно и беспощадно, посредством чисток и репрессий, обманно, тяжко, затратно, бестолково, кроваво.

На счастье для возрождавшейся в муках империи, в евровоздухе запахло сильно новой большой, уже и имперски-реваншистской, войной, и Сталин прозорливо и вынужденно торопился, настойчиво насаждая дух и стиль имперской и решительно построяя новую империю, а разразившаяся война, в которой СССР была отведена роль одновременно германской жертвы и борца за интересы антигерманской Европы, всё сразу же оправдала, подтвердив неизбежность и правильность курса на имперский ренессанс в Восточной Европе и легализовав сталинскую империю, ну а победа в войне полностью и безоговорочно эту возрождённую империю легитимировала.

59

Причина возрождения в Восточной Европе империи, или, что то же самое, в обращении СССР в империю, конечно же, не в самой по себе личности Сталина, хотя Сталин, наверное, и сыграл решающую роль как в имперском развороте страны, так и в строительстве советской империи, её фактическом облике. Нельзя, надо полагать, сводить возникновение

империи лишь к инерционному выплеску предшествующей Российской Империи, хотя влияние недавней имперской истории исключать насовсем нельзя. Причина здесь, по-видимому, в глубинно-метафизическом тяготении сохранявшегося под эгидой единой государственности большого евразийского пространства к имперскому себе обустройству, а также в наличии захватнической и разделочной угрозы этому пространству со стороны агрессивной тогда Европы, поддерживаемой быстро растущими и крепнувшими США, чему могла противостоять только милитарно организованная и боевито оснащённая империя.

Не Сталин сам по себе придумал движение страны к империи — новой империи, это, или что-то этому подобное, надо полагать, сознавали в стране многие, а интуитивно и инстинктивно на имперское возрождение страны было сориентировано всё, или почти всё, население уцелевшей, хотя и ослабленной и разорённой страны. Никто из здравомысленных не мог желать тогда распада и исчезновения великой страны — ведь белые и красные, упорно и беспощадно сражаясь друг с другом, воевали всё-таки, при всех частных нюансах, за единую и неделимую Россию, а таковой она могла оставаться только... в имперском образе и на имперском пути. Сталин лишь ответил на объективную потребность имперского возрождения страны, хотя ответ этот был, наверное, не единственным возможным, но... победил всё-таки Сталин, и именно он соорудил, будучи в идейном плане вроде бы большевиком-марксистом, свою особенную модель империи — ордынско-марксистскую, хотя роковое значение лично Сталина не следует преувеличивать — объективность и конкретность тут играли свою неотbrasываемую роль: победили-то в гражданской войне красные (марксисты), а империя воссоздавалась не где-нибудь, а в Евразии, да ещё и на развалинах Российской Империи, из-под этих развалин «едино и неделимо»... вздохавшей.

Непосредственно старо-имперские классы, включая всех видов эксплуататоров, были формально оттеснены по углам, изгнаны за пределы страны, частично и уничтожены, во всяком случае, их уже не было, да и не могло быть, за исключением всё и вся знавших старорежимных спецов, а потому эта новая империя не могла не быть большевистской, марксистской, партийно-номенклатурной, чекистско-НКВДешной, как и не могла новая империя ни искать опоры во вновь создававшихся слоях

новых спецов — военных и гражданских, новых управленцев, учёных, интеллигентов, литераторов и деятелей культуры, ну и, конечно же, в новой армии.

Отказ обновлённой большевистской власти от экстремальных красно-революционных нововведений вроде «военного коммунизма» или бестолково-бесформенного искусства, не говоря уже о какой-нибудь свободной бессемейной половой жизни, обращение к нормальным формам жизнеотправления с наведением кое-какого жизнеутверждающего порядка, а также обеспечение возможности образования и социально-карьерной мобильности для весьма значительных масс молодого и энергичного населения, обеспечили широкую поддержку нового имперского строя, а чувствительные разборки с внутренними противниками новоимперского курса и внешние для страны угрозы лишь поспособствовали признанию и скорейшей реализации нового имперского проекта.

Да, это была империя большевиков, но это была и, чего не было при том же Петре, в той или иной мере... *народная империя*, хотя, разумеется, не всего в целом народа, но по духу своему и по вовлечённости в имперские дела масс населения — да, в чём Сталину и помог марксизм, всё-таки *народная*, не элитарная, не чья-то и не кого-то, причём со всюду проникающей *народной партией* и во главе с *народным вождём*, бывшими всегда и везде *впереди!*

Империя была в целом поддержанна, хотя и не без немалой вынужденности, новой элитой и народными массами, и была ими поддержанна вовсе не по причине, как это было при Петре I и Екатерине II, раздачи земли с работниками имперцам-дворянам и обретения ими личных богатств, да и не только вследствие возникающей вертикальной мобильности активного населения и всякого рода выдвиженцев, а прежде всего потому, что империя, подавив негативный, разрушительный и вредительский элемент, обратилась к модернизации и развитию, к плодотворному труду всех и вся, к творчеству одарённых, к строительству совершенно нового, по замыслу более справедливого и человечного, чем это было прежде, мира.

Но было и ещё кое-что очень важное: новая имперскость оказалась... продуктивным продолжением прежней, дореволюционной, царской, той самой, которая, подавив поначалу весьма Революцию и сделав

кое-какие конструктивные выводы, смогла возбудить, не без пособления со стороны виттевской хитроумности и не без участия столыпинской во-левой устремлённости, созиатально-творческую активность значительной части населения и вывести страну на путь устойчивого роста и интенсивного развития (в первые десятие годы XX в. Россия занимала уже пятое место в мире по объёму странового продукта и первое место по темпам его роста, рассчитывая к 1940 г. выйти на первое место в мире с трёхсемиллионным населением). Мировая война 1914—1918 гг., болезненно поразив империю морально и политически, вовсе не ослабила её в экономико-производительном плане, наоборот, усилила, а революционные события 1917 г., покончившие с романовской империей, не покончили вовсе с российской имперской, хотя и вызвали в её реализации большую и судорожную заминку. Гражданская война весьма ослабила уже не имевшую ясного имени восточноевропейскую имперскую, разорила страну, но имперского духа у российских евразиатов вовсе не убила, а пожалуй, что, и поощрила.

И когда страна более или мене очухалась от гражданской войны и революционного наваждения, коренная её имперская с неизбежностью сказалась, мало того, выяснилось, что имперские резервы и потенции вовсе не исчезли, а оказались способными к реставрации и новой мобилизации. Несмотря на убыль населения и части образованного профессионального слоя (эмиграция, гибель в войне, репрессии), страна нашла в себе желание и силы для имперского возрождения, даже под несуральным идейным покровом со стороны чуждого ей марксизма и под сомнительным водительством вовсе тогда ещё не органичных империи большевиков.

Российская Империя рухнула, да и то лишь политически, в результате рокового стечения обстоятельств, сплётшегося с отсталой феодально-корпоративной системой (антисистемой) власти, но никак не застала самой имперской страны. Не случись затяжной войны в сочетании с беспорядочным царским правлением и деятельностью разного рода антиимперской (и антироссийской) агентуры, жертвой которой стал и решительный, воевой и дальновидный Столыпин (этакий русский Дэн Сяопин того времени), революции в стране либо не было бы, хотя империи пришлось бы идти по пути дальнейшего реформирования, её весьма

преобразовывавшего, либо революция всё-таки случилась бы, но уже иного рода — как ликвидирующая привилегии дворянства, решающая земельный вопрос в пользу крестьянства и дающая простор экономизму с капитализмом. Однако революция произошла, причём вторая её фаза разразилась под провокационным большевистским лозунгом «земля — крестьянам, фабрики — рабочим», нашедшим естественный позитивный отклик у крестьян и рабочих (крестьяне, конечно, знали, что они будут делать с землёй, а вот рабочие, по-видимому, просто рассчитывали на смягчение условий труда и большее за труд вознаграждение — вряд ли пролетариат рассчитывал, в отличие от кабинетных интеллигентов-революционеров, обойтись в делах промышленных без грамотных специализированных управляющих).

Тут уместно заметить, что на Россию свалились в итоге октябрьского переворота 1917 г. и в результате победы красных в гражданской войне 1918—1920 гг. два крайне парадоксальных проекта — *мировой революции и социалистического обустройства бытия*, оба, по исполнительской манере чуть ли не имперские, ну пусть псевдоимперские, но... главное... не имевшие никаких корней не то что в российских массах, но даже и в российской элите, исключая новых, опять же красных, выдвиженцев-управленцев, но оба проекта были в итоге существенно скорректированы национально-государственнической частью большевистской элиты во главе со Сталиным, убедившихся в необходимости возрождения внутристрановой имперской государственности, способной как отодвинуть в сторону чуждый и ненужный тогдашней России и крайне опасный для её существования проект мировой революции, так и переиначить утопический социалистический проект в более или менее реалистический — *проект тотальной социализированной государственности*.

Так или иначе, но к 30-м гг. XX в. уже стало ясно, что впереди было лишь возвращение к империи, но к империи уже новой, с новыми идеями и формами. Никто тогда не помышлял, во всяком случае, открыто, о сути этой поднимавшейся империи, о её связи с историей и Третьим Римом, как и вряд ли кто-либо, кроме разве какого-нибудь тайного советника вождя, вообще сколько-нибудьнятко говорил об империи. Империя восставала скрытно, подспудно, конспиративно, не привлекая ничьего внимания, а потому без адекватного себе и себя поименования.

Всё ясно стало позже, по итогам уже второй мировой войны, хотя и тогда вождь и партия избегали нехорошего слова «империя», решительно отвергнутого в своё время прогрессивной-де революцией, а также либерально настроенным международным бомондом (масонско-демократическим).

Возникает вопрос с Православием и Церковью, имевшими прямое отношение к Российской Империи — Третьему Риму, когда-то Империю в Восточной Европе пророчески предсказавшими и её фактически освятившими. Да, от империи этой они чуть ли не первые и пострадали, будучи ею оттеснёнными от имперского центра, подчинёнными светской власти и поставленными в сугубо служебное положение (догматы остались, а функция изменилась, чем и была замещена в России европейская Реформация). Однако сразу после двух революций 1917 г., когда в 1918 г. состоялся Поместный Собор Русской Православной Церкви и восстановлено Патриаршество, номинальная самостоятельность Православия и Церкви резко усилилась, и их авторитет в обществе вроде бы сразу возрос. Возможно, поначалу это было и так, но... светская власть в стране была уже абсолютно атеистической и рассматривала любую религию и любую Церковь как сугубо вредный элемент-пережиток.

Власть, конечно, понимала, что православие укоренено в сознании народа и церковь населением признаётся, хотя видела и весьма заметное отчуждение «покрасневшего» люда от религии и церкви. Возникла дилемма, компромиссно, как оказалась, неразрешимая: либо безоговорочные гонения на Церковь и православие, их отмену и ликвидацию, что было вполне приемлемо для атеистической (об антихристианстве говорить уже не приходилось) власти, либо какой-то тактический, а может, и стратегический, союз власти с Церковью и терпимое со стороны власти отношение к православию.

Плодотворный компромисс не случился: власть не могла признать самостоятельности и большого влияния церкви и религии среди разворачиваемого к атеизму и марксизму населения, а Церковь, в лице прежде всего патриарха Тихона и его сторонников, не согласилась на конструктивное сотрудничество с «безбожной властью». В итоге решительное расхождение и пусть и не полные, но жестокие гонения большевистской,

во многом и инородческой, как и иноверческой, власти на русскую Церковь и православие (с арестом и уморением голодом патриарха Тихона), а через некоторое время сергианский, он же обновленческий, компромисс Церкви с властью, предполагавший восстановление государственного контроля над Церковью, но гораздо более плотного, чем это было при Петре, хотя и с условием сохранения самой Церкви и направления православного культа. Церковь не превратилась в закрытую секту, не оказалась она и в подслеповатых катакомбах, но попала в своеобразную призрачную резервацию, почти не влияя на жизнеотправление страны, хотя и получив для себя возможность выжить и кое-как по традиции действовать.

Сталин, как бывший диссидентствующий семинарист, а потом ярый революционер, не мог, с одной стороны, не относиться критически к церкви и религии, а с другой — не понимать их значения в идеально-духовной жизни людей. Это предопределило поведение вождя относительно церкви и религии: сначала он был заинтересован, наряду с другими большевиками-вождями в максимальном ограничении церкви и религии, а потому не препятствовал гонениям на них, но потом, уже став единоличным правителем страны, да ещё и в условиях тотальной войны, он признал плодотворное значение церкви и религии, возобновил приостановленное большевиками патриаршество, позволил Русской Церкви и религии вздохнуть свободнее и выйти из утесняющей резервации, хотя никакой полной свободы ни Церкви, ни религии не дал — страна была уже марксистско-социалистическая.

Да, возобновлённый Сталиным Третий Рим не был формально христианским, наоборот, он был более всего антихристианским (даже ужасно антихристианским), но совсем христианство в новой, или обновлённой, империи не исчезло, оставаясь не только в выжившей чудом Церкви, но и в душах граждан СССР, причём не только веровавших во Христа, но и считавших себя, причём вполне искренне, атеистами. Православная закваска, если не вычурка, оказались единственное и плодоноснее, чем могло тогда казаться. В целом советские люди оставались людьми православными, даже если были адептами социализма и коммунизма, членами ВКП(б) и КПСС, чуть ли не ярыми богооборцами. Архе-

тип тут срабатывал и весьма надёжно, его метафизической энергии хватило не менее чем на полвека. Раннесоветское отчуждение от церкви и православия, вполне понятное в момент краха Империи и подъёма революционных надежд, сменилось-таки признанием церкви и православия, нет, конечно, не новым воцерковлением и новой христианизацией, но мирным с Православием и Церковью сосуществованием.

Нельзя недооценивать ни советизма постреволюционного Третьего Рима, ни его социализации, ни его секулярности, но вряд ли будет правильным недооценить его генетико-исторической православности, сыгравшей совсем не последнюю роль как в становлении обновлённого Третьего Рима, так и в его удержании в истории.

60

Большевистский режим, установившийся после революции и по итогам гражданской войны, был режимом жёсткого порядка: как в отношении своего совершенно надуманного проекта нового мира — народного, трудового, безэксплуататорского, так и в отношении крайних методов своего утверждения в стране и реализации принятого режимом утопического проекта. Европейский Ренессанс с Просвещением родили в конце концов ренессансно-просветительское, совершенно уже антихристианское, безумие — *социалистический проект*, волею лукавой судьбы и прельщённых им россиян принятый к исполнению во вроде бы постимперской России. Весьма быстро, однако, было понято — после, правда, обильных кровей и моря страданий — насколько нелепым, неисполнимым и самоубийственным был этот проект — и он был, в конце концов, хоть и остававшийся номинально и даже фигулярно претворявшимся в жизнь, заменён на тотально государственный, азиатско-ордынского типа, имперский проект, который, как ни странно, состоялся, ещё и достигнув кое-чего из незаурядного и даже воистину из великого: индустриализации со всеобщим образованием; урбанизации с хотя и обновлённой, но всё-таки классического разряда культурой; утверждения науки и изобретательства, хотя и не без репрессивных коллизий; создания новой, по-новому оснащённой, хотя и не самой на первых порах боеспособной, армии; перестройки деревни с коллективизацией сельского хозяйства — этих несомненных жертв индустриализации, урбанизации и

вообще новомировский цивилизации; двух величайших побед: милитарной — в мировой войне и в научно-техни-ческой — в термояде и в покорении космоса.

Настоящим чудом стали все или почти все материально-технические достижения советско-социалистического тоталитарного режима, но ещё большим чудом оказалась сама возможность этих достижений при отсутствии гражданских свобод, закрытых границах, долговременных репрессиях, задавленного экономизма, вынужденном потребительском аскетизме и высокой эксплуатации трудового населения. Что-то было во всём этом воистину загадочное, ибо предпринятый страной рывок в строительстве новой жизни и в научно-техническом развитии был, несмотря на технологическую подпитку извне, не просто беспрецедентным, а и по-настоящему... сказочным.

Ведь случилось же, случилось: и ресурсы для этого нашлись, и кадры, и желание всеобщее было, даже искренний энтузиазм имел место!

Партия приписывала это себе и коммунистической идеологии, но... без соответствующего отклика со стороны населения и всеобщей самоотверженной работы ничего бы этого не произошло. Значит, было ещё *что-то*, чего потом, по прошествии какой-нибудь четверти века со временем выхода страны в космос, почему-то... не стало, хотя и партия оставалась на месте, и коммунистической идеология всё ещё упорно культивировалась.

И этим *что-то* был всё-таки не сам по себе трудо-творческий энтузиазм, хотя он и имел место наряду с надеждой на светлое и чуть ли не безмятежное будущее, как и виною в исчезновении этого энтузиазма было не одно лишь разочарование в коммунизме и в партии, в советско-социалистической жизни, ставшей вдруг с 1970-х гг. какой-то неполнценной, инертной, даже и глуповатой.

Бросая заинтересованный аналитический взгляд на сталинскую эпоху, следует признать, что этим искомым, таинственным *что-то* мог быть только... *тогдашний человек*, явившийся ещё в Российской Империи, переживший антисистемную секулярную революцию с последовавшей за ней дикой братоубийственной войной, стойчески перенёсший революционно-большевистские переустроительные судороги, прошедший

сквозь непрекращавшиеся гражданско-политические распри, не растерявший созидательно-позитивной пассионарности и уверенно выдавший добротный социально-технический продукт.

Сталину и большевикам очень повезло, что они имели дело, будучи и сами сынами своего времени, с особого рода трудо-творческим человеком, для которого производительный эффект ради Родины оказались выше и приемлемее всего остального, — а как раз само появление в то время в России такого вот класса людей и следует считать главным и вполне непостижимым метафизическими чудом.

К 1980-м гг. этих людей на переднем крае жизни уже почти не осталось, они ушли в прошлое, совершив свой совершенно немыслимый жизнеутверждающий подвиг.

Титаны то были, титаны — вот, собственно, и всё!

Россия, ещё староимперская, уже должна была совершить что-то подобное, она упорно шла к какому-то большому рывку и, несмотря на всякие непреодолимости, огромные траты и потери, смогла в итоге этот подвижнический рывок совершить, став хоть и не первой, но всё-таки второй державой мира, зато первой державой, прорвавшейся в Космос, более того, принявшейся за мировую экспансию своего альтернативного образа бытия, называвшегося по великому недоразумению социалистическим. Вспыхнув нежданно-негаданно ещё раз, восточноевропейская империя, этот Третий Рим, сделала, наверное, не совсем то, к чему была таинственным образом предназначена ещё с незапамятных времён, а весьма уже определённо — с петровских, но сделала она что-то всё-таки провидчески уже предложенное — Европе альтернативное, не так в социалистическом, конечно, плане, как в плане... православном, ортодоксально-христианском, ну и в восточноевропейском, евразийском, можно сказать, и ордынском.

Трудно себе представить, какой бы была Россия к тому же 1940 г., если бы не Первая мировая война, революция, гражданская, большевистская власть, Сталин со своим сталинизмом, непрерывная гражданская брань, а может, и при каких-либо иных катаклизмах, смутах, неурядицах и испытаниях, но советский режим, кажется, в основном всё-таки выполнил промыслительно положенное историей и... Богом ещё для Российской

ской Империи, чем не только показал себя действенным конструктивным, хотя и затратным режимом, но и по-особому империально-преемственным, так сказать, пролонгационным.

Пролонгация оказалась, правда, недолгой: будучи слишком уж милитарно-мобилизационным, тоталитарным и статуарным, он годился лишь для экстремальной исторической ситуации, когда страна была на краю и всё в ней было поставлено на карту, когда требовались скорые трансформационные перемены, когда всеобщее напряжение было неизбежным и требовалась массовая людская самоотверженность. С отходом же от экстремальности, а в случае с советской империей — по завершении послевоенного восстановления хозяйства и воссоздания нормальной мирной жизни, подобный режим уже не годился и нуждался в существенной реконструкции. Это уже, видимо, ясно понимал и сам великий вождь — генералиссимус Сталин, но приступить к глубокой трансформации своей империи либо не решился, либо не смог, либо не успел.

Преемники Сталина это понимали не хуже ушедшего в иной мир вождя они сразу же после его кончины пошли по пути либерализации и экономизации страны, но делали это не слишком решительно и последовательно, ибо любой серьёзный трансформационный шагставил под угрозу... саму выстраданную в тяжких испытаниях, борьбе и битвах империю, а потому последовавшие за Сталиным кремлёвские сидельцы хоть и отвергли аномальные крайности сталинского режима, его частично либерализовав и очеловечив, но всё-таки не решились на масштабную перестройку империи, хотя бы в духе дэновской трансформации коммунистического Китая.

И пока поколение творцов советского труда было ещё в действии, режим не только держался, но и имел большие достижения, хотя неудовлетворение от неповоротливого и всё более иссыхавшего режима с неизбежностью нарастало. Набирало силы и последовательное отрицание советского режима — даже и в заметно уже либерализованной форме. Казарменное устройство бытия, пусть и не столь уже мобилизационное и жёсткое, мало кого устраивало. Империя всё более погружалась, несмотря на большую силу, относительное материальное благополучие населения и миромасштабную переделочную активность в глубокий и затяжной *системный кризис*, принявший по исчерпании экспенсивных

людских резервов и деятельской потенции уже уходившего креативного поколения по-настоящему *апокалиптический* характер.

Не либерализованная в должной полной мере, а потому слишком инерционная и недостаточно предприимчивая, страна не смогла поймать по итогам мирового экономического кризиса 1974—1975 гг. новой волны научно-технического прогресса, стать полноценным участником новой технологической революции, а производительность и созидательность в стране неуклонно шла вниз. Новых творческих энергий не выявлялось, хозяйство, несмотря на всю свою мощь, всё более погружалось в отставание и деградацию. А тут ещё скоропалительное, крайне рискованное и совершенно утопическое по намерениям военное вторжение в Афганистан. Геронтократическое руководство завело в конце концов советскую империю в экзистенциальный тупик. Потребны были фактически уже революционные перемены, хотя никакой революционной ситуации, несмотря на нарастание общего неудовлетворения, в стране не было. Эти перемены должны были поэтому придти сверху, и они пришли — в виде так называемой *перестройки*, осуществлённой Горбачёвым, а готовившейся, видимо, ещё Андроповым, который, внезапно уйдя из жизни, сам ничего сделать радикального так и не успел, хотя, возможно, мог стать чем-то вроде отечественного Дэна, если... не имел каких-то иных в отношении советско-социалистической империи намерений.

Горбачёв же никаким Дэном не стал, а стал исторической персоной, подготовившей и обеспечившей... развал СССР и... гибель советской империи. Нет, сам лично он вроде бы ничего не разваливал и не разрушал, но то, что... подготовил и обеспечил — весь этот крах, то уж действительно подготовил и обеспечил: его главной целью, как потом выяснилось, было уничтожение скреплявшей и удерживающей сталинского имперского монстра... *партии* — Коммунистической Партии Советского Союза, ликвидацией которой, точнее, ликвидацией её как единственной и монолитной партии власти, Горбачёв в первую очередь и занялся.

Это, конечно, большое явление — *Горбачёв*, а случившаяся в стране *горбачёвщина* — поразительнейший исторический феномен, совсем не свободный от проклятого всеми христианскими народами иудства.

Разумеется, всё не сводилось тогда к одной лишь личности Горбачёва и собственно горбачёвщине — гибель советской империи была предопределена прежде всего... самой Империей, отказавшейся от рискованного самореформирования, постепенно, но системно ослабевавшей и духовно опустошавшейся.

Такого рода милитарные империи никак не рассчитаны на тысячи летия. Они более всего адекватны мобилизационным историческим эпизодам — и когда эти эпизоды проходят, то империи эти не находят успешного продолжения, не зная, что и как им делать в отсутствие потребности в мобилизации и опережающих время чудотворных рывках. Из необходимой и даже торжествующей, хотя и тяжкой, ноши эти империи превращаются для своих подданных лишь в тяжкое, бесперспективное и не слишком уже терпимое бремя.

Нет, в советском обществе не было большого стремления непременно сбросить сам по себе имперский режим, ибо империя была всё-таки и народной, гарантировавшей признававшему её народу не только безопасность и выживание, но и уверенность в будущем, ещё и при относительно справедливом устройстве общественного бытия. Имперский строй не воспринимался населением ни явно чуждым себе, ни совершенно бесполезным, ни вполне уже отжившим. Не всё было в стране хорошо и гладко, но многое было вполне приемлемым (не самый высокий, но устойчивый уровень жизни, всеобщая занятость, доступные образования, здравоохранение и культура, развитая наука, творческие интенции, изобретательство, ощущение людского равенства и даже братства, ограниченная преступность, добротный патриотизм и т. д. и т. п., что вполне устраивало советский люд, поощряя его солидарность с комстроем). Между властью и народом сложился весьма благоносный консенсус — со стороны народа служение обществу и государству, со стороны власти — управление общественным процессом с недопущением или минимизацией административного произвола. Выработанная в стране парлекратическая система позволяла этот консенсус в целом поддерживать. Так что ни о каком революционировании масс не могло быть и речи, тем более что память о сравнительно недавних гражданских расприях, смутах и неурядицах вовсе не стёрлась в сознании советских людей, как, соб-

ственno, и память о массовых политических и дисциплинарных репрессиях.

И хотя революции с классической революционной ситуацией, когда «низы не хотят, а верхи не могут», в СССР случиться не могло, но зато могла свершиться... *революция сверху*, обусловленная не мощными уличными протестами недовольного населения, а всего лишь... *изменой*... Империи со стороны... имперской же власти, вдруг переставшей безоговорочно служить Империи и вознамерившейся с ней решительно покончить. Нечто подобное произошло, как известно, с той же империей Александра Македонского, разделенной после его внезапной (хотя и весьма таинственной) кончины между ближайшими сподвижниками славного полководца-завоевателя. Но если в случае с македонской империей достаточно было заговора высших военачальников, то в случае с советской империей необходима была кое-какая опора если и не на массы населения, то хотя бы на партийно-государственный аппарат, его протестную часть, на значительную долю интеллигенции, всегда недовольной властью и державностью, да ещё и на кое-какой скрытый антиимперский актив. Горбачёвская перестройка не только подтянула всю антисоветскую субъектность, но и смогла усилить массовое неудовлетворение как от самого имперского режима, так и от неуклюжих, сомнительных и неконструктивных попыток его трансформации. Страна была втянута в конце концов не столько в революционную, сколько по-просту в социо-политически нестабильную ситуацию, чреватую провокационной смутой и внезапным разрушительным взрывом, который, собственно, и произошёл в августе 1991 г.

61

Любая империя имеет внутри и вне себя критиков и противников — либо прямых против неё борцов, либо альтернативщиков, радеющих за какой-нибудь иной вариант и другой путь империи, но столь оригинальная большевистская империя, поразительным образом соединившая в себе тотальную принудительность с социалистическим проективным идеализмом, не могла не вызвать не то что критики и альтернативистских интенций, но и самого резкого её отвержения и отчаянного сопротивления.

Так, собственно, и случилось: советско-сталинская империя родилась в жесточайшей борьбе со старорежимными и разными иными актуальными врагами, из которых совсем не мало было и выходцев из самой большевистской среды, не говоря о всякого рода классовых и партийных попутчиках, подлежавших в тот или иной момент разгрому и уничтожению. Здесь уместно вспомнить о таких замечательных идеино-борческих новшествах, как тезис о «диктатуре пролетариата» (реализовывшемся большевистской властью от имени пролетариата, тоже не избежавшего, как в таких случаях водится, ни над собой диктатуры, ни установочных относительно себя репрессий); тезис об «усилении классовой борьбы по мере строительства социализма», оправдывавшем никогда не прекращавшиеся политические и дисциплинарные репрессии; тезис о «врагах народа», обосновавшем целенаправленную (точечную) борьбу с противниками и, скажем так, несторонниками сталинского режима, вроде старорежимников и тех же троцкистов; наконец, тезис о «враждебном международном окружении», оправдавшем репрессии против так или иначе связанных с заграницей граждан Советской Республики, как и иностранных граждан, шпионов, диверсантов, вообще космополитов и даже комунноинтернационалистов.

В общем, империя строилась на понуждении и крови, хотя и на агитации тоже, и на привлечении, и на облазнах, и на учёте классовых, групповых и личных интересов.

Одни россияне, на тот момент будто бы сознательные и правильные, подавляли, понуждали и покоряли других — несознательных и неправильных, одни из новобранцев Империи уничтожали других — и в результате ожесточённого искусственного, хотя в чём-то и естественного, отбора явилась на свет супернеобычная империя — ордынско-социалистическая, утопически-императивная, totally-militarная, планово-этатическая, у которой не могло не быть — конечно, уже более скрытых — чем явных, несогласников, инакомысленников, отщепенцев и самых обыкновенных врагов. С победой Империи антиимперцы ушли в тень, затаились, закамуфлировались, перекрасились, не избегая вовсе, как это было долго с теми же староверами, официальных имперских структур и органичных империи форм жизнеотправления. Империя, подавив более или менее явное себе сопротивление, породила и вобрала

в себя уже неявное себе противничество, свою, хотя и на срок более потенциальную, чем реализабельную, но заполнившуюся оппозиционным ядром *антисистему*.

Первостепенная вина в нарастании антиимперских настроений и тенденций лежала, конечно, на самой Империи, что восходило как к её принудительно ограничительной природе, весьма нелегко и не так уж охотно переносившейся имперскими подданными, так и к принципиальной неразрешимости, утвердившейся на основе и в рамках империальной матрицы, ряда неизбежно возникающих вопросов широкого модернизирования человеческого бытия, к примеру, таких, как личная, коллективная и местная свобода; самостоятельность, ответственность и инициативность любых частных субъектов; идеальный духовный и творческий плюрализм; действенный политический демократизм и полноценный экономизм с наличием и уважением частной собственности, предпринимательства и наёмного труда; возможность частного обогащения; наращивание частного имущества и частного его же наследования, а также таких экзистенциальных радостей, как гедонизм, паразитизм, даже и порочность, в общем — всё будто бы вполне человеческое, но либо в империи сильно зажатое, либо искажённое (окарикатуренное), либо вообще недопускаемое. Решающее же значение в противодействии Империи принадлежало укрепившейся в ней *антиимперской антисистеме*, лишь иногда, да и то осторожно, закамуфлированно и обманчиво, поднимавшей свой голос в пользу каких-нибудь приемлемых для неё самой, но непременно подтачивавших империю, новшеств и вынужденных уступок, всегда нерадикальных, половинчатых, недостаточных, ничего все-рёз не решавших, но зато надёжно раздражавших население и элиту.

Скрытая антисистема — самое действенное орудие борьбы с любой империей, в особенности милитарной. Такая антисистема всегда находит поддержку и покровительство как внутри империи — и в её верхах тоже, так и вовне. А ведь во второй половине XX в. имела место борьба двух мировых империй за доминирование на планете, ведшаяся по всем принципам тотальной войны, хоть и холодной. Обе империи стремились подорвать друг друга прежде всего изнутри, располагая для этого немалыми возможностями проникновения и влияния, имея соб-

ственную агентуру и пункты раздражающего и возмущающего воздействия. Советская империя опиралась на коммунистов и всех сочувствовавших социализму в СССР, на антикапиталистов и антиимпериалистов, как и вообще на всех недовольных Америкой, а американский империализм старался раскачать всё антисистемное в СССР, всячески поддерживая антисоветские настроения и любые инакомыслия, не пренебрегая, конечно, скрытой агентурой и подпольной работой, но делая акцент на массированную (прямо по Геббельсу) антисоветскую, а по сути антиимперскую, пропаганду.

Ситуация разворачивалась так, что уязвимость советской империи от собственной себе неадекватности с постоянной вынужденной потребностью измениться, как и от сидевшей в ней всё более и более активничавшей антисистемы, была значительно выше, чем уязвимость американской империи от разного рода внутренних противоречий и недовольств. Да и неизбежный выход советских людей за пределы СССР, их пребывание в заграничных «райских кущах», способствовал если не прямому отрицанию советского аскетического и лимитационного режима, то заметному неудовлетворению от него. Поддержка советской антисистемы со стороны США оказалась более эффективной в борьбе с СССР, чем поддержка СССР противников Америки в борьбе с Америкой. СССР никак не мог добиться внутренней раскачки США, опасной для их самоохранения, а вот США, влияя на антисистему в СССР и стимулируя противные СССР настроения — от свободословных демократических и национально-освободительных до джазофиловых, кока-коловых и джинсовых, подобной раскачки СССР вполне добились.

СССР защищался, приспособливался, даже очеловечивался, но... устранить ни разъедавшие его дилеммы, ни токовавших против него диссидентов, ни зловредного влияния Запада никак не мог: Европа в мирном соревновании с Россией-СССР оказывалась, как, собственно, и всегда в истории, удачливее, ибо источала, как это и было всегда... *липкое системное прельщение*, которое никогда и никак не могла источать никакая восточноевропейская империя, хотя советско-социалистический строй (строй вроде бы трудящихся, народа, социальной справедливости) пользовался в некоторых европейских и американских кругах, не говоря уже об экзальтированных протестных отщепенцах, немалым доверием,

но... никак уж не массовым прельщением, а избирательное доверие со стороны не идёт ни в какое сравнение по деструктивной эффективности с массовым прельщением извне.

Резонансное сочетание, с одной стороны, малоэффективной в мирных условиях этато-милитарной организации империи, с её приспособительной негибкостью и трансформационной неподвижностью, усердно подкреплёнными задержавшейся на властном Олимпе геронтократией, а с другой — бытовавшей в империи антисистемы, сначала просто поддержанной, а потом и непосредственно управляемой извне, не позволило в обстановке бескомпромиссного межимперского соперничества ослабить и преодолеть, хотя бы по-дэновски, неуклонно разбухавший кризис СССР и советско-социалистической Империи, предотвратить их последующий развал и крах.

Кризис зрелости, поразивший сталинскую империю в момент её победного становления и никогда уже её не отпускавший, перейдя в кризис перезрелости и упадка, был фактически *попущен* то ли непроницательным и недальновидным, то ли ни к чему великому уже неспособным, то ли немало уже изменнически настроенным высшим руководством страны, — и в один прекрасный момент этот кризис, усиленный активизацией поддерживавшейся и направлявшейся извне антисистемностью, а также бесперспективной и вредоносной войной в Афганистане, привёл к столь неврастеническому состоянию страны, что ей оставалось лишь ожидать чуда внезапного возрождения лишь от... самого уж хода вещей, шизофренически управлявшегося хитроумным генеральным секретарём, а потом и президентом уже приговорённой к распаду и исчезновению великой страны, что и закончилось во мгновение ока какой-то очень уж невзрачненькой и гнусненькой, какой-то очень уж театральненькой погибелью империи.

А произошёл тогда вовсе не стихийный распад империи, а её сознательный раздел, и произошёл он против желания подавляющего большинства населения, хотя и с желанием отпадения от империи некоторых национальных окраинных частей вроде Прибалтики и Армении, — и произошёл он вследствие заговора трёх главных князьков — совершенно, так сказать, сердцевинных — московского, киевского и минского, ибо империя вовсе уже не устраивала её же элиту, а вот почему — стало

вскоре абсолютно ясно, как раз когда в бывших частях империи, а теперь в независимых друг от друга государствах, пошли «антимперские» преобразования: от радикально-либеральных и демократических до радикально-этатических и авторитарных, но непременно с одной главной целью — овладения «частниками» общей имперской собственностью (через так называемую «приватизацию») и проведения первоначального накопления капитала и частных богатств (за исключением Белоруссии, где приватизация оказалась частичной, а общественная собственность в основе своей сохранена).

Полноправным наследником восточноевропейской, как и евразийской, империи стала после распада СССР Российская Федерация, бывшая РСФСР, остальные же части СССР, ставшие независимыми государствами, заняли в той или иной мере и выраженности антимперскую позицию.

Исторически вышло так, что Российской Империя, побыв некоторое время советской империей — СССР, перетекла в Российскую Федерацию, куда перетекли и византизм, и православство, и ордынство, то бишь остаточный — порушенный, урезанный и рассстроенный Третий Рим, совсем вовсе не ушедший, хотя вроде бы и уходивший, почему-то уцелевший, даже и воспроизведившийся. Империя ушла в тень, в бесвестность, в Навь. Третий Рим затих, замолчал, чуть ли не замер, но... вовсе не исчез и не просто остался, а... как-то вдруг влиятельно остался, ибо империи указами всё-таки не отменяются, они реализуются, раз возникши, независимо от чьей-то субъективной воли и до тех пор, пока необходимы, а Российская Федерация, или постсоветская Россия, есть не что иное, как... *империя*, причём по преимуществу всё та же — *третьюеримская*, и никуда России, пока она есть, от этой своей «имперщины» не деться.

Сам разгром большой империи — СССР был ведь по сути... *имперским*, хотя, быть может, в квазимперском исполнении, — и никаким другим он быть не мог, как и те же революционные события 1991 г., а потом и вся проведённая в стране частно-собственническая реформация. Империя тут везде, по кругу, в цельности, хоть и вздумавшая проделать с собой и кое-что вроде бы совершенно антимперское.

Действительно, но факт — какая тут может быть реальность, если

не *метафизическая*, какая логика, если не *металогика*, какая история, если не *метаистория*??!

Империя решила преобразиться, но, разумеется, в пределах для себя допустимого: что-то отменила, что-то разрушила, что-то подтёрла, что-то ликвидировала, но ведь и что-то вынужденно или нет оставила, сохранила, использовала. Разве можно было провести столь сумасшедшую и удачливую приватизацию в России, как не по-имперски? Вряд ли! Да и не вряд ли, а попросту нельзя было! Только по-имперски, не допуская яростной и бессмысленной войны всех против всех, — и хотя кое-какая война всё же была, но... не всеобщая, не такая уж и горячая, никак не нацеленная на безоговорочное уничтожение безоглядно противоборствующих масс противника.

Империя не просто выжила, но и кое-как перевоплотилась, предусмотрительно с позиции и в угоду истории, а может, и ей на зло, зачем-то осталась!

Раздел V

ПРИКРОВЕНИЕ

62

История человечества — дело невероятно сложное, путаное, тёмное. Это именно *дело*, ибо история человеком непосредственно творится, созидается, делается, и это дело именно тёмное, ибо творимое вполне сознательно, что не значит до пределов осмысленно, история оказывается относительно её творца — человека весьма своевольной, мало того, ещё и переполненной всякой тайны, пожалуй, что и поболе, чем та же весьма успешно осваиваемая наукой природа (физис).

У истории вроде бы есть своя «физика» — *факты*, отражающие реальные-де действия, события и процессы, но историческая физика совсем не природная (естественная) физика, ибо факты хоть и бывают масшовыми и повторяющимися, и даже чуть ли не закономерными, но сами по себе факты есть ничто иное, как именно... факты и... только факты — более сведения о самих себе, чем сведения о чём-то другом, не собственно фактическом, а относительно самих фактов более фундаменталь-

ном, чем это имеет место в собственно физике, в которой факты способны и отражать непременно какую-то, скажем так, нефактическую или парафактическую, но всё равно наличествующую где-то и как-то субстанциальную «твёрдь», хотя бы материально-энергийную.

У истории нет никакой вечной фундаментальной субстанции, и исторические факты есть не более, чем чистая информация, создаваемая и удерживаемая человеческим сознанием, к тому же весьма неопределенным, неустойчивым и смутным. И ежели у истории есть какие-то закономерности, то лишь собственно факт-информационные, или же инфофактологические, но никак не субстанциальные.

Идеальная субстанция, присущая тому же сознанию, действует, конечно, в текущей истории, но в отражательной истории она не остаётся, а остаются лишь только сведения, они же и факты, лишённые какой бы то ни было субстанции — ни своей, ни какой-то иной, и попросту нанизанные на историческое, т. е. обращённое к истории, идеальное сознание (память). История — обросшее историческим фактами сознание, когда мало какой заметный факт, будучи не субстанционированным, является строго зафиксированным, определённым, совершенно однозначным, всецело достоверным, окончательно доказанным, хотя хватает и достаточно верифицированных сведений-фактов, от которых вроде бы не уйти, но очень уж самих по себе, ибо любое оценочно-смысловое рассуждение о любом таком факте сразу же попадает в зону непреодолимой неопределённости.

Исторические факты — не физические факты, хотя они и составляют «плоть» исторического «физиса», но «плоть» в существенном плане неявную, вуальную, невидимую, а лишь идеально знаемую и вообразительно представляемую (где, к примеру, Древний Мир с его Египтом, Вавилоном, Грецией или Римом, где битвы Цезаря, Македонского или Бонапарта, а где, собственно, Гитлер, Черчилль, Рузвельт, Сталин со всей гигантской Второй мировой войной, как и г. Ельцин со своими реформами? — да, верно — в сознании, в идеальном мире, в воображении — вот и выходит некая желанная «точная история», которой в реальности нет и попросту быть не может!)

История хоть и имеет свой воображаемый физис, но это по сути своей самый настоящий метафизис — и ежели в физике (как знании) дело

обычно идёт от физики к метафизике, подкрепляющей умственно физику, то в истории (как знании) совсем наоборот — от метафизики к физике, рождающей ради того, чтобы придать истории хоть какую-то «плотскую» определённость. Исторические факты имеют метафизическую природу, сами по себе они никакой не физис, и только стараниями исторического сознания они обретают чуть ли не физический статус, совершено при этом условный. Это не значит, что фактов не было и нет, но это значит, что нет достаточно определённого — о-предёл-енного — предмета, чтобы быть независимым от сознания и служить объектом стороннего познания, так сказать, быть объективным миром, бытующим вне сознания. История сидит в сознании и в сознании творческом, а вся объективность истории как науки восходит лишь к значкам (текстам) этим сознанием формируемым и специально оставляемым.

История была и есть, и знание об истории было и есть, но это знание не служебного, как в естествознании, плана (о чём-то более или менее реальном), а знание самодовлеющего характера — ради самого себя! Это не знание о реальности, как та же физика, а знание, которое и есть сама реальность. Физика по большей части отражает независимую от неё реальность, частично её, правда, замещая, а история так или иначе замещает реальность, представляя более всего не её, эту реальность, а саму себя, эту реальность собой замещающую. Даже самая фактологическая история не может избежать этого каверзного эффекта замещения, ибо реальной истории, в отличие от природы, попросту нет, она вся в обращённой вспять виртуальности, что вовсе не говорит о том, что история как знание не имеет отношения к истине — имеет, но особого рода отношение — *мифотворческое и мифологическое*, что вовсе не значит, что совершенно ложное, а потому для человека мыслящего вполне и значимое.

Историческое знание — знание, но изначально и целиком перемешанное не столько даже с незнанием, сколько с воображаемым знанием, а потому и не свободное от *мифа* (недаром же первая история как знание о начальной истории человечества была и остаётся откровенно мифической, она прямо состоит из мифов, но не потому вовсе, что человек был когда-то не развит и слишком туп, а потому лишь, что лучше, чем современные историки, понимал, что исторический миф гораздо истиннее исторической фактологии, мало того — миф-то и является единственно

бесспорным продуктом продуманной исторической рефлексии).

Миф, возможно, и искажал факты, точнее, относился к ним без большого пытства, но он имел возможность быть ближе к метафизике истории, её тайне, а потому и... ближе к исторической истине, которая ведь вся в движении, удалении и уклонении, в нетях.

Образ, вообще-то, истиннее факта, хотя факт не может не занимать самого видного места в познании, истории, как и не играть первоочередной роли в любом представлении исторической реальности. Но... историческая истина всё же не столько в самих по себе фактах, сколько за ними, где-то даже в *промежутках* (причины, мотивы, смыслы, следствия, логика, её отсутствие, закономерности, случайности... э-эх... да мало ли ещё что из имманентной истории, её эзотерики!), но и... *вне и помимо* фактов тоже!

История делается, история движется, история слукается. Деяния дополняются «ходом вещей», а ход вещей... внезапностями — то ли внутренними импульсами, то ли толчками извне, воспринимаемые человеком обычно как случайности. Тот же кризис вроде бы связан с деяниями людей, не говоря о ходе вещей вместе с синергетикой, но кризис всегда почему-то внезапен, как бывает почти внезапно обычно тщательно готовящаяся война, хотя бы по первому её разрыву и начальному рёву, по исходному наступательному рывку.

Легче всего признать за историей *стихийность, своееволие, само-сообразность*, представить её как *самотечение*, тем более что история... и в самом деле тягучая и темна, а факты её... мало что фиксирующие, а тем более объясняющие светлячки посреди скрытого экзистенциальным туманом пространства — вот он, светлячок, а через миг... его и нет, а в историческом сознании остается лишь тень от факта, образчик факта, его контурочек. Вот и построй я историю, «ложь» её, ещё и осмысливай! История при всей своей фактичности и фактологичности, всё-таки всегда... призрак — очень объёмный, но при этом и весьма прозрачный.

История насквозь *конспиративна и конспирологична* — и никакой другой она просто быть не может! Есть, конечно, факты как факты, чуть ли не абсолютно верные, но ведь полно и фактов, которые вовсе и не факты, а их фактоподобные заместители; как есть вроде бы реальные субъекты и их вроде бы реальные действия, но кто и что все они на самом

деле эти субъекты и их деяния — да и по большей части все эти субъекты и деяния не очень-то явные, весьма «шаткие» и спорные; опять же есть «ход вещей», но что это за ход в реальности, как он происходит, что его вершит и кто им управляет, а если он и сам себе ход (синергетика!), то что там — внутри? — а ведь внутри не одни вещи-элементы, их взаимодействие и целостное сообразие, но и... какие-то странным образом возникающие и действующие предопределённости, а если так, то это-то откуда — из сложной стохастики или непостижимой мистики?

Ни один исторический факт, не говоря уже о деяниях, событиях и процессах, не свободен от исторической конспиративности, вольной или невольной прикрытии, фактической и фактологичной амбивалентности,figуральной размазанности, смысловой неоднозначности.

И ежели в уже случившейся истории невозможно обнаружить строгий исторический порядок, кроме, быть может, главного вектора исторического движения — *от природы к неприроде*, то что можно сказать убедительного о ещё не случившемся, а только возможном, ещё только ожидаемом?

История всё время в возможности, в выборе, чуть ли не в случайности, хотя это всё-таки не совсем так, ибо история, разворачиваясь, дляясь, живя, не просто ищет себя, но и осуществляет себя, зная, что именно так и должно быть: от неизвестного (утробы) через известное (бытие) к неизвестному (иному), — и это *иное* есть цель истории, её телеологическая заданность и эсхатологическое разрешение. История всегда начало, дление и конец, и во всём здесь загадка, без которой не было бы никакой истории, а было бы мёртвое ничто — пустота.

История конспиративна, что не значит, что вся она в тени, в нави, в трансценденции, — нет, конечно, история и наяву, она на свету, в имманентности. Конспиративность истории восходит не к одной лишь сложности бытия, к активности мириад своевольных элементов, к самоорганизационным (синергетическим) процессам, к информационной безбрежности и сознательному скрытию происходящего, т. е. не только к вершащейся физике бытия, но и откуда-то явившейся и постоянно проявляющейся метафизической *проистории* — этой *истории истории*, не имеющей ни времени, ни пространства, сжатой в несуществующую

точку, из которой и истоچается весь исторический *промысел* — этот *предсмысл*, оплодотворяющий историческое *предопределение*. Смысл истории восходит к *иному*, а поэтому *истинность истории* не так в её физике (фактах, событиях и процессах), хотя эту физику и важно по-хозяйски фиксировать, осмысливать и знать, а в её *метафизике*, непосредственно с *иным* и соприкасающейся.

Обращаясь к историческим фактам, необходимо учитывать, что их собственно исторический смысл всегда за пределами самого по себе фактологического ряда, — и дело тут не столько в том, что делается вроде бы одно, а получается совсем другое, сколько в том, что делается как раз то, что потребно, а вот историческим оправданием всего совершившегося является не то, что реально в тот момент было, а то, чего тогда вовсе реально и не было.

Про-истории соответствует не так история (текущее деяние, свершение, происходящее), как *после-история*, — и это-то смыкание послеистории с предысторией и оказывается всего ближе к сути истории, хотя, конечно, это вовсе не сама по себе суть, от человека надёжно скрытая.

От природы к неприроде, от бытия к сверхбытию, как и, разумеется, к небытию тоже, идёт по истории и вместе с историей исторический человек, а это означает, что идёт он и от физики к метафизике, которая уже не вынужденная спутница физики, как сейчас, а её полная заместительница, превращающая историческую физику в свою вспомогательную принадлежность.

Пока вокруг текущая история — время, дление, событийность, процессность, это ещё весьма физическая история, хоть и перемешанная с историей метафизической, но потом — в срок! — вдруг ниспадёт на человека *постистория*, то самое ИНОЕ, которое сидит в истории, ею правит, её образует, и о-смысл-ивает, дожидаясь... МОМЕНТА!

63

Человек, это чрезвычайно неопределенное и вовсю странное существо, зачем-то Творцу понадобившееся, почему-то Природой принятое, а затем отчего-то ими терпимое. Существо, противоестественное и противосакральное, хотя в то же время и естественное и сакральное, одномоментно физическое и метафизическое, как равномоментно раздираемое

между физикой и метафизикой, ищущее гармонии между физикой и метафизикой в себе самом и в окружающем мире, но гармонии этой так и не находящее, мечтающееся между физикой и метафизикой, то их примирительно признавая, то одну из них умаляя и отбрасывая, то поклоняясь Природе, Физике, Материи, то преклоняясь перед Сакралом, Метафизикой, Духом, то бежа от Бога Творца, то к Нему возвращаясь, то победно наслаждаясь деятельной физикой-наукой, то застывая в оцепенении перед неразрешимой и неизгонимой метафизикой-философией, а в итоге... э-эж... всего лишь признавая жизнь, судьбу, историю, их неизречённую телеологию и непредсказуемую эсхатологию.

Человек — это сознание, знание, присутствие, отсутствие, самовыраженность, непроявленность. Человек сразу оттуда и отсюда, он из всего тутошнего, но и от чего-то тамошнего. И бытие человека есть не что иное, как хозяйство тамошнее в хозяйстве тутошнем, отчего хозяйство тутошнее вовсе не гармоническое хозяйство, хотя и ищущее гармонии, а хозяйство борческое, хотя и жаждущее спокойствия и мира. И поскольку человек оснащён разными сознаниями, то он не только по-разному хозяйствует, соединяя по-разному физику с метафизикой, материю с духом, предмет с идеей, но и утверждает и отстаивает разные хозяйствования, выводя разные хозяйствственные сознания на общее хозяйственное поле, утверждая и отрицая разные способы хозяйства, обеспечивая обработку и отбор хозяйственных практик, а в итоге — *хозяйственный прогресс*, отвечающий на метафизический зов бытия: *от природы к неприроде*.

Быть и оставаться животным — не дело человека, не его призвание. Дело человека, его призвание — не быть животным, что может проявиться и реализоваться только на пути *от природы к неприроде*, и вследствие животности (природности) человека — лишь на пути знания и творчества, переделки природы, сотворения искусственного мира. Это более или менее ясно, хотя вовсе далеко не так ясно, зачем же всё это в конечном итоге, зачем всё это телео-эсхатологическое переустройство стремление-деяние к *иному*?

Тут на помощь приходит философия, разумеется, метафизическая, но... непременно перетекающая в... религию, способную не просто установить связь с *иным*, а и со вниманием ему *внемлить*.

Писание — текст, даже книга, но это и... откровение от (о)сокровенного(ом), это сведение о том, чего знать нельзя, но что непременно нужно иметь в виду.

В итоге — осознание сокровенного, что позволяет почутъять и сверхцель, и сверхзадачу, и даже сверхпроект... не зная напрямую и досконально всего этого, а лишь зная, что всё это есть. А «есть» — как раз уже истина («есть» — «ист»), а потому дело тут не в знании как таковом, а в знании о незнании, или знание незнания, что тоже есть знание, совсем и не малое.

Есть время, есть времена, а есть и *последние времена*, за которыми маячит и с которыми связан какой-то очень судьбоносный переход, пусть и не для всех, но переход уже... в *иное*, может, и в самую вечность, где всё по-другому, не так как по *сю* сторону — то ли вообще без физики, то ли с физикой, но с явным её подчинением метафизике, опять же не *сей* вовсе метафизики, а уже *той* — непредвзятой.

В общем — *инобытие*, а может, и не бытие вовсе, а что-то совсем другое — какое-то *послебытие*, — и не так уж и важно, что там конкретно есть (или нет), важнее, что там уже само это *иное*.

От природы к неприроде, от бытия к инобытию, от сего к иному!

Вот и выходит, что история — путь к *иному*, а ежели так, то это *иное*, надо полагать, уже присутствует в истории и ею так или иначе заведует. Тогда что же?

Бытие реализуется в мирозданческом поле, которое есть одновременно физика и метафизика, материя и дух, энергия и информация, идея и воплощение, потенция и становление, замысел и реализация, форма и переформирование, данность и инаковость, движение и цель, начало и конец... Течение бытия — история, а история — само бытие и есть. Бытие и история — одно и то же. Начало бытия — начало истории, а начало истории — начало бытия. Там и там первотолчок, там и там запуск, там и там введение концепта. Ну и управление — тем же процессом. До поры! Какое же? «Само» или не «само» — «несамо...», изнутри, из себя, само собой,вольно или извне, со стороны, побудительно и принудительно? И ежели управление может быть в общем-то инерционным самоуправлением, поскольку был первотолчок, то сам-то в таком разе

первотолчок откуда? Причём вовсе не так уж материально-механический, как *идейно-смысловой*! Ещё и из... *иного*, из «точки», из ничто! Вот и выходит, что есть какое-то рядом-бытие, ничто-бытие, ино-бытие, из чего вышло сначала пред-бытие, а потом сразу и бытие — наше бытие, всем этим ино-бытием вовсе не оставленное: мир наш антиэнтропиен, а негэнтропия в нашем мире никак не может задаваться... нашим миром, вернее, может, но только с присутствием в нашем мире... *мира иного*, для которого энтропии попросту не существует.

Сознание и ноосфера, а следственно, человек и человечество — от мира *иного*, хотя они и в мире *этом*; и борьба человека с миром этим ради вырыва в мир иной не представляется такой уж необоснованной, абсолютно тщетной и совершенно недопустимой; иное дело, что Христу с Софией Божией тут надо бы более следовать, а не антихристу — согласно Писанию, а выходит пока по преимуществу наоборот; спасение ведь, а не удовлетворение, а пока более всего лишь удовлетворение; история — история более спасения, чем удовлетворения, хотя на практике за спасение принимается человеком более всего как раз удовлетворение; и хозяйство человеческое есть хозяйство в первую очередь спасения, а не удовлетворения, а вот пока более всего удовлетворения; хозяйство, выходит — дело прежде всего нравственное, духовное, метафизическое, идейное, а потом уже всякое другое, непременно от этого «прежде всего» зависимое; не бином с геном впереди, а совесть (со-есть, в единстве с Вестью Божией) с норовом, не гедонизм с искусством, а аскетика с естеством, не интеллект с изобретательством, а мудрость с мерой, ведомые Софией Премудростью Божией; в общем, борьба человека с миром этим или же борьба человека с самим собой — и всё ради мира иного, — это уже не дилемма, а полилемма какая-то, разрешением которой и занята, судя по всему, история, она же и бытие, она же и хозяйство, как, собственно, и человек с человечеством.

История задаётся... историей, но... не человеком только, его умием и безумием, его вольными или невольными субъектно-субъективными действиями, как и не только объективированным «ходом вещей» — внутренней самоорганизацией процесса (самоявляющимися мотивами, побуждениями, потенциями, давящими на человека, его ведущими),

а и некой действующей откуда-то извне *софийной трансценденцией*, придающей истории *транс-* и даже *сверх-*исторический смысл, человеком хоть и не знаемый, но всё же *пред-*полагаемый, тот самый смысл, который возникает как *перво-*смысл, а исчезает уже как... *после-*смысл.

История материальна и физична, она относительна и временна, потому и смысловой мотив её не абсолютен и не вечен, хотя с Абсолютом и Вечностью с необходимостью сочетаем. Человек не знает истинного смысла истории, её трансцендентной заданности, но он знает, что смысл есть и что сам он служит реализатором этого смысла, однако реализатором не материально-механическим (не компьютерным), а идейно-творческим, способным не только задавать истории вопросы, но и придавать ей собственные смыслы, соответственно, управлять историей, ставя ей цели и их худо-бедно достигая.

Человек — demiurge истории!

Человек, в отличие от любого животного, понимает мир, он его именует, «текстует» и читает, вообразительно представляет, опережает и конструирует, а раз так, то и домысливает, порождая в мыслях своих... любой мир, лишь бы не этот, не данный, не природный (не полученный при собственных родах). Отсюда не только счастливо-несчастливая возможность, но и свободно-принудительная необходимость демиургирования, что то же самое — переделки, созидания нового, превращения мира данного в мир взятый, что сразу же и придаёт смысл человеческому существованию, хозяйству, истории, причём смысл одновременно имманентно-трансцендентный, — трансцендентный как вследствие того, что человек всегда непременно имеет дело с неизвестным и устремлён в общем-то в неизвестность, так и по причине своего непременного соответствия, пусть и не полного, заложенному в человека, его бытие и хозяйство, в его историю внешнего *метасмысла*.

Демиургируя, человек делает вроде бы то, что хочет, но делает это всё время исходя из возможного, чем-то нечеловеческим возбуждаемого и направляемого, идя по пути, вовсе не только человеком начертанном.

Известная неизвестность — великое достояние и тяжкий крест демиургирующего человека!

Нет, не только труд, который и животным многим свойствен, не только творчество, которое иной раз и у животного вдруг неожиданно

блеснёт, а именно *демиургия*, вполне отличающая человека от любого животного, обязанная не руке, не прямохождению, не уму и даже не разуму, а... *сознанию* — слову, языку, мысли, интеллекту, знанию, воображению, виртуальности с виртуозностью, хотя и рука тут требуется, и прямохождение, и ум с разумом, особенно поначалу, в протобытии иprotoистории, в protoхозяйстве.

Человеческое хозяйство — не так *вы-живание*, как *из-живание*: природности, материальности, физичности, хотя и посредством природы, материи, физиса; это хозяйство сознания и знания, от образа и через образ, посредством точечного ничто и округлого небытия, посреди неизвестности; хозяйство дерзновенное, рискованное, жертвенное, ведущееся сквозь темень, сети и вуаль, но жаждущее света, ясности и рисуночности.

Физико-метафизическая (природно-неприродная) двойственность, в которой находится человек, двоит, расчленяет, дробит сознание, деля сознание на сознания, выделяя среди них разные сознания — от X до Y, что делает человека человеками, а человеков — разными людьми: простыми и сложными, статичными и динамичными, пассивными и активными, покойными и агрессивными, но не вообще разными, ибо и однородные животные бывают разными, а исторически, хозяйствственно, демиургически разными — судьбоносно разными: индивидно, коллективно, классово, общественно.

Для одних демиургия — труд и дом, для других — изыскание и открытие, для третьих — творчество и новизна, для четвёртых — деяния и сотворённый мир, для пятых... э-э... стремление к... *иному*.

Однако не всё тут просто!

Человек, это вроде бы создание Божие, несёт в себе почему-то и дух... *античеловека*, возможно, по причине своей материальности, принадлежности к природе, животности, но не как собственно животное, а именно, как животное, наделённое сознанием — как именно человек, при этом и особого рода... зверь, как бы человек-наоборот, не как зверь-человек, когда человек, будучи животным, контролирует в себе зверя, от зверя существенно отличаясь, а как человек-зверь, когда зверь, уже порождаемый человеком, исподтишка овладевает человеком, в нём не без успеха первенствуя.

И дело тут не в одной физической зверскости, с её насилием,

кровожадностью, убийствами, тем же каннибализмом, а в своеобразной неосуществимости сознания, точнее — сознательности, ибо нет ничего труднее и невозможнее для человека, чем реализовать своё сознание на сознательном же уровне — быть ЧЕЛОВЕКОМ! Сознание имеет и тёмные стороны-уголочки, где бушуют страсти и откуда исходят всякие античеловеческие непотребства — то ли в силу изначальной порчи сознания и человека, то ли по причине обретения негатива уже на существовательном пути. Не один Бог наличествует в человеке, его сознании, но и антибог — сатана, дьявол, бес, и всё это вовсе не случайности, не отклонения, не залётности, а самая настоящая сознаниевая органика. Здесь уродства, слабости, пороки, но и большая и вполне непреходящая натура, да такая, что впору возгласить, ничтоже сумняшееся — человек более зверь, чем человек, соответственно и более античеловек, чем человек, сопряженный с антимиром, с инферно, с преисподней.

Как бы то ни было, но *другого* человека, вполне незверя, на ми́ровом свету что-то не просматривается. А потому и демиургию человеческую приходится понимать и воспринимать по-разному — как собственно человеческую и как собственно античеловеческую, мало того, приходится различать наряду с созидательной демиургией и разрушительную антидемиургию. Исторических фактов-примеров тут такое необъятное множество, что вряд ли стоит их специально припомнить.

И ежели для одних людей демиургия хотя бы по преимуществу позитив ради жизни и движения к иному, то для других, уже не людей, а людышек, если не прямо нелюдей, это не более чем возможность поживиться, приспособиться, даже и напакостить, не говоря уже о господстве людей над людьми и эксплуатации «людьми» себе подобных, уничтожении людей и природы, разного рода смертоносье.

Трудно сказать, когда это началось, но человек человеку вовсе не такой уж друг, а в значительной мере всё-таки враг, что, не исключая вовсе ни дружбы, ни солидарности, ни кооперации, предполагает конкуренцию, вражду и борьбу, причём, знаете ли, не на жизнь, а на смерть.

Глупо и опасно идеализировать человека, не видя в нём зверя и античеловека, но в то же время совершенно недопустимо и неумно не видеть человека в человеке, пусть и не самого нравственно совершенного, но способного признавать и уважать другого человека, природу,

жизнь, стремиться и к Богу, сопротивляясь внутри сидящему зверю, подавляя в себе античеловека.

История сложна, тяжела и вовсе не благостна, это — тяжкое испытание, мало того что с физическими трудностями, рисками, болезнями и смертями, но и с нравственными мучениями, сочетающимися с безнравственными мерзостями, а потому к истории стоит относиться не просто как к ходу бытия, а как к развёртыванию *великой человеческой трагедии*, то ли предусмотренной Господом Богом, то ли им просто попущенной, но всё-таки ТРАГЕДИИ, даже ежели кто-то из ловких и успешных людышек заходится в неописуемом восторге от свалившегося вдруг на него гедонистического счастья — ой, какого же лукавого!

64

Человек обуян порочностью, причём эту порочность он сам в себе замечает, осуждает, пусть и не без содействия Господа Бога, но и, несмотря на критический взгляд Господа Бога, охотно либо вынужденно культивирует — по слабости, по необходимости, по добровольству, по умыслу. Всё бытие человека порочно, порочна и вся история: насилие, кровь, смерть, как и ложь, обман, всякая прочая гнусь. Ладно бы обстоятельства тут были виною, а то ведь нет — *порочность не так вызывается извне, как источается изнутри*. Само сознание человеческое, не говоря о бессознании, опорочено, причём не наносно, не второстепенно, а основательно, первостатейно. Как бы то ни было, но человек не слишком склонен следовать добропорядочным идеалам, и идеалы эти бытуют более сами по себе, с трудом угнездываясь в людях. С порчей ведь легче, привлекательнее, уместнее, а если и не так, то всё равно занимательнее, содержательнее, полноценнее и... умственнее. Кажется, что без порочности и жизни никакой нет, а есть какое-то тусклое прозябанье, можно сказать, без всякой ударной экзистенции. Правда, и в пороках сидеть подолгу не слишком отрадно, ибо жизнь тут оборачивается нежитью — и остаётся долевая порочность, ей угождение, её и прикрытие, как и её совестливое или прокурорское обнаружение, нелицеприятный над ней суд, гневное отрицание, а потом... потом, конечно же, возрождение, новое возбуждение, очередной триумф. В истории имеют место пространственные распределения порочности, её топологические сгущения,

и временные циклы. Где и в ком только не бытует порочность, где и кого она не задевает, где и кем только не освящена: и была, и есть, и будет!

О порочности человека можно было бы и не говорить, но как же тогда адекватно зафотографировать человека, общество, хозяйство, историю, бытие? Ведь именно порочный, а вовсе не идеальный человек реально творит историю, хозяйствует, ставит цели, их достигая и не достигая, изобретает, разрушает, помогает, ворует, насиливает, грабит, печалится, веселится... Как обойтись в человеческом общежитии без умеривающих порочность правил, норм, законов, воспитаний и увещеваний, без всяких там исповедей, судов, наказаний, тюремных застенков, смертных казней? И как при этом не обходить «антипорочные» запреты, не лицемерить, не стараться избежать наказаний и тех же угрызений совести. И всё это комплексами, кластерами, пригоршнями, щедро, потоками, разливами, потопами. С желанием добра и его же отрицанием, с отрицанием зла и его же утверждением? Где добро, а где зло, ежели и само добро вдруг оборачивается злом, а зло иной раз и в добро втискивается? А можно и вообще без различия добра и зла, в стороне от них, над или под ними. Польза, выгода, необходимость, а то и попросту каприз. Цель оправдывает средства, а средства лишь подкрепляют цель. Ох, это обоснованное мерзавство, ох, эта оправданная гнусность, ох, эта корневая и непреодолимая порочность!

Но дело не в одной самой по себе порочности, толкающей на гнусности, злодеяния, преступления, оправдывающей высокомерие, несправедливость, паразитизм, но и в обнаруживающейся в свете и наряду с сознанием и сакралом, свойственным или ощущаемым человеком, некой экзистенциальной *малости* человека, его добропорядочной приниженності, непреднамеренной примитивности, в общем — в *предпочтении человеком физики бытия в ущерб метафизике бытия*, что выражается более всего в акценте на потребительстве и накопительстве — материальном ли, идеальном ли, грубоватом ли, изящноватом ли, но непременно в потребительстве, по преимуществу гедонистическом, накопительском, чрезмерном. Сознание — этот дар Божий, этот присутствующий в человеке идеально-духовный сакрал, ориентировано всё-таки более всего на решение физико-потребительских задач (от выживания до наслаждения), что и понятно, и объяснимо, и в общем-то оправданно, что вовсе и

не так уж плохо, а по-своему и хорошо, хоть и согласуется весьма успешно с порочностью, пошлостью, низостью (и у высокого аристократства тоже, а не у одного лишь низкого мещанства!), но что как раз очень многое определяет в человеке, его хозяйстве и истории, а потому и многое объясняет, разумеется, в сочетании со всё той же вездесущей и неистребимой порочностью.

Говоря обо всём этом, мы не преследуем цели ни морального осуждения человека, ни привнесения в наш текст назидательного морализма (всё это хорошо издревле известно и досконально уже «обскановано»), мы лишь попросту учитываем, каков же всё-таки он — реальный творец истории, чем он более всего руководствуется, к каким горизонтам стремится. И это очень важно: нет ведь человека вообще, а есть конкретные обитатели Земли — весьма порочные и довольно-таки самоупрощённые, хоть и умные, и знающие, и изобретательные, и изворотливые. И обитатели эти — не все, конечно, но в достаточной и увеличивающей массе — последовательные враги Природе, Земле, самому Господу Богу, мало того, они и сами достойные себе враги, ибо... последовательно порочны и нарочито упрощены. А то что отдельные особи не так уж скверны и примитивны, более того, случаются и массы положительных особей, хоть и имеет немалое спасительное для человечества значение, но решающей роли в ходе человеческих вещей не играет, во всяком случае — пока не играет, о чём замечательно свидетельствует вся реальная история человечества (вовсе никогда не исключавшая местами и временами превосходства человека в человеке и преобладания позитивной морали над разлагающим аморализмом — спорить тут не о чём!).

Итак, дело не в морали и морализме, а в целостном представлении человека-творца, много чего совершающего необыкновенного — вплоть до строительства глобального искусственного мира, но непременно элито-массового, пирамидалного, эксплуататорского, насильтственного и насильтствующего, потребительного, гедонистического, полного пороков, лжи и всякой давно уже человеком оправданной мерзости, хотя при этом не прекращающего долдонить о правах человека, справедливости, свободе, братстве, терпимости, людской солидарности и тому подобных гуманитарно обязательных вещах. Любопытно, что мир этот, достаточно внутри себя аморальный, нуждается почему-то в постоянном

моральном прикрытии и оправдании — то ли из-за вглядывающего в него пристально и осуждающе Господа Бога, то ли из чувства самосохранения (полный аморализм — гибель всему!), то ли для удобства управления человекообразными существами (моральными существами всё-таки легче управлять, чем аморальными, как и управлять с помощью и участием всей тех же моральных существ массами прочих человекообразных), то ли из-за страха перед существующей-таки и, по-видимому, весьма грозной в судном аспекте неизвестностью.

С моральной точки зрения человек слаб, плош, порочен, пусть и не целиком, и не всегда, и не каждый, но... другого человека у нас — у человечества — нет, во всяком случае, в составе насущных цивилизаций, особенно той, которая предпочла либерализацию человека относительно и перед лицом Господа Бога, Природы и самого же Человека. И чтобы выживать и продолжая существовать с этаким-то разветвлённым человеком, либеральная цивилизация предпочла опереться на три несомненные вещи: *права* вкупе с *обязанностями*, разного рода управленические, инспекционные и инквизиторские *институции* и, что особенно важно (!), — *деньги*.

Очень интересны здесь деньги, которые и в самом деле вещь (несознательная, внemоральная и безответственная), но вещь, которая постоянно среди людей, в их руках, но и рядом с ними, над ними, за них и против них, да так, что у кого деньги, у того и любые экзистенциальные возможности, включая собственность, власть, господство, управление, элитарность, исключительность, превосходство, причём без всяких отсылок к морали, гуманности, справедливости. Что хочу, то и ворочу, ибо... всего лишь вещь — через которую хочу и посредством которой ворочу! Вот и вся безморальная мораль, очень удобная и эффективная: и порокам хорошо, и потребительству, и самоуправству, и любому примитиву. Когда деньги всё и деньги всё вокруг побеждают, то повсюду воцаряется лишь оправданный (освящённый) деньгами мир, включая слово, жест, звук, голос, зрение, норов, поведение, знание, сознание, в общем — является *оденежженный человек* вкупе со столь же *оденежженным миром*. Вещный человек и вещный мир! И вся ответственность теперь не на человеке, а на вещи — на деньгах, а когда деньги просто уже иллюзорная фикция, то уж и не на вещи как таковой, а так... на пустышке, на ничём,

на фу́ке!

Освобождённый от Бога, Природы и Человека, но зато совсем не свободный от денег — человек с деньгами, но при этом и человек, стремящийся к *иному* (от природы к неприроде), а потому и совершающий то, что сегодня можно назвать *переделкой мира данного в пользу мира взятого*.

Мог бы совершить такое человек моральный (не аморальный)? Увы, нет, не мог бы! Аморализм со всеми ему свойственными порочностью, самопримитивизацией, потребительством и гедонизмом — великий двигатель человеческого бытия, хозяйства, истории! Конечно, сочетающийся с морализмом, его использующий, им прикрывающийся, но всё-таки... аморализм, а не морализм, хотя какой вроде бы аморализм у Леонардо, Лютера, Ньютона или Адама Смита, но ведь... не без оного, не без связи с ним, пусть и опосредованной, не без окружавшей их аморальной среды, не без приобретательских устремлений буржуазии, предпринимателей, банкиров, любых однажды хозяйствующих субъектов? Диоген, возможно, и был морален, но он не был строителем и устроителем, не был воином, политиком, хозяином. Да и как лишь по одной Христовой любви переделать мир, механизировать и обыскустить бытие, создать потребительский рай, поймат за хвост гедонизм и словить экзистенциальный кайф?

А как быть с Македонским, Цезарем, Чингиз ханом, Наполеоном, Гитлером, Сталиным, да и с Рузвельтом, Черчиллем, де-Голлем, с теми же Рокфеллером, Фордом или Бернанке, о-о, тогда никаких тебе замечательных завязок и свершений, никакой великой истории, хотя полна история и моральных подвигов, но... но движение к полному человеческому землеустройству, мало того — к *иному*, как-то не слишком вяжется с моралью, честью и справедливостью, вообще, со всем высоким, недосягаемым, небесным. Одно дело — доброе слово, вдохновляющая поэзия, влекущая ввысь музыка, совсем другое — каждодневный труд, производство, строительство, скотоводство, но и творчество, наука, технологии, машины, а ещё и экономика, доходы, зарплаты, а там и семьи, дети, старики... о-о... стоит ли всё это перечислять?!

Ничего удивительного нет в том, что человек в массе своей пред-

почитает естественное, срединное, обычное, даже если и в чём-то оригинальное — попросту выживательное, удовлетворительное, прельстительное, тёплое, сытое, лёгкое, что человек стремится получше устроиться, следя своим потребительским запросам, и не очень-то соглашается на дискомфорт и всякие жизненные нехватки ради каких-то там «высоких целей», тем более, ради другого человека, хотя всё это тоже есть, но не это всё-таки для человека *mainstream*, ибо человек — существо по преимуществу земное, а не небесное, что и заставляет его более ориентироваться на зримые и близкие земные вехи, чем на невидимые и далёкие небесные маяки.

Человек со своим сознанием — сила, великая сила, и он хозяйствует как великая преобразовательная сила, чуть ли самому Богу и самой Природе равная — третья, так сказать, сила: *Бог, Природа и Человек*, что весьма замечательно и знаменательно, от чего никому из троицы никогда и никуда не уйти, пока есть человек и мир человеческий, но это такая сила, которая не может достичь ни высшего совершенства, ни высшей гармонии, ибо предназначение её в чём угодно, но только не в чарующем человеческое воображение устройстве человеческого бытия на началах морали, справедливости и любви. А ведь кажется, что надо бы, что давно пора, да и чуть ли не возможно: первобытный коммунизм, Христос, либерализм, социализм, а всё одно — либо откровенно насильтственный тоталитаризм, нередко грубый и злой, либо тоталитаризм либеральный, как бы «мягкий» и чуть ли не толерантный, почти что и изящный. Тот же передовой европеец выбрал, как известно, второй тоталитаризм, вполне и обманный, которым не без основания и довольствуется, а вот непередовой, хоть и не совсем отсталый, россиянин всё никак не может избавиться от тоталитаризма второго, ставшего, правда, совсем уж аморальным.

65

Человек творит себя, мир, историю и творит так, как считает нужным — поначалу более по обстоятельствам (согласно объективности), потом в эффективном взаимодействии с ними (с ней), а теперь вот всего более по своеволию.

Христианская Европа открыла цивилизацию массового движения вперёд, всестороннего развития, нескончаемого внутреннего расширения

и внешней экспансии. Она выпустила на свет божий беспредельный экономизм — деньги, капитал, финансы, построила вместе с Северной Америкой сложнейший технический мир, добилась через посредство непрерывных войн и интриг многовековой колонизации планеты, всемирной хозяйственной кооперации, теперь уже глобальной — Европе с Америкой, или же Америке с Европой, разумеется, подконтрольной. И всё это в соответствии с исконной природой человека, его чаяниями, устремлениями, способностями и возможностями, не отрицая вовсе порочности человека, а лишь противопоставив ей систему вынужденного контроля, ограничения и регулирования. Человек-индивидуид — всё, а остальное лишь для человека-индивида, включая социум, государство, цивилизацию. И вышло в итоге всё весьма и весьма замечательно: современный доминирующий на планете мир — мир именно европейский, лишь дополненный и усовершенствованный северо-американским. Современность — вся евро-американская, а вот «прошлость» — она-то теперь от Азии, Африки, той же Полинезии. Выиграли либеральные деньги и накопительский энтузиазм реформированного европеоида, соединённые со свободой всяческого делания — своевольного предпринимательства (трудового, промышленного, творческого, исследовательского, научного, даже и философского). Выиграли и одержали победу!

Однако были и остаются альтернативы: традиционалистские, социалистические, фашистские, которые организованный по-своему социум предпочитают в разных вариациях либеральному индивидуализму, как и либерально-экономическому колониализму, определённо уже превратившемуся в либерально-финансовый глобализм.

Заслуживают внимания два уже состоявшихся социо-хозяйственных эксперимента: советско-социалистический и социал-фашистский. Что говорить, серьёзные то были феномены-события, вызволившие огромные энергии — вследствие привлекательных для элит и масс проектов и за счёт беспрецедентных мобилизационных усилий.

Один эксперимент — советско-социалистический (он же коммунистический) — исходил из противодействия экономизму, его подчинения и ограничения, недопущения ни в каком виде капитализма и финансизма, и основывался на прямом государственном управлении трудовыми массами и творческой элитой посредством комплексного и

систематического, по сути вполне натурального и лишь по форме экономического планирования всей хозяйственной жизни; индивид рассматривался как производный от общества элемент, этому обществу служащий и им — обществом — управляемый; общество же квалифицировалось как сообщество трудящихся и только трудящихся, не допускающее господствующих, эксплуататорских и паразитарных классов.

Другой эксперимент вовсе не отвергал экономизма, хотя и выступал за его подчинение неэкономическим задачам (социальным, политическим, милитарным), а также за централизованное регулирование хозяйственной жизни; включённый в фашистскую систему корпоративного единения, индивид рассматривался как её в целом послушный элемент, но вместе с системой такой индивид мог занимать господствующее положение по отношению к трудовой массе нефашистского населения; само же общество рассматривалось как общество, разделённое на доминитариев (фашистов) и на подвластные доминитариям массы с большой долей инородных и иноземных рабов.

Прерванный по итогам Второй мировой войны, фашистский эксперимент не был доведён до полного завершения, так что трудно говорить о его возможных конечных результатах, кроме тех, которые успели состояться — необычайная по силе и эффективности мобилизация людской энергии, затраченной на производство, творчество, репрессии и войну, на своеобразный сверхчеловеческий крестовый поход в захватываемое фашизмом будущее — империальное, расовое, эксплуататорское, милитарное.

Заметно иначе сложилась судьба советско-социалистического эксперимента — участника победы над фашизмом. Свершения советско-социалистического строя оказались как исторически значительными, так и в основном завершёнными. Стой смог вполне реализоваться, выказав нам свои временные преимущества и добродетели, так и фундаментальные слабости и стратегические просчёты. Насильственно в обществе утверждённый и даже вольно или невольно принятый людскими массами, менеджериальным слоем и творческими исключениями, строй не смог основательно утвердиться в человеческом бытии, ибо оказался не очень-то адекватным человеческой природе: как в плане отсутствия должной личностной, деловой и творческой свободы, так и связанной

с нею реализации человечности во всём её разноцветии — положительном, но более... всего в отрицательном. Стой слишком недооценивал человека как индивида — этого сложного, большого и бездонного микромира, многоуровневого метафизического сосуда, самоценного и самостоящего актора бытия и истории. Стой не позволял человеку быть самим собой — от вполне полётного интеллектуализма до самого заземлённого примитивизма.

Человек, пусть и не каждый, но наиболее субъективированный и активный, не находил при советском социализме подходящего для себя экзистенциального выхода: материального, идеиного, нравственного, даже и преступного, а потому, устав от «давленческого» и «аскетичного», весьма быстро «отработавшегося», строя, отверг этот половинчатый, недостаточно гуманный, в том числе в «порочном ключе», строй, а строй этот, надёжно уже парализованный и всё более разлагавшийся, не нашёл подходящего для себя и людей конструктивного ответа — и при настойчивом подталкивании извне (со стороны гибкого и успешного либерал-глобализма) внезапно (в том числе и для мирового либерал-глобализма) рухнул. Мощное, беспощадное и крайне амбициозное социопредприятие оказалось недолговечным, хотя вовсе не безрезультатным.

И самый выдающийся результат — не большая вовсе индустрия, не победа в войне, не прорыв в космос, а, во-первых, стратегическая невозможность строя, во-вторых, неизбежность явления антиоборотки, но не только из-за дефектов самого советско-социалистического строя, а по причине принципиальной дефектности... человека как такового, который хоть и целый микромир, но ведь ещё и целый микроантимир, — и не в том вовсе дело, что человек не хочет над собой насилия и контроля, жаждет позитивной (трудовой, творческой, нравственной) свободы, а в том, что человеку потребна и воля отрицательная, ради которой он готов потерпеть и насилие, и контроль (право, конкуренция, регламентация): хоть воля либеральная (дефектная), хоть фашистская (сверхчеловеческая, расовая), хоть большевистская (переделочная, классовая). Человек ищет всякой свободы, но более всего, конечно же, его устраивает свобода либерально-экономическая, когда деньги покрывают людские пороки, а людские пороки оправдывают деньги, а в итоге этой совместности получается великолепный экзистенциальный результат — как раз

евро-американский!

Удержанялся, развился и победил в столетней межформационной и межцивилизационной борьбе, захлестнувшей передовой, он же и в основном белый (белорасовый), мир либерально-экономический вариант: фашизм был повержен союзом ангlosаксов и русских, а русский советизм сам изжил себя, породив из своей среды и собственных могильщиков. Либерал-экономизм, дойдя до мировой глобализации и планетарного глобализма, переживает сегодня момент исторического триумфа, управляя миром и с ним кое-как управляясь. Фашизм погребён над толпящей забвения (так, во всяком случае, кажется сейчас всемирным доброхотам), а социализм... нет... социализм не погребён и не забыт, он даже кое-где реально культивируется, причём не в одной лишь азиатско-деспотической, но и во вполне евро-либеральной форме-интерпретации. На месте СССР кластер «независимых государств», большинство из которых чает или уже обрело «покровительственную» зависимость от мирового либерально-экономического глобализма, хотя проблема их исторического самоопределения ещё остаётся, в особенности для России, Украины, Белоруссии, Казахстана. В общем, переходное тут рас простёрлось время, не исключающее ни неожиданных вариантов, ни внезапных импровизаций.

Переходным оказалось время начала XXI в. и для всего мира, не исключая и победных евро-американцев.

На дворе теперь *мир-перемена*, а может — *перемена-мир*, это уж кому как больше нравится, но... ПЕРЕМЕНА, — и это несмотря на полную победу деятельного и умного либерал-экономизма, на наличие вокруг комфортного и попросту восхитительного искусственного мира, на достижение вполне убедительного гедонистического рая, на огромное желание успешных в делах и безделье масс жить да поживать, наслаждаясь неглубоким по смыслам, но вполне затейливым игровым существованием, ещё и сулящим привлекательное долгожительство и чуть ли не реальное бессмертие.

Впав когда-то в Ренессанс, Запад вызволил на свет джинна *Модернизации* — обновления, развития, переустройства, одним словом — *перемен* — и всё это на базе экономики, конкуренции, предпринимательства, исследовательства, испытательства, изобретательства, искусств,

как и, разумеется, с переводом идейного акцента с натуры и сакрала на человека как такового — через гуманизм, — и этот ренессансный джинн славно поработал, создав новый, уже искусственный, он же и гуманистический, мир, ныне ещё и глобальный, но, что очень важно, всё ещё переменный, не могущий, да, наверное, и не желающий остановиться, оглядеться, в самом себе разобраться, ибо... перемены теперь всё, а традиция — ничто, — мир Постмодерна уже не способен идти в обнимку с традицией, которая есть не повторяемость вовсе и не стабильность, а... ограничение, ибо остановка — уже ограничение, для Постмодерна невыносимое. Постмодерн — перемены ради перемен, как и ради постмодерна тоже. Постмодерн жаждет новых научно-технических перемен, главным образом теперь посредством микромировых и мегамировых изысканий и находок, а также перемен в его империальных интересах — на пути к практически абсолютному владению планетарным и околоземным миром. Западный мир был и остаётся миром развития, экспансии и агрессии, а потому и миром перемен, что даёт свободу от ограничений, всякого рода «невозможностей» и «недопустимостей».

Переменность западного мира не только не исчерпана, но и не может быть исчерпана. Западный мир обречён на перемены, а сегодня и на перемены ради перемен: ничто уже не может удержать этот мир в покое, он обречён на постоянное, уже и субстанциальное, бесспокойство. И дело здесь не только в неуёмном экономическом предпринимательстве и творческом зуде американских университетов: постмодерновая цивилизация не может уже ни одного мгновения жить прошлым, на нём основываясь и из него исходя. Не может!

Теперь боязнь не бесспокойства, а покоя. Оторвавшись от природы и сакрала, от традиции, западная цивилизация обрекла себя на утрату покоя и предпочтение бесспокойства, ибо сам по себе человек, вне природы и без сакрала, не несёт в себе ни нравственной, ни умственной, ни поведенческой остойчивости, немедленно превращаясь в пустоглазое перекати-поле.

Новое, новое и новое!

Отсюда, кстати, и новые людишки — мировые кочевники, инфантильные дитята прогрессивного мира, его безответственные «граждане», как и массовый оголтелый туризм, патологическая охота к перемене

мест, жилья, занятости, как и временное парное и иное сожительство вместо стабильных семей, аннигиляция отцов и матерей, отсутствие или та же аннигиляция детей, этих неуёмных интернет-разбойников, гендерный фальшизм, торжество липких информсетей и беспочвенных импровизаций, всеобщий симуляционизм.

Новое, обновив реальность, неизбежно уходит из реальности, созиная оторванную от реальности ирреальность, которая быстро осточертев и наскучив самой себе, возвращается непременно к реальности, но лишь как её легковесный симулятивный заменитель. Так что и реальность при постоянном и скоростном обновлении имеет тенденцию к... исчезновению: вроде бы есть она, но явно её уже как бы и нет, вроде бы нет её, а она как будто бы всё-таки есть!

Мир уходит в *отрицательную метафизику*, возникшую по воле и вине человека творящего, вполне уже и инфернальную, обессмысленную, пустую, из которой ничего, кроме остоубенелого недоумения, вертлявого китча и невольного крика ужаса извлечь попросту уже невозможно!

66

Западный мир стремительно превращается в *антимир*, а человек, ему свойственный — то ли в *античеловека*, то ли в *постчеловека*, то ли вовсе в *нечеловека*. Тут уже явная тенденциальность: достаточно взглянуться в лица (лица ли, а не попросту уже некие личины?) всех самых реально передовых и совершенных — президентов, актёров, лауреатов, чтобы убедиться в наличии нарочитого процесса, как и достаточно обратить внимание на взращенное этим миром... *безумие*, уже субстанциальное, необратимое и вполне оправданное. Интернет, как и весь идейно-виртуальный анклав западизма — великолепное свидетельство большого умственного и духовного расстройства, охватившего ныне самый человеческий (гуманистический) из миров.

В.И. Ленин писал когда-то: «паразитический, загнивающий, умирающий». Разве не так? И разве само развитие, активно демонстрируемое сегодня западом на макро- и мегауровнях (внутри уже самой материи и телесности, как и непосредственно в просторном вроде бы космосе), не свидетельствует о подступлении к ми́ровым началам и... концам, что несомненно отрицает этот мир и с неизбежностью переносит в другой,

где, собственно, человеку уже вряд ли найдётся место; и не от этого ли сегодня в передовом западном мире такой великий кайф — уж не перед концом ли! Да и идти-то куда теперь, ежели человек на грани познания... тайны, которую человеку-то знать совсем не положено, а потому заместо открытия тайны не случится ли... закрытие... но уже самого человека с его миром — паразитическим, загнивающим, умирающим?

Западный мир всё ещё жаждет по привычке и инерции *перемен* — открытий, новшеств, обновлений. Но развитие (разветвление) явно уже на какой-то финишной прямой (точнее, финишных прямых — «микро» и «мега»), а потому приближается к какому-то... свёртыванию, но не так обратному, как завершительному. Запад раскатился и прокатит до конца. А конец этот не где-то в далёкой перспективе, а прямо-таки при дверях. И дело тут не в невозможности развития, пусть и развития как бы на месте, а в ощущении уже восставших из будущего, — пусть ещё и виртуально, в предчувствии, — пределов построенного западным человеком мира, в отсутствии предстоящего развитию простора, в посещающей всё чаще этот мир экзистенциальной тесноте и духоте, в появляющихся ни с того ни с сего невидимых метафизических, а не только видимых физических, путах. Время достижения «пределной полезности» западного мира, как и полного подтверждения его уже вполне апокалиптических амбиций!

Осознавая всё это предельное, или, попросту говоря, чуя недоброе эсхатологическое, а может, всё ещё по обыкновению своему горделиво и надменно устремляясь в просветлённое-де будущее, Запад, не имея возможности ни остановиться, ни антизападно измениться, идёт на приемлемые с его точки зрения и выгодные для него перемены в мире, продолжая устраивать под себя и свой глобальный центр весьма уже контролируемую, но не до конца ещё покорённую им планету. Одного соблазна тут мало, как и мало расставленных по миру верных глобализму топ- и туп-менеджеров, ибо сопротивление глобализму-западизму имеет ныне не одни материально-политические аспекты, вполне и явные, а и более скрытые, чем явные, духовно-метафизические, вовсю и трансцендентные, мотивы, на поверхности выражющиеся в различных этнических, культурных, цивилизационных интенциях, как и попросту... в «упружестых» (вроде сопротивления материалов). Запад не может

не стремиться устроить под себя планетарный мир, Западом успешно эксплуатируемый и весьма приносимый им в жертву ради сомнительного, но страстно желаемого Западом будущего, которое, надо полагать уже под большим сомнением, а планетарный мир, ощущая для себя крайнюю эсхатологическую опасность, не может не сопротивляться западному себе обустройству, по-своему просматривая через свои традициональные окуляры возможное будущее человечества.

Если есть сегодня на планете Земля большая война, то это более скрытая, чем явная — *война миров*, причём война не за лучшую историческую долю посреди текущего бытия, а уже за само историческое бытие, его выживание и вероятное будущее. Такой войны никогда не было, ибо эта война уже не в бытии, а на краю бытия, и не за какое-то особенное бытие, а уже за *само бытие*, когда и в самом деле решается нечто воистину сакримальное: *быть или не быть?* что то же самое — *быть бытию или бытию не быть?* ну и, конечно же, ежели всё-таки быть, то *каким же?* И коли это по мнению толерантных общемировых доброхотов ещё не Армагеддон, то тогда что же — всего лишь *великая последняя война*?

И зачинщиком этой примечательной войны является Запад, восходящий к Европе и разместившийся в США и иных евро-американских провинциях. Запад хочет прозападного планетарного мира, с которым он смог бы поступить по-своему. И хотя физические потребности, проблемы и инициативы налицо (ресурсы, технологии, кадры), главное сегодня всё-таки за *метафизикой* — за идеей, за концептуальностью, за философией.

И если будущее слишком опасно придвигнуто к настоящему, оно тревожно и ограничено, а прошлое не имеет сегодня никакого педагогического значения для обезумевшего настоящего, не говоря уже о сомнительном будущем, то остаётся... э-э... а что остаётся?.. когда сакральная глава о *настоящем будущем и будущем настоящего* уже прозорливо пророками начертана? — остаётся лишь обратиться к этой главе, ничего в ней, конечно же, до конца не понимая, а потому, понятливо отталкиваясь от непонятного, попытавшись лишь вынести приемлемое на сегодня суждение: «За» или «Против»?

Если кто-то ещё видит в законченных европейцах и американцах, как и в им подобных «западенцах», людей, то он глубоко ошибается:

это уже не люди, не совсем люди, а не более чем их... овеществлённые призраки, — прямо из будущего, которого уже по сути нет, коли на Западе исчезают семьи с отцами, матерями и детьми; всё больше появляется однополых квазисемейных группировочек; «голубизна» узаконена и без стеснения фигурирует даже в армии; естественный пол — мужской и женский — заменён искусственным гендером — не мужским и не женским; фемина разбавляет собою армию и напрямую командует войсками, депутатствует, министерствует, профессорствует, организует с невинной улыбочкой и дамскими ужимками кризисы, революции, войны; маскулина же, хоть и занимается спортом, нехотя соревнуясь с ещё более физкультурной феминой, успешно инфантилизируется и всё более затягивается трясиной феминологического круговорота.

На место верности, чести и любви пришли законопослушание, политкорректность и толерантность. Не человек с душой, поведением и поступками, а психика, этология и манерность, причём не при человеке даже, а при всего лишь его человекоподобии. *Человекоподобие и мироподобие, а в единении — жизнеподобие!* Симуляция человека и человек-символ, равным образом, симуляция бытия и бытие-симулякр. Форма, отрывающаяся от содержания, и содержание, истлеваяющее внутри формы. Изобилие, паразитизм, фемина с гомосексуализмом, как и тот же инфантилизм, делают своё дело: запад разжижается, миксируется, истончается, превращаясь в набитый наукой, техникой и технологией, в укрупнённый и упрощённый всё более фиктивной постгуманистской идеологией (общечеловеческие ценности, права человека, политкорректность, толерантность, мультикультурность и т. п. штучки) *призрак — мир-призрак* или же *призрак-мир*, изживающий себя и всё менее живой, хотя и всё ещё физически сильный, операционально активный, ментально изобретательный, но... не мудрый, совсем не мудрый, хоть и полный всякого вроде бы много работающего (может быть, уже и в полуслабом, если не в галлюционирующем полузабытым) интеллекта. Цивилизация знания стремительно оборачивается цивилизацией (может уже и постцивилизацией) образованного невежества, а мир расчёта, ума и проекта в мир стихии, импровизации и недоумия. Всё и вся контролирующий, всё и вся организующий, всем и вся управляющий человек теряет контроль над им

же созданным миром, всё менее успешно его организует и всё менее эффективно им управляет. Навязываемый планете глобализм, а это самый обыкновенный панпланетарный тоталитаризм, в *принципе* невозможен, но он всё ещё главная цель и основная дорога вдруг потускневшего и подурневшего Запада, а не желающего ничего видеть и понимать за пределами своего уже вполне закатного проекта.

Запад ныне добровольно и нарочито слеп и глух, он не замечает ни умственной силы других, ни глупости самого себя, не слышит ни раскатов язвительного смеха, раздающегося в его адрес по всему земному шарику, ни грозного антиглобалистского ропота, а ежели что-то видит и слышит, то не способен критически отнестись к самому себе (ни одно сакральное предупреждение последнего времени вроде «11 сентября», японской ядерной катастрофы 2011, «огуречной» эпидемии в Европе вслед «революционным» событиям в арабском мире не производит на Запад, его правящую элиту, никакого самокритического впечатления).

Запад, исходя из кризиса 2008—2010 гг. и из тех же арабских событий 2011 г., явно уже закусил удила, и, как норовистый апокалиптический конь — конь бледный, ринулся в пекло покорения под себя всего планетарного мира, стремясь не допустить победы Китая и сочувствующей ему части мира в их трансцендентном соревновании (если не в войне) со всё тем же Западом.

Запад нуждается не в новой модернизации, а в... *коренном преобразении*, в *Новой Реформации*, в обретении *новой идеологии*, способной отринуть гибельные на сегодня идейно-поведенческие установки постгуманизма и вернуть человеку фундаментальные сакральные ценности, что означало бы и *Новый Ренессанс*, но не древнегреческого язычества с его изысканной философией и утончённой культурой, а... христианства, однако уже в единении с жизнеутверждающей светской философией и вполне реалистической светской культурой. Некоторые мыслители называют это *Новым Средневековьем*, что не совсем, по-видимому, верно, ибо возврат здесь должен быть непосредственно к истокам христианства — к Христу, а не к средневековому воплощению христианской доктрины, как и возврат, оплодотворяемый всеми гуманистическими достижениями человечества.

Нет, конечно, Запад не пойдет на консервативно-обновленческую

идейную революцию, во всяком случае, сейчас, в момент своего как раз идейного, а также экономического, политического, технологического и милитарного торжества над миром (хотя и торжества во многом уже мнимого), и не только не пойдёт, но и попытается и впредь реализовывать свой глобалистический проект, может, ещё более напористо, чем прежде, и реализовывать... до конца!

Предчувствуя возможность собственной глобальной или же общепланетарной катастрофы, Запад пойдёт на провоцирование и использование в своих империальных интересах разного рода локальных катастроф (кризисов, революций, войн), лишь бы, стремясь к ложным целям мирового господства, не допустить своей очень уже вероятной погибели как на началах самоубийства, так и в огне общепланетарного эсхатологического пожара.

67

Если совсем недавно Запад рассматривался, кроме некоторых его радикальных критиков, как в целом прогрессивный мир, хотя и не расставшийся полностью со всякого рода, так сказать, гуманистическими «погрешностями» (от финансовых, политических, идеологических до антикультурных, криминальных, инфернальных и т. д.), то сейчас уже не у одних завзятых критиков западнизма (экономизма, «демократизма», либерализма, империализма и т. д.), но и у лояльных к Западу обозревателей, присутствует и укрепляется убеждение, что Запад, оставаясь вроде бы внешне прогрессивным, оказывается всё более и более миром имманентно эсхатологическим, лишённым бескрайнего будущего и стремительно приближающегося к своему завершению.

Пора передавать историческую, а может, уже и внеисторическую, эстафету какому-то другому миру — весьма уже *иному*, способному заново утвердить человека, человечество, человеческую жизнь. Никакой общеосознанной и мирной передачи такой эстафеты, конечно же, быть не может. Запад должен сначала ослабеть, сузиться, растянуть, в общем — исчезнуть, хотя бы как доминант. В то же время должна сложиться, созреть, укрепиться планетарная альтернатива Западу — сначала более идейно-виртуальная, а потом и реально-действенная. Надежды антизападного человечества связываются прежде всего с Азией — Китаем и Индией, с Ираном и Индонезией, но частично и с Латинской Америкой —

Бразилией и Аргентиной, с пёстрым блоком латиноамериканских стран, а также с мусульманским миром, заносчиво посчитавшим себя за уже имеющуюся альтернативу Западу и претендующим чуть ли не на управление всем планетарным миром. Нынешняя планета — планета торжествующего, но уже уходящего Запада и субординационной относительно Запада планетарной периферии с рядом восходящих в её среде антизападных альтернатив. Тут и молчаливо, но прозорливо таящийся Китай, и сдержанно мудрая Индия, и нетерпеливо забурлившее мусульманство, и более дерзко-крикливое, чем деятельное, южно-американское латинство. Пока ещё довольно-таки монолитный Запад (США, ЕС, НАТО, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея) и разношёрстная паразападная, внезападная, антизападная периферия, в которой, однако, кое-что уже есть и заметное, и серьёзное, хотя ещё расплывчатое и не слишком действенное — тот же БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).

Нет, конечно, это ещё не *анти*Запад в прямом значении, но это уже и не *проЗапад*, что весьма существенно. Не так союз акторов, как пока ещё совместность понятий и интересов; не так деяние, как сигнал; не так перспектива, как ожидание; не так реальная альтернатива, как не самый ещё ясный противоходный контур. Однако... *есть!* Странное, неуклюжее, нерешительное, но ведь... *есть*, ещё неустойчивое, пусть временное и даже безрезультатное. Нет, не надо ничего преувеличивать, но... неограниченные ресурсы, живой интеллект, системное производство, большая наука, высокие технологии, возможность всестороннего развития, а главное — отсутствие пагубной пресыщенности и гибельной усталости при наличии живой традиции, не отвергающей будущего. Любопытно, что мусульманства в БРИКСе нет, оно как бы в промежности между Западом и БРИКСом, как катализатор общемировых разборочных процессов и зажжённый подрывной фитилёк.

Запад, отдавшись по уши антихристианству, ожидающий вольно или невольно появления уже последнего Антихриста — *главы всего мира*, не в состоянии возродить какую бы то ни было традицию, а потому ему остаётся только идти вперёд — как раз навстречу ожидаемому им Антихристу, а там, глядишь, после вспышки всеобщего ликования, и

прыгнуть во что-нибудь новенькое, судя по всему, и стопроцентно тоталитарненькое. Иного исхода у Запада, видно, уже нет — придётся ему, надо полагать, воплотить-таки в общемировую реальность мечты бесноватого фюрера о доминирующих сверхчеловеках и зависимых от них «унтер-меншах», разумеется, в соответствии с эсхатологическими достижениями высокой науки и самой передовой техники.

Культуртрегерская миссия Запада состоит ныне в подготовке человечества к приходу последнего Антихриста и сдаче перед ним на его прельстительную милость новых кочевников (миротуристов). Приход антихриста должен опередить и заместить пришествие Христа, а Страшный Суд, до которого Запад уже вполне созрел, заменить коллизионной трансгрессией в грядущий тоталитарный толпо-элитный раёк. Спасение своё Запад подстраивает к... своей полной победе над переделанным им человеком и к переводу человечества в новый, уже совершенно системно-механический, режим существования. Фашистский и социалистический опыты трудо-тоталитарного бытия изучены и отвергнуты — как неудачные, но принятые и изучены как важные эксперименты, по итогам которых сделаны все необходимые выводы: массы теперь вообще не стоит включать в крупные исторические действия, разве лишь на момент какой-нибудь вынужденной цветной революции, а потому строить надо не общества, государства и цивилизации, а всемирную сетеобразную «массолюдовку», в которой никаких премодерновых и даже модерновых понятий и языков быть уже не должно, а могут наличествовать лишь пустые знаки — средства необходимого для той или иной сети сбора и растекания информации: сознание и мышление отменяются, но зато утверждается био-психо-техническая реактивность, непременно сопряжённая с единым нанофизическим анализатором, инструктором и ориентатором (навигатором). В итоге мир — *парадиз* (рай), в котором всё ясно и который нет никакой нужды покидать. Всеобщее счастье! Один Антихрист, который, как и любой великий инквизитор, правитель и завоеватель, остаётся вполне естественно и законно несчастным — он всё знает, ему совсем не страшно, но очень и очень скучно, а потому его гложет червь самого из совершенных безумий — от одиночества, — отсюда и непреходящее желание закрыть чуждый ему мир насовсем... остаётся лишь на это решиться!

У Запада нет другого пути, кроме исполнения до конца своего антихристового проекта, его вдруг захватившего от противления Христу и христианству. Иной путь — путь самоограничения, отказа от свободы, самоспутывания. На это Запад не способен. И нет теперь иного пути, кроме порождения... *антимира*, что Западу, наверное, и не хочется, но на что придётся-таки пойти. И признаков антимира сегодня уже слишком много, и они крепнут и умножаются, чтобы не увидеть грядущей — и скоро, видно, грядущей — отмены человека, общества, мира. Сейчас более семиотических и семантических проблем, а завтра уже непосредственно онтологических. Запад вполне оправдывает своё наименование — *за-пад*, в котором слышится падение и падение куда-то во вне — в *за-мирье*, в общем — совершенная тут апокалиптика, кстати, ещё более убедительная при обращении к Востоку — *вос-току*, где и движение (ток) и высь (вос). Мистика, она ведь не где-нибудь — не в недосягаемых верхах, не в глубинных низах и не в бесконечных далах, а прямо здесь — в феноменальном текущем бытии, она лишь не бросается в глаза, молчит, таится, заявляет о себе лишь в отдельные, как правило, острые, переломные, катастрофные моменты, но ежели повнимательнее приглядеться да получше прислушаться... то вот она — мистика, прямо здесь, что мистика Запада, что Востока. Одно дело человек — *чело-век*, совсем другое — чиповей — *чило-вей*, разве не так?

А пока на планете Земля необъявленная криптогенная война — *война миров*, причём более война идей и концептов, чем армий и цивилизаций — самая настоящая *метафизическая война*. Война стремлений, замыслов, проектов, пусть и в разной степени осознания и оформленности, пусть даже ещё и без особых устремлений, задумок и разработок, но... на уровне интуитивных интенций, это уж точно! А интуитивные интенции пытаются не чем-нибудь, а *экзистенцией* — волей к жизни, силой жизни, страхом за жизнь, отвращением к смерти.

И вот Запад ухитряется демонстрировать всё более... волю не к жизни, а к... *смерти*, поставив на службу этой негативной экзистенции не только литературу, искусство, всю культуру, заражённую антикультурой, но и экономизм с его финансизмом, науку с техникой, пресловутое предпринимательство, спецслужбы, армию, политику, философию, идеологию. Нет, конечно, не весь Запад таков и даже не вся его элита,

но смертоносные тенденции слишком уж сильны, пожалуй что, и превалируют.

Свобода — великая вещь, но любая великая свобода не может не порождать свободы того, что можно назвать античеловеческим, антижизненным, антимировым, как и не может не приводить со временем к признанию всего этого «анти», как необходимой для передового человека реальности, мало того, вершины собственно человеческого, культурного, творческого, можно сказать, и *сверхчеловеческого*.

Запад отрицает Традицию, он с ней воюет, гордясь своей привязанностью к творческой свободе. У Запада есть кое-какое будущее, но это будущее, устремлённое к бессмыслице, пустоте, нулю. И ежели Запад добьется-таки организменного бессмертия, то кому же из «людывов» это бессмертие достанется, если не великим акторам безумно обезумленной современности? И как они этим бессмертием воспользуются? Кто, для чего, зачем?

Человек всегда жил будущим, он его в целом никогда не знал, но всегда был уверен, что будущее возможно и что оно непременно будет, пусть и для уже другого человека — потомка, но будет; сегодня же совершенно другая ситуация — человек вовсе не уверен, что созданный им мир имеет бескрайнее будущее, наоборот, он весьма ясно понимает, что мир этот, а это всё-таки целый планетарный мир, идёт к какому-то глобальному завершению, как и понимает, что этот мир, завершаясь, способен повлечь за собой и весь вообще человеческий мир, ибо вершина, на которую забирается ныне дерзкий человек-творец настолько уже высока и настолько оторвана от любой реальности, что человеку с его миром остаётся, пожалуй... лишь раствориться в Космосе.

Нам скажут, что человек давно уже ожидает Конца Света и никак его не дождётся, что Конец Света — не более как предупредительная и ограничительная метафора, что никакого Конца Света быть не может, что творчество человека в Мироздании беспредельно. Но, ответим мы, совсем ещё недавно, каких-нибудь сто, а то и пятьдесят лет назад, казалось, что земная природа беспредельна и неисчерпаема, что её ресурсы безграничны, что можно делать с природой всё, что захочется, а фантазии человека беспредельны и неисчерпаемы. Однако вскоре человеку-творцу пришлось убедиться, что ареал его бытия чрезвычайно мал и ресурсы его

крайне ограничены, что фантазии человека легко переходят границу возможного и, сцепливаясь с безумием, лишь придвигают границу будущего, грозя человечеству научно-техническим самоубиением.

Успех Запада не в одних его фантастических свойства материально-технических и знаниевых достижениях, не только в глобальном преобразовании природы и мира, но и в обнаружении границ мира, его многосторонней уязвимости, как и исходной невозможности мира сугубо искусственного, ещё и космического, а потому Запад сегодня — автор великой выжидающей дилеммы, когда назад идти крайне нежелательно, да и невозможно, а вперёд слишком рискованно и тоже по большому счёту невозможно. Великая тут вышла заминка, причём не столько даже физическая, которая вполне и понятна, сколько метафизическая, которая непонятна совершенно!

68

Ага-а!..

Что есть человек, что есть мир, откуда и от чего в нём человек, куда и зачем идёт, что и почему вершит, чем... *кончит?* Вот и вопросы, эти вечные и давно проклятые вопросы, которые легко и охотно человеком мыслящим ставятся и на которые нет у него никаких ответов, кроме разве чисто метафизических, да ещё... и явно фантастических. А деваться человеку мыслящему некуда, приходится ему ставить эти ни в чём не по-винные вопросы, думать, отвечать... не отвечая, а не отвечая... всё-таки отвечать, хотя бы для очередного осознания себя как мыслящего — вполне и понапрасну — человека.

И насколько же они пусты и куцы, все эти новейшие якобы открытия: энергия, информация, система, организация, синергетика, частица, нано, как будто они что-то и в самом деле объясняют, но ведь не более же, чем те же хаос, космос, атом, форма, дух, душа, диалектика, эфир, что там ещё, даже и боги, даже и Бог, даже и Троица, ибо кто, где, зачем, для чего?

Нет, человек *ничего* из действительно фундаментального, действительно начального и действительно конечного не знает и знать не должен — НИЧЕГО!

А западный мир, несмотря на свои огромные знания и феноменальные физические достижения, слепее, «глухее», и глупее восточного только потому, что он яростно спешит вперёд, прямо на край Света, тогда как его контрагент предпочитает оставаться посреди Света, в его лоне, ища выхода внутри него и с ним, а не за ним и без него. Вот, собственно, и вся разница: Запад отверг Традицию, он бежит стремглав в вертящуюся пустоту, а Восток Традицию держит, осмысливает и преумножает, хоть сегодня тоже весьма заражён дерзким западнизмом (в западню, видно и ему захотелось?).

Да, Запад и в самом деле *западня* — суэтного движения вперёд и скорейшего достижения... конца! Восток же — не западня вовсе, а сдержанка, избавляющая от судорог безумного прогресса. Запад прямолинеен и экспоненциален, несмотря на все свои колебания, перерывы и циклы, а Восток... Восток... круговоротен — как раз вокруг Традиции, но при этом и круговоротно переменчив. Западу надо куда-то непременно рваться, а Востоку — переменно и солидно обустраиваться. Запад — рискованный, бесшабашный спринтер, Восток — расчётливый и глубокомысленный стайер. Один — романтик, другой — классик! Вот и разные метафизические интенции, которые просто так и до конца не объяснить: Запад и Восток противоположно разные и никогда не сойдутся! Нынешнее их будто бы конструктивное взаимодействие — игра со вроде бы взаимной выгодой, а вот с каким же конечным исходом и в пользу кого из них — вопрос? Очень вероятно, что рассудительный Восток в итоге переиграет бесноватый Запад, а Запад, попав в разрушительный флаттер, им самим же для себя уготовленный, может поддаться на соблазн... окончательно расправиться с Востоком, который ни покорить он уже не может, ни преобразовать на свой манер. Риск! Громадный риск! Для всего мира риск! Тут всё зависит от степени обезумливания Запада, всё более себя затягивающего в самим же уготовленную западню, как и вынашиваемой Западом надежды на нано-био-инфо-блицкриг, вполне уже и сумасшедшей.

Что-то здесь попахивает гитлеризмом в его агрессивно-сверхчеловеческом ракурсе: тоже ведь на Восток устремлялся и тоже на науку с техникой рассчитывал, вдохновляясь расовой самонадеянностью. А ведь Запад — раса, высшая раса — умная, изобретательная, творческая,

а Восток — тоже раса, но низшая, хотя и тоже умная, но погрязшая в Традиции, а потому-де обречённая на отставание, хотя... это-то хотя и смущает самодовольный Запад, не только почивающий на своих финансовых, физико-математических и культуртрегерских лаврах, но и всё более ощущающий свои уже глубоко осевшие в нежить заскорузлые грехи — перед всем миром, перед Востоком, перед любой Традицией. Имперский Рим, Колумб с Магелланом и Куком, колониальные империи, английская корона в Индии, опиумные войны в Китае, покорённый Ближний Восток, аравийская Африка, алчный Родс на африканском юге, вся Африка как колония, освоенные колониально Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, вся Америка, имперские США — это ведь всё Европа, и это всё за пределами Европы, и это всё деяния Европы, её чудеса, победы и преступления, её всемирные грехи. И теперь Запад перед лицом всего незападного мира, перед лицом Востока, перед лицом пока не слишком выразительного, но небесперспективного БРИКСа.

Запад, уже глобальный Запад, империо-планетарный, даже и сверхпланетарный, уже не может перестать быть Западом, не может коренным образом перестроиться, восприняв иную для себя доктрину, способную перечеркнуть это безумное «*Пост*», к которому Запад безоглядно и опрометчиво устремлён. Смешно это, право, смешно! Какая-такая консервативная реформация, какой-такой оборот к Христу, коли окончательная победа над всем миром невероятно близка, а Антихрист... что Антихрист... он ведь тоже близок, если уже не здесь, не в кабинете, не на подиуме, не в рамке телевизора и на фейсе компьютера, не на площадке шоупредставления, не в безостановочной игре без правил, в том числе провокационной, переворотной, милитарной. Запад постарается подмять под себя весь мир, соблазня его, перетасовывая и передельвая, а при нужде и беспощадно атакуя, разрушая, стирая с лица земли, — и разве так уж были далёки от правды коммунисты-интернационалисты, обличая прогрессивно-агрессивный Запад, и разве не говорят о всемирно-имперских аппетитах Запада такие примечательные события и факты, как развал Югославии и разгром Сербии, вторжение американцев и их сателлитов сначала в Ирак, а затем в Афghanistan, угрозы нарастающие нападения на Иран, пёстрые гир-

лянды из цветных революций, поощрение амбициозной Грузии, заигрывание с Украиной, прессование Белоруссии, проникновения в постсоветскую Среднюю Азию, «разделка» арабского Востока, атака на Ливию, борьба с любыми неугодными режимами, их диффамация, «санкционирование»,брос.

В общем, «делов» у Запада хватает, причём «делов» непосредственно империальных — от производства и удержания на мирорезервистском плаву фиктивного, но совершенно при этом имперского доллара до империального контроля над жизненными ресурсами всё более обедняющейся (опорожняющейся) и исчезающей (скуживающейся) планеты. И дела эти всё запутаннее, всё сомнительнее, всё гаже! Уж и г. Геббельс всё чаще приходит на ум, глядя на виртуальные (читай — лживые) подставы-оправдания большого глобального актора, ничего уже не стесняющегося и ни перед чем морально-совестливым не останавливающегося. Одно тут успокаивает, или, наоборот, сильно тревожит — *глупцы!* — ничего не помнящие, не видящие и не понимающие. Да не одни лишь политики, среди которых всё больше фемины, и не только вояки, среди которых всё больше генералов от Голливуда, и не сами по себе интеллектуалы, среди которых всё больше лауреатов растерявших всякую престижность премий, нет, тут уже всё гораздо весомее — целые корпорации, финансовые институты, административные комплексы, аналитические центры Запада поражены навязчивой гордыней и заражены уже, видно, неизлечимым безумием. Вот где беда, так беда! И ведут ведь настойчиво к погибели человеческий мир, да ладно бы свой — передовой, умный и изощрённый, а то ведь метят в весь планетарный мир, их совсем никак на перспективу не устраивающий. Надеются, наверное, что выскочат, принеся в жертву осмелевающих антизападников и отставших навсегда незападников, и меньше всего задумываются над бумеранговой неизбежностью липкого самоубийства. Казалось бы, изучай дерзновенный опыт «тысячелетнего рейха» и делай потребные выводы, так нет, очень хочется самим отличиться, а *вдруг!*

Нет, этого *вдруг* не будет, никогда не будет: западный мир, увы, обречён, он обречён прежде всего на самоисчезновение, хотя это «само» может коснуться (и наверняка коснётся) и других, а то и всех (скорее

всего как раз *всех*), но... но обречён не только на самоисчезновение, но и на... но это уже иная песня, ибо избежать от Планеты и Небес достойного ответа на свои имперские притязания Западу вряд ли удастся — признаков этой возможности сегодня уже предостаточно!

Победы Запада над планетарным миром не будет, что можно, наверное, доказать и математически — часть не может долго и безнаказанно навязывать режим бытия сопротивляющемуся целому, даже если она сильна и занимает центральное положение — затратно, невыгодно, неэффективно, наконец — разрушительно, диссипативно, энтропийно. Целое непременно одолеет строптиво-наглую имперскую часть, а искать органическое единение с мировым целым западная часть не будет, ибо не для того она ультраэгоимперская часть, чтобы алкать такого единения в интересах всего мира. Лгать и изворачиваться, пожалуйста, а вот искать реального единения — это уж увольте!

Если потреблять «разов» так в несколько больше, чем производить, то... как же остальной мир может быть на это долго согласен, тем более что в остальном мире царит вовсе не умеренное благополучие, а самая настоящая и очень даже массовая нищета. Да и что это за раса западных господ, будто бы хорошо знающих, куда и зачем идти миру, почему и для чего ему приносить себя ей в жертву? Нет, тут всё не просто! И дело вовсе не в пролетариате, совершающем-де свою прогрессивную революцию, ибо не способен пролетариат ни на конструктивную революцию, ни на столь же конструктивное управление человечеством; не способен на такое управление, надо заметить, вообще ни один класс сам по себе (класс-аутист), как и никакая предоставленная самой себе интеллектуальная элита — ещё более аутистская; не способна даже и Церковь. Кто же тогда? Уж не Интернет ли сообщество, как раз из отъявленных аутистов составленное? Или попросту какой-нибудь сверхчеловек, он же и Антихрист, возглавивший постчеловечество? Вот проблема! Проблема конструктивного, авторитетного и утвердительного лидерства, когда уже ни Цезаря, ни Бонапарта, ни Черчилля, не говоря уже о Лютере, Гегеле или Кейнсе.

Модерн был изобилен на титанов-созицателей, век XX-й — на воителей-устроителей да остаточных от Модерна мыслителей, а вот Пост-

модерн ничем таким уже не отличается, а изобилует более всего карликами-лицедеями да набитыми недодрагоценными камушками плебеями-погремушками. Всё! — калибр исчез, теперь повсюду неисчислимая мелкота, — и неважно какая — аристократическая, финансовая, интеллектуальная, военная, творческая. Тут сказывается неумолимый закон энтропии, диссипации, измельчания и исчезновения, закон, который непременно даёт о себе знать во вроде бы ещё победном, но уже почему-то непременно больном организме, в отживающем свой славный век ещё могучем, но уже отчего-то разлагающемся рассыпающемся теле. Акмэ своё Запад уже прошёл, победа осталась позади, а вот впереди, несмотря на всякие ухищрительные инновации, а то и благодаря им, лишь отступление, сжатие и распад!

Где мудрость, где стойкость, где прозорливость? Ясно, что в прошлом, в отставке, в презрении! Ничего теперь не поделать: умные специалисты, натасаные эксперты и дорогостоящие консультанты не заменят ни мудрецов, ни стоиков, ни прозорливцев, а если таковые где-то ещё и есть, может, и в самом Интернете, но что они значат... вне спроса на себя со стороны чрезмерно потребляющего и охотно играющего в ничегонебытие населения? Ни этносов, ни народов, ни наций — одни юркие новые кочевники, самонадеянные космополиты и лупающие пустыми глазами миротуристы, в общем — глобальный, суетящийся и лоснящийся псевдолюдской планктон. И всюду ловкие сети, и кругом электронные наставники, и откуда-то идущие на людышек управляющие импульсы — никто ничего не понимает: ни простые трудники, ни лицеидейные политики, ни ушедшие в себя и себя давно надёжно запутавшие псевдофилософы. Человек сдаётся на милость технике, а техника всё решает по-своему, но однажды, обесточившись, перестанет вообще что-либо делать. Коллапс! И свободный человек вдруг окажется... среди кладбищенской пустыни, в тёмной горловине застывшего навсегда цивилизационного вулкана, в уродливом чреве окончательно замершего индустриального монстра. Тогда-то и вывалится вдруг *конец*, разумеется — театральный, ибо ничего иного, кроме плохо срежиссированного бесноватого спектакля, Постмодерн представить напоследок не сможет. Он и сам сгинет вполне театрально — как никому уже не нужный, опозорившийся и продешевившийся призрак!

Восток — дело тонкое! Бойкий, бескомпромиссный и настырный Запад завершает своё лидерство на планете, ибо не имеет главного — привходящей жизнеутверждающей идеологии. Запад остался без Идеи, без Слова, без Текста! Изгнав из себя метафизику, западная цивилизация не могла не породить в своём лоне «скелета в шкафу», где «шкафом» служит построенный Западом искусственный мир, а «скелетом» — парадигма, одновременно плодовитая и смертоносная. Не то на Востоке — там до сих пор в почёте метафизика, его собственная метафизика, западному человеку в общем-то чуждая. И ежели Восток — дело тонкое, то как раз в силу этой его особенной метафизики, не позволившей Востоку быть шибко производительным и экспансивным, но позволившей ему выжить, сохраниться и держаться за будущее.

Но с Востоком связана и другая тонкость — вдруг откуда-то взявшаяся восприимчивость к производительному и творческому прогрессу, причём прогрессу западному, на Восток лишь привнесённому. Восточный мир оказался весьма в данном отношении реактивным и плодоносным, сохраняя при этом свою метафизическую подоснову. Производительная Революция не высказалась там, как это было в той же Европе, за разрушение Традиции, наоборот, Традиция смогла принять эту Революцию. Так возникла возможность синтеза: между Традицией и Новизной, между фундаментальным Востоком и надстроенным Западом, между глубинной метафизикой и привнесённой физикой. Восточный путь в будущее — не западный вовсе путь, это никакое не повторение, не прямое и полное заимствование, никакое не обезьянничанье. Восток не ставит перед собой задачи преодоления Востока, он идёт на развитие Востока, но никак не на превращение его в Запад. Восток — дело тонкое, и с Западом он сходиться на условиях Запада никак не собирается!

И ежели Запад уже более на спуске, то Восток в целом уже на подъёме, причём выходит, что древний Восток, развиваясь не без участия Запада, идёт на смену сравнительно с ним молодому Западу: Запад сейчас впереди, он явно уже летит к бездне, а Восток позади и ни к какой бездне он не устремлён. Исторический парадокс: Восток ныне моложе Запада, и Запад, чуя это скверный для себя подвох, пытается опередить Восток, выиграть необъявленное с ним сражение (четвёртую мировую и

в то же время вторую холодную войну), овладеть планетой (пространством) и будущим (временем) и вновь ухватить судьбу за начавший было удаляться пушистый хвост.

Востоку войны не нужна, он и без войны способен выйти победителем в соревновании с Западом. Война, возможно, нужна на Востоке лишь мусульманству (одно присутствие Израиля среди мусульманского мира чего стоит, а тут ещё беззастенчивые бомбардировки славной арабо-магометанской страны), но мусульманство вовсе не весь Восток, либо его часть, причём не решающая, а потому Восток как целое тяготеет не к войне, а к миру, который ему как раз совершенно на руку. Длительный планетарный мир — в пагубу Западу, а не Востоку, и Восток настроен всячески оттягивать войну, а вот Запад — всячески её провоцировать.

До всемирного Армагеддона дело, скорее всего, не дойдёт (хотя почему и не дойдёт — было бы желание!), а вот что-то вроде армагеддонского мира-войны вполне получиться может — этакого большого коллизионного периода, изобильного игрой без правил, подставами, разборками, кризисами, восстаниями, революциями, локальными войнами, в общем, всякими международными непристойностями, прямо как сейчас — на рубеже XX и XXI вв. И вот ежели всего этого окажется недостаточным, да ещё и замаячит сокрушительный проигрыш одной из сторон, то... тогда уж держись, планета!..

Сценарий мирного сосуществования и договорных отношений Запада и Востока, конечно, можно рассматривать, но он требует *таких* взаимных уступок и компромиссов, как и совместных *солидарных* действий, которые трудно себе представить реально и полностью осуществимыми, хотя кое-что, наверное, и будет, как, собственно, уже есть и сейчас, но... но тогда придётся и весь мир планетарный усмирить (Израиль, мусульманство, сомалийцы, кое-какие латины, северные корейцы, даже и ныне возбудившиеся на почве Курил японцы и т. д.) и по-новому весь этот мир целостно обустроить. Но это ещё не всё: надо будет погасить если не все, то хотя бы главные очаги напряжений, а вот это-то вряд ли кому-либо когда-либо удастся, ибо тут нехватка и ресурсов, и обостряющаяся экология, и бездумный гедонизм, и вольно определяющийся научно-технический прогресс, и расовые дела, и новые кочевники,

и меньшинства анекдотические, и бесовская антикультура, и экзистенциальная пустота, как и многое, многое другое.

Глобальный мир и проблемен глобально, он во власти глобально неразрешимых проблем!

Не мир и сотрудничество, выходит, теперь в приоритете, а, увы... война — *глобальная война*, скрытая, холодная и склизкая, которая если и не разрешит все великие проблемы, то хотя бы снимет часть их, расчищая мировое пространство для новой и по-новому иерархически обустроенной жизни.

Так что сценарий мирного «сетевого» сосуществования стран и народов возможен, но вряд ли он будет реально доставлен на мировую geopolитическую сцену. Тут всего милее борческая конспирологическая матрица, которой мир как раз и более всего следует.

Восток сегодня более жизнестоек и перспективен, чем Запад, несмотря на всю техническую мощь и материальное благополучие Запада; Восток богат на экзистенциальную метафизику, которой уже лишён Запад; Восток не то что дополняет в материально-техническом отношении Запад, но уже способен найти свой вариант передового бытия, не уступающий, а может, и превосходящий, западный; Восток не стремится к прекращению проекта «ЧЕЛОВЕК», хотя тоже сейчас немало рискует; Запад же не столько рискует, сколько попросту уже не может сойти с избранной дороги, замещая титаническую по задачам телеологию каннибалской постчеловеческой эсхатологией.

Тут бы учредить какой-нибудь синтез Запада и Востока, вроде нового евразийства, уже для всего мира, а не для одной России, но... если устойчивый и уверенный в себе Восток уже немало уступил Западу, никак особенно не отчаявшись и за себя не боясь, то Запад... этот, пожалуй, ничего из своего уступить уже не может, точнее, вряд ли спокойно и полно впустит в себя восточную метафизику, ему совершенно чуждую. Представить себе китайца, свободно становящегося стопроцентным американцем, вполне можно, а вот американца,вольно превращающегося в несомненного китайца, что-то не очень. Если вновь прибывший китаец среди американцев не более чем будущий американец, пусть и особенный, то такой же американец среди китайцев — лишь в полной мере ино-планетянин. Китаец в Америке — китаец, американец в Китае — никто,

ибо он не китаец. Америка — мир человеков, человеков-вообще, Китай же — мир китайцев, человеко-китайцев. Одно дело Америка в Китае, когда есть Америка, совсем другое — Китай в Америке, когда уже нет Америки. От Америки техника и технология, а от Китая — *иной* человек!

Захочет ли планетарный мир становиться азиатским: мусульманским, индийским, китайским, всё равно каким конкретно, но... *азиатским*? — вряд ли! — скорее всего, не захочет. Если для Азии принять в себя Европу лишь придавало Азии особенность при достаточном сохранении Азии (даже в случае европеизированной поболе всех Японии), то внедрение Азии в Европу грозит полным исчезновением Европы, хотя сама Азия в Европе окажется и весьма европеизированной. Вот она — великая межмировая проблема, для которой нет никакого простого синтезно-компромиссного разрешения!

Планета одна, а миров на ней множество, среди которых два явных конкурента — европейский, он же западный, и азиатский, он же восточный, — и это настолько своеобразные миры, что или они должны оставаться рядом друг с другом, либо один из них должен... э-э... нет, не исчезнуть совсем, но... отойти в некоторую навь, как сегодня исконная Россия, но поскольку ни то, ни другое просто так невозможно, то остаётся лишь... война — *война миров*, причём не так на жизнь, как на... нежить. Один из миров силён интеллектуально и инструментально, другой — духовно и поведенчески. И если интеллект и инструментарий — дело наживное, то дух и образ поведения, однажды утраченные, просто так не возвращаются. Два великих планетарных мира и одна гигантская между ними коллизия, вокруг которой целая россыпь всяких локальных «происшествий», то ли готовящих глобальную коллизию, то ли от неё отводящих, то ли её потихонечку и помаленечку реализующих. И как тут всё сложно, запутанно, неоднозначно и очень, очень для всей планеты рискованно!

Вот и будь тут историческим оптимистом, когда две ужасные мировые войны XX в. кажутся уже вполне умеренными разборками, никак не ставившими весь мир в положение трупного заложника!

Глобальный мир — глобальное планетарное заложничество!

Нынче весь мир заложник человека хозяйствующего, — и ежели

он — мир — останется, то он в любом случае должен стать принципиально другим, настолько другим, насколько, к примеру, любая цивилизация отличается от любой первобытности, как, собственно, и наоборот. Вероятность последующей за постмодерном инволюции не менее значительна, чем вероятность эволюции. И ежели эволюции, то... *какой и куда?* а вот ежели инволюции, то... вполне понятно, тут уже не надо ничего вопрошать.

У Запада остался последний резерв эволюции — сам человек, который с помощью науки и техники и под присмотром Антихриста должен стать *другим* — другим человекообразным, соответственно, должны измениться и образ жизни (жизни ли?), и вся её организация, и весь обжитой человеком мир. Это вроде как явление пришельца с другой планеты и перенос инопланетного мира в мир земной. Это уже не трансформация всего бытующего, а его полная трансгрессия — в *иное!*

Совершил ли это Запад или нет, но путь его именно таков — *трансгрессивный*. А ресурсом для такого античеловеческого действия служит... человечество, которое вполне может послужить такому небывалому самопревращению, став ему высококалорийным топливом и его же главной жертвой.

Восток, почему-то не обретший, а, может, просто не выдвинувший, своего Бога Творца, от Бога, тем не менее, не отрёкшийся и не вступивший с ним в борьбу, вовсе не стремится к выходу за пределы мира человеческого, а потому если и не дорожит каждым человеком, то человека как человека вообще-то не отрицает, а потому имеет шанс какого-то нового обустройства человеческого мира, не порывающего насовсем с Традицией, а с ней органично сочетающегося, — если под Традицией понимать, конечно, не обряды, какие-нибудь, а незыблемое метафизическое основание человеческого мира, вкупе с природным и с сакральным.

Запад порвал органическую связь с природным и сакральным мирами в угоду вроде бы человеческого мира, теперь же ему предстоит порвать и с человеческим миром. Не то Восток, он располагает возможностью удержать человека в человеке и перейти в новый человеческий мир. Так что дело тут не в капитализме или социализме, а в человеке или же постчеловеке, а что будет, то и будет — то ли через затяжную и изну-

рительную тяжбу миров, то ли через их остросюжетную схватку, но в любом случае — через изнурительную апокалиптику!

70

Россия.

Этот загадочный, но при этом и одурманенный, помрачённый и взбесившийся *Третий Рим*.

Вот уж где апокалиптика, так апокалиптика!

Это тебе не Запад и не Восток, это ложе самой Погибели, причём не простой, скорой и окончательной, а сложной, тягучей, некончаемой, при этом конспиративно загадочной и криптогенно неразрешимой.

Погибель здесь — вовсе не мгновенный конец, даже не медленное умирание, а вполне жизненный (!) процесс, развернувшийся во времени и в пространстве, происходящий на земле и на свету, но не покидающий мертвящей тени и разверстый прямо среди пыточного ада.

Историю оставим истории — всякое там бывало, хоть и многовато случилось там страды и страдания, жертв и жестокостей, уродств и смертей. Однако история состоялась, набралась событий, героев и свершений, обрела телесность и «душество», громко о себе заявила, что-то неведомое построя и из себя наружу вытаскивая.

Российская Империя — Третий Рим.

Величественно, многозначно, обещающе!

Прошла вроде бы муки становления, ощутила немалую силу и почуяла великое предназначение — ан-нет, р-раз и... сорвалась... хоть и не столько сама по себе, сколько с любезным пособлением от внутренней измены и внешнего противника, и сорвалась прямо туда — в пучину первородных страстей, в изначальную зверскость, во всегда стоящий на стрёме ад, — и хоть вытащил большевизм-сталинизм столь же по-адски, жестоко и бесцеремонно, вовсю ослабленную, разорённую, расхристанную страну из внеисторической ямы, сберёг её, укрепил и усилил, даровав державное величие и сделав второй по силе и размаху творчества страной мира, остаточный большевизм не только обеспечил острый системный кризис возрождённого в виде красного ремейка Третьего Рима — СССР, но и, изменив последнему, тоже в виде ремейка изменения Российской Империи, довёл СССР до краха, после которого остался лишь

трёхцветный кусок от бывшего Третьего Рима, что царского, что большевистского — *Российская Федерация*.

А Российской Федерации ныне хоть и империя, но уже не совсем Третий Рим, во всяком случае, не полноценный Третий Рим, а Рим большой, уродливый, умирающий.

Главное тут не в Российской Федерации, а в России, упрямо перетекшей из Российской Империи через СССР в Российскую Федерацию. И всё тут очень не просто: Россия была собственно Россией совсем недолго — от Ивана III до Петра I, когда звалась Русью, Московским Царством, ещё и Святой Русью. От ига до ига: от ига восточного, от которого Русь освободилась при Иване III, до ига западного, которое нахлобучил на Русь Пётр Великий, сделав при этом Святую Русь совсем не святой Россией. И как только России довелось заметно ослабить иго немецкое, её вдруг так заколбасило, что, не успев встать на собственные ноги, она подверглась убийственно-самоубийственной революции, в результате которой получила иго большевистское, тоже, кстати, в исходе своём европейское. Сброс же ига большевистского совпал с напряганием на Россию (Российскую Федерацию) ига уже глобального, под которым Россия ныне и пребывает, не вставая на ноги, не самоидентифицируясь, не развиваясь и шаг за шагом самоизничтожаясь. Глобальное иго — особого рода иго, когда иговладелец где-то за горизонтом и плохо различим. Влияние его более опосредованное, чем прямое, а управление более скрытое, чем явное. И дань ему тоже по преимуществу скрытая. Финансы, информация, Интернет и реальное время делают своё дело. Деньги, разработки, труд, специалисты, грамотеи, женщины, их тела — всё к услугам игодержателя. К тому же последний полностью, что не значит, конечно, совсем уж полностью, контролирует ситуацию в стране, направляет деятельность преданных ему, если не прямо им поставленных, высших менеджеров, ориентирует внешнюю и внутреннюю политику, добивается потребных ему внутри страны перемен.

Российская Федерация — включённая в зону глобализма и в целом от него зависимая страна, своеобразная часть глобальной, если не попросту американской, империи — Четвёртого Рима.

А что Россия — Россия как таковая, которая издревле? Она, конечно, ещё есть, но более в Нави, чем в Яви. В реальности ведь вокруг

не Россия — как geopolитическое образование и самостоятельный действующий субъект, а лишь очищенное от плотского и идейного содержания имя, обозначающее уже что-то другое, к примеру, ту же *постРоссию*, а то и попросту *Нероссию* (не неРоссию, а именно Нероссию, что гораздо страшнее и хуже, разумеется, для России). России как таковой, кажется, уже не должно быть, вот её, собственно, и нет (почти нет). А что есть? Всё что угодно, но только не Россия. Наяву России нет, хотя она и есть где-то там — в трансцендентности, правда, размещённой в самих людях, всё ещё русских людях, в их душах и сердцах, в их сознании и подсознании, наконец, и в их сверхсознании. Россия ушла в память, в ум, в чувство, в инстинкт. России нет, но русские всё ещё есть. Глобальному игу ни Россия, ни русские не нужны, хотя какой-то послушный *суб*-субъект на российской территории игу потребен, им-то и является нынешняя Российская Федерация.

Для кого-то всё это знать и осмысливать очень неприятно, для кого-то радостно, для кого-то воистину ужасно. Но здесь, судя по всему — правда, причём без особого преувеличения и намеренного акцентирования. Горькая для русского сознания правда! Эраэфия ещё цела, поскольку, во-первых, она, по-видимому, ещё geopolитически и эксплуатационно необходима; во-вторых, имеет место немалый и хорошо осознаваемый страх перед возможными неблагоприятными последствиями её распада; в-третьих, на счёт её судьбы бытуют разные убеждения и взгляды; в-четвёртых, мировые противоречия не дают сложиться единому антиРФфронту; в-пятых, в самой РФ есть ещё проРФнастроения и интенции, хотя хватает уже и противоРФустремлений. А пока РФ цела, Россия, скажем так, ещё бытует — как идея, как символ, как субстанция, как сакрал!

РФ — не Россия, но и Россия ныне уже по большей части... не Россия, а что-то совсем другое, лишь похожее на Россию, её как-то изображающее, ей, быть может, подыгрывающее, или же, наоборот, её отыгравшее, в общем — не Россия, а какое-то её остаточное подобие, некий внеисторический суррогат, пошлая обманка.

Если при большевиках Россия поначалу была отвергнута, отодвинута на задворки, принижена и отправлена в забытье, если не на свалку,

то с Великой войной 1941—1945 гг. пришлось большевикам, переставшими в тот момент быть ярыми интернационалистами и ставшими более отечественниками-почвенниками, пусть и не до конца, искать опоры в России, в русском народе, в православной вере, в остатках российского имперства, а потому России довелось, пусть и не полностью и весьма уродливо, возродиться, правда, до некоторого момента, когда вновь возобладала у большинства мания человека вообще, а для большевиков — советского человека, и русскость вновь попала в опалу, хотя и не столь тяжкую, как при довоенном большевизме. В советское время русскости пришлось тяжко, но она оставалась, не уходя насовсем в Навь, ибо и сказки русские бытовали, и литература с музыкой, и даже история русская была, хоть и препарированная, наконец, национальность русская в паспорте была, да и русский народ старшим братом у народов СССР долго значился, а вот в либеральные и общечеловеческие 1990-е гг. русскость была подвергнута такой силы психологическому и аморальному остроклизму, что России как историо-культурной субстанции пришлось немедленно погрузиться в Навь, оставив в Яви лишь свой искажённый, неполноценный, суррогатный образ-призрак.

Не Россия теперь вокруг, а лишь занятое её уродливым призраком да осколками всё ещё живой русскости деформированное окаянными пришлецами 1990-х безымянное по сути geopolитическое пространство, лишь по лингво-политической инерции и вынужденной практической необходимости всё ещё именуемое Россией. И ежели это уже не Россия, как таковая, то что? Да, да — *постРоссия*, где Россия вроде бы есть, но её в общем-то нет, где России, кажется, нет, но она всё-таки, увы, есть! У нас нет другого выхода, как говорить о Российской Федерации как о России, но нужно иметь в виду, что это всё-таки не совсем Россия, а может, и совсем не Россия. хотя, наверное, какая-то *параРоссия*, она же и *патоРоссия*.

Любопытная получается вещь-сентенция: идёт охота на Россию, упорная, многовековая, а Россия, как матёрый волк, уходит раз за разом от хитроумных охотников, обкладывающих её огнями и флагами, перепрыгивая через огни и разрывая красные гирлянды. Вот и сейчас, в момент новой, отлично рассчитанной и организованной охоты, одобренной великим верховным предательством, Россия ушла вглубь бытия, в Навь,

чуть ли не в само Инферно, лишь бы не сдаться, не раствориться, не обнулиться, а там, глядишь, и вновь выско치ть, как голодный отчаявшийся волк, на исторический простор.

Трудно, ох, как трудно, совершенно и невозможно, ибо коварен противник, силён и ловок, да и пространство бытия, это русское лоно, совсем уже другое, да и не по размеру вовсе, а по качеству, по материалу, по образу. Россия-то, быть может, и вnavи, да вот русские-то люди в яви, и рускость не где-нибудь, а в этих самых, ныне активно вымирающих, русских, в их сердцах, душах и умах, в их памяти, сознании, ноосфере, ибо рускость ныне не так реализация, как всего лишь хранимая бережно идеальная субстанция — как драгоценное посевное зерно по итогам засушливого года, ещё и надетое на кончик иглы Кощя бессмертного.

Пригча, притчей, а реальность реальностью, хотя и в притче, заметим, своя реальность, вполне и истинная. Как ни странно, но миф бывает истиннее реальности, в особенности, когда слов и выражений на реальность не хватает. Тогда-то на помощь и приходит миф, в котором и из которого всё ясно и бывает. Всего ближе к мифу метафизика, хотя и физика не может совсем пренебречь мифами, охотно построив те же научные мифы. И вот эта-то метафизика и не даёт России совсем исчезнуть, возбуждает её сопротивление гнусным обстоятельствам, заставляет оглядеться, очухаться, опомниться, а там уже и приспособиться, перестроиться, преобразиться. Метафизика — великая вещь (от вести), скрытая, самостоятельная, неприступная. И ежели метафизике надо, то и физика соответственная явится, а метафизике почему-то всегда надо, ибо метафизика — скопище потаённых смыслов, как и их мастерская, тот самый Грааль, напрямую сочетающийся с Софией Премудростью Божией. Многое решается в рамках и посредством физики, но не всё, а главное — вовсе не главное, всё главное как раз решается там — в беспределье метафизики, а где беспределье, там и любой исход, в том числе и совершенно, знаете ли, беспричинный!

То ли Россия сама погрузилась в Антимир, погрязнув в Инферно, то ли её туда намеренно отправили, то ли всё случилось как-то само

собой, вполне и неожиданно, но факт остаётся фактом — Россия в антимире и в инферно либо же антимир и инферно в России, но итог один и тот же — невыразимое просто так *уродство*, причём системное, целостное, цветущее, и потрясающее любое воображение *безумие*, причём субстанциальное, вездесущее, процветающее.

Уродство и безумие — вот два самых примечательных достоиния современно бытующей России (не забудем: *пара-* или *пато*России: следственно, ненастоящей, а лишь *пред-ставленной*). И это вовсе не западные уродство и безумие, имеющие во многом инфантильно-игровую мотивацию и красочное прикрытие, а самые что ни на есть обнажённые и ужасные, без всякого наивно-этического флёра, совершенно свободные от каких бы то ни было культурно-цивилизационных пут, безграничные, инициативные и изобретательные.

Нынешняя Россия — безусловный феномен, разумеется, отрицательный, вполне мерзкий и гнусный, — и это прямо вослед великолдержавному, имперскому, всемирного масштаба величию, пусть и не в быту и в потреблении, но зато в космосе, науке и технике, в образовании, в искусстве, в здравоохранении и спорте, в армействе, в geopolитике, в ООН, да и с моралью было не всё уж плохо: массовое нестяжательство, всеобщее товарищество, утвердительная социабельность, незаурядное подвижничество, правда, всё более и более уступавшие лукавому лицемерию и беспардонному цинизму, неторопливо, но уверенно угасавшие. Здесь есть над чем задуматься всезнающим философам, над чем погоревать редким ныне мудрецам, как и есть, отчего оторопеть даже самому Господу Иисусу Христу: *такое* просто так не случается, еще и в *таких* масштабах и на *такую* глубину, здесь что-то воистину уникальное и потрясающе показательное, как раз то, что всё в этом замечательном мире беспощадно переворачивает: реальность, ирреальность, представления, мнения, суждения, учения, философии, не оставляя камня на камне от государственности, культуры, цивилизации, личности, социума, морали, истории, наследия, ожидания, надежды, зато выпячивая наверх и восторженно превознося всё аморальное, пошлое, бесовское, что в нормальных условиях обычно осуждается, избегается, прячется.

Оборотной вдруг явилась страна-Россия, какой-то выворотной, блевотной и помойной. Всё, что было под спудом, в темени, на задворках,

в резервациях, на нарах нежданно-негаданно откуда-то повылезало на свет божий и, завертевшись в бешеной инфернальной пляске, потащило одуревшую вдруг от свободы, презрения и отчаяния страну в круговорот присвоительно-накопительских и потребительско-гедонистических страстей, нашедших практическую реализацию в растиаскивании, захвате и поедании производственно-продуктового пирога, созданного уже успевшим заслужить официальное проклятие от новых властей советским социализмом — аскетическим, производительным, творческим.

То, что произошло в достославные 1990-е было лишь закреплено в сглаженных формах в невыразительные 2000-е, хорошо известно: тёмная, обманная и беспардонная приватизация («прихватизация») национального богатства, ресурсов, предприятий, внезапное накопление частных богатств и появление нового владеющего, властвующего и правящего класса, скромно названного политтехнологами «элитой»; немыслимое имущественное расслоение населения с формированием якобы «успешного», богатого, от жира бесящегося меньшинства и «неуспешного», бедного и нищего, безработного, растерянного и потерянного большинства; взрослая вдруг смертность и убыль населения, в особенности по причине бедственного положения пенсионеров, выбивания из жизненной колеи взрослого мужского населения, откровенного его спаивания; явление масс бомжей, брошенных и беспризорных детей, бесчисленных абортов и т. д. и т. п. Говорить о том, что произошло в стране, воистину трудно, ибо произошло что-то совершенно для сколько-нибудь всё-ещё-человека немыслимое, невозможное, страшное. Но самое поразительное, что *это* таки произошло, причём не где-нибудь, а в великой социалистической (трудовой, коллективистской, товарищеской) державе, и не когда-нибудь, а в эпоху торжества вроде бы просвещения, гуманизма, науки и образования, морали, законности, культуры, да ещё и не на оккупированной беспощадными захватчиками и оголтелыми колонизаторами территории, а внутри самостоящей страны — великой, мощной, независимой, цивилизованной, прогрессивной, современной, и по инициативе не кого-нибудь, а непосредственно правящих верхов, охотно и удачно изменивших советско-социалистическому строю и его непобедимой партии — КПСС и устроивших в стране *глобальный переворот* — экономический, частно-собственнический,

феодальный, капиталистический, буржуазный, наконец, прозападный, колониалистский, глобалистический, но... при всём при этом... переворот... совершенно *антропогенетический*, что как раз и делает его с человеческой точки зрения воистину страшным, невозможным, немыслимым.

На Западе грядёт будто бы постчеловек, что немало и беспокоит всё-ещё-человека, но и вселяет в него некоторый восторг — уж не исполнение ли тут великой трансгрессивной миссии? а тут — в России — явился... э-э... не кто-нибудь, а прямо-таки зверь, причём во всех возможных звериных ипостасях — от учёного реформатора до неучёного бандита, не говоря уже о массе промежуточных образчиков. Стоило намекнуть: «Всё позволено!», как зверь, он же и бес, он же и сатана, мгновенно нарисовался в разорвавшейся и потускневшей багрово-российской атмосфере. И этот зверь, он же и бес, он же и сатана, прихватил Россию, завладел ею и стал крепко беспощадно и непрерывно насиливать, жаждая её тела, крови и духа, не находя при этом никакого удовлетворения.

Россияне, а не, скажем, викинги какие-нибудь, покорили россиян, и главенствующее меньшинство стало вдруг господским относительно покорённого большинства, и зверь стал теперь главным исполнителем человека, а то и попросту сверхчеловеком, тем же олигархом! а человек... что человек?.. он взял, да и изничтожился.

Не только великая криминальная революция случилась в России, хотя таковая тоже была, а *Великая антропогенетическая и антимировая революция* — с явлением *антропогена* и *антимира*, с утверждением в России самого что ни на есть *реального ада*, о котором никакие Гомеры и Данте даже помыслить себе не могли.

Всё тут, конечно, не просто: помрачение, порочность и зверскость захватили многих, очень многих, может, и не всех, но... почему же в той или иной мере и под тем или иным ракурсом не всех, в том-то и дело, что... *всех*, пусть и по большей части соблазнённых, и одурманенных, и обманутых, но... *всех!* Разумеется, люди оставались вроде бы «людьми», даже совершали благие житейские поступки и гражданские подвиги, но... порча (порча ли, а не органика?) была слишком массова и необычайно рисуночна, чтобы пройти мимо неё и не заметить, не задуматься о ней и не сделать всяческих не очень приятных для российского человека, да и вообще человека, заключений.

Сидит в человеке зверь, бес, чёрт, сатана и борется с ним человек, окультируясь, просвещаясь и цивилизуюсь, налагая на себя запреты, лимиты, меры, следуя правилам, нормам, законам, вырабатывая традиции, образ поведения, мораль, наказывая себя за невыдержанку, проступки и преступления, не останавливаясь и перед смертельной карой. Сидит вся эта гадость в человеке и... никак его не покидает. Ничто тут не помогает: ни воспитание, ни убеждение, ни преследование, ни насилие, ни возмездие, ни высший авторитет, ни вера в самого Господа Бога. Ничто! Сидит и... ждёт своего часа, и непременно при случае проявляется, обязательно сотворяя безобразие, кидая человека в безумие, утягивая в инферно, проводя человече по низшей категории, вчистую его предавая и уничтожая. И не может человек от всего этого никак избавиться, и живёт с этим, и хозяйствует, и творит, и за себя борется, и себе подобных не без удовольствия насиливает, и над собой звериное насилие признаёт, и бытует кое-как в удерживающей, стесняющей и насилиющей его цивилизации.

Разные бывают цивилизации. Те, что называются свободными, или либеральными, не такие уж и свободные, более того, они вовсе и не так свободны, а весьма тоталитарно принудительны, хотя у них бывает больше и иначе обустроенных ниш свободы, чем в других цивилизациях — нелиберальных, которые обычно называются авторитарными, диктаторскими, деспотическими. Считается, что Запад либерален, а Восток деспотичен; либерален-де экономизм, а натурализм деспотичен, демократия-де либеральна, а монархия будто бы деспотична. Не всё тут так просто, но факт остаётся фактом: есть цивилизации, где индивид более или менее самоценен, инициативен и конструктивен, а социум — гибкое сообразование индивидов, а есть цивилизации, где индивида попросту нет, а есть элементы, но уже не сообразованного для себя и индивидов социума, а навязанной людям целостной системы, и не общественной вовсе системы, которая здесь вторична, а замещающей общество формализованной структуры, которая как раз первична. Там и там произвол, но в одном случае всё-таки либеральный, а в другом — деспотический.

Русско-российская цивилизация сложилась и бытует как цивилизация деспотическая. В такой цивилизации зверь из человека изгоняется, как и удерживается в нём, тоже деспотически, нередко и прямо по-зверски. Принудительная (вполне как раз деспотическая) европеизация

страны, придавая ей европейский вид, не приводила и не приводит к коренной европеизации России: европидвид в достаточной массе в стране не появляется, страна остаётся населённой более всего симбиозным евро-азиатским элементом, а попытки проевропейского сброса России с России, её насильтственной, уже по-азиатски, реконструкции лишь рано или поздно открывают двери для местного евро-азиатского ада, вырывающегося на экзистенциальный российский простор обильными клубами античеловеческого зверства.

Последненская латинянская смута (первая большая измена Святой Православной Руси); петровская война с Русью ради внедрения Европы в Русь — всё того же латинства (вторая большая измена Святой Православной Руси); сначала либерально-буржуазная, а затем деспотическая большевистская борьба с Россией ради внедрения сначала одной Европы — капиталистической, а потом другой — социалистической, уже и постЕвропы (третья и четвёртая большие изменения Святой Православной Руси); наконец, глобальный слом России ради вторжения глобалистского Запада в Россию под лозунгом экономического и политического либерализма, а на самом деле посредством экономического и политического властного деспотизма (пятая большая измена Святой Православной Руси).

Пять измен — пять ударов — пять катаклизмов!

И каждый удар всегда мыслился и мыслится сейчас окончательным, и каждый раз Святая Русь-Россия уходила в Навь, никогда, впрочем, полностью из неё на свет Божий не выходя. Зато всегда вылезал русско-российский ад, смертоносно обнимавший страну, её душивший и разъедавший, опустошавший и уничтожавший. И каждый раз, исключая пока последний, Русь-Россия, пусть по сути совсем и не святая, очень даже и грешная, выдерживала уничтожающий натиск, переносила очередную адovую напасть и чудом поднималась, хоть и не до конца, не в полный рост, не до целостного себя раскрытия, не до построения собственно русско-российского Дома.

Зато возник, развился, весьма и трансформировавшись, Третий Рим, предсказанный мудрым старцем Филофеем. И сегодня, уже в XXI в., Россия всё ещё империя, пусть и больная, и искажённая, и ослабленная,

ещё и изувеченная криминалом и коррупцией, отвратительная не только с моральной, но и с функциональной точек зрения, зависимая, подлая, позорная. То ли она всё ещё Третья Римская, то ли уже часть заокеанского Четвёртого Рима, то ли просто угасающая евразийская империя, а может, лишь империя, переживающая тяжёлый экзистенциальный кризис. Ничто ещё в России и с Россией не решено! И окончательный уход России с исторической арены возможен, и неожиданное возвращение России из оберегающей её Нави, и никем, кроме русских и даже кое-каких иноземных пророков, непредвиденное возрождение России, её небывалый расцвет.

Российский мир — уникальный мир, сложный, многослойный, затейливый, непонятный. Как был он гиперберейским, скифским, русским и русским, так и остаётся. Это мир совершенно особой *метафизики*, когда не то что рай никакой невозможен, что более или менее понятно, но когда всего более вероятен ад, который почему-то не просто предпочтительнее, но даже почему-то и милее. Ад, а не рай! Пусть лучше будет ад, чем рай, а вот почему именно так — загадка? И ежели случается рай, то не более чем островной и преходящий, к тому же, как правило, аморально и наспех сколоченный, то бишь не рай вовсе, а внешне-физическими-райская резервация — раёк (царь, аристократия, высшее духовенство, дворянство, буржуазия, номенклатура, «новые русские»). Раёк — не рай вовсе, хоть поначалу и не ад, но со временем... особенно изощрённый и полноценный... ад. Моральный рай на Руси — не более чем странная утопия, ирреальная невозможность, глупая мечта!

И несмотря на упорно, во многом и потаённо, воспроизводящуюся на российской территории зверскость, время от времени вырывающуюся на большой простор, российский мир вовсе не обделён ни святостью, ни тем, что обычно именуется человечностью, ни подвижничеством, ни добротой. Зла хватает, но немало и добра! Россия — вполне адовый котёл, в котором вываривается какая-то особого рода экзистенция, о которой можно судить, видно, лишь по одному известному образу — *Иоаннова Откровения*, зачем-то провидчески для человечества уже предположенного — мудро, загадочно и беспощадно!

Российская апокалиптика! Это разве не исторический факт, не реальный феномен, не органичная принадлежность бытия? И не пора ли

обратить на это самое пристальное внимание? Иоаннов текст, не говоря от себя ясно и просто ничего и ни о чём, говорит, тем не менее, многое о самом важном, как раз о том, о чём нельзя или невозможно ничего определённого сказать, но что можно почувствовать и откровенчески, как бы про себя, помыслить. Разумеется, писано это было не для России как та-ковой, как и не для одной лишь России, а для всего человечества, но Русь-Россия почему-то оказалась именно в адекватном Иоаннову образе-со-стоянии, возможно, из-за своей непринадлежности ни к Западу, ни к Востоку, но зато по причине своей устойчивой принадлежности изначальному — ортодоксальному — Христианству. И ежели сам Христос попал в земной ад, был искушаем, осуждаем, схвачен (пленён), истязаем и поругаем, а потом и униженно казнён, то почему же Руси-России, этой евразийской блуднице, не находящей и не утверждающей адекватного себе и Христу жизнетворного образа, не попасть в адовый плен и не подвергаться разного рода инфернальным искушениям, непременно взаимоувязанным с бедствиями, зверствами и катастрофами?

Да, это так: Русь-Россия не то чтобы в исторической западне или экзистенциальном тупике, но в каком-то инфернально-апокалиптическом лабиринте, из которого вроде бы есть выход (свет в конце туннеля), но выход этот почему-то никак не обретается. Именно не обретается, а не находится, ибо выход в данном случае не найти надо, что по большей части и делается, а как раз обрести — через... *преображение!* Это-то как раз и завещано Христом, и подтверждено Иоанном, а предписано историей-судьбой, но это-то никак и не случается.

Искали выход через сдачу русских верхов латинству (Смутное время), через принудительную европеизацию (Петровы «вихри»), через подражательную «либерализацию» (Александр II, Временное правительство), через принудительную и тотальную социализацию (большевизм), через опять же принудительно-подражательную, но уже глобалистическую «либерализацию» (реформы 1990-х), но... воз и ныне там — не только не в России, но даже и не на пути к ней, но зато лабиринт на месте и Россия в нём тоже на месте, — и это несмотря на благие намерения и злые деяния, на страшные катастрофы и массовые жертвы, на великие подвиги и беспрецедентные предательства, на необъяснимую

любовь к России и вполне объяснимую к ней ненависть. Ничего удовлетворительно завершённого, ничего устойчиво позитивного, ничего приемлемо длящегося. Россия не просто в безысходном лабиринте и в дурманящем аду, что более или менее уже осознаётся, но она и сама себе ад и лабиринт, что ещё только предстоит по-настоящему осознать.

Сама себе ад и сама себе лабиринт!

Рассуждать о России в терминах науки — наивно и глупо, философии — бессмысленно, религии — бесполезно. Метафизика России, как и её экзистенциальная апокалиптика и апокалиптическая экзистенция — не поддаётся ничему *термин*-альному, выходит за границы любого слова и не улавливается никаким чувством. Россия в мире и одновременно за его пределами, она восходит к ничто и нисходит в ничто. Отсюда всего более она признаёт и выносит *трансцендентное ожидание*, им и живёт.

Срываюсь очередной раз в бездну, Россия продевает над собой совершенно необъяснимый и даже никак особенно не чувствуемый апокалиптический трюк, ставящий Россию на грань существования и требующий от неё для возврата к жизненной норме огромных усилий, трат и безвозвратных потерь. Россия не живёт ни выгодой, ни удовлетворением, ни утешением. Русские в целом всегда физически проигрывают, а метафизически никогда не выигрывают. И эта апокалиптическая игра («русская рулетка») никогда не прекращается, вспыхивая унылым смертельным блеском вновь и вновь. Реальность России — течение ирреальности — жуткой, бесформенной и притягательной. Россия тут — и впрямь «бешенная фемина», не знающая ни поводырей, ни ориентиров, ни оков!

Однако Россия, как и всё в этом мире — проект. Проект предельно странный, почти что безумный, но... *проект!* Это постоянно ищащий себя, становящийся, но всё ещё не ставший, ищащий себя и себя же не находящий проект. Что-то вроде непрерывного, повторяющегося и замкнутого на себя сна, не способного ни окончиться, ни увенчаться славой, ни исчезнуть. История России непостижима, она изобилует вопросами и не балует ответами. Зачем все эти катаклизменные срывы, отчего надрывные рывки вверх и вперёд, почему непременные в себе разочарования?

Срывы 1990-х — не просто антисоветский, антисоциалистический и

даже антироссийский акт, совершённый противниками Советов, Социализма и России; это куда более значимый акт — акт отказа от человечности, морали, закона, причём вовсе не в горниле общей милитарной междудушобицы, а в рамках и на основе... цивилизации, оказавшейся способной, как оказалось, легко обернуться и антицивилизацией, мгновенно задействовав всю свою инфернальную подноготную. Метили-де в Советы, а попали в Россию. Нет, не только: метили и в Россию, а попали-то прямиком в... человека, причём не просто в русско-российского человека, не просто в индивида или элемента, не просто в гражданина, а вообще в человека — тоже ведь чьего-то проекта. И обнажился вдруг оборотень-зверь, и явился мир-оборотень, и разверзлась оборотистая бездна. И вновь подступила погибель, причём прямая, расчётная, проективная! И опять жуткий момент жуткой истины: *быть или не быть?!*

Многое, очень многое говорит за то, что «не быть»! — и очень малое, совсем малое стоит за то, чтобы «быть»! Россия и русские, кажется, и впрямь уходят с исторической арены, да не в Навь только, откуда можно вернуться при случае, а прямо туда — в Небытие, постепенно уходят, поэтапно и очерёдно, гуськом, а элита, вдруг расчеловечившаяся и заблудившаяся, занята присвоением, накоплением, гедонизмом, ещё и бегством от России и презираемого ею российского населения — в рублёв-ские (!) замки, за границу, в офф-шиоры (!), на Запад, на Восток, на острова, под пальмы, к морю, куда угодно, только подале... от России, да не только от уравниловки, бедности и аскетизма, но и от всякой социальности, ответственности, подзаконности, ибо Россия, точнее то, что всё ещё называется Россией, для откуда-то вдруг взявшейся, не коренной и не легитимной, зато очень лабильной и цепкой, коварной и изменнической элиты не более чем чуждый и грязный источник богатства и её — этой элиты — благополучия, а уж никак не Родина, не Отчизна, не Общий Дом.

Зло, зверство, ад давно сидят в человеке, постоянно дают о себе знать, время от времени берут вверх, преодолевая человека в человеке и оборачивая его в античеловека. Человек вне человеческих рамок, задаваемых насилием, безапелляционно, сверху — не человек. Нравственный

критерий не на земле, а на Небе, он не от человека, а от Бога, он не доказывается, а утверждается. На то как раз и Бог, и религия, и вера, и страх Божий. Освобождение человека от нравственного императива — высвобождение в человеке зверя, беса, сатаны. Всё это хорошо известно, но... не просто вдруг стихийно является, но и сознательно не вдруг допускается, причём самый писк здесь — прекращение всякого различия добра и зла, выброс на передний план пользы, выгоды, удачи, всего того, что вполне адекватно... *деньгам, капиталу, экономизму*.

Внедрённый не без массового насилия и в общем-то принятый большинством населения советский, он же и сталинский, социализм, отвергнувший Религию и Бога, но не расставшийся насовсем с гуманистическим моральным кодексом, его даже небезрезультатно культивировавший, не только не преодолел античеловека в человеке, несмотря на свою нарочито «добропорядочную» идеологию, а наоборот создал условия для пусть и подспудного, но необратимого вызревания в советско-социалистическом человеке античеловеческого семени, что как раз замечательно проявилось при социо-хозяйственном перевороте 1990-х. Социалистический «общак» не пошёл населению впрок, а вызвал неожиданное (а может, и вполне ожидаемое) его отторжение. Человеку очень захотелось своего, ему дорогого, ещё и в безразмерии. Инициатива с господством общественной (государственной) собственности, потребаскетизма и межлюдской уравниловки закончилась полным крахом, как потерпели полный крах установки на низкооплачиваемый труд, всеобщий работный энтузиазм и безличное предпринимательство. Да, крах наступил не сразу, но давно уже было ясно, как раз после страшной мировой войны, восстановления хозяйства и перехода к мирной жизни, что по-советски и по-социалистически, а точнее — по-азиатски (по системе государственного трудо-владения), далеко стране не уйти, что нужно что-то радикально менять, приближаясь непосредственно к человеку, его потребностям и чаяниям, к человеку-индивиду. Это-то очеловечивание, несмотря на известные и вовсе не рядовые преобразовательные усилия партийно-советской власти, так и не было достигнуто, а по итогам Пражской весны и вооружённого вторжения в Чехословакию 1968 г. в нешуточном испуге и вовсе заморожено.

Завороженный «немеркнущим марксистско-ленинским учением»

и под страхом при первом же новом реформистском импульсе окончательно развалиться, советско-социалистический строй приговорил себя к застою и незамедлительному приближению своего конца. Опрометчивое империальное вторжение в Афганистан и польское сопротивление советской имперской ускорили развитие «строевого» негатива, а Горбачёв со товарищи, затеяв *перестройку*, превратил социалистическую реформацию в либерально-буржуазную революцию, с потрохами сдав СССР, социализм и всю соцсистему на милость полюбившемуся ему Западу, ставшему нежданно-негаданно триумфальным победителем в Третьей мировой — холодной — войне.

То была уже не драма, даже не трагедия, а самое примитивное падение Третьего Рима, его милостью Божией предположенный крах, хотя и не полное исчезновение.

73

Он должен был исчезнуть, этот ужасный Третий Рим, распавшийся и растерянный, но он не исчез — от СССР осталась сердцевина, самая что ни на есть имперская — Российская Федерация, да мало что осталась, ещё и оказалась правопреемницей СССР — этого ужасного Третьего Рима.

Да, Россия как таковая ушла в навь, что вовсе не означало смерти России, её полного исчезновения, как и неприсутствия её образа, от неё следа, её духа в самой яви. Печать от России на свету осталась, и не как мёртвая, а как живая, как полномочный двойник России.

Со временем двойник этот очухался, окреп, стал всё более адекватно представлять оригинал, который, конечно, ещё не вернулся из вынужденной эвакуации в навь, но... накапливая силы, шаг за шагом стал выходить из сакральной темницы, укрепляя духом попавшего под глобалистскую оккупацию двойника.

Ничего ещё в России и с Россией не решено, хотя угроза для России исключительная: медленное, но необратимое угасание России и русских в экзистенциальной растерянности, обездуховности, помрачении, беспамятстве, разложении, в невосполнимых утратах. Угроза великая и коварная — как раз в связи с водружением в Российской Федерации культа денег, потребительства, гедонизма, аморализма, антикультуры,

кriminala, именно всего того, чем бывает отмечено гниение любой цивилизации, её переход в свою негативную — инфернальную — противоположность. Многие из России поддались на свалившиеся вдруг лукавые соблазны, оказавшись и в немалом материально-потребительском выигрыше, многие стали просто жертвами внезапно воцарившегося антимира: как физическими, так и нравственными, а вот многие предпочли всё-таки остаться человеками, пусть и обедневшими и внешне даже проигравшими, как, и, разумеется, осмеянными и отверженными, но... *Человеками* — с корнями, почвой, культурой, а главное — с человеческим достоинством. Кто-то из выдюживших вдохновлялся позитивным гуманизмом, даже и в коммунистической интерпретации, кто-то исходил из родной отеческой традиции, кто-то обрёл опору в Православии, в Церкви, в Боге. Так или иначе, но добро не было насовсем поглощено злом, а russkost' — глобализмом. Приняв сражение и пройдя тяжкое, вполне и смертоносное, испытание, многий *russkij* устоял, выжил, даже и окреп, наново окропив своё сознание и свою душу исконной *russkost'yu*.

О russkosti спорят, видя в ней либо лингво-культурную особь, которую, кстати никак невозможно отрицать, даже и либерал-глобалистам, либо быто-почвенную особость, с которой тоже трудно не согласиться, либо какую-то кровно-генетическую значимость, которую с превеликим удовольствием и азартом всячески оспаривают, разумеется, городские, внешние, иные, но никак не деревенские, не местные, не russkie, для которых russkost' настолько органична, что рассуждать о ней в аспекте наличия или отсутствия совершенно нелепо. Да, да, есть она, есть — *russkaya krov'*, хоть и сложно составленная, и с примесями, и с добавками, но... есть! доказательством чему и служит russkoe krest'yan'skoe estestvo. И в городах тоже полно russkix — именно по крови, по историческому зову, по легко ощущаемой бытовой несомненности. Иное дело, что russkim может стать и любой nerusskij, особенно ежели во втором-третьем поколении, но это всего лишь благая способность russkogo imper'skogo etnosa легко интегрировать других, но при этом и легко самому интегрироваться в других.

Рusskost' — вещь древняя. Тут тебе и гипербореицы, и арийцы, и скифы, и малоазийцы, и греки, и славяне, как, наверное, и кое-кто другой

вроде венедов, остготов или вандалов. Но русскость и молода, ибо собственно русские, или великороссы, явились на историческую арену совсем недавно — всего-то каких-нибудь триста лет, уже по итогам петровских преобразований, правда, явились не на пустом месте, а прямо из среды русов, русичей, россов, руских (руцких).

Да, течёт в великороссах не одна славяно-российская кровь, но и угрофинская, и татарская, и тюркская, но, во-первых, преобладает всё-таки славяно-российская, во-вторых, кровно-генетические механизмы совсем не исключают рождения новых особенных кровей, которые по-особенному о себе и заявляют. Вот и великороссская кровь, этот кровно-генетический кластер, тоже по-особому о себе заявила и... ныне, в момент на себя беспощадной атаки, упорно продолжает о себе заявлять. Вообще же очень полезно знать всяким отвергателям и разрушителям этносов, народов (на-род-ов) и наций (на-ш-их), что зов крови и генетики самый сильный из зовов, а иной раз и воистину спасительный — этот зов родного к родному. Кровно-этническая общность — самая крепкая, самая устойчивая и... внезапно вдруг при надобности легко восстающая!

Смотрите, господа космополиты, новые кочевники и граждане мира, смотрите на китайцев, корейцев, арабов, турков, индийцев, евреев, таджиков, узбеков, азербайджанцев, грузин, армян, чеченцев, абхазов, курдов, на европеизированных англичан, французов, немцев, итальянцев, сербов, албанцев, греков, поляков, венгров, румын, как и на Соединённые Штаты Америки, представляющие собой полиэтнический конгломерат, а вовсе не органическую замесь родственных друг другу американцев.

Вот и русские, осуждённые извне и изнутри, а изнутри даже поболе, чем извне (см. великую русскую литературу, писания тех же большевиков, откровения русских-де интеллигентов, либералов и диссидентов), имеют полное право на самоидентификацию и самоутверждение, более того, они обязаны это делать, ибо присутствие русских в России и в мире — явный и непременный залог текущей и предстоящей российской и мировой экзистенции.

И дело тут не так в самих по себе русских — этих бессознательных русских, а в таинственной метафизике России и её весьма незадачливых субъектных носителей — этих самых бессознательных русских, кстати, русских не так по крови и физической генетике, как по духу и генетике

трансцендентной.

В России много чего нехорошего, а в русских вполне хватает всякой мерзости, — так что речь идёт не о Святой Руси, которая давно и весьма пока надёжно бытует в нави, как не о каких-то идеальных русских, которые-де лучше кого бы то ни было, нет, речь идёт о достаточно плохой России и весьма негодных русских, но... но... имеющих какую-то, разумеется, вполне трансцендентную, миссию на Земле, да, пожалуй, что и на Небе. И вот надо бы хоть как-то почувствовать эту сакральную необходимость России и русских, не отвергая их выразительной нехорошести и не отстаивая с пеной у рта их необычайных достоинств. Есть она или нет, эта оправдательная трансисторическая миссия, делающая Россию и русских для всего света отчего-то необходимыми, придающая им особо непотребный смысл существования, а самому их непотребному существованию — великий смысл?

Какой, вообще смысл в русской апокалиптике, если не в проигрывании, как на мистериальной репетиции, всего реально человеческого, причём в самом что ни на есть его обнажении, так сказать — в истине, ибо русские ничего по сути не скрывают, не избегают, а имеют дело со всем в бытии возможным, как и без всяких проблем идут на всё в бытии невозможное, что означает лишь одно — *откровение*, как раз то самое *Откровение*, уловленное премудрым Иоанном и отражённое предупредительно в Библии? Россия — *всемирное откровение*, а русские — его преданные adeptы и акторы! Выходит, что тут что-то есть, что-то важное и нужное, что-то в высшей степени потребное, и вовсе не такое уж нелепое и несуразное, как и не бессмысленное. Откровение — не бессмыслица, даже если убедительно кажется, что это откровенная бессмыслица, ибо бессмысленных откровений попросту не бывает!

Опыт России и русских — пример выживания, разумеется, с ущербами и потерями, более того, выживания в невозможности, но и это не всё — в невозможной невозможности, причём не в беде лишь, не в отвержении, а в... *бессмыслице*, что особенно выразительно, живописно и непереносимо. Бессмыслица — высшее испытание для человеческого сознания, как и его изысканнейшее наказание, если не казнь, причём бессмыслица, вполне субстанциальная, которая повсюду и от которой никуда не деться, ибо не убываемая.

А вот человек — не одно и не просто сознание, но и *бес*-сознание, когда сознание, активно работая против самого себя, погружает человека в атмосферу *бес*-смыслицы и возбуждает *бес*-человечность. Это и есть земной (наземный) Ад, из которого нет простого выхода, ибо это виртуальный лабиринт, но который, кажется, может быть сначала перенесён (как пытки), а потом и чудесным образом преодолён. Кем же? Как раз Россией и русскими, ежели они всё это переживут, не сгинут и... восстанут!

Возможно ли такое? Вообще говоря, апокалиптика предполагает *апокатастиску*, именно то самое преодоление ада, которое, как и сам ад, предназначено России и русским. Вся ещё только предстоящая миру драма (трагедия, коллизия, катастрофа) уже в России и уже с русскими. Россия кое-как стоит, хоть по большей части и в нави, а русские, не могущие покинуть явь, безнадёжно всему этому адovу достоянию сопротивляются. Что-то и кто-то ломается, гибнет, исчезает, а что-то и кто-то держится, сохраняет себя, крепнет. Духовная тут идёт игра, идейное разверзлось сражение, метафизическая разгулялась заварушка. И ежели России суждено выжить и апокатастически преодолеть охвативший её превентивный апокалипсис, то лишь через *преображение*, которое апокалипсис и должен из России и русских непременно выжать.

Никакой тут нет надежды, как и не осталось никакой веры в Россию и русских —всему этому тоже есть свои границы и свои сроки. Похоже, что границы уже перейдены, а сроки пройдены. Так что не в надежде тут дело, как и не в вере. Здесь что-то совсем другое, а именно... *потребность*, всего лишь *потребность*, как со стороны измученной адом, безумием и бессмыслицей страны с её замордованным ноосферными субстанциями населением, так и со стороны весьма уже озабоченного активно наступающим апокалипсисом человеческого мира. Край уже явлен, струна натянута, терпение на пределе. Большой войны нет, а потому нет и больших разрешений: правящая элита лишь усугубляет ситуацию, достигая своих пошлых целей самым подлым образом — через катаклизменное (катастрофное) управление, а широкое население, частично приманутое обильным, но явно прельстительным, аморальным и вредоносным потреблением, не говоря уже о мириадах нищих, голодных и абсолютно униженных, всё более ощущает

присутствие не столько даже большого зла, сколько большой, уже и totally античеловеческой, беды. И вырыв России и русских из родной апокалиптической бездны вовсю ныне желателен, пусть лишь метафизически и трансцендентно, причём желателен любой вообще человечностью, уже и остаточной, независимо от места и степени осознания. Быть или не быть России с её неотмирными адептами и акторами, для которых ничего в этом мире не дорого, кроме дорогого им слова-символа — РОССИЯ, это уже не дилемма одной России с русскими, а и дилемма всего мира, ибо быть или не быть России с русскими означает, как ни странно и для многих нежелательно, быть или не быть и всему человеческому миру.

Задыхающийся от ненависти к России и русским, высокопоставленный американский интеллигент — то ли польский американец, то ли американский поляк, упорно мстящий России и русским за насилие-де над Польшей, забывая о регулярном насилии Польши над своим восточным соседом, как, впрочем, и о насилии Европы над его родной Польшей, очень сильно ошибается, думая, что он благодетельствует всему миру, укрощая и уничтожая Россию, как думал, кстати, и другой ненавистник России, как и той же Польши — Адольф Гитлер, считавший, что он очищает землю от неполнценных и недостойных унтерменшней. И невдомёк зарвавшемуся специалисту по геополитическим нуллификациям, что судьба России гораздо теснее, — разумеется, метафизически и трансцендентно, — связана с судьбой всего мира, чем даже судьба тех же Соединённых Штатов, ибо за крахом США последует лишь спасительный для всех очистительный кризис, а за падением России — жуткая всемирная катастрофа. Эгрегор США просто витает над миром, а эгрегор России — прямо в центре мира. И грохот от разломавшихся вдруг США хоть и будет раскатисто громким — прямо-таки громоподобным, но для мира эта долгожданная катастрофа окажется более благодатной, чем погибельной, она будет по преимуществу физической, а вот невидимые атмосферно-земельные волны от не столь уже громкого раз渲а России окажут самое скверное влияние на мир, ибо это будет *катастрофа метафизическая* — гнусная предшественница *общемировой трансцендентной катастрофы*.

Глобальный центр, пользующийся услугами США вместе с их ближайшими спутниками, угрожает ныне всему миру, жаждая полной власти над ним и его эффективной эксплуатации, системной переделки под себя и свой ультраколониальный глобалистический проект. Россия же не угрожает никому, ибо ей ничего ни от кого не нужно, хотя сама она под постоянной угрозой, причём не только от внешнего контекста с тем же глобальным центром, но и, что особенно примечательно... от самой себя. Перманентные кризисные состояния России рубежа XX и XXI вв. — не только яркие свидетельства общего и глубинного в ней не-благополучия, но и красноречивый знак того, что мало кому из её элитных слоёв она воистину дорога. Современная российская элита — главный источник и генератор кризисного напряжения в России, хотя и не так из сознательной ненависти к стране, как в силу своей примитивной и во многом уродливой жизненно-исторической позиции. Моральное отрезвление никак не приходит в пространство России и уж тем более не затрагивает её во всех отношениях «странную» (читай и стороннюю) элиту. Между элитой (скорее антиэлитой) и народом (более всего лишь населением) нет никакой морально-конструктивной органики, но зато велика приверженность большей части элиты и немалой части народонаселения к обильно расцветшему в стране эгоизму, стяжательству и аморализму, не говоря уже о разного рода большом и малом изменничестве. Массовое предательство страны, предков, истории, наследия, традиции, рода, семьи, сынов и дочерей, как и государственности, армии, культуры, нравственности, долга, ответственности, наконец — самой по себе человечности — актуальная норма! Страшная в своей обыденности норма! А успокоительное: «Не всё же так плохо в России!», может, и утешает где-то и кого-то, но общей картины пока никак не меняет. И весь этот не вдруг благоприобретённый негатив масштабен, энергичен и... бесконечен, — пять, десять, двадцать, двадцать пять, тридцать, сорок... сколько ещё надо пережить мучительных и издевательских лет, чтобы страна, её народ и её элита хоть как-то опомнились, ужаснулись бы от самих себя и отстали хотя бы на йоту от инфернальной пагубы, их прельстившей и уверенно уничтожающей. А ведь уже надоело, ох как надоело, а всё это почему-то длится, длится, длится!..

Россия не служит ныне России, а работает истово и беззаботно почему-то против России, хотя Россия, пусть уже и какая-то псевдо- или пара-Россия, всё ещё держится, разумеется, держится чудом, какой-то потусторонней волей, необъяснимым сверхмировым намерением. В эгрегоре России есть что-то такое, что, будучи вплетённым в незнамую надмирность, удерживает Россию от полной диссипации и исчезновения, хотя тело и дух России нещадно разъедаются, дырятся, истончаются, всё более превращаются в нелепый, безобразный и зловещий призрак. Россия на дне — на дне людской экзистенции, кажется даже, что и ниже, она уже в самой нечеловеческой бездне, никаким дном по определению не снабжённой.

Здесь вовсе не какая-нибудь эмоциональная, поэтическая или риторическая метафора, а самая что ни на есть рассудочная констатация, лишь частично облачённая в образные одежды: Россия ныне даже не во мгле, Россия сегодня в открытом, ничем не заслонённом и ничего не стесняющемся... *бесовстве*, когда бес тут всё — человек, институция, система, а признаков этого настолько много и они настолько видны, что называть их, заунывно перечисляя, нет никакой надобности. Гоголевские «мёртвые души» — не более чем безобидный намёк на уже обездушенное, но активное и деятельное, массовое человекообразие. Оборотень — не сказочный вовсе персонаж, а вполне реально действующий актор: человек-оборотень, институция-оборотень, система-оборотень, мир-оборотень! И Россия ныне тоже оборотень. Тяжёлая тут, знаете ли, констатация, нехорошая и нежеланная. Но что, прикажете, делать? И ведь не в первый раз оборотень, не в первой беснуется, но вот не в последний ли раз, не окончательно ли?..

Как Русь-Россия обычно приходила в себя после очередной своей бесовской и очень всегда заразной падучей? Через насилие: войну, репрессии, иногда отложенное на срок насилие, вроде бы со случившимся ранее падением в бездну и не очень связанное, однако всё равно всплывавшее, а вот сейчас, после поражения в первую очередь от самой же себя, пусть и в образе СССР, когда очистительного насилия нет, Россия, никак сама по-мирному и по-солидарному не очищаясь, лишь пытается свою явную падшость не только признать, осистемить и узаконить, но и чуть ли не увековечить, разумеется, не совсем навечно, а как раз

до момента либо полного исчерпания страны как резерва частно-колониального обогащения, либо долгожданного её развала, а вероятнее всего — того и другого сразу!

Взбесившаяся, никак не отступающая от постигшего её безумия, не способная к напряжённой саморефлексии, не владеющая ни собой, ни своей судьбой, идущая к своему историческому, а точнее — уже внеисторическому, завершению-концу страна-оборотень!

И дело тут не в том, что кто-то не так что-то делает, не так управляет, не тем занят, а в общем глубинном и даже метафизическом стремлении России, представленной её сбытым с толку населением с уродливой антиэлитой во главе, к самоотрицанию, самороспуску, к суициду, что было наиболее ярко продемонстрировано лукавым горбачевизмом и беспардонным ельцинизмом, не было преодолено невнятным и непоследовательным путинизмом и обрело второе дыхание под опекой виртуально-восторженного медведевизма.

Метафизическая подоснова нынешней России, её действующий экзистенциальный концепт, как и главное направление движения, насквозь пронизаны *инфериализмом*, вцепившимся в Россию мёртвой хваткой и её никак не отпускающим, но... не без мерзкого доброжелательства со стороны... самой России, сидящей в ней крепко поганой анти-России.

На «ход человека» в направлении оздоровления, укрепления и возрождения имперской России — этого ныне умирающего Третьего Рима, рассчитывать не приходится. Одряхлевшая империя ещё жива, поскольку жива ещё Россия, но свежих амбициозных и деятельных имперцев, кровно заинтересованных в животворном восстании имперской страны, нет. Даже простых великовладельцев почти не осталось, хотя ряженое в владычные камзолы комедиантство на псевдоимперских аренах ещё случается. Разумеется, люди в России есть — труженики, творцы, продолжатели рода человеческого, но их не то чтобы мало, их вполне и много, но их... как бы и нет, ибо вертящийся в России бесо-инфериальный мир их совсем не замечает, а ежели из себя заслуженно не выталкивает, то предусмотрительно закатывает в навь. На собственно людском уровне в России тишь, гниль и благодать!

Гораздо большие надежды в России можно и нужно возлагать

на «ход вещей», на то, что происходит «само собой». Россия и русские любят полагаться на «авось», любят полагаться на этот самый ход вещей, который, вовсе не гладя Россию и русских по головке, вроде бы всегда или почти всегда её выручает. Однако пока ход вещей более всего срабатывает сейчас против России, а не за неё, хотя он постоянно сигнализирует о необходимости радикальных перемен, который сам по себе он потянуть почему-то не может, явно жаждая вполне уже людского конструктива.

Россия же терпеливо ждёт какого-то волшебного разворота в самом ходе вещей, когда либо всё само собой решится, что, конечно, ни для кого особенно не вероятно, либо разразится такая великая круговорть, от которой мало уже никому ничуть не покажется. Россия склонна более смотреть на ход вещей, чем в нём участвовать, зная, что у строителей анти-России и антироссийского хода вещей всё равно ничего не получится, ибо Россия была всегда и навсегда останется именно Россией, поглощающей в своем неблагодарном чреве всех её антироссийских благодетелей. С Россией шутить опасно, попросту нельзя, хоть и шутят с ней от раза к разу, шутят!..

В явном виде ход вещей пока не вытаскивает Россию из инфернального болота — наверх, к самой себе, не говоря уже о Святой Руси, а в лучшем случае удерживает остаточную Русь-Россию на полуплаву. Россия ещё не растворилась окончательно в мировой инфернальной трясине, ибо остаются ещё в ней морально, позитивно и конструктивно настроенные русские, несущие Россию в своих сердцах и воплощающие её в кое-каких реальных делах, не дающие России сгинуть в пустотах небытия. По той же причине Россию никак не удается переделать в основе и сразу под западный абрис, что означает по замыслу последовательных противников России, в том числе и из русских, её — Россию — *модернизировать*. Власть, кажется, уже не представляет себя России имперски самостоятельной и национально саморазвивающейся. Самостояние и саморазвитие — уже как бы не удел России, она милее властей предержащим как производная от глобальной заокеанской ненасытной матки *суб-страна*, утратившая не то что имперскую, но даже и уже изрядно подыстёртую национальную субъектность, вполне уже включён-

ная в глобальную всемирную империю — Четвёртый Рим. Самое поразительное, что тут *уже* в некотором роде исторический факт, может не до самого конца свершившися и ещё не полностью осознанный.

Однако ход вещей захватывает весь мир — есть ведь ещё и *всемирный ход вещей*, а потому российский ход вещей ещё не весь ход вещей в России, ибо последний весьма и всё более зависит от внешнего хода вещей, в котором не только наличествуют разнонаправленные процессы (управляемые и не очень), но и всё более усиливаются фуркционные тенденции, заплетающиеся в какой-то могучий катализмогенный клубок. А это означает невозможность каких-либо однозначных проекций на будущее мира и его отдельных локалий. Мир не только уходит от Модерна, он уже уходит, захваченный Постмодерном, и от самого себя. Постмодерн — не только уход от Модерна, но и, видно, переход к какому-то *постмиру*.

Глобальный центр рассчитывает на «плановость» и относительную плавность такого трансгрессивного перехода, противопоставляя слепоте хода вещей свою проективную прозорливость. Гарантий успеха здесь служит уже, кажется, обнаруженная человеком-демиургом научно-техническая возможность перевода человека в образ *постчеловека* (это для передовых западников) и ведения боевых действий без больших, к тому же хорошо оплаченных, потерь (это уже против отсталых восточников).

Однако в человеческом мире, весьма далёком от абсолюта, действует один любопытный закон, который можно назвать *законом отрицания ожидаемого* (или, попросту говоря, *законом лжи*). Ход вещей хоть и слеп, но зато в себе весьма уверен, и он почему-то любит всё время разворачиваться к человеку своей незнаемой, а потому и непредвиденной, стороной, которая всегда где-то есть и всегда почему-то вдруг выходит из потенциальной глубины на актуальную поверхность.

И то, что на самом деле может выдать всемирный ход вещей, никому неизвестно. Нынешняя виртуализация бытия не только его изменяет, обогащая и упрощая одновременно, но и отрицает, вытесняя собою его реальность. В основе ожидаемого и созидаемого постмира уже не физическая реальность, а овнешневлённая мысль, отодвигающая собственно физическую реальность на задний план и превращающая самого

человека в движение мысли, однако вовсе не такой уж личностной и самостоятельной, как может вспыхнуть показаться — человек оказывается теперь существом не столько из себя мыслящим, сколько извне мыслимым. *Переход в постмир — переход от человека мыслящего к человеку мыслиному.* Мысль во всемирной сети вроде бы есть, а вот человека что-то... нет! Причём мысль вовсе не обязательно, что человеческая. Переход в постмир — переход в большую неизвестность, может, и манящую своей дальней бесконечностью, но вполне и обрывочную.

75

Ход вещей хорош своей слепотой: ведёт незнамо куда и всё! Он хорош своими неожиданностями, а неожиданности становятся ожиданиями в завершениях. Пошла Россия вроде бы по пути либерализма, а пришла... к *произвольному деспотизму* (произволу деспотизма и деспотизму произвола) — и ничего тут не поделать! Ибо таков результат хода вещей, который никаким субъектно-субъективным установкам не подчиняется, а ежели с ними солидаризуется, то лишь в случае их ему адекватности, а вовсе не наоборот.

Помимо собственно хода вещей, т. е. хода самого по себе бытия, есть ещё и ход... *неизвестности*, той самой неизвестности, которая сразу вне и внутри бытия и которая влияет по-своему, т. е. неизвестно как, на ход вещей и ход самого человека. Тут царство трансцендентности! Великие посвященные это всегда хорошо понимали, ясно осознавая при этом, что ни к чему действительно великому никого приблизить нельзя. Великое творится само, ибо оно трансцендентно, а великий человек тут всего лишь орудие работающей трансцендентности, как и само бытие, сама история. И ежели ход вещей хоть как-то человеком условим и трактуем, то что может сказать человек о ходе неизвестности? Ясно, что *ничего!*

И однако есть интуиция, предчувствие, озарение. Отсюда и пророчества. Тот же непонятный, как сама неизвестность, Иоаннов «Апокалипсис». Падение, погибель, смерть, а потом вдруг возрождение, возвышение, преображение. Когда-то явился на Земле человек, судя по всему, из неизвестности. Крохи знания, добываемые наукой о предистории человека, его начале, мало что говорят: главное тут всё равно за надёжной

завесой, в тайне. Да и сама знаемая история не так уж человеком знаема, хотя сколько всего уже известно, сколько зафиксировано, сколько описано. Тома, тома, тома! И знать всё это досконально невозможно, лишь в общих контурах, да и то не бесспорных. Ну и зачем всё это, это бытие, это мироздание, эта круглая планета, это на ней всяческое животное население, среди которого весьма выделяется явно неземное, как и фактически не мирозданческое, существо — человек, которое мало что существует за счёт физики мира, природы, ёщё и читает окружающее и самого себя, познаёт, раскрывает, что-то несусветное выдумывает о сеесветном, творит, ничего до конца не понимая и лишь всё более удручаюсь от великой тайны непостижимого универсума?

Об универсуме человек сегодня знает даже больше, чем о самом себе. Сам-то он зачем, со своей способностью познавать, знать, переделывать, создавать? Да не что-нибудь вытворять, а совершенно *иное*, чего нет в мире, в природе, на земле, в небесах, в космосе. Человек — *демиург!* Ничего себе! Выходит, что есть какая-то сверхмирозданская задача, которую призван исполнить человек, причём задача человеку абсолютно неизвестная. Человек — раб неизвестности! Делай, а там видно будет! Что это, если не сакральное издевательство? И особенность текущего момента в том, что человек уже на краю — краю *этого* мира, ему данного и им уже весьма преобразованного. Теперь впереди какой-то уже *иной* мир, не просто обновлённый, а совершенно *иной*!

Мир, который сегодня вокруг, это уже бывший мир, который уже был и который должен скоренько исчезнуть, как какая-нибудь очередная ступень транскосмической ракеты. Этот мир уже сделал своё дело, выведя человека на передний край мира иного. Проект земного человека вполне исполнен и он неумолимо завершается. Обвиртуаленный мировой кочевник — прообраз не столь уж далёкого и неисполнимого нового человекообразного существа, одной «мозгой» уже *иного* и одной ногой уже в *ином*, как раз в энергично уже наступающем, мире. Впереди, видно, одна лишь большая заваруха, эдакий новый Вавилон, попытка прорыва в *иномирье*.

История человечества — история подготовки этого сверхчестственного прорыва в *иное*, история тягостная, страдательная, беспощадная. Всё достигнутое человеком-демиургом внезапно мельчает перед

оным загадочным прорывом, превращаясь в выцветающий на глазах нанонуль. Всё! Историю можно уже не изучать, о ней уже не стоит спорить, её можно попросту забыть. Человек уже не должен знать, что он именно человек, а не зверь, не киборг или не эфирек. Всё человеческое в человеке подлежит забвению, стиранию, исчезновению. Теперь очередь за *иноземлянином*, а может, и *инопланетянином*. Неча теперь ждать пришельцев из иномирья, нужно немедленно вывести иномирца прямо на Земле. Такова, видно, участь самых передовых человеков, самых современных, самых нацеленных на что-то сверхчеловеческое. Отсюда и для этого весь этот нынешний научно-технический прогресс, ввинченный непосредственно в мозг и геном человека, в его несчастную душу, этот уже вполне нечеловеческий прогресс, нагло впившийся в наномир и амбициозно осваивающий мегамир. Человек уже объект не так изучения с удержанием, как переделки с перезагрузкой. Из человека вылезает на свет постчеловек — киборг, эфирек, зверь. Проект запущен и неукротимо исполняется!

Да, коллизия, очень большая коллизия! Мировая и по всему миру. И нет уже никакой возможности ни остановить переходный процесс, ни избежать уже неотвратимой постчеловеческой мутации. Так что впереди решающее столкновение между постчеловеком и человеком, война существ и миров, что-то вроде новой неополитической революции с новой межвидовой войной. И ежели Запад явно стремится к Post, то Восток более всего тяготеет к Retro. Но между Западом и Востоком располагается провокационный срединный мир, взявший на себя функцию добровольного детонатора большого антропологического и антропогенного взрыва. Мутационная катастрофа, она же вырыв человека в иномирье, не может не сопроводиться катастрофой построенного человеком мира-матки, ставшего ненужным и обременительным, хотя и продолжающим испытывать великое желание быть и наслаждаться уже весьма сомнительным бытиём.

Тут важно заметить, что построенный человеком-демиургом мир, т. е. нынешний искусственный мир, не подлежит долгому пребыванию на Земле, которую он уже перерос и от которой уже успел отречься, а потому в любом варианте — сложном мутационном или простом разрушительном — он подлежит ликвидации, причём по историческим

меркам незамедлительной. Это мир-аномалия, мир-урод, мир-инфекция. И теперь разворачивается всемирная схватка за позитивную-де мировую мутацию: либо по западному нетерпеливому намерению, либо по восточному выжидательному, хотя хитроумный, но подрастерьявшийся Запад может вдруг подвести под мир роковую убойную взрывчатку, а Восток, тоже весьма хитроумный, но не столь разворотливый, может не успеть собраться с силами, чтобы остановить обезумевший Запад и предотвратить заслуженную человеком всеобщую погибель.

Видящий да видит, слышащий да слышит!..

Слово бессильно, глас немощен, жест не характеристичен. Забыто, исказано, изгажено, убито! Всё на свалке: предание, писание, литература, музыка. Акмэ давно пройдено, осталось лишь скольжение вниз. Физика обогнала и подавила метафизику, наука — философию, «прикладнуха» — теорию, технология — личный опыт и коллективное умение. Некогда и некому оглядеться, узрить невообразимое, открыто ужаснуться, а если и есть кому, то его не слышат и ему не внимают, усердно гонят, презирая. Всё так же, как было когда-то, как сегодня и есть!

Последние времена, последние откровения, последние надежды!

Россия, эта очумевшая от безостановочной эксплуатации и регулярно повторяющихся разорений, оголтелых экспериментов, беспардонных перезагрузок и безоговорочных напряжений страна, погрузившаяся всем своим больным организмом во ад и даже не ищущая шанса спорого выхода из смертоносного инфернального лабиринта, этот павший в объятиях небывалой по силе и ловкости тотальной измены и не имеющий возможности подняться в ядовитой атмосфере всеобщего неприятия, победной ненависти и пораженческой корысти Третий Рим, урезанный, униженный, вывернутый наизнанку и приговорённый к исчезновению, хотя всё ещё живой, мистически держащийся и даже внушающий немалый животный страх своим окаянным противникам.

Россия на дне и на краю, если уже не ниже дна и не за пределами края. Нынешняя Россия — полная экзистенциальная невозможность, как и полная антиэкзистенциальная возможность. И отсюда особого рода духовно-идейное, концептуальное, умственно-душевное, философическое напряжение. Здесь не благодатное совершенствование сознания, а его жестокое выжимание под натиском откровенческого самоистязания,

не системное развитие ноосферы, а её безжалостное выворачивание под разоблачительным давлением яростной апокалиптики. Чего-чего, а войнушки в России хватает! Ни благополучия, ни покоя, ни уверенности в будущем. Зато бьётся мысль, но не та, что в эфиросети, а та, что вне этой липкой сети, что свободна, что полётна, но при этом и содержательно весома. И это в момент отмены мысли, её разоблачения, отравления и убийства, в момент обессмысливания бытия и обесточивания человека.

Непреходящая ценность Христианства в его свободном обращении к свободному человеку. Не к вещам, не к отношениям, не к строю, не к культуре с цивилизацией, не к системе, не к формации, а прямо к *человеку*, в котором всё и заключено — всё величие и всё похабие, вся возможность и вся предельность, вся полётность и вся ползучесть. Высокое тут доверие к человеку, оплаченное кроваво-мучительным покаянием Господа на Кресте. И не Господь вовсе отвернулся от человека, а свободный человек отверг Господа, его ненавязчивое, но жёсткое покровительство. И остался эксхристианский человек один, и натворил «делов» по своему разумению, и попал в ловушку самопревращения, всё более становясь уже *эксчеловеком*.

Забыл человек про Неизвестное, про Трансценденцию, про Метафизику, которые не просто есть, но которые вовсю ещё и работают, то покоряя человека, то сдерживая, то направляя его, то ему сопротивляясь, а теперь вот, надо полагать, призывая... опомниться, обернуться, одуматься, в общем — войти в позитивный контакт с внечеловеческим и даже внemировым началом, как раз божественным.

Не Бог в лице Сына Божиего теперь к человеку с покаянием и откровением, а человек с покаянием и пониманием к Богу, да не ради животного себя спасения, а ради удержания и укрепления в себе ядра человеческого, которое как раз и было дадено человеку Господом. Человек ныне обязан осмыслить себя как человек и только человек, и сделать он более всего это может именно там, где он наиболее отчаян и наиболее идейно-духовно, можно даже сказать — философически, объят и задет, но при этом и прозорливо направлен — в многострадальной, безобразной и совершенно уже невыносимой России, этом погибающем, но всё ещё не сгинувшем в небытии Третьем Риме.

В нынешней России как-то вдруг *всё* сошлось: весь мир, всё человечество, вся история, ибо Русь-Россия так и не стала длительно стабильной и неколлизионно развивающейся страной, а всегда была то ли что-то ищущим, то ли ничего особенно и не ищущим, но однако почему-то время от времени в жутких судорогах меняющимся миром. Чего только не увидела и не пережила Русь-Россия, подвергаясь атакам извне и отрицаниям изнутри, ведя войны и преодолевая междуусобицы, расширяясь и укрепляясь, принимая новые концепты и от них же решительно отрекаясь, сидя в просторной природе и из неё вырываясь в космос, консервируя традицию и бросаясь в прогресс, творя великое слово и впадая в глухую немоту, в общем — как будто ища чего-то и вроде бы ничего не находя, а ежели и находя... не ища... вдруг выбрасывая найденное и снова будто бы чего-то ища.

Бесконечный российский поиск — нелепый, жуткий, безрезульятный, заведший Россию в тёмную преисподнюю и обнаруживший махровый экзистенциальный тупик. А всё из-за измен, преклонений, подражаний. И копошится в России всё ею благоприобретённое — доброе и злое, красивое и безобразное, человеческое и античеловеческое, и бьётся, бьётся, не находя выхода. Концентрация невероятной проблемности и вероятнейшей невозможности. Добротнейшая апокалиптика — мудрая, страшная, безысходная!

И остаётся мысль — *свободная русская мысль*, ничем сегодня не связанная и никому из властей предержащих не обязанная. Вне общепризнанных авторитетов, безоговорочных установок и заведомых ментальных сооружений. Мучимая неразрешимыми вопросами, она пробивается сквозь толщу всего уже щедро надуманного, старательно выпестованного и изрядно уже окаменевшего суесловия к живой реальности, к смысловым и ценностным истокам, к сокрытой от бесстыжих научно-исследовательских глаз, но открывающейся сдержанному сердечному размыслию Софии Премудрости Божией, вовсе не догматической, не раз и навсегда данной, никак не исчерпанной и откровенчески доступной.

Русская философия, она же метафизическая мысль, вышла во времена неукротимого раската русской апокалиптики именно на Софию, которая не есть только писание, хотя она в каждой букве и в каждом межбуквенном пробеле любого священного текста, а неисчерпаемый

трансцендентный источник, к которому нельзя прильнуть лишь по любознательности, но который может вдруг сам пронизать страждущего, просветить его и дать ему желаемое.

Софию не изучают, с Софией осторожно и уважительно общаются, да не по своеvolию, а по выпавшему вдруг счастливому билету!

Пройдя выучку у Запада, у латинства и протестантизма, у просвещенства и позитивизма, русская мысль, вобрав в себя всё для себя приемлемое, но западным в целом не удовлетворившись, рванулась навстречу неизвестности, из которой явилась ей вдруг София, никакой мыслью человеческой не запятнанная. И признала русская мысль иномирную мудрость, которая прямо из Ничто и приходит, минуя человеческую критериальность, соответственно, и гордыню, и упрямство, и ограниченность.

Так сочеталась русская мысль с софийным источником, что позволило ей приступить к переосознанию всего вокруг человеческого, ничего высокомерно и загодя не отбрасывая, но и ничему бессознательно не поклоняясь, но... была грубо прервана, подбита на взлёте, хотя и не уничтожена, а ушла в Навь и Вовне, выжила, вернулась в российскую Явь, возродилась, что не значит, что завоевала русское сознание и российскую ноосферу, столь уже искривлённые Европой и загаженные рабским ей подражанием, что ставшие невосприимчивыми к *своему и трансцендентному*, хоть и не порвавшие насовсем с благодатной традицией.

Ничего более ценного, чем софийная мысль, у нынешнего русского человека нет, разумеется, думающего русского, хотя есть у него старинное православное учение-руководство, но ведь ему ещё и понимание современности нужно и трактование вокруг происходящего и обоснованный взгляд в необозримое будущее. Христианское предание — это хорошо, и без него никак нельзя, оно невероятным образом ныне актуализируется, но теперешний русский — не средневековый русич, он видит мир и себя в нём заметно уже не так, как видел всё это его премодерновый предок. Постмодерн — мир-яма, мир-сусpenзия, мир-чёрт-знает-что, и в нём надо ориентироваться, жить, воспроизводиться, терпеть, ждать, надеяться. Нужна идеология, нужен концепт, нужна философия! Какие? Да, да, *софийные*, и никакие другие! Софийность сегодня — не увлече-

ние, не ярмарка, не хобби, а императив: или ты в откровенческом контакте с Софией, или ты никто, тварь дрожащая, безымянное ничто, абсолютный нуль. Такова она, эта выразительная и неизбежная альтернатива!

Неужели русские мыслители рубежа XIX и XX вв. обратились к Религии, Христу, Софии по недомыслию, бестолковости или наивности, — и это уже после торжества экономизма, науки, атеизма, позитивизма, как и гуманизма с либерализмом, прямо перед гигантской европейской войной, прозванной первой мировой, в предверии русских революций, покончивших с Российской Империей и официальным Православием, в ожидании прихода на русскую землю экспериментального социализма, оказавшегося на деле тоталитарно-государственным сталинизмом. Российская элита, давно заражённая европеизмом, не вняла тогда *русской софийной философии*, посчитав её за доморощенный обскурантизм (подумаешь, *Bexhi!*), атаковала её со всех сторон, а потом и подвергла нарочитому забвению. И просчиталась, ох, как, просчиталась: что прямо тогда, ещё в империи, что потом при большевиках, что уже ныне — при «либеральных реформаторах»! Но софийный воз и сегодня там же — в отрицании и забвении, пусть и не в полных, но в достаточных, чтобы не задеть, не быть понятым, не овладеть.

Судьбу русской софийной философии разделила и до сих пор разделяет и *философия хозяйства*, эта её чуть ли не главная, самая ответственная и самая конструктивная часть. По любому поводу можно свободно и бесподобно рассуждать, даже и по поводу человека с мирозданием, а вот про хозяйство, которое есть целостное жизнеотправление, что-то... не хочется, ибо оно, будучи реальным течением бытия, не терпит никакого учёного балагурства, даже и очень интеллектуального, как не терпит никакого балагурства рождение и смерть человека, любого живого существа. Не терпит легкомысленного трактования и вся человеческая демиургия, ибо она напрямую связана с рождением и смертью, но уже не только человека, но и всего человечества. Демиургия ведь прёт незнамо куда и непременно выходит за жизнеотправительную меру. За ней ведь тянется не одна лишь светоносная вуаль обновления, но и чёрный шлейф погибели. Хозяйство — мистерия, драма, трагедия, хоть и комедия тоже. Здесь мало сладости, зато много горечи. Хозяйство — созидание и разрушение, достижение и провал, победа и

поражение. И ежели история — хозяйство, его намерение, действие и след, то что же тогда *предистория* и *постистория*, не говоря уже о хозяйстве, эту историю как раз и делающем?

Подхватит ли Россия софийную мысль, обретёт ли софийную идеологию, выработает ли софийный концепт? Кто знает? Это ведь дело самой загадочной России, русских людей, тех же россиян. Элита нынешня не подхватывает, сторонится, брыкается. Она всё ищет истину на стороне, подальше, за горизонтом. А истина-то перед ней, глаза в глаза, слово в слово. Россия привыкла к вождизму и всякого рода дирижизму, в ней не полагаются на народ, хотя и очень любят его безоглядно и безоговорочно эксплуатировать. Но метафизическая коллизия, если уже не катастрофа — налицо, а с метафизикой шутки плохи, как, собственно, и с Софией.

Время у России ещё есть, как есть и шанс прийти к Софии, но лишь в борьбе, в жестокой и яростной борьбе, а потому великий шанс и проскочить мимо Софии, так и не сказав миру *Последнего Слова!*

«Воображение правит миром»

Великие и точные слова, брошенные как-то невзначай великим героем — Наполеоном, и как же они верны: метафизика первее физики, именно метафизика правит физикой, а не наоборот, хотя бы в пределах необъятной и нескончаемой человеческой экзистенции!

Запомним!

Никаких героев, способных к перевоплощению мировой округи, без фантазийного воображения быть просто не может! Перикл, Македонский, Цезарь, Чингисхан, Бонапарт, Черчилль, Сталин, Мао, де Голль, кто там ещё... ибо нет их уже — этих героев, однако есть вполне незаметные действующие лица, они же и скромные правительства, которые как раз и правят миром, что-то при этом укромно и снисходительно воображая, ведут глобальное хозяйство, шлифуя сознание и компонуя ноосферу, выделяя государства, цивилизации и миры, приспособливая к ним планетарных человекообразных, формую иерархии, эксплуатацию, экономику, финансы, устраивая кризисы, революции, войны, катастрофы, приватизируя прошлое, владея настоящим и заказывая будущее, арендую всё наличное бытие, им благоговейно приторговывая.

Они всегда и везде, их не уловить и не отменить. Все великие герои, будучи реальными властителями... и ирреальными посвященными, боролись с этими властей предержащими фантомами и всегда они им проигрывали, за исключением, может, хитроумного Уинстона Черчилля, который сам не был чужд большой закулисной интриги — на какое-то хотя бы время!

История делается, она хозяйствуется, хотя и не в полном объёме, ибо она вершится и хозяйствуется также сама. Однако играть в историю всё-таки можно, направляя её, по потребном выпрямлении, в нужное русло. И «текёт» она как раз туда, куда кому-то из «серых» очень надо!

В истории, как и в мире вообще, полно свободы, хотя история и мир вовсе не свободны; полно там и инициативы, хоть эта последняя наперёд почему-то задана; и удовлетворений там масса, хотя они удивительным образом зачем-то уже предопределены.

Воображение правит миром, а мир — воображением, а потому воображение, которое вроде бы правит, никогда не одолевает воображения, которое будто бы правится. Вот почему мир, изменяемый героями, никогда не изменится «по-ихнему» — по-геройски! Герои приходят и уходят, ярко высвечиваясь в бледной топографии бытия, а мир с историей непременно остаются, ведомые не героями вовсе, а незаметными действующими лицами и тихими правительствами, которые совсем и не ярки, но зато очень и очень действенны. Герои не ведают законов жизни, они их игнорируют, — на то они и герои! а вот негерои очень хорошо их знают и им тщательно следуют. От того и всегда побеждают!

Нет, не воображение героев правит миром, а воображение как раз негероев — этих истинных столпов человеческого плутодержавия!

ФИЛОСОФСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КЛЮЧ К ПОСТИЖЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Зачем вдруг этот ключ? Наверное, чтобы не только представлять хозяйство и историю, но и понимать их, трактуя не фактологически лишь, а и метафизически. Философия хозяйства — метафизика хозяйства, философия истории — метафизика истории! Там и там — метасмыслология, питаемая трансцендентностью и восходящая к Софии. Философия хозяйства и философия истории — отрасли софиасофии, а софиасофия — смысловое ядро философии хозяйства и философии истории. Фактология и анализ фактов важны при познавательном обращении к хозяйству и истории, но вовсе не достаточны, ибо метафизика выясняет то, что как раз за фактами, под ними и над ними. И никто, кроме Господа Бога, не знает, что тут впереди физика (фактика, фактис), за которой как бы следует (производно) метафизика, или же метафизика, априорно навязывающая себя физике (фактике, фактису). Но в любом случае всегда лучше, ежели в истории, как и в хозяйстве, не одна физика (фактология), а и метафизика, только и способная не только внешне охарактеризовать предмет, но и внутренне раскрыть его.

Хозяйство — жизнеотправление человека, его со стороны человека организация, им управление, а отсюда хозяйство и всегда хозяйствование; история... в общем-то, то же самое, тоже ведь жизнеотправление человека, но более берущееся не как действующая продуктивная система, а лишь как происходящий во времени процесс.

Факт жизнеотправления — факт одновременно хозяйственный и факт исторический, как раз то, что единит между собой хозяйство и историю, делает их по сути одним и тем же.

Хозяйство как история, история как хозяйство! Хозяйствование тяготеет более к освещению систем и отвечает на вопросы: кто, что, как, для чего и до чего, историование же — к восприятию процессов с ответом почти на те же по сути вопросы: кто, что, как, зачем и до каких пор?

Там и там жизнь, ее реализация, там и там борьба человека за жизнь и против смерти, там и там жизнь вкупе со смертью, там и там смерть вместо жизни.

Однако есть и разница — хозяйство всегда есть, как и есть те или иные результаты хозяйства (продукты, та же материальная культура), а вот история всегда есть и ее всегда нет, ибо история — сплошная идеальность, которая хоть и фиксируется — опять же идеально, но которой перед глазами, как того же хозяйства, попросту нет. Так что хозяйство — это все-таки реальное бытие, которое всегда есть, хоть и течет, и проходит, и исчезает, а история — это всего лишь несуществующий момент непрерывно текущего бытия, что то же самое — ирреальность.

Хозяйство — единство материального и идеального, физического и метафизического, феноменального и ноумenalного, явленного и сущностного, «показного» и скрытого, а вот история... она только идеальна и метафизична, а ежели феноменальна, явленна и фактична, то лишь... в пределах... идеального и метафизического.

Любой хозяйствовед, не говоря о хозяйственнике, в одно и то же время идеалист и материалист, либо наоборот — кому как нравится, а любой историк, даже и исторический деятель, вершащий-де историю — сплошной идеалист.

История как наука — знание лишь о виртуальных фактах, хотя и представляемых историей как физические, материальные, натуральные, — и история — хороший или плохой, но миф, может, более или менее реалистический, но всегда миф, так сказать — фактологический миф. История как наука — сама для себя, что не значит, что в исторической науке нет ничего ценного для наблюдателя и толкователя. Наука об истории — попытка наложить фактологический миф на более чем фактологический процесс. Вот почему историко-научный, или же научно-исторический, миф более скрывает идеальную историю, запутывая благорасположенного к ней читателя, чем раскрывает ее, вовсю и просвещая благонамеренного читателя. Отсюда потребность именно в метафизике истории, в философии истории, преодолевающих научно-фактологическую (экзотерическую) мифологию и выводящих на иного рода и другого уровня мифологию, а именно на метафизическую (эзотерическую), но не на апостериорную и вынужденную, как в науке, а на априорную и вполне уже добровольную. В итоге возникает целостное во времени и в пространстве, как и в объеме и в процессе, представление

об истории реальности, вовсе не совпадающее с научно-фактологическим. Факты вроде бы те же, а вот смыслы — иные!

Нет, речь не идет здесь о нагружении истории человека историей его хозяйства, оснащении истории разной хозяйственной атрибутикой вроде полезностей, оценок, критериев эффективности и т. п. вещами, хотя это, по-видимому, и возможно. Речь тут о другом: философия хозяйства, касающаяся природы человека, его труда и творчества, его демиургии, а следственно, начала и конца хозяйства, его телеологии и эсхатологии, а потому и начала и конца человека — как раз человека хозяйствующего, действующего во взаимоотношении со всем мирозданическим контекстом (природным, земным, космическим), эта-то философия хозяйства позволяет иначе, чем даже отдаленная от нее философия истории, взглянуть на историю как реальность и историю как нарратив, заметив в историческом процессе реализацию не чего-нибудь, а именно хозяйства, имеющего кое-какую сверххозяйственную, даже и сверхчеловеческую, и сверхреалистичную, направленность — от природы к неприроде, от одного типа человека к другому, от одного мира к другому.

Свершится в реальности переход от одного к другому или нет, не так уж и важно: главное здесь — тенденция, которая, надо полагать, и потенция, открываемая не кем-нибудь, а философией хозяйства (не экономической наукой, не теоретической экономией, даже не теорией хозяйства, а именно философией хозяйства).

Хозяйство опережает историю, ее созидает и определяет, а философия хозяйства задает методологические параметры философии истории, что вовсе не значит, что последняя должна следовать только философии хозяйства.

Что это за параметры?

Во-первых, реальная история есть история разнообразных деяний людей, из которых особую значимость имеют деяния элит, власти и властителей; так или иначе, но это не что иное, как хозяйствственные деяния, хотя их обычно за таковые не принимают; тут важно обратить внимание, что деяния эти относятся не только к выживанию и улучшению бытия человеков и социумов, пусть и за счет других человеков и социумов (покоренных, завоеванных, подавленных), но и ко все время открывающемуся перед человеком, хозяйствующим и творящим, *запределью*, когда

человек устремлен к чему-то ему вовсе для выживания и улучшения текущего бытия ненужному, но зато почему-то потребному в целях выхода за человеческие пределы, куда-то в иное, вовсю неведомое, но тем не менее чаемое; отсюда смысловая трансцендентность многих человеческих деяний, их трансцендентная неотмирность.

Во-вторых, что бы ни делал человек в своей имманентной заданности и трансцендентной устремленности, как бы не верил по-своему в историю, он не может не заметить, как и не может отменить, того факта, что история вершится и сама по себе, самим «ходом вещей». Это только кажется, что все, что делает человек, есть исполнение его и только его желаний, определяемых-де его потребностями, — на самом-то деле человек делает много из того, что ему самому вовсе не очень-то и нужно, мало того, совсем непосредственно и не нужно. Человек ссылается при этом на обстоятельства, на требования контекста, на высшую волю, в общем — на что-то относительно него внешнее и нередко непонятное. Хозяйство человека — вовсе не так необходимо, рационально и расчетно, как это обычно представляется; человек вершит много нерационального, иррационального, безрассудного, безумного; хочет вроде бы одного, а получается как раз то, чего он не хочет, — и трудно бывает понять отчего — от него самого или от обстоятельств, хода вещей или той же высшей воли; человек хозяйствует среди неопределенности, неизвестности, недостатка информации, стихии, абсурда, безумства. Хозяйствование человека — игра, причем по вовсе не всегда достоверным правилам, как и с совершенно непредвиденными концами. «Ход вещей» бывает сильнее «хода человеческих деяний», хотя человек и пытается влиять на ход вещей, даже овладевать им. И не так человеческие действия производят и ведут ход вещей, как ход вещей направляет и ведет деятельность человека. История — то ли производитель хода вещей, то ли его продукт, во всяком случае — и продукт тоже!

В-третьих, в истории, как и в хозяйстве, действует и полная неизвестность, чего не отнести ни к ошибочным действиям людей, ни к тому же непрекращающему ходу вещей. Это уже не что иное, как «ход неизвестности»! Можно назвать это и историческим (или же внеисторическим) произволом. Откуда же он — этот произвол истории или произвол

в истории... если прямо не от иномирья?! Обращает на себя внимание, что все главное в истории, как, собственно, и в хозяйстве, совершается... э-э... вне и даже вопреки собственно человеку, истории и хозяйству, приходя откуда-то извне, из неизвестности, из ничто! Человек, история, хозяйство — это вовсе не только то, что видит вокруг себя человек исследовательский, немало и в меру наблюдательный, но совсем при этом не проницательный, а кое-что другое — это больше-чем-человек, больше-чем-история, больше-чем-хозяйство!

Хозяйствуя, человек творит, причем творит несуществующее, неприродное, неотсюмированное, творит прямо из ничего — от ничто! — так почему же не предположить и не признать того замечательного факта, что в этом мире присутствует и действует кое-какое, совсем и не человеческое, творящее ничто — невидимое, неуловимое, неопределимое? Тот же абсолют среди всеобщей относительности!

Философия хозяйства подводит к тому пониманию истории, при котором история предстает как одновременно известная, полуизвестная и неизвестная, но не потому, что какие-то факты, свершения и события остаются в тени незнания, надежно забыты или умело сфальсифицированы, а потому что история в принципе и на всю глубину свою конспирологична, мало того — трансцендентно конспирологична, как, собственно, и хозяйство, и сам человек.

Счастье человека в том, что он, очень много вроде бы зная, не знает все-таки главного, более того — он как раз по наибольшей что ни на есть сути ничего и не знает!

Только самонадеянная нововременская наука вкупе с научной философией могли убедить человека интеллектуального, что он может все узнать, исследовательски погружаясь в физис мира, тщательно копаясь в физическом микромире и уверенно залезая в физический мегамир. И что же в конце концов узнала наука вместе с научной философией? Она узнала, что ничего исходного и основополагающего о мире и человеке не знает! А вот философия хозяйства, в отличие от той же, к примеру, экономической науки, сразу же признала трансцендентность мира и бытия, а окружающую человека неизвестность посчитала за его непременное и драгоценное достояние. Пока есть неизвестность с трансценденцией, есть и человек, ибо конечное знание всего и вся — не жизнь,

не хозяйство, не история, а... смерть!

Да, знание — жизнь, но ведь и незнание тоже жизнь, и пока есть незнание, есть и жизнь, а потому за знанием стоит не только жизнь, но и... смерть. Знание — сила, сила жизни, но и сила смерти тоже!

История, как и хозяйство, — субъектны и субъективны, хотя при этом и объективно-объективны, и, конечно же, трансцендентны. Человек творит хозяйство и делает историю, которые как творятся и делаются сами, так и вытвоятся и выделяются потусторонней трансценденцией. Трансценденция не спит, она работает, хотя и с разной во времени интенсивностью.

Величайшее достояние хозяйства как истории и истории как хозяйства в незнании, если не в отсутствии, будущего, как и в удаляющемся неприсутствии прошлого. Отсюда возможность обновления и перемен, не определяемых полностью будущим. Возможность делать, творить, искать, плыть, отрекаясь от прошлого, считаясь с настоящим и увлекаясь будущим. Реальное, но при этом и трансцендентно обусловленное, хозяйство, как и реальная, но при этом и трансцендентно управляемая, история.

Ни хозяйства, ни истории нет без субъектов хозяйства и истории, без их, пусть и не таких уж свободных и эффективных, действий. Подавляющее число субъектов — воспроизводители, повторители, заимствователи, последователи, конформисты, разве лишь корректоры, настройщики, совершенствователи, ну и, разумеется, исполнители; однако есть и водители, инициаторы, организаторы, открыватели, новаторы, творцы; первые из субъектов относятся к категории работников, службистов, обывателей, как раз и держащих на своих плечах хозяйство, историю, весь человеческий мир; вторые же относятся к категории управителей, устроителей, преобразователей. Организация социума — важнейшая хозяйственная функция, а преобразование социума — важнейшее хозяйственно-историческое действие. Те же обычаи были когда-то чьими-то инициативными установлениями; правила и законы — чьими-то институциональными действиями; культура делается, а цивилизации созидаются; государства строятся, как те же села и города; созидаются империи; ведутся войны, совершаются завоевания, захваты и покорения.

Хозяйство ведется, история вершится!

И что интересно; вовсе не в соответствии с насущными потребностями человека, а... с заложенным откуда-то и почему-то стремлением человека к *иному*, наверное, вследствие все-таки неземного, неприродного, неотсюмированного происхождения человека, которого *этот* мир как-то, почему-то и зачем-то не устраивает. Да, человек мог первобытно-общинно жить в земной природе практически вечно, натурально-воспроизводственно хозяйствуя и почти не имея, кроме мифотворной, истории; но человек этой вечности почему-то не захотел, он перешел к цивилизации, а затем пустился по демиургическому пути *пересотворения мира*, перейдя от пассивной предыстории к активной истории; сознание человека — не от мира сего, оно и вывело человека на запредельный путь; человек вовлек себя, или был вовлечен, в движение к *иному*, ему неизвестному, но отчего-то очень потребному.

От природы к неприроде, от человека к иночеловеку, от сего мира к миру *иному*!

Сегодня мир человеческий переживает исключительный по значению мутационный момент: от хозяйства к сверххозяйству, от истории к постистории, от мира человеческого к миру нечеловеческому. Так это произойдет на самом деле или нет, ибо корректирующий «ход вещей» налицо, а опровергающий «ход неизвестности» всегда начеку, но не говорить об этом уже нельзя: возможность такого или какого-то еще ему подобного гигантского судьбоносного метаперехода уже не в фактике, а в самой текущей реальности!

Настал, или еще только настает, кульминационный момент хозяйства и истории, причем не история тут ведет хозяйство, а хозяйство вершит историю. Не история, к примеру, задала хозяйству состояние Модерна, а хозяйство втащило историю в эпоху Модерна, равным образом, и втаскивало в эпоху Премодерна и втащило в эпоху Постмодерна.

Вот и выходит, что философия хозяйства вовсю споспешствует философии истории, а не наоборот; без хозяйства никакой истории вообще нет — как реальности и как нарратива, а без философии хозяйства, смеем это утверждать, нет и быть не может реалистичной философии истории. Сначала феномен многовековой человеческой демиургии, а потом уже и его — этого феномена — история — прямо до самого конца уже всякой истории, ну и, разумеется, всякого человеческого хозяйства!

СВОЕОБРАЗИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЫСЛИ: НАСЛЕДИЕ И НОВЫЙ ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОИСК

Отечественная хозяйственная мысль давнего, как и у всех укорененных народов, происхождения. Сначала она содержалась в устных наставительных изречениях, а затем в письменных поучительных текстах: от того же приснопамятного сильвестровского «Домостроя» XVI в. до вполне уже самобытного просветительского труда рубежа XVII—XVIII вв. «О скудости и богатстве», исполненного гениальным И.Т. Посошковым.

Посошковский труд стоял у истоков отечественной экономической науки, хотя сам еще никакой наукой не был. В науку российская хозяйственная мысль превратилась уже по заимствованию из-за западного рубежа пред назначеннной для университетов *политической экономии*, рожденной во Франции и систематически развитой в Англии. В основание университетской политической экономии в России был положен тогда замечательный труд шотландца А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776), а посошковское произведение либо оставалось неизвестным, либо бессознательно забытым, либо вполне сознательно игнорируемым. Посошков писал свой труд для Петра I, а Петр с записками Посошкова так вроде бы и не успел ознакомиться, внезапно скончавшись, зато с «крамольным»-де текстом хорошо ознакомились другие — из «гнезда Петрова», и немедленно отправили автора на голодное умерщвление в Петропавловскую крепость. В итоге в российских прозападных университетах (включая и иные светские учебные заведения, существовавшие в усиленно догонявшей Европу российской стороне) победила не отечественная мысль, а западная наука *политэкономия*, причем более всего в английской версии, хотя и не без влияния в последующем других европейских школ — французской, германской, австрийской.

С момента утверждения политической экономии в российских очагах иноземного образования отечественная хозяйственная мысль развивалась либо прямо в рамках, если не в матрице, политической экономии (можно даже сказать — официальной политэкономии), либо рядом с университетской наукой (Н.С. Мордвинов, М.М. Сперанский), либо

параллельно с официально принятой наукой и ей альтернативной (славянофилы, народники, демократы-просветители, анархисты, первые русские марксисты), либо в университетах, но рядом и даже вопреки общепринятой политической экономии (математическая школа, философия хозяйства).

В советское время, контролируемое и руководимое большевиками-марксистами, политическая экономия не только не была забыта, но пережила как бы второе рождение, разумеется, в марксистской интерпретации, но, что особенно важно — в классической, т. е. в основе в общем-то смитианской, парадигме. Вся же отечественная мысль, даже и собственно политэкономическая, была отведена в разряд второстепенной и либо подвергнута забвению, либо переведена в статус ушедшей навсегда истории, либо тщательно пересмотрена — в угоду доминировавшему в ленинско-сталинской версии марксизму. Мало чему из русской экономической мысли повезло остаться в университетских курсах политэкономии (немножко от М.М. Туган-Барановского, чуть-чуть, да и то очень уже поздно и, естественно, критически, от Н.Д. Кондратьева, потом и от В.В. Леонтьева).

Разумеется, отечественная хозяйственная мысль, как и вся мировая экономическая наука, не ограничивалась политической экономией — этой общепризнанной фундаментальной наукой, а развивала и прикладные знания, имея немалые достижения, к примеру, в сельскохозяйственной (земельной, природопользовательской, лесной) и той же финансовой (налоговой) областях. Но главный размыслительный поток в университетах был всегда связан так или иначе с политической экономией, что в известной мере то же самое с фундаментальной экономией, с экономической теорией, с хозяйствственно-экономической идеологией, с хозяйствственно-экономическим мировоззрением.

Феодализм, капитализм, социализм; этатизм (абсолютизм), либерализм (фритредерство), дирижизм (протекционизм, догоняющее и опережающее развитие); государственный бюджет, налогообложение, таможня; регионализм (континентализм), национализм, мондиализм; частность, общественность, тотальность; доверие, справедливость, честность; порядок, свобода, законность; деньги (меркантилизм, монетаризм), капитал, кредит; промышленность, торговля, транспорт, услуги;

товар, рынок, цены; накопление, инвестиции, ценные бумаги; государственные финансы, национальная денежная система, валютные курсы; конкуренция, солидарность, взаимовыгодность; предпринимательство, труд на себя, наемный труд; эксплуатация труда, природы, машин; собственность, распределение, присвоение; производство, обмен, потребление; традиция, нововведения, модернизация; промышленная революция, машина и фабрика, научно-технический прогресс; кризисы, циклы, трансформации (стадии развития). Вот те вопросы, как и многие другие, ставившиеся политической экономией и ею так или иначе решавшиеся.

Итак: *какой была, какой могла и какой должна была бы быть хозяйственная (экономическая) жизнь людей, коллективов, обществ, стран, всей планеты?* Таков, наверное, комплексный лейтмотивный вопрос, он же и основной вопрос, политической экономии вообще и, конечно же, отечественной политической экономии тоже, как раз представлявшей собою и основную часть российского мыслительного наследия в хозяйственно-экономической области. Заметим, что политическая экономия не только занималась предстоявшей перед нею реальностью, но и задумывалась над переменами в реальности, причем не только естественно происходившими, но и субъективно желаемыми, а потому и вполне проективными. Политэкономия интересовалась поэтому не только собственно реальностью, но и образом реальности, придавая этому образу и вполне онтологическое значение. Выходило, что наряду с отражаемой политэкономией реальностью и образом такого отражения, втиснутым в науку — *реальностью как образом*, имел место и выдвигаемый той же наукой воображаемый образ — *уже образ как реальность*, что придавало политэкономии характер вполне провиденциального учения, т. е. дважды мифотворческого — через отражение, которое дает всегда в той или иной степени миф, а также через воображение, прямо уже миф созидающее. Для убеждения в этом достаточно упомянуть тот же смитовский миф о трудовой стоимости, как и марксистский миф о бесстоимостном социализме-коммунизме.

Приняв на вооружение западную политэкономию, отечественная наука оказалась, скажем так, в не самом ловком положении, если не прямо в интеллект-западне, ибо Россия не была, при всем своем внешнем западнисмe, собственно буржуазной страной, тем более «рыночно-

демократической», а была страной монархически-феодальной, самодержавно-крепостнической, в основном сельскохозяйственной, помещичьей, крестьянской и менее всего промышленной, предпринимательской, фабричной, не говоря уже о машинах. Так что та же принятая в университетах смитианская политэкономия не столько отражала российскую реальность, сколько повествовала о другой — западной, европейской, капитализменной — реальности, которая, кажется, и должна была бы в основе своей когда-нибудь определенно наступить и в России. Так что пришлось русским экономистам всего более рассуждать о том, чего не было или почти не было в России, а как бы должно было быть, а обращаясь к собственно российским реалиям, более всего говорить об устаревших в общем-то хозяйственных укладах, их какой-то рационализации и модернизации, о недоразвитом экономическом укладе — торгово-промышленном, его непременном развитии, о государственных финансах, о возможном в будущем передовом промышленно-предпринимательском укладе.

Речь тут не могла не идти не просто об особенностях российской хозяйственной жизни, но и о ее принципиальных отличиях от еврозападной, уже денежно-капитало-экономически обустроенной или же лихорадочно в этой манере обустраивавшейся, как раз тех самых отличиях, не позволявших вполне и от всего сердца стать на позицию смитианской и какой-нибудь еще западной политэкономии. Отсюда особое внимание русских официальных экономистов-преподавателей к таким вещам, как «общий дом», «национальное (страновое) хозяйство», «общественная польза», «хозяйственная этика (моральность)», а также повышенный интерес к человеку хозяйствующему (не «экономическому»), к культуре, цивилизации, государству. В учебниках по политэкономии появляются разделы о национальном хозяйстве, общинном хозяйстве, российской цивилизации, нравственном (православно-христианском) начале. Все русские политэкономы первой половины XIXв. признавали факт крепостного права, либо его при этом оправдывая, либо почитая за тяжкую неизбежность, либо высказываясь за его скорейшее преодоление. Думая о будущем России, они полагали возможность либо смешанного феодально-общинно-капиталистического бытия, либо все-таки по преимуществу капиталистического, но менее всего думали (уже за пределами

университетов) о социалистической версии бытия. Хотела того политэкономия или нет, но она так или иначе готовила переход к более денежно-товарному хозяйству со свободной частной инициативой и развитым промышленным предпринимательством, хотя и считалась при этом с самодержавным устройством страны и феодально-общинными установлениями.

Положение политэкономии и политэкономов стало резко меняться с отменой крепостного права в 1861 г. и последовавшими за этой отменой либеральными реформами. С одной стороны, политэкономия стала очищаться от «отеческих предрассудков», оставляя их на попечение славянофилов и народников, и все более стала насыщаться собственно политэкономией — учением об экономике, денежно-товарно-рыночном хозяйстве, свободном капитализме, государственном экономическом хозяйстве, финансизме; а с другой — политэкономия стала разворачиваться (хотя и более всего поначалу за пределами университетов) от политэкономии капитала к политэкономии труда, все более увлекаясь марксизмом и грядущим-де социализмом.

Отечественная хозяйственная мысль конца XIX и начала XX вв. — весьма пестрая в концептуально-функциональном отношении мысль: здесь тебе и традиционное смитианство, и какое-то подобие немецкой исторической школы, и марксизм, и подобие раннего институционализма, и элементы маржинализма с математизмом, хотя при этом и вполне почвенная аграрная школа, весьма учитывавшая своеобразие аграрной сферы России. Можно сказать, что это уже был целый букет политэкономий и просто экономий, в котором выделялись, безусловно, такие яркие цветочки, как смитианство и марксизм, бывшие в основе, по истокам и категориальному аппарату вполне еще и классическими в научно-идейном разрезе, хотя и в сердцевинах своих взаимоотрицательными.

Тут важно заметить, что *расцвет политэкономии* в пореформенной России совпал нежданно-негаданно ... *кризисом политэкономии* на Западе, когда, во-первых, явился яростно критикующий только что утвердившуюся — уже буржуазную — политэкономию пролетарский-де марксизм; и, во-вторых, повышали разные неклассические теоретические экономии вроде того же маржинализма, которым уже были совер-

шенно безразличны такие пережитки классики, как сущность, противоречие, мера, диалектика и т. п. философические зауми. Теоретическую экономию теперь интересовали более всего феноменальные моменты, параметры и связи между ними, их конкретная динамика, системные модели, количественные оценки, ну и, конечно же, текущая фактология. С классической политэкономией на Западе было если и не покончено насовсем, то весьма от нее «отрешено»: устарела и все тут! А что, собственно, было в ней отвергнуто? Ничто иное, как остатки философии, даже вроде бы научной, совсем, какказалось, еще молодой, сочной, плодоносной. Победивший в XVIII в., но впавший в острый кризис к концу XIX в., сциентизм пошел не на ослабление себя и ответное усиление метафизического начала, а как раз на усиление себя и окончательное изгнание из экономической и прочей социально-антропологической науки всякого намека на метафизику. Физика тогда полностью одолела метафизику — и на научную арену стали выбегать одна за другой сугубо и даже строго научные, почти что и... точные, экономии — вроде той же математической.

Нельзя сказать, что на Западе не было попыток выйти за рамки политэкономии в сторону неэкономического контекста — социального, психологического, правового, этического, идеологического, но верх одержали все-таки формально-логические подходы внутри самой экономии — тогда казалось, что все можно смоделировать, просчитать, исчислить, опираясь на ту же экономическую статистику и применяя «точные» математические методы. Соблазн перехода к чистой науке, свободной от «неопределенной» и «фантазийной» философии, даже и научной-де философии, был настолько велик, что от еще все-таки социально-антропологической экономии Запад легко перешел к экономии механико-физической, тем более что последняя решительно отпрянула от таких ка-верзных вопросов, как собственность, классы и распределение богатства, социальная справедливость, эксплуатация человека человеком, уровень жизни, воспроизводство трудящегося человека. На первый план вышли проблемы эффективного использования предпринимателем (промышленником, «услужником», банкиром, инвестором, финансовым дельцом) хозяйственных ресурсов: денег, труда, материалов, техники, земли, недр, инвестиций, кредитов, ценных бумаг, а мерилом эффективности служили

для науки лишь конкурентная устойчивость и доходность на вложенный денежный капитал. Любопытно, что слово «капитал» все более увязывалось со средствами производства, а не с авансируемыми на предпринимательство и хозяйственную деятельность деньгами. В конце концов появился даже «человеческий капитал» — слышите, не труд, а капитал! — что позволило капиталисту стать «трудовиком», а трудящемуся — «капиталистом». Ах, эта нейтрально-истинная наука? Где стоимость, где ее самовозрастание, где *капитал*? Ну, и где сам *человек*?

А что российская хозяйственно-экономическая мысль, как она отреагировала на кризис политической экономии? Не совсем так, как в Европе, уже испытывавшей первый долговременный кризис реального и вполне развитого капитализма и немало приветствовавшей в связи с этим альтернативный буржуазной науке марксизм, вызывавший дурманящую тягу к неведомому, но очень уж манившему «лучшие европейские умы» социализму. Русский ученый мир хотя и не отверг столь же решительно классическую политэкономию, ибо капитализм в России еще только развивался и пока еще не удостоился сходного с Европой негативного коллапса, но зато весьма увлекся тем же марксизмом, тем более что в России вовсю нарастало революционное движение, нацеленное в основе против царизма, феодализма и имперской, но и против капитализма тоже, а социалистический проект казался кое-кому в России ей — православно-де соборной и совсем не протестантской стране — очень даже подходящим. Чистая физикалистская наука тоже нашла некоторый приют в России, овладевая российскими пытливыми умами в заметно меньшей степени, чем в Европе, ибо молодые пытливые умы России были более заняты революцией, чем наукой. Россия оставалась еще в плена политэкономической классики (с учетом и марксизма) и не спешила, все еще очарованная этой классикой, в плотный захват к неклассике. Так или иначе, но политэкономия получила в России как бы новое дыхание — что буржуазная, что, так сказать, пролетарская, причем не только в университетах, а и во внеуниверситетских кругах, в том числе и нелегальных кружках. И в силу того, что Россия шла к революции (вполне и антироссийской!), за которой маячила Новая Россия — либо капиталистическая, либо социалистическая, но только не имперо-рос-

сийская, российская политэкономия начала в XX в. весьма уже расставалась с прежней — XIX в. — национально-почвенной спецификой (исключая разве лишь аграрное направление) и все более представляла чистой, т. е. и западной, политэкономией — не смитианской, так марксистской, а кое в чем уже и вульгарно-маржиналистской.

Однако Россия не была бы Россией, если бы не выкинула какого-нибудь совершенно неожиданного номера. И она таки этот номер выкинула, вдруг уйдя в сторону не только от классической политэкономии, все еще отягченной-де научной философичностью, включая и марксизм, но и от неклассической, уже предельно научной, экономии. Россия вдруг родила в это кризисное для Европы и России, для экономизма, либерализма и гуманизма, для политэкономии и сциентизма время не что иное, как *философию хозяйства*, которая была уже не только не продолжением политэкономии, но даже и не ей альтернативой, как не была она и альтернативой физической экономии, с которой, в отличие от политэкономии, вообще не имела ничего общего (политэкономия хотя бы страдала остаточной философичностью, пусть и в основном научной).

Философия хозяйства предпочла физике и научной философии *метафизику и метафизическую (метанаучную) философию*, а накопленной в ученом мире интеллект-философии — *философию реальности* (из реальности, от реальности, для реальности), причем реальности возможно более полной, ничего из нее заведомо, как те же политэкономия с точной наукой, не исключая: ни материального, ни идеального, ни духовного; ни феноменального, ни ноумenalного, ни трансцендентного; ни явленно-фактического, ни сущностно-смыслового; ни предельного, ни беспределного; ни пространственного, ни временного, ни беспространственно-безвременного; ни видимого, ни осозаемо-чувствительного, ни прозрачно-проникательного; ни сеюмирного, ни, пардон, потустороннего, в общем — ничего из возможного и невозможного, из действительного и воображаемого, из предметного и мыслимого, из вещественного и виртуального, то бишь не исключая ничего из всего *физического* и всего *метафизического*.

Если это, выражаясь модно-вычурно, холизм, то холизм самый полный, объемный, целостный, пожалуй что, и беспределный. Человек здесь как физическо-метафизическое целое; общество тоже; хозяйство —

тем более; такая же и философия хозяйства, вбирающая в себя все ей необходимое от философии как таковой (как знания), но и созидающаяся сама по себе — под покровом, выучкой и контролем хозяйства, бытия, реальности.

Выход к философии хозяйства, совершенный впервые С.Н. Булгаковым в 1912 г. посредством опубликования книги «Философия хозяйства» и защиты в Московском университете одноименной докторской диссертации, был выходом не к новой теоретической парадигме, не к новой научной концепции, даже не к новой отрасли гуманитарного знания, а в *новый смысловой мир*, не исключавший вообще ни науки, ни философии, ни религии, ни той же литературы с искусством, но бывший от них вполне самостоятельным, и никаким не синтезным перед лицом всех этих знаниевых сфер, что невозможно из-за разности парадигм, аксиоматики и принятых в них языков, а попросту изначально и целостно сложным, а лучше бы сказать — сложно-единым, если не попросту — *своим!* Здесь никакая не смесь знаний, даже не смешанное знание, а органичное внутри и для себя же особое, вполне и самодостаточное, знание, впускающее в себя всю реальность, выраженную в феномене хозяйства или через него, и дающее целостное об этой реальности представление.

Что же это такое — *хозяйство*? Для философии хозяйства это все жизнеотправление человека, берущееся по преимуществу со стороны его — этого жизнеотправления — организации, причем организации по преимуществу деятельской. *Человек — дело — организация — течение реальности — хозяйство.* Вот в главном и все! Можно и по-другому: *субъект — объект — взаимодействие — процесс — итог.* Или еще: *субъект — контекст — движение реальности — новая реальность.* И все это про целостное жизнеотправление, про делание жизни, про организацию жизни, про жизнеосуществление. От обеспечения питанием, одеждой, убежищем, очагом, теплом и продолжения рода человеческого до производства социальных организаций, культур и цивилизаций, работы духа и эманации идей, отправления культов и реализации права, ведения кровавой войны и проведения буйного карнавала. *Вся жизнь (на уровне организма-субъекта) — хозяйство, все хозяйство — жизнь!*

Почему же здесь все-таки философия — философия хозяйства, а не наука, не теория, не прикладное хозяйствоведение? Исключительно

по причине присутствия в хозяйственной реальности, в самой жизни, в бытии человека, даже и в мироздании, не только и даже не столько физика, сколько метафизика, а к последнему относится все, включая и какую-нибудь последнюю «темно-материальную» частицу, не говоря уже о живом и животном мире, человеке как именно человеке (сознание, разум, ум, язык, интеллект — что это, если не метафизис?), народе, обществе, культуре, цивилизации, государстве, нации, ну и науке, философии, религии, как и вообще о всяких смыслах, идеях, знаках, символах, проектах (что это все?). Именно так: что это, если не метафизис, отражаемый метафизикой? Даже наука физика в общем-то сплошь метафизична, а что говорить о той же политэкономии, в которой ничего, кроме метафизики, и нет, правда, как бы офизченной по преимуществу метафизики, так сказать, находящейся на услужении у физики. А разве самая что ни на есть точная математика не метафизична? Такая абстрактная, таинственная, в одно и то же время вольная и определенная, если не предельная? О-ох, метафизика это вовсе не ненаука, а как раз самая настоящая наука, хотя и почему-то стыдящаяся метафизики, ее из себя изгоняющая, да вот обойтись без нее никак не могущая. Наука сейчас — как бы отрицательная метафизика, а потому и в некотором роде... лжеметафизика, да и в немалой мере... лженавука тоже, ибо надуманно неметафизична.

Да, наука вроде бы располагает точными, верифицируемыми, доказательными знаниями. И очень хорошо! Эти-то знания обычно и принимаются за физические, что совсем и не плохо. Однако далеко не везде и по каждому поводу возможны физические умозаключения, позволяющие накапливать и физические истины. Человек и его хозяйство, рассматриваемое и как общественное хозяйство, и как природно-неприродное, и как вообразимо-невообразимое, и как, пардон, имманентно-трансцендентное, по большей части совсем не физичны, а потому не очень-то и научны — как в аспекте познания и осмысления, так и в плане деяний, они более всего метанаучны и метафизичны, а потому требуют не столько науки с ее теориями, сколько философии с ее неопределенными суждениями и нежесткими умственными построениями. Целостный подход к хозяйству требует и целостного его познания (не просто системного, а именно целостного: как по горизонтали, так и по вертикали; как поверхностно-плоскостного, так и содержательно-

объемного; как феноменального, так и сущностного; как «ухватывающего», так и только предполагающего). И дело тут не только в познании, но и в применении знания, а потому философское знание о хозяйстве, которое при этом еще и знание-размышление, должно достаточно корреспондировать с метафизической природой объекта знания и действия. Наряду с физикой (вроде той же статистики) тут должна вовсю фигурировать и метафизика, однако не столько как готовое знание, сколько как вырабатываемое непрерывно суждение.

Это был настоящий революционный прорыв — в совершенно иную, чем стало привычным для науки и научной философии, сферу, что знаменовало собой не прекращение науки и научной философии, не их приращение и развитие, а выход за их пределы, но не назад — к старой, так сказать, метафизике, как раз круто осужденной где-то в XVIII—XIX вв. сциентизмом и им пренебрежительно отброшенной, а к метафизике новой — уже *постнаучной*, а не *донаучной*. Получилось так, что прорыв этот произошел на экономическом мыслительном векторе, причем посредством диалектического отрицания (снятия) научного экономизма и политэкономизма, включая смитианство, марксизм и тот же маржинализм, но это не было только продолжением или даже развертыванием данного вектора, а было вхождением в совсем иное мировоззренческое пространство с обретением и иных познавательно-прогностично-деятельских возможностей. Наука с научной философией, как и вообще философия, как и те же религии с их богословиями, оставались на своих местах, но наряду с ними появилось новое знание-размышление, имеющее не столько свой собственный объект с предметом, сколько свое собственное (самостное) бытие в человеческой мировоззренческой (идейно-духовной) сфере, причем непосредственно, непрерывно и плотоядно соприкасающейся с реальностью — *хозяйственной реальностью*.

Вряд ли Булгаков чего-то подобного хотел, но так у него получилось, причем не столько в высказанных им словах, сколько в выказанном им намерении: вроде бы разбирал докучливо философию и экономизм, ища выход из политэкономического тупика, не пренебрегая ни капитализмом, ни социализмом, а вышло что-то совершенно ото всего этого

особенное — *софийное*, не только не строго научное, не только не философийное, но никак и не собственно религиозное, а какое-то совсем другое, идущее прямо к Софии и от Софии же приходящее, причем не нейтрально исследовательское и не предвзято догматическое, а вовсю живое, свободное, актуальное, хотя и трудно, почти что невозможно, уловимое.

Нет, конечно, российская мысленная субстанция, широко и глубоко зараженная вполне еще молодой наукой, весьма ухваченная передовой-де нововременской философией и частично удерживаемая религиозной доктриной, никакого восторга по поводу булгаковского прорыва в новую мировоззренческую сферу посредством философии хозяйства (а хозяйство, повторяем, вся жизнь человеческая, причем субъектно-действительская, ничего и не исключающая, даже и таких штучек, как широко действующих безумия, бесовства, инфернальности) не продемонстрировала, посчитав булгаковское деяние за сугубо личное и ко всему мыслящему сообществу отношения не имеющее. Учебное сообщество в своей ученой сердцевине так и осталось тогда либо уныло (смитианство), либо азартно (марксизм) пережевывающим политэкономическую классику и где-то сбоку второпях вываривающим неклассическую экономическую физику.

Тут в России наступил коварный 1917 г., и когда грязнула российско-антироссийская революция, поначалу вроде бы классическая буржуазно-демократическая, подтвердившая высокий провиденциальный статус классической же политэкономии — смитианской, но мгновенно превратившаяся в неоклассическую пролетарскую, утвердившую практическую правоту уже неоклассической политэкономии — марксистской. Политэкономия в целом получила явное историческое оправдание и, сжавшись потом до марксистской, заняла наряду с марксистской же философией первенствующее положение на российско-советском мировоззренческом небосклоне.

А что философия хозяйства? Она была попросту сознательно и вполне физически отброшена в... небытие, ее как будто бы и не было: мелькнула яркой кометой, никого при этом серьезно не задев и обстоятельно не просветив, и исчезла где-то в темном пространстве воззренческого мироздания — и то хорошо! Самым потрясающим здесь было то,

что в конспиративную отставку была отправлена единственно национальная, совершенно отечественная, почвенная и русская, абсолютно оригинальная, впервые в истории России вдруг явившаяся, не имевшая аналогов в мире, вполне самостоятельная и самодостаточная, новая и перспективная мысль! Отсюда лишь одно заключение: на протяжении XIX в. отечественная хозяйственная мысль, все более подпадая под влияние западного политэкономизма вкупе с оголтело научным экономизмом и все более утрачивая свою специфику, жестко, неуклонно и неумолимо расправлялась сама с собой, круша не только почвенных домостроевцев — тех же славянофилов и народников, но и сколько-нибудь учитывавших специфику России катедер-политэкономов, в итоге чего предстала к XX в. совершенно уже в западных мировоззренческих образах, сделавшись окончательно и бесповоротно производной, вторичной, периферийной.

Русская-де мысль жаждала прозападной в России революции — либо буржуазной, либо пролетарской, либо еще какой, но в любом случае антироссийской, — и на такое неожиданное событие, как явление философии хозяйства, в прозападной революции в России совершенно не заинтересованной, не могла не встретить не только равнодушно, но даже и враждебно, мало того, с немалым и страхом... за саму себя, ибо с адекватным признанием философии хозяйства ей пришлось бы очень сильно, если не трансгрессивно, измениться, чего она совсем не хотела и попросту даже боялась. Конечно, столь неожиданное, чувствительное и значимое новое никак не могло сразу же встретить восторженного приема, но... все-таки... отсутствие хотя бы попросту заинтересованного к новой мысли внимания не означало ли тогда самого обыкновенного... э-э... предательства — России, русского ума и духа, российского самосознания, самой отечественной мысли? — и вопрос этот совсем, знаете ли, не риторический!

Да, разумеется, не поняли, не встряли, не оценили! Все это так, но ведь не кто-нибудь, а русские мировоззренцы, так и не уразумевшие, что Россия — не Европа, что нельзя насилино делать из России Европу, что у России свой, вполне и имперский, путь, что Россия нуждается не в беспутных анархических переворотах, а в большой, каждодневной

и систематической работе по переустройству и достижению не какой-нибудь, а вполне развитиевной социо-хозяйственной гармонии, что целеположенная, рассчитанная и упорная эволюция для России важнее, нужнее и предпочтительнее любой «безбашенной» в ней революции. Соблазн Европы и Революции, а потому и Революции, и Европы, оказался сильнее тяжкой работы по переустройству и развитию страны; прельщение западной мыслью было могущественнее обращения к собственному, почвенному и вполне суверенному мышлению; интеллектуальное потребительство (иждивенчество) превосходило потребность в самостоятельном творческом интеллектуализме. Да, не поняли, не встряли, не оценили, но и не могли ничего подобного сделать, ибо слишком уже увлеклись не своим и слишком уже презирали свое — оттого и весьма плачевный результат — что интеллектуальный, что исторически реальный!

Случайно ли именно в России и как раз именно в начале XX в. возникла философия хозяйства — как целостное и вполне, повторяем, самодостаточное учение-размышление, а не как прихотливый набор философско-хозяйственных измышлений? Нет, конечно, не случайно — и дело тут в основе в трех обстоятельствах — объективном, объективно-субъективном и субъективном.

Обстоятельство объективное — кризис. Общая кризисная ситуация, сложившаяся в Европе и России; разгул революционного движения; подготовка к крупной европейской войне; кризис идеологии гуманизма и классической гуманистической культуры (наступление Серебряного века); кризис социальной науки и расцветшего в ней сциентизма. Кризис этот чувствовали и осмысливали везде, по всей Европе, но в России в особенности: здесь он обрел явно апокалиптический характер, что и было хорошо и удачно подтверждено российско-антропийской революцией. Кризис стимулировал концептуальный поиск, но в Европе он привел более всего к отрицанию научной классики и переходу ей в противовес к еще более-де научной неклассике, а вот в России он привел к бурному развитию на русской, так сказать, почве европейского марксизма и некоторых ростков неклассического интеллектуализма, но... еще и к неожиданному отрицанию европейского сциентизма вообще, что и выразилось в преодолении политической экономии и научного экономизма, как и того же утопического, но в основе своей крайне

взрывоопасного, марксизма, правда, в преодолении сугубо точечном — через струйчатый извод философии хозяйства, и только!

Обстоятельство объективно-субъективное — историческая специфика России и российской мысли. Не пройдя собственной глубокой Реформации, а лишь насилиственно подражая Западу, Россия, окончательно въехавши в итоге прозападных-де петровских реформ в самодержавие и крепостничество, не выдала на гора ни капитализма, ни индустрIALIZМА, ни саморазвивающегося сциентизма, а потому, воспроизведя почти рабски западную мысль и лишь частично ее подправляя, не выработала и никакого самобытного, целостного и способного к развитию собственного мировоззрения, хотя и пыталась это сделать, отыскивая свою специфику и вроде бы на нее упирая. Ни имперско-православное самодержавство («Самодержавие, православие, народность»), ни славянофильство (почему же, однако, не русофильство?), ни обращенное против самодержавно-феодальной России народничество не дали сколько-нибудь ощущимого и полного результата в слишком уже зараженной Западом незападной стране и победу на мировоззренческом поле одержал в конце концов западный сциентизм. Но кое-что из незападного русские мыслители все-таки выразили, сосредоточивая свое внимание на соборности, общественности, целостности; на общем благе, общем деле, общем доме; на этике, морали, честности; на (sic!) хозяйстве, а не экономике, на благочестивом хозяйствовании, а не экономической выгоде, на общественной (национальной) пользе, а не частном интересе. Хотели того русские мыслители или нет, но онивольно или невольно указывали на необходимость какого-то альтернативного взгляда на хозяйственную жизнь, достаточно отличного от европейского, закладывая так или иначе основы какой-то иной хозяйственно-экономической идеологии, что как раз и нашло известное воплощение в булгаковской философии хозяйства. Здесь также уместно вспомнить о И.Т. Посошкове, этом уникально-универсальном мыслителе рубежа XVII—XVIII вв. — первом русском философе хозяйства, еще донаучном, предтечевском, так сказать, порядка, незаслуженно затертом и забытом, — и это воспоминание наводит на мысль, что первое пришествие философии хозяйства на русскую землю состоялось не в XIX в., а еще в начале XVIII в., и имело оно те же

примерно последствия, что и второе — уже постнаучное, как раз булгаковское: невнимание, оттеснение, забвение (Посошков был уморен голодом в Петропавловке, в Булгаков выслан за границу без права возвращения на родину под угрозой расстрела). Заметим, что Булгаков был хорошо знаком с трудом Посошкова и придавал ему очень большое значение. Двести лет потребовалось России, чтобы вернуться на посошковскую стезю, правда, уже не по-предтечевски, а вполне уже фундаментально — сквозь философию хозяйства!

Обстоятельство субъективное — авторское. Нет нужды рассказывать о всех перипетиях жизни, деятельности и творчества С.Н. Булгакова, этого воистину великого русского мыслителя, но важно отметить, что с детства религиозный (православный, из семьи священника), в юности и молодости атеистический и вполне сциентический, по-европейски образованный и просвещенный, интеллигентский, в зрелости... вновь религиозный (возвращенец), антисциентический, противоинтеллигентский: от атеизма, материализма и марксизма к православию, идеализму и... *софийности*, а в итоге, аккурат к сорока годам — *от политэкономии к философии хозяйства*. Не будучи сторонником самодержавия и российской имперскости, он не стал и гонителем оных — отъявленным революционером, а, попытавшись ревизовать марксизм, вполне и безуспешно, выступил за религиозный ренессанс («новую церковь») и в его свете за историческую самобытную Россию, ее собственное, хотя и не автарическое, развитие. Стажируясь после окончания Московского университета в Германии, не только усваивал марксизм и социал-демократизм, но и, по-видимому, уловил первые тенденции к «философизации» экономизма, выказывавшиеся тогда М. Вебером, В. Зомбартом, Г. Шмидлером, что и вылилось в конце концов, уже в России, по разочаровании в марксизме, материализме и революционизме, в такой замечательный интеллект-продукт, как философия хозяйства. Все тут как-то сошлось на Булгакове и из него в свет и вышло! Заметим, что Булгаков был блестящим политэкономом, он читал лекции по истории экономической мысли, отлично знал европейскую науку, был хорошо знаком и с отечественной хозяйственной мыслью. В то же время Булгаков был и вполне квалифицированным философом. И вот именно в уже контрмарксистском и постсциентическом сознании Булгакова зародилось и вызрело

намерение не нанизывать дополнительный сучок на уже высыхавшем древе западного мыслеизъявления, а высадить совершенно новое мыслительное древо — на русском просторе, в русской земле, посреди русской ноосферы, вне западной искусственной оранжереи. Посадить-то посадил, да вот вырастить дерево ни ему, ни еще кому-нибудь тогда не удалось, но тут уже была не вина Булгакова и его возможных последователей, а множества российских обстоятельств, среди которых центральное место занимало общее неприятие российской ученой общественностью почвенной, да еще и постнаучной, еще и метафизической (неометафизической), еще и софийной, мысли.

Отвлечемся на время от русской философии хозяйства, сверкнувшей было ярко посреди русского миросознания, почти что обжигающе, да вот нарочито и не замеченной, не поддержанной и быстро отправленной, правда, уже полновластными большевиками- марксистами, в «национальный отстойник» — в библиотечный спецхран, и уделим некоторое внимание победившей в пореволюционной России, ставшей вдруг СССР, марксистской политэкономии вкупе с марксистской же философией. Хотя и в особой — пролетарской-де — интерпретации, но классической политэкономии весьма тогда повезло — именно она, пусть и только в марксистском образе, была принята на идеологическое вооружение в СССР, а не более поздняя и, казалось бы, более современная неклассическая научная экономия. Жизнь классики была продлена, что было в общем-то хорошо, но... сама классическая мысль мало в чем соответствовала реальности, которая была ни буржуазной (капитал-экономической), ни собственно пролетарской (социал-хозяйственной), а была попросту этато-мобилизационной (армейского более всего образца).

Марксистская политэкономия была четко и беспощадно разделена на политэкономию капитализма, которого в стране уже не было и не должно было быть, и политэкономию социализма, которого в стране еще не было, но который непременно должен был статься. Политэкономия капитализма раскрывала чуждый (заграничный и для России прошлый) строй хозяйственно-экономической жизни, который марксизм наяву отрицал и с которым идейно и деятельно боролся, а политэкономия социализма была призвана обосновать и оправдать сначала строившийся, а затем и вроде бы построенный, социалистический-де строй жизни, хотя

таковым «по гамбургскому счету» он, конечно же, не был, он был в лучшем — символическом — случае сталинизмом, а в худшем — уже реальном — попросту тотальным этатизмом, вполне и ордынским: все трудились за определенную свыше платно-распределительную меру — кто управляя (номенклатура), кто попросту работая: рабы и полурабы (зэки, крестьяне-колхозники, рабочие) и недорабы — служащие, «интеллигенция». «Политэкономия социализма», толкуя об общественной собственности, государственном централизованном управлении, планомерности, общественных фондах потребления, растущем жизненном уровне и т. д., ничего не говорила о фактической реальности, создавая самый обыкновенный, но при этом очень примитивный и чересчур уж лживый, идеологический миф, обязательный для распространения и усвоения всеми грамотными и неграмотными элементами общества. Однако миф мифом, а реальность — реальностью! Последняя хоть и не была в полном смысле слова социалистической (впрочем, может, и была!), а, будучи в основном армейско-мобилизационной, оказалась на определенный период весьма и весьма действенной: сталинизм за короткий срок осуществил (широко заимствуя западные технику, технологии, заводы, оборудования) целостную индустриализацию производства с его возможной на тот момент модернизацией (за счет сельского хозяйства, крестьянства, а также реквизиций всяких ценностей у богатых и зажиточных слоев населения, у церкви с последующей реализацией этих ценностей за границей), провел образовательную революцию, подготовив многочисленные специализированные кадры для производства, науки, техники; создал мощный военно-оборонный комплекс с новой, технически быстро оснащавшейся армией; соорудил потребную для нового хозяйства и общества инфраструктуру, включая современный транспорт... в общем вывел страну на современный материально-технический уровень, реализовав фактически то, что в Европе называлось материально-технической базой капитализма, причем смог затем достичь, уже после победоносной и щедрой на развитие Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., и большего — создать атомное оружие, баллистические ракеты и первым в мире вырваться в космос, опередив развитые, мощные и вовсю передовые США.

Политэкономия мало соответствовала бытовавшей в СССР реаль-

ности, но зато этой реальности вполне соответствовала, как и в ней по-просту участвовала, прикладная экономическая наука, усилиями которой был создан весь *организационно-экономический механизм* — вполне и уникальный (система централизованного управления хозяйством на основе и в рамках тотального планирования; оригинальная денежно-финансовая система, включая банковско-кредитное дело, бухгалтерский учет, ценообразование, капиталовложения; статистический учет; экономика труда и заработной платы; система денежно-натурального распределения потребительских продуктов и т. д.). Как бы то ни было, но созданная советской наукой (в основном, экспертной) хозяйственная система не только функционировала, но и имела выдающиеся конечные результаты, хотя и до поры до времени, как раз до того предела, за которым армейско-мобилизационное хозяйствование перестает давать достаточные, а главное — новые и разнообразные, плоды.

Данная система, более или менее обоснованная и весьма отраженная в «политэкономии социализма», бывшей по сути более всего теорией не социализма (что же он такое — социализм?), а государственного централизованного хозяйствования, не могла долго и с необходимым позитивным эффектом существовать, лишенная внутренней потенции к развитию, нововведениям, разнообразию, удовлетворению многих, тем более — существенно новых, потребностей. Казарма есть казарма, в ней может быть строй, порядок и мера, но не может быть из-нутреннего творчества, самовозникающей новизны и органичного самоперестроения. Так называемая «рыночная реформа» 1965—1970 гг., известная также как косыгинская, была первой и последней крупной попыткой плавно перестроить сталинский «социализм» во что-то более жизнеспособное, но из этого в общем-то ничего не получилось: послесталинская номенклатура не на шутку дрогнула и в страхе потерять удобный ей «социалистический строй» предпочла ограничиваться даже не полумерами, а квазимерами, пытаясь лишь как-то усовершенствовать и «одинамить» уже «приказывавший долго жить» постсталинизм. В конце концов общество, устав от навязанного «равенства» и вынужденной аскезы, включая и весьма заметное недопотребление, стало тем или иным путем преодолевать «социализм», стремясь не просто к личным потребительским успехам, но и к личным обогащениями уже вполне буржуазного толка. Часть

номенклатуры тоже не избегла подобных увлечений, фактически отрицая «социализм», но уже не снизу — как какие-нибудь цеховики, а сверху — как формальные управители. К 1980-м гг. уже было ясно, что загнивавший на корню «социализм», прозевавший к тому же новую большую волну научно-технического прогресса, идет к своему концу. Горбачевская «перестройка» ему не помогла, оказавшись, как это не раз бывало в истории страны, ни достаточно адекватной исторической ситуации, ни достаточно решительной, и «социализм» вместе со своей «политэкономией» рухнул, немало, кстати, к такому исходу самой этой политэкономией и подготовленный.

Политэкономия социализма, бывшая, скажем так, европосоветского происхождения, имела место в советских университетах и вне их, но вследствие своей чрезмерной идеологической заданности, оторванности от реальности и недюжинной мифологичности в золотой фонд мировой политэкономической мысли не вошла; зато советскую прикладную экономическую науку вполне можно почитать за полезный, по-своему и выдающийся вклад в мировую экономическую науку и хозяйственную практику. Сегодня вроде бы нет большой потребности в советском хозяйственном опыте и соответствующей ему научно-экспертной мысли, но завтра... о-о... завтра может все измениться, ибо кругом кризис (причем кризис не так даже перепроизводства или перенакопления, как кризис перепотребления, а это куда как страшнее по возможным в будущем последствиям), во всем развитом мире явный избыточный продукт при обостряющейся нехватке ресурсов, освобожденный от труда и забот «человече» не знает, куда себя деть, и т. д., а потому, чем черт не шутит, потребуется вдруг и что-то близкое к планово-административному, в основе неэкономическому или же постэкономическому, вполне и натуральному, опыту «казарменного» СССР — почему нет?

Крах советского социализма, включая и крах всего его идеологического оснащения (пусть и временный, но все-таки крах, а не какой-нибудь кризис), заставил большинство «новороссийских» интеллектуалов оставить марксизм и броситься в противоположную сторону — уже к как бы совершенно современной и чуть ли не истинной западной науке, давно уже расставшейся с классикой и занятой самым что ни на есть не-классическим научным экономизмом. Никакого органичного освоения

западной мысли тут не было и быть не могло, а случилось самое обыкновенное — не только не осторожно-критическое, а вовсю даже восторженно-потребительское — заимствование. Так в стране стало быстро распространяться, усиленно при этом и насаждаемое, западное экономическое мышление, но вполне, знаете ли, периферийно-колониального свойства (делать было нечего: проиграли, потерпели поражение, сдались на милость победителю, так что ничего тут не оставалось, как только учиться, учиться и учиться — у современного, так сказать, капитализма, финансизма, глобализма, империализма — вот и стали учиться, перенося «ихние» знания в свои либо не очень-то еще освобожденные от марксизма, либо вообще вдруг опустевшие головы).

Нет, советская марксистская школа не вывернулась из весьма худого положения, в которое вдруг попала, ничего приемлемого, кроме арьергардной критики новой буржуазности и лобовой защиты ушедшей в небытие пролетарскости, так обновлявшемуся интеллекту и не предложив. Повторы, повторы, повторы! Никакого глубокого пересмотра, никаких отчетливых нововведений, никаких осовременных интеллект-комбинаций!

Итак: с одной стороны, передовая-де, хоть и с заметной уже гнильцой, западная научная комбинаторика — механическая, пустотелая, калейдоскопная, а с другой — постмарксистское суесловие — слабое, охранительное, вероподобное.

Однако случилось в стране и кое-что другое: не от капитализма и не от социализма, не от политэкономической классики и не от научно-экономической неклассики, не от точной науки и не от догматизированной религии, не от идейного убеждения и не от чувственной веры, а всего лишь от... проникновения в реальность, правда, уже за пределами самонадеянной науки, вне уже все познавшей философии и помимо все уже установившей для себя религии, как и вовсе не среди них, не между ними, не в их невозможном соединении, а как-то само собой, в стороне — на своей стороне. Да, да, речь идет о вновь явившейся в России (еще в СССР)... *философии хозяйства*, ее третьем с учетом посошковской предтечности и втором уже после Булгакова пришествии, состоявшемся определенно в 1990 г. с выходом независимой от Погошкова и Булгакова работы автора этих строк «Опыт философии хозяйства».

Примечательно, что автор «Опыта» не был тогда знаком ни с трудом Просошкова (да и вряд ли посчитал бы сей великолепный труд за философско-хозяйственный), ни тем более с трудом Булгакова, прочно застрявшем в библиотечном спецхране. И оттого новое рождение в России философии хозяйства особенно знаменательно: надо, так надо, и никуда от этого не уйти! Новое рождение оказалось не просто новым (третьим или вторым) пришествием, а и новым или очередным возрождением философии хозяйства, происшедшем, кстати, не вследствие какого-то физического краха европосоветской политэкономии, а вследствие ее практически полной реально-метафизической несостоятельности. На базе и в рамках зарапортованвшейся политэкономии ничего не то что нового, а попросту адекватного реальности сказать было уже нечего, да и... нельзя! Требовался выход за пределы политэкономии, как и державшего ее на плаву, но при этом и в плену, физикалистского сциентизма. Отсюда и *философия хозяйства*: хозяйство, а не экономика, и философия (мировоззрение), а не наука (теория).

Одной из примечательных особенностей отечественной (еще русской) хозяйственно-экономической мысли был вольно-невольный упор на слове «хозяйство» в ущерб, хотя, быть может, и не в противовес, слову «экономика». Русское сциентизированное сознание почему-то сопротивлялось «экономике», отдавая предпочтение вроде бы всего лишь синонимичному «хозяйству»: домашнее хозяйство, крестьянское хозяйство, общинное хозяйство, помещичье хозяйство, фабричное хозяйство, армейское хозяйство, городское хозяйство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, народное хозяйство, мировое хозяйство, даже и хозяйство поэта (А.С. Пушкин). Обратим внимание: не «экономика», а «хозяйство»! И ежели посчитать это не за недоразумение, а за пусть инстинктивную, но содержательную особенность, свойственную российской практике, русскому сознанию и тому же русскому языку, то можно при желании обнаружить очень важную смысловую вещь: хозяйство все-таки не совсем экономика, не только экономика, а то и вовсе не экономика, точнее бы — экономика, конечно, всегда хозяйство, а вот хозяйство — вовсе не всегда экономика. Последняя есть не более чем однажденное, товарообменное, стоимостное хозяйство, а потому и не более чем частный случай хозяйства, его особенный способ — и не более того! Хозяйство

возможно и без экономики, а экономика без и вне хозяйства — нет, невозможна, — как, к примеру, та же политика, совершенно возможная без и вне экономики, оказывается невозможной без и вне хозяйства, хотя в цивилизационной практике имеет и свою экономику, вполне, так сказать, политическую, а то и попросту реализуется как экономическая (так же денежно-финансовая).

Отечественная хозяйственная мысль давно чувствовала, что экономика с ее деньгами, товарами, обменами, ценами, капиталами, банками, инвестициями, рынками вовсе не объемлет всего, что входило так или иначе в хозяйство, хотя и не поставила до Булгакова знака равенства между хозяйством и жизнью, немало из-за этого путаясь во вроде бы лишь синонимических понятиях — русском «хозяйстве» и западной «экономике». А ведь за этим почти бессознательном различии стояло очень многое, возможно, и самое главное, что отличало отечественную мысль от западной. Русская мысль взглядалась в жизнь, в западная — лишь в один из ее искусственно созданных механизмов!

Хозяйство не очень-то подвластно науке, ее точному-де подходу, а потому хозяйством может заниматься по преимуществу и в полном объеме только философия, причем философия мировоззренческая. Отсюда как раз и философия хозяйства, а не наука о хозяйстве, которая, безусловно, возможна, но лишь в определенных границах. В целом же и на весь простор — философия хозяйства, способная увидеть и не отвергнуть свойственной реальности неопределенности, сокрытости, разнообразности, идеальности, духовности, трансцендентности, даже и чудесности, достигая этим необходимой познавательной адекватности и размыслительной полноты. Философия — без границ, хозяйство — тоже — и только хозяйственная реальность ответственна и гранична, что как раз и делает философию хозяйства не вольной интеллект-словесностью, а сообразованной внутри себя и в связи с контекстом смысловостью.

В освобожденные от монопольного давления марксизма и обретшие кое-какую мировоззренческую полифонию 1990-е гг. вновь возникшая в стране философия хозяйства, сойдясь вплотную со взглядами неожиданно тогда открытого основоположника русской философии хозяйства С.Н. Булгакова, получила немалое развитие, превратившись

из инициативного авторского начинания в активное и плодоносное течение мысли, оформленвшись к 2000 г. институционально (научная школа, специальный журнал, одноименная лаборатория в МГУ). Нет, это не было ни булгаковедением, ни булгаковианством, ни булгаковизмом, как и не было и нет никакого в адрес великого русского мыслителя кумирства, — признание, уважение и внимание — не кумирство! Булгаков — зачинатель, первооткрыватель, основоположник, мало того, гениальный «вкладчик» в основы философии хозяйства, но никак для современной философии хозяйства не объект культа и безоговорочного «адепства». Важнее не то, что сказал Булгаков, хотя это и важно, а то, что заставило его именно так высказаться, как и важен путь, на который он вступил и впервые обосновал. Современной философии хозяйства нет без Булгакова, его идеей и устремлений, но, повторим, это никак не булгаковедение, а самостоятельно бытующая и развивающаяся — вместе с Булгаковым — мировоззренческая мысль. Никакого буквоедства, лишь свободное творчество, а ежели обращение к предшественникам, то су́жбо содержательное, в согласии более с их мыслями, а не словами, хотя и со словами, конечно же, тоже!

Так или иначе возникнув, сформироввшись, обогатившись мыслями и понятиями, насытившись кое-какими текстами — размыслительными, образовательными, просвещенческими, философия хозяйства принялась за новое осмысление (и переосмысление тоже) мировоззрения, накопленного знания, утвердившихся трактовок — и не только в хозяйственно-экономической сфере, что понятно, но и в других сферах — социальной, политической, исторической, как и научной, философической, практической. Будучи вроде бы абстрактным и по преимуществу метафизическим знанием-размышлением, философия хозяйства вовсе не чурается практической стороны человеческого бытия, наоборот, к ней заинтересованно устремлена и ею продуктивно занимается, замечая и обнаруживая то, что обычно не видится другим отраслям и типам знания, соответственно и выдавая на гора свои трактования фактов, деяний, событий, процессов, не пренебрегая и потребной при этом проективностью. Познавательно-осмыслительно-трактовочная особенность философии хозяйства не в том, что она сторонится физика бытия, а в том, что, отдавая

должное метафизису, стремится постигать физическое через метафизическую призму, а потому и по-иному постигать и понимать окружающий мир, чем это может предложить физикалистская наука, научная философия или та же «заоблачная» религия.

Сегодня, в 2013 г., можно утверждать, что философия хозяйства уже сложилась в целостное, при этом и открытое, знание-размышление, способное к самостоятельному существованию и развитию. По поводу и вокруг философии хозяйства сообразовалось значимое ученое сообщество (Философско-экономическое ученое собрание, Академия философии хозяйства), систематически проводящее научные форумы, издающее содержательные тексты, отвечающее на актуальные запросы времени, вполне, заметим, и времени кризисного (мирового, странового, воззренческого). Однако формирование философско-хозяйственного направления мысли и уже завоеванное им положение в сочетании с немалой известностью ни в коей мере не означают какого-либо «триумфального шествия» философии хозяйства по идеино-воззренческому пространству, прочно занятому давно уже возникшими, внутренне консолидированными и ставшими вполне привычными знаниями, но в то же время и торопливо заселяемому «новейшими» импортными интеллект-субъектами. Нет, путь философии хозяйства вовсе не усыпан розами, он пролагается, скорее, через густые тернии, растущие по преимуществу на почве непонимания, неприятия и охранительно-предосудительного отвержения.

Очередное пришествие философии хозяйства, а это, вновь особо подчеркнем, самое отечественное из отечественных мыслительных достижений в гуманитарной сфере, служит не столько признанию философии хозяйства и взлету оригинальной мировоззренческой мысли, сколько новому приступу желания поскорее покончить с неудобным для устоявшейся традиции и неприемлемым для постмодернистского научно-образия оригинально-прорывным знанием-размышлением. Главное сейчас: ограничить, оградиться, не допустить, сдержать, не дать развиваться и распространяться, упрятать в резервацию, создать сектантский имидж, исказить реальный образ и действительную суть, преуменьшить значение, на всякий случай сдиффамировать, да и попросту оболгать. Увы, все это есть, — и от этого никому уже не уйти — ни тем, ни этим!

Современная экономическая теория, отвергнув политическую экономию с ее онтологической социальностью и остаточной (научной-де) гносеологической метафизичностью (все-таки думала еще, старушка, о сущности вещей), а также увлекшись физикалистским математизированным подходом (системно-физическими моделированием), незамедлительно ушла даже от чисто экономической, не говоря уже о целостно-хозяйственной, реальности, превратившись в интеллектуалистскую «игру в бисер», ведущуюся по преимуществу уже ради самой себя, а не какой-то там реальности. Так называемые «неоклассика» (точнее бы — «неклассика») и «экономикс», претендующие хотя бы на системно-формальную целостность, изображают не что иное, как некую виртуальную реальность, свободную от всякой верификации относительно реальной реальности: трудно найти хотя бы одно воистину реалистическое и реально доказуемое положение в этих теориях. В действительности ведь всё не так, всё совсем по-другому, но что поразительно — это совершенно не беспокоит блистающую чистым интеллектом науку, ибо в ее задачу входит не отражение реальной реальности, а не более чем выделявание «новых» синтетических (искусственных) мозгов для их применимости в виртуально-симуляционной... э-э... ирреальности, подменяющей собою реальность как таковую (компьютеры, модели, инструкции, сети).

Ближе к реальной реальности расположен так называемый «новый институционализм», но он, во-первых, не слишком все-таки онтологичен, во всяком случае целостно он не онтологичен, как и совершенно не онтологичен ноуменально; во-вторых, ограничен правово-институциональной практикой, призванной управлять экономическими процессами без адекватного постижения самого объекта управления и «уважительного» к нему отношения, а потому легко соскальзывающей на принцип «экономика для института» в ущерб принципу «институт для экономики».

«Новый институционализм», в отличие от «старого» или «классического» институционализма, не признает необходимости, самоценности и практической незаменимости для хозяйства и экономики такого института, как государство, враждует с ним, называя не более, не менее, как «бандитом», и склонен воспевать фактически асоциальный анархизм,

за которым маячат, как хорошо известно, мощные негосударственные субъекты управления, устанавливающие свой порядок, но непременно через стихию, произвол, кризисы, войны. Строго говоря, «новый институционализм», как и частично «старый», не строго экономическое учение, скорее — политико-юр-управленческое, что говорит не о «плошести» самого учения, а лишь о его онтологической относительно экономики «внепредметности» («парацентности»).

Главная неприятность научно-экономической современности — слабость или даже отсутствие фундаментальной онтологической концептуальности, сходной по значению с той, которая имела место при доминировании политической экономии классического образца. Ни «неоклассика» («неклассика»), ни родственный ей «экономикс» данной миссии не только не выполняют, но и склонны вообще отвергнуть любую мировоззренческую фундаментальность. Отсюда две попытки: 1) возродить, как-то осовременив, бывшую политическую экономию; 2) предложить новую, уже совершенно современную, политэкономию. Так или иначе, но это не что иное, как быть или не быть ныне политэкономии?

Основная трудность тут в том, что несмотря на свою вроде бы фундаментальную онтологичность политэкономия XIX в. была не столько нейтрально-объективной онтологией, сколько... ангажированно-субъективной идеологией: либо ангажированным учением о капитале и ради него, включая подотчетный капиталу предпринимательский индустрIALIZM, либо же не менее ангажированным учением о труде и ради него, не исключая все того же, но уже подотчетного-де труду... э-э... коллективно управляемого... индустрIALIZма. Один ствол политэкономии во-всю оправдывал капитал, другой — «лоббировал» труд. Были попытки и создать политэкономию социальной гармонии, но уже не столько между капиталом и трудом, сколько между работодателем и трудодателем — не без посредничества государственных инициатив.

Никто не против того, чтобы обстоятельно рассуждать о капитале и его пользе, о свободном товарно-денежном хозяйстве, о важности предпринимательства и труда, как и тех же... банков, о необходимости взаимоприемлемого сотрудничества между капиталом и всеми на него трудящимися работниками, о доходах, богатстве и их распределении, о значении растущей экономики в целом и значимости экономизма, но...

ахиллесовой пятой знания, пытающегося до сих пор называться политической экономией, остается онтология — та самая реальность, о которой вроде бы старательно повествует политэкономия, но которая далека от адекватного с ее стороны восприятия и понимания: да, стоимость (ценность), да — субстанция, но причем тут либо поиск материального основания для этой субстанции — вроде того же труда, либо попытка вне стоимостного трактования стоимости, как и всех стоимостных параметров величин, через сидящие-де в вещах полезности и их предельные рыночные выражения? Научная гносеология тут подвела реальную онтологию, ибо стоимость не только не вещественна, не материальна, но, что особенно важно, никаким внешним для нее образом не измеряется: стоимость метафизична, идеальна, эфирна, трансцендентна и, что особенно важно — сама себе мера, чего не могла и не может никак понять ни классическая политэкономия, ни ее славный наследник — неклассический экономизм. Не объяснив «как следовает» стоимости, а стоимость есть не что иное, как *самое экономическое в экономике*, нельзя объяснить и практически ничего из вообще экономического — объяснить не идеологически, а как раз онтологически, совершенно и нейтрально относительно текущей реальности.

Физический подход нельзя переносить на нефизическую реальность — которая как раз по преимуществу метафизическая; стоимость со всеми своими параметрами-величинами — не физис, а сплошной метафизис; да и экономика в целом в своей онтологии — все тот же метафизис.

Возможно ли сегодня какое-то возрождение политэкономии: пусть лишь подновленной, пусть и совершенно новой? Ответ даст сама научная, так сказать, жизнь, но на наш философско-хозяйственный взгляд — нет, ибо для этого политэкономии (как бы она ни называлась) надо... перестать быть... собственно политэкономией, что для политэкономии, которая все-таки не так адекватное реальности содержание, как его — этого возможного содержания — неясный символ, совершенно неприемлемо.

Автор этих строк не принципиальный противник политэкономии, хотя и не безоговорочный ее сторонник. Все дело в том, что в рамках не-

ясной, ограниченной, расплывчатой, фрагментарной, «ни нашим, ни вашим», а по большому счету попросту невозможной, парадигмы, упорно притягиваемой к политической экономии, никакой убедительной в онтологическом плане политэкономии быть не может, а может случиться лишь очередная — вполне, наверно, и надуманная — идеология, оправдывающая, к примеру, тот же финансовый глобализм или, напротив, его же решительно осуждающая, что, собственно, есть одинаково плохо!

Политэкономия — не вечное вовсе учение, а вполне временно-временной взгляд на хозяйственно-экономические вещи, возникший на потребу эпохе Модерна и ее важнейшему атрибуту — капиталу. Взгляд вполне тогдашний — наивно-научный, не более того! Сегодня на мировом дворе не что иное, как Постмодерн, для которого такие понятия, как реальные деньги и реальные товары вместе с реальными капиталами, банками, кредитами и цennыми бумагами, не более чем ушедший в прошлое «материалный» анахронизм. В том же анахроническом забвении труд, производительность труда или то же самое частное предпринимательство. И рынок сегодня не рынок, и валюта не валюта, и цена не цена. Ныне в почете вещи виртуальные, прозрачные, мимолетные, когда не хозяйственная реальность ведет экономическую виртуальность, а экономическая виртуальность владеет хозяйственной реальностью! Краеугольным камнем в «эфирном» экономическом здании служит не товарное отношение, не сами по себе деньги и даже не капитал, а направленное на реальность (сверху вниз) *управленческое решение*, вполне и *ирреальное*. Хозяйственно-экономический мир совершенно перевернулся, выставив наружу и вперед не реальность, а *ирреальность*. Тогда причем тут политэкономия со всеми ее традиционными идейно-выверенными материальными атрибутами? А-а, *may be новая политэкономия?* Тогда какая же? Ведь кругом теперь сети, а не рынки, структуры, а не свободно складывающиеся отношения, системы управления, а не самоорганизации, пирамиды, а не нейтральные среды. Условно говоря, не физика вокруг, а *алфизика*, где господствуют не причинно-следственные связи, а управляемый и управляющий произвол любых управляющих миром сеm, вовсе не отрицающих перманентного тотального кризиса всего мирового хозяйственно-экономического контекста, а его — этот кризис — органично

предполагающие, активно пролонгирующие и старательно использующие. Никакой ныне субъектной атомарности, никаких складывающихся между самостоятельными-де субъектами отношений, никаких свободных и несвободных между ними конкуренций! Теперь лишь сети и центры управления ими да подотчетная центрам экономическая агентура, включая и там и сям действующую резовую резидентуру. Другой мир, другая реальность, другая онтология, другая и гносеология! И никакой тебе в привычном понимании политической экономии, которая так и не выяснила до сих пор, что понимается ею под «экономией», а что под «политической»!

Философия хозяйства — не политэкономия, но вышла в свет философия хозяйства как раз из-за политэкономии, фактически занимавшей место философии хозяйства, но, увы, не слишком все-таки достойно и успешно. И философия хозяйства существует сегодня совсем не случайно: выход философии хозяйства на мировоззренческую арену — не чья-то субъективная прихоть, как и не какая-то научная закономерность, это — трансцендентное веление метафизика, столь пренебрежительно отвергаемого до сих пор физикой и той же политической экономией, но при этом всегда в мире бывшего, ныне вовсю бытующего и на будущее в своем онтологическом значении лишь усиливающегося.

Достоинство философии хозяйства в ее органической и в то же время неограниченной целостности — что онтологической, что гносеологической, она ничего из реального, включая и ирреальное, не чурается, всё принимает и ничего от себя не гонит. Кredo философии хозяйства не в поиске несокрушимых истин, обычно выливающихся в невозмутимую догматику, а в утверждении *правды*, какой бы неприглядной и горькой она ни была. В философии хозяйства не может быть ни правых, ни ошибающихся, ни тем более «правых» и «левых», как и тех же «центристов», ибо для философии хозяйства, озабоченной человеком-человечеством и его бытием-хозяйством, бытием-историей, бытием-телеологией и бытием-эсхатологией, какие-либо идеологические предпочтения, да еще и между собой враждующие, попросту лишены всякого смысла. Философия хозяйства не разъединяет, а объединяет, что не значит, что она монофонична, нет, она вполне полифонична, но не какофонно, а как раз вполне симфонично, что совсем не мешает быть в ее музыкальном

поле ни чудным голосам, ни смелым партиям, ни насыщенным мелодикой содержательным струям.

Выход: отечественная мысль пришла к философии хозяйства, уйдя от политэкономии, и не прия, естественно, к постмодернистскому научному экономизму; непризнание загады и надолго хорошо внутри себя сбитой научной общественностью философии хозяйства не означает, что последняя не заслуживает бытия, развития и распространения; возрождение политической экономии, себя очень уж не оправдавшей, вряд ли возможно, хотя и возможен еще всплеск какого-то ее постмодернового заместителя; познавший философию хозяйства, в нее вошедший, ни в какой политэкономии не нуждается, что не значит, что в ней не нуждается научное сообщество, столь упорно отвергающее философию хозяйства.

Не в силе Бог, а в правде!

СОДЕРЖАНИЕ

От автора (от автоапологии до самозащиты)	4
Из настоящего в настоящем	5
Ренессанс философии хозяйства. Русская софийная философия	
М.: МГУ, 2011	7
Обретение. М.: ТЕИС, 2011	21
<i>Раздел 1. Откровение</i>	22
<i>Раздел 2. Сотворение</i>	97
<i>Раздел 3. Постижение</i>	193
<i>Раздел 4. Промысел</i>	268
<i>Раздел 5. Прикровение</i>	377
«Воображение правит миром».....	455
Философско-хозяйственный ключ к постижению исторической реальности. М.: МАКС Пресс, 2013	
457	
Своеобразие отечественной хозяйственной мысли: наследие и новый парадигмальный поиск. М.: МГУ, 2013	
464	

Научное издание

Осипов Юрий Михайлович

Иное достояние

Собрание превентивных текстов:
от политэкономии к философии хозяйства,
от софиологии к софиасофии

В трех томах

Том 2

РЕДАКТОРЫ:

Е.С. Зотова, Н.П. Недзвецкая,
Т.С. Сухина, Т.Г. Трубицына

Компьютерная верстка и редактирование
публикуемых текстов:
Н.П. Недзвецкая, К.Ю. Беневская

ISBN 978-5-00078-963-6



9 785000 789636 >

Подписано в печать 8.10.2025. Формат 60×84/16
Усл.печ.л. 28,83. Тираж 65 экз. Заказ 25234

Отпечатано с готового оригинал-макета
в Издательском доме «Державинский»
392008, г. Тамбов, ул. Советская, 190г